



ГОРОД ЖЕНЩИН

BESTSELLER № 1 THE NEW YORK TIMES

ЭЛИЗАБЕТ
ГИЛБЕРТ

Annotation

Любимица миллионов читателей Элизабет Гилберт отважно исследует вопросы женской сексуальности, границы вольности нравов и отличительные черты истинной любви. «Город женщин», роман о молодых героинях в сверкающем и дерзком театральном мире Нью-Йорка 1940-х, это еще одна история о барьерах, с которыми девушки сталкиваются – и которые преодолевают – в поисках радости жизни.

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



ГОРОД ЖЕНЩИН

БЕСТСЕЛЛЕР № 1 THE NEW YORK TIMES

ЭЛИЗАБЕТ
ГИЛБЕРТ

Элизабет Гилберт

Город женщин

© 2019, Elizabeth Gilbert All rights reserved

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019

* * *

Маргарет Корди – моим глазам, моим ушам, моей любимой подруге

Вы будете делать глупости, этого не избежать. Так пусть вам хотя бы будет весело.

Колетт

Нью-Йорк, апрель 2010 года

На днях его дочь прислала мне письмо.

Анджела.

За эти годы я много думала о ней, но лично мы общались всего трижды.

Первый раз – в 1971 году: я шила ей свадебное платье.

Второй – в 1977-м: она сообщила, что умер ее отец.

Сейчас она писала, что умерла ее мать. Не знаю, на какую реакцию она рассчитывала: возможно, хотела вызвать у меня замешательство. Но уверена, она это не со зла. Анджела не такая. Анджела – добрый человек. И, что важнее, интересный.

Но кто же знал, что ее мать протянет так долго? Мне-то казалось, она давно умерла. Как и все остальные. (Впрочем, с какой стати удивляться чужому

долголетию, когда я сама цепляюсь за жизнь, как ракушка за дно корабля? С чего я возомнила, что я одна такая – старуха, которая ковыляет по Нью-Йорку в свои страшно сказать сколько лет, упорно отказываясь умирать и освобождать ценную недвижимость?)

Но больше всего в письме Анджелы меня поразила последняя строчка.

«Вивиан, – писала она, – теперь, когда мамы уже нет, может, расскажешь наконец, кем ты была для моего отца?»

Что ж.

Так кем я была для ее отца?

На этот вопрос мог ответить лишь он сам. А раз он предпочел промолчать, кто я такая, чтобы рассуждать от его имени?

Но я могу говорить за себя. И рассказать, кем он был для меня. **Глава первая**

Летом 1940 года меня, девятнадцатилетнюю дурочку, отправили жить к тете Пег в Нью-Йорк. У тети был свой театр.

Чуть раньше меня вытурили из колледжа Вассар, потому что я прогуливала занятия и в итоге провалила все до единого экзамены в конце первого курса. На самом деле, несмотря на плохие оценки, я не была совсем уж законченной тупицей, но, видимо, если ничего не учить, то даже ум не поможет. Сейчас я уже не помню, чем занималась в те часы, когда должна была сидеть на лекциях, но, зная себя, рискну предположить, что вертелась перед зеркалом. (Помню, как раз в том году я пыталась научиться делать «ракушку» – освоение этой прически казалось мне самым важным делом в жизни, и далось оно мне нелегко, хотя в Вассаре все равно не оценили бы мое достижение.)

Я так и не прижилась в колледже, хотя возможностей было предостаточно. В Вассаре учились самые разные девушки и существовали самые разные

группировки, но ни одна из них меня не привлекала – я просто не видела себя их частью. В том году там развелось множество политических активисток: они носили строгие черные брюки и обсуждали мировую революцию. Но мировая революция меня не интересовала. (И до сих пор не интересует. Хотя мне очень нравились их черные брюки – такие шикарные, вот если бы еще карманы не топорщились.) Были в Вассаре и студентки, отважно вгрызающиеся в гранит науки, – им предстояло стать врачами и адвокатами в те времена, когда женщины в подобных профессиях попадались еще довольно редко. Они могли бы меня привлечь, но нет. Начнем с того, что я их не различала. Все они носили одинаковые бесформенные шерстяные юбки, словно сшитые из старых свитеров. При виде этих юбок настроение у меня сразу портилось.

Не то чтобы Вассар был начисто лишен блеска, нет. Например, студентки с факультета средневековой литературы – романтичные, волоокие – были весьма миленькие, как и самовлюбленные девушки творческого склада с распущенными длинными волосами или великосветские аристократки с точеными профилями итальянских гончих. Но ни с кем из них я так и не подружилась. Вероятно, потому что интуитивно понимала: любая в этом колледже умнее меня. (Подростковая паранойя тут ни при чем: я до сих пор считаю, что все там были умнее меня.)

Честно говоря, сама не знаю, почему я оказалась в колледже, – разве что следовала предначертанию судьбы, смысл которого мне никто не объяснил. С раннего детства мне твердили, что я пойду в Вассар, но никто не говорил зачем. Для чего это все? Что я должна извлечь из обучения? И зачем мне жить в пропахшей вареной капустой комнатухе с неулыбчивой соседкой, которая всерьез решила посвятить свое будущее общественным реформам?

Не говоря уже о том, что к моменту поступления в колледж я наелась учебы досыта. Сначала я несколько лет провела в школе для девочек имени Эммы Уиллард в Трое, штат Нью-Йорк, где преподавали блестящие выпускницы семерки лучших женских колледжей Северо-Востока США, – разве этого мало? С двенадцати лет я отбывала срок в интернате, и мне казалось, что с меня хватит. Сколько книг нужно прочесть, чтобы доказать свое умение читать? Я даже знала, кто такой Карл Великий, – неужели нельзя оставить меня в покое?

К тому же вскоре после начала учебного года я обнаружила в Покипси бар, где наливали дешевое пиво и играли джаз до самого утра. Я научилась незаметно ускользать из кампуса (мой коварный план ежедневного побега включал незапертое окно в туалете и спрятанный велосипед. О, я была грозой охраны!) и стала завсегдатаем этого заведения, ввиду чего латинские спряжения на следующее утро давались мне с трудом: я мучилась от похмелья.

Находились и другие препятствия для учебы.

Например, все эти сигареты сами себя не выкурили бы.

Короче говоря: я была занята.

Поэтому на курсе, где учились триста шестьдесят две блестящие юные девушки, я заняла триста шестьдесят первое место в списке успеваемости. Услышав об этом, мой отец в ужасе заметил: «Страшно представить, чем отличилась триста шестьдесят вторая!» (Потом мы узнали, что бедняжка болела полиомиелитом.) Так что деканат отправил меня домой, вежливо попросив не возвращаться.

Мама не знала, что со мной делать. Мы и в лучшие времена были не особенно близки. Она обожала лошадей, а я не была лошадкой и не интересовалась верховой ездой, так что говорить нам было не о чем. Теперь же я так ее опозорила, что даже смотреть на

меня ей было неважно. Мама окончила Вассар с отличием, не то что я. Выпуск 1915 года, история и французский. В этом почтенном заведении маму все помнили, не в последнюю очередь благодаря ежегодным пожертвованиям с ее стороны; поэтому меня и приняли в Вассар, и вот чем я ее отблагодарила. Случайно встречая меня в коридорах нашего дома, мама кивала мне, как дипломат на службе. Вежливо, но холодно.

Папа тоже не знал, как со мной быть, однако у него имелись заботы поважнее неблагополучной дочери – он владел рудниками бурого железняка. Да, я разочаровала отца, но ему было не до меня. Ему, промышленнику и изоляционисту, и без того хватало проблем: разгорающаяся в Европе война могла поставить бизнес под угрозу.

Что до моего старшего брата Уолтера, тот учился на отлично в Принстоне, и я его не интересовала – хотя, конечно, он не преминул выразить неодобрение по поводу моего безответственного поведения. Сам-то Уолтер ни разу в жизни не поступил безответственно. Еще в школе он пользовался таким почтением у одноклассников, что те прозвали его Пророком (я не шучу, честное слово). Теперь он изучал инженерное дело: хотел построить инфраструктуру, которая поможет людям всего мира. (А я даже не знала, что такое инфраструктура, – можете добавить это к перечню моих грехов.) Хотя мы с Уолтером были примерно одного возраста – разница в два года, – мы даже в детстве никогда не играли вместе. Когда ему исполнилось девять, он убрал из своего поля зрения все, что касалось детских забав, включая младшую сестру. Для меня в его жизни места не нашлось, и я это понимала.

У друзей и подруг тоже была своя жизнь. Их ждали колледж, работа, замужество, взрослые дела – все то,

что меня совершенно не интересовало и было выше моего понимания. Вот так и получилось, что никто меня не замечал и не собирался развлекать. Меня обуяли тоска и вялость. От скуки буквально подводило живот. Всю первую половину июня я бросала теннисный мяч о стену гаража и насвистывала «Маленький коричневый кувшинчик»^[1], пока родители не взбеленились и не отправили меня к тете в город. И я их не виню.

Нет, они, конечно, опасались, что в Нью-Йорке из меня сделают коммунистку и наркоманку, но до скончания веков слушать, как дочь швыряет о стенку теннисный мяч, еще хуже.

Так я и оказалась в городе, Анджела, и вот там-то все началось.

В Нью-Йорк меня отправили на поезде – и что это был за поезд! «Эмпайр-Стейт-экспресс» прямиком из Ютики, сияющий хромированный механизм для отсылки бестолковых дочерей куда подальше. Вежливо попрощавшись с мамой и папой, я вручила свой багаж проводнику в красной шапочке и тут же почувствовала себя очень важной персоной. Всю дорогу до Нью-Йорка я просидела в вагоне-ресторане, где пила солодовое молоко, ела груши в сиропе, курила и листала журналы. Да, меня выгнали из дому – но с каким шиком!

В то время, Анджела, поезда были гораздо роскошнее нынешних.

Впрочем, обещаю не твердить через слово, мол, «в наши дни было лучше». Помню, в молодости я терпеть не могла стариковские сетования такого рода. (Да всем плевать! Всем плевать на ваше нытье про «золотое времечко», развалины вы старые!) К тому же, смею тебя заверить, я отдаю себе отчет в том, что далеко не все было лучше в 1940-е. К примеру, дезодоранты и кондиционеры тогда изрядно уступали нынешним, и

воняло от всех жутко, особенно летом, а еще у нас был Гитлер. Но поезда, несомненно, были роскошнее нынешних. Вот когда ты в последний раз наслаждалась солодовым молоком и сигаретой в поезде? То-то же.

Я села в поезд в симпатичном голубом платье с узором из птичек, желтым кантом вдоль ворота, не слишком облегающей юбкой и глубокими карманами на бедрах. Я помню это платье с такой точностью, потому что, во-первых, всегда запоминаю, что на ком надето, – всегда, слышишь? – и, во-вторых, я сама его сшила. И потрудились на славу. Платье длиной точно до середины икры получилось кокетливым и эффектным. Помню, я пришила к нему подплечники в отчаянной попытке хоть немного приблизиться к образу Джоан Кроуфорд, но сомневаюсь, что сработало. В этом платье, дополненном скромной шляпкой-колокольчиком и позаимствованной у мамы простой голубой сумочкой (набитой исключительно косметикой и сигаретами), я выглядела не столько богиней киноэкрана, сколько тем, кем и являлась: едущей в гости к родственникам девятнадцатилетней девственницей.

В Нью-Йорк девятнадцатилетнюю девственницу сопровождали два больших чемодана. В одном путешествовали мои наряды – каждая вещь аккуратно сложена и завернута в папиросную бумагу; во втором – ткани, тесьма и швейные принадлежности, то есть все, из чего можно сшить еще больше нарядов. Кроме того, я везла с собой громоздкий футляр со швейной машинкой – тяжелой неповоротливой штуковиной, крайне неудобной в транспортировке. Но машинка была мне как родная, и без нее я не могла жить.

Поэтому она отправилась со мной.

Этой машинкой – и всем, что впоследствии у меня появилось благодаря ей, – я обязана бабушке Моррис,

поэтому давай отвлечемся на минутку и поговорим о ней.

При слове «бабушка», Анджела, тебе, верно, представляется милая старушка-одуванчик, убеленная сединами. Но это не про бабушку Моррис. Она была высокой темпераментной стареющей кокеткой с крашенными под красное дерево волосами; ее повсюду сопровождало облако духов и сплетен, а одевалась она как циркачка.

Это была самая яркая женщина в мире – яркая во всех смыслах слова. Бабушка носила платья из жатого бархата невероятных цветов – она не называла их «кремовый», «малиновый» или «голубой», как прочая публика с убогим воображением; нет: она говорила «пыльная роза», «бордо» и «делла Роббиа». У нее были проколоты уши, в отличие от большинства приличных дам тех времен; в обитых бархатом бабушкиных шкатулках для драгоценностей хранился клубок дешевых и дорогих бус, сережек и браслетов, который можно было распутывать бесконечно. У нее имелся особый автомобильный костюм для послеполуденных выездов в город и такие огромные шляпы, что в театре она укладывала их рядом с собой на соседнее кресло. Ей нравились котята и косметика, которую она заказывала по почтовым каталогам; она любила читать статьи о сенсационных убийствах в таблоидах и писала романтические стихи. Но больше всего на свете бабушка любила драму. Она не пропускала ни одного спектакля в нашем городе и обожала движущиеся картинки – кино. Я часто ходила с ней за компанию, так как вкусы у нас совпадали. (Нас обеих привлекали сюжеты, где невинных девиц в воздушных платьях похищают опасные мужчины в зловещих шляпах, а потом спасают другие мужчины с гордыми подбородками.)

Понятное дело, я любила бабушку Моррис.

Впрочем, больше в нашей семье ее не любил никто. Все, кроме меня, считали ее позором и недоразумением, особенно ее невестка (моя мать), для которой лучше было умереть, чем прослыть фривольной. Говоря о бабуле, мама неизменно морщилась и называла ее не иначе как «эта вертихвостка».

Моя мать, как ты, верно, уже догадалась, романтических стихов не писала.

Но именно бабушка Моррис научила меня шить.

Она была превосходной швеей. (Ее, в свою очередь, тоже обучила бабушка, всего за одно поколение поднявшаяся от прислуги-эмигрантки из Уэльса до богатой американской леди, в немалой степени благодаря умению обращаться с иглой и ниткой.) Бабушка Моррис и из меня вознамерилась сделать превосходную швею. Поэтому мы не только ели ириски в кино и читали друг другу журнальные заметки о том, как невинных белых девушек продают в сексуальное рабство, но каждую свободную минуту посвящали шитью. И не просто шитью. Бабушка Моррис требовала от меня совершенства. Она делала десять стежков, затем предлагала мне сделать следующие десять, и если у меня не получалось столь же безупречно, как у нее, все распарывала и велела повторить. Она научила меня обращаться с нежнейшими материалами вроде тюля и кружева, и вскоре уже ни одна ткань меня не пугала, даже самая капризная. А крой! А подкладка! А вытачки! В двенадцать лет я могла сшить корсет на китовом усе. Хотя никто, кроме бабушки Моррис, после 1910 года корсеты не носил.

В том, что касалось шитья, бабуля соблюдала строгость, и я охотно покорялась. Ее критика жалила, но не смертельно. Меня так увлекало создание нарядов, что обучение было только в радость, и я знала, что

бабушка хочет лишь одного: сделать из меня настоящего мастера.

Ее редкая похвала окрыляла меня, и я еще усерднее овладевала искусством кройки и шитья.

На тринадцатилетие бабушка купила мне швейную машинку, которая впоследствии и отправилась со мной в Нью-Йорк на поезде, – изящный черный и убийственно мощный «Зингер-201». (Он брал даже кожу; при желании я могла бы прострочить обивку сидений «бугатти».) По сей день не припомню лучшего подарка. Я взяла «Зингер» с собой в школу-интернат и благодаря этой машинке обрела невероятное влияние в среде привилегированных учениц, которые мечтали хорошо одеваться, но сплошь и рядом не обладали достаточными навыками. Стоило одной сболтнуть, будто я могу сшить что угодно – а я и правда могла, – и ко мне выстроилась очередь. Девчонки из школы Эммы Уиллард одна за другой стучались ко мне в дверь, умоляя расставить платье в талии, подшить подол или подогнать по фигуре прошлогодний вечерний наряд старшей сестры. Ко мне пришла популярность – а это единственное, что имеет значение в школе. Да и не только в школе.

Должна сказать, была и еще одна причина, почему бабушка решила научить меня шить: фигура у меня не укладывалась в стандарты. С раннего детства я была слишком высокой и худой. Миновал переходный возраст, но я только еще больше вытянулась. Годы шли, а у меня по-прежнему не было бюста; туловище тянулось ввысь, как ствол дерева, а руки и ноги служили ему ветвями. Ни одно покупное платье не пришлось бы мне впору, так что проще было шить самой. А еще бабуля Моррис – благослови Господь ее душу – научила меня одеваться под стать своему высокому росту и не выглядеть при этом акробатом на ходулях.

Если тебе покажется, что я недовольна собственной внешностью, поверь, это не так. Я просто излагаю факты: да, я высокая и тощая, тут не поспоришь. Но если ты с тоской готовишься к истории гадкого утенка, который переехал в город и превратился в прекрасного лебедя, можешь не волноваться: моя история совсем другого сорта.

Я всегда была красавицей, Анджеला.

Более того: я всегда это знала.

Безусловно, именно поэтому в вагоне-ресторане «Эмпайр-Стейт-экспресс» с меня не сводил глаз красивый мужчина, наблюдая, как я пью солодовое молоко и ем груши в сиропе.

Наконец он подошел и предложил мне огонька. Я кивнула, он сел напротив и начал со мной флиртовать. Мне очень льстило его внимание, но я совершенно не умела кокетничать и не знала, как себя вести. Поэтому в ответ на все его попытки завязать разговор я только глазела в окно и притворялась, будто погружена в раздумья. Я даже немного хмурилась, силясь выглядеть серьезной и значительной, хотя собеседник, наверное, считал меня скорее близорукой и угрюмой.

Ситуация грозила обернуться еще большей неловкостью, но в конце концов меня отвлекло собственное отражение в окне, которое надолго заняло мое внимание. (Прости, Анджеला, но любая юная красotka готова бесконечно рассматривать себя в зеркале, так уж они устроены.) Оказалось, даже прекрасный незнакомец интересуется меня куда меньше формы собственных бровей. Дело было даже не столько в степени их ухоженности – которая меня тоже бесконечно волновала, – сколько в том, что тем летом я пыталась научиться поднимать одну бровь, пока другая остается неподвижной, как у Вивьен Ли в «Унесенных

ветром». Тренировки, как ты можешь догадаться, требовали предельной концентрации. Время летело незаметно; утонув в собственном отражении, я забыла обо всем.

А когда очнулась, мы были уже на Центральном вокзале, моя прежняя жизнь осталась позади, а прекрасный незнакомец исчез.

Но не волнуйся, Анджела, прекрасных незнакомцев в этой истории будет вдоволь.

И кстати! Я же забыла рассказать – если, конечно, тебе интересно, – что бабушка Моррис умерла за год до того, как поезд доставил меня в Нью-Йорк. Ее не стало в августе 1939 года, всего за пару недель до начала моей учебы в Вассаре. Ее смерть не была неожиданной, бабушка уже несколько лет болела, но эта потеря – потеря лучшего друга, наставницы, самого близкого человека – потрясла меня до глубины души.

А знаешь, Анджела, не исключено, что именно поэтому я так плохо училась на первом курсе Вассара. Может, я и не настолько тупая и ленивая. Может, мне попросту было грустно.

Я лишь сейчас это поняла, когда написала тебе.

Господи.

Как же долго до нас иногда доходит.

Глава вторая

Итак, я прибыла в Нью-Йорк в целости и сохранности – невинный цыпленок только что из скорлупы, чуть ли не с желтком на перышках.

Тетя Пег должна была встретить меня на Центральном вокзале. Так мне сказали родители, посадив на поезд в Ютике с утра, но ничего конкретного не сообщили. Например, где именно мы с ней должны встретиться. Мне не дали ни номера телефона для экстренной ситуации, ни адреса на тот случай, если я

потеряюсь. Мне просто велели «ждать тетю Пег на Центральном вокзале». И все.

Но Центральный вокзал огромен, на то он и центральный, и найти там кого-либо совершенно невозможно. Поэтому неудивительно, что по прибытии я тетю Пег не встретила. Я долго стояла на платформе с чемоданами и разглядывала снующую вокруг толпу, но не видела никого похожего на тетю Пег.

Не подумай, Анджела, что я не знала, как она выглядит. Мы с ней пару раз встречались, хотя тетя с отцом не были близки. (Это еще мягко сказано. Свою сестру папа одобрял не больше, чем их общую мать, бабушку Моррис. Когда за обеденным столом разговор заходил о тете Пег, отец фыркал: «Везет же некоторым – колесят по всему свету, живут в своем выдуманном мире, бросают деньги на ветер!» А я думала: «Вот это да!»)

Когда я была маленькой, Пег иногда приезжала к нам на Рождество, но не слишком часто, так как постоянно гастролировала с театральной труппой. Но больше всего Пег запомнилась мне по нашему с папой визиту в Нью-Йорк: мне было одиннадцать, я сопровождала его в деловой поездке, и мы заехали к тете. Та повела меня на каток в Центральном парке. А потом к Санта-Клаусу. (Хотя мы обе согласились, что я слишком взрослая для Санта-Клауса, я бы ни за что такого не пропустила и втайне мечтала познакомиться с Сантой.) В довершение мы пообедали в ресторане со шведским столом. Один из чудеснейших дней в моей жизни. Мы с папой не стали ночевать в городе, потому что он ненавидел Нью-Йорк и боялся там оставаться, но ту поездку я запомнила навсегда. И просто влюбилась в тетю. Она держалась со мной на равных, как со взрослой, а что еще нужно одиннадцатилетней девочке, которую все считают ребенком?

Потом тетя Пег приезжала в мой родной Клинтон на похороны бабушки Моррис, своей матери. На службе она сидела рядом и держала мою руку в своей большой крепкой ладони. Это было непривычно и успокаивающе (в нашей семье никогда не держались за руки, представь себе). После похорон Пег крепко обняла меня – ручищи у нее были как у дровосека. Я совсем размякла в ее объятиях и выплакала целый Ниагарский водопад. От нее пахло лавандовым мылом, сигаретами и джином. Я вцепилась в тетку, как несчастная маленькая коала. Но после похорон нам не удалось как следует поговорить: ей нужно было возвращаться в город, где ее ждала работа над спектаклем. Мне стало стыдно, что я так разревелась у нее на груди, хотя это и помогло.

Ведь мы с ней были едва знакомы.

Строго говоря, на тот момент, когда я в девятнадцать приехала в Нью-Йорк, чтобы поселиться у тети, мне было известно о ней следующее.

Я знала, что Пег принадлежит театр «Лили», расположенный где-то в центре Манхэттена.

Знала, что она не собиралась строить театральную карьеру – все вышло случайно.

Знала, что она дипломированная медсестра, работала в Красном Кресте и во время Первой мировой войны служила во Франции.

Именно там, в лазаретах, Пег сообразила, что у нее гораздо лучше получается развлекать раненых солдат, чем лечить их. У нее обнаружился талант к постановке веселых незатейливых спектаклей в полевых госпиталях и бараках – задешево и на скорую руку. Война – страшная штука, но каждого она чему-то учит. Тетя Пег научилась делать шоу.

После войны она надолго задержалась в Лондоне и устроилась там в театр. Работая над одной из

постановок в Вест-Энде, познакомилась с будущим мужем Билли Бьюэллом – красивым, щеголеватым американским офицером. Он тоже решил остаться в Лондоне после войны и тоже работал в театре. Как и Пег, Билли происходил из хорошей семьи. Его родителей бабушка Моррис называла «тошнотворно богатыми». (Я долго пыталась постичь смысл этого выражения. Бабушка глубоко чтит богатство; сколько же должно быть у людей денег, чтобы даже ей стало тошно? Однажды я спросила ее напрямую, и она ответила: «Они же из Ньюпорта^[2], деточка». Как будто других объяснений не требовалось.) Но Билли Бьюэлл, хоть и был из Ньюпорта, не желал иметь ничего общего с тем культурным классом, к которому принадлежал. Это их с Пег объединяло. Блеск и нищета театра были им куда милее аристократического лоска «клубного общества». А еще Билли был плейбоем и любил «повеселиться» – таким деликатным словом бабушка Моррис обозначала его склонность кутить напропалую, швыряться деньгами и гоняться за каждой юбкой.

После свадьбы Билли и Пег вернулись в Америку и основали гастролирующий театр. Почти десять лет – все 1920-е – они колесили по стране с небольшой труппой и давали представления в маленьких городках. Билли писал сценарии спектаклей и играл в них главные роли; Пег подвизалась режиссером-постановщиком. К славе они не стремились: их привлекала беззаботная жизнь безо всяких взрослых обязательств. И все-таки, несмотря на отсутствие амбиций, успех их настиг.

В 1930 году, в разгар Великой депрессии, когда американцы смотрели в будущее со страхом и тревогой, мои дядя с тетей неожиданно поставили хит. Билли написал пьесу «Ее веселая интрижка» – такую жизнерадостную и забавную, что люди готовы были смотреть и пересматривать ее по нескольку раз. Это был музыкальный фарс о британской наследнице из

высшего света, которая влюбляется в американского плейбоя (естественно, его играл Билли Бьюэлл). Пьеса представляла собой легкомысленный пустячок, как и прочие спектакли Пег с Билли, но почему-то обрела необычайную популярность. Возможно, причина заключалась в том, что шахтерам и фермерам по всей Америке в то время отчаянно не хватало радости и они готовы были вытрясти из карманов последнюю мелочь, чтобы поохотиться над «Ее веселой интрижкой». И вот простецкая бестолковая пьеса превратилась в гусыню, несущую золотые яйца. Она достигла такой популярности и собрала столько хвалебных отзывов в прессе, что в 1931 году Билли и Пег приехали с ней в Нью-Йорк и целый год выступали в крупном бродвейском театре.

В 1932 году кинокомпания «Эм-Джи-Эм» экранизировала «Ее веселую интрижку». Сценарий вновь написал Билли, но главная роль досталась не ему. Ее отдали Уильяму Пауэллу, а Билли к тому времени решил, что стезя сценариста привлекательнее актерской. Сценаристы сами решают, когда работать, не зависят от зрительских симпатий, и режиссеры не указывают им, что делать. За успехом фильма «Ее веселая интрижка» последовала целая серия прибыльных продолжений: «Ее веселый развод», «Ее веселый малыш», «Ее веселое сафари» – несколько лет Голливуд выпекал хиты один за другим, аки сосиски в тесте. Вся эта чехарда с экранизациями принесла Билли и Пег немало денег, но также обозначила конец их брака. Билли влюбился в Голливуд и остался там. Пег же решила закрыть гастролирующий театр и на свою половину дохода от фильмов купила громадное старое полузаброшенное здание в Нью-Йорке: театр «Лили».

Все это случилось примерно в 1935 году.

Официально Билли и Пег так и не развелись. И хотя они никогда не ссорились, после 1935 года супругами

они быть перестали, пожалуй, во всех смыслах. Они жили и работали отдельно, а также, по настоянию Пег, разделили счета, то есть моя тетя больше не могла претендовать на дядино баснословное ньюпортское наследство. Бабушка Моррис не понимала, как можно добровольно отказаться от такого состояния, и, вспоминая об этом, с нескрываемым разочарованием вздыхала: «Увы, деньги Пег никогда не интересовали». Она считала, что Пег и Билли не оформили развод, потому что не хотели утруждать себя формальностями – богема, что с них взять. А может, они по-прежнему любили друг друга? Если и так, это была любовь, которая горячее всего на расстоянии, когда супругов разделяет целый континент. «И нечего смеяться, – замечала бабушка. – Раздельное проживание спасло бы многие браки!»

Сам дядя Билли все мое детство где-то пропадал – то на гастролях, то в Калифорнии. И пропадал он с таким завидным постоянством, что я его даже ни разу не видела. Для меня Билли Бьюэлл был легендой: я знала его лишь по рассказам и фотографиям. Но что это были за рассказы – и что за фотографии! Мы с бабушкой Моррис постоянно натыкались на снимки Билли в таблоидах о жизни голливудских звезд и читали о нем в колонке сплетен Уолтера Уинчелла и Луэллы Парсонс. Однажды мы узнали, что он был гостем на свадьбе Джанет Макдональд и Джина Рэймонда, – восторгу нашему не было предела! В еженедельнике «Вэрайети» красовалась дядина фотография со свадебного приема. Он стоял за спиной блистательной Джанет Макдональд, на которой было свадебное платье нежнейшего розового оттенка. На фото Билли любезничал с Джинджер Роджерс и ее тогдашним мужем Лью Эйрсом. Бабушка ткнула в дядю пальцем и сказала: «Ты только глянь. Наш пострел везде поспел, колесит по всей стране. Смотри, как Джинджер ему

улыбается! Будь я Лью Эйрсом, глаз не сводила бы со своей женушки».

Я хорошенько разглядела фото с помощью бабушкиной лупы, украшенной драгоценными камушками. Красивый блондин во фраке слегка касался руки Джинджер Роджерс, а та буквально сияла от счастья. Надо сказать, дядя Билли гораздо больше походил на кинозвезду, чем окружавшие его настоящие кинозвезды.

Не верилось, что такой мужчина когда-то женился на тете Пег.

Пег, конечно, замечательная, но вполне обычная, домашняя. И что он в ней нашел?

Тети Пег нигде не было.

С прибытия поезда прошло уже немало времени, и я оставила надежду, что меня встретят на платформе. Отдав багаж служителю в красной шапочке, я нырнула в плотный людской поток, изо всех сил пытаюсь разглядеть в этом хаосе тетю. Ты, верно, решишь, что я струхнула, очутившись в Нью-Йорке одна без плана действий и сопровождающих, но я почему-то ни капли не испугалась. Я не сомневалась, что все закончится хорошо. Вероятно, причина в воспитании: девушки из хороших семей даже мысли не допускают, что в нужный момент никто не явится их спасти.

Наконец мне надоело бродить в толпе, я села на скамейку на самом видном месте в главном зале и стала ждать спасения.

И дождалась.

Спасителем оказалась невысокая седая дама в скромном сером костюме. Она ринулась ко мне, точно сенбернар к заплутавшему в снегах лыжнику, – с

целеустремленной сосредоточенностью и боевой решимостью.

Вообще-то, слово «скромный» описывает ее костюм недостаточно точно. Он напоминал двубортный квадратный шлакоблок. Такие костюмы специально придуманы с целью обдурить весь мир, убедив его, что у женщин нет груди, талии и бедер. Этот наряд могли сшить только в Англии. На него было страшно смотреть. Кроме того, на женщине были черные массивные оксфордские туфли на низком каблуке и старомодная зеленая войлочная шляпа – любимый фасон заведующих сиротскими приютами. Я знала такой типаж по школе: бедные старые девы, которые пьют какао за ужином и полощут горло соленой водой для повышения тонуса.

Серая мышь, скучная от макушки до пяток, а главное, намеренно скучная.

Дама-шлакоблок решительно шагала ко мне с суровым видом, держа в руках фотографию в затейливой серебряной раме пугающих размеров. Она взглянула на снимок, затем на меня.

– Вивиан Моррис? – спросила она. Чистейший британский выговор сообщил мне, что моя догадка верна и двубортный костюм действительно прибыл из Англии вместе со своей хозяйкой.

Я кивнула.

– Ты выросла, – сообщила дама.

Я недоуменно вытаращилась на нее. Она меня знает? А я ее? Мы встречались, когда я была маленькой?

Заметив мою растерянность, незнакомка продемонстрировала фотографию в серебряной раме, которую держала в руках. Я с удивлением обнаружила, что смотрю на наш семейный портрет, сделанный примерно за четыре года до этого. Его снимали в настоящей фотостудии, потому что моя мать решила, что нам всем необходим «хотя бы один нормальный портрет». Родители стояли с недовольным видом – еще

бы, ведь напротив них суетился за фотоаппаратом обычный трудяга, смущая их своей принадлежностью к рабочему классу. Мой братец Уолтер с задумчивым лицом опустил руку матери на плечо. Я была еще более худосочной, чем сейчас, и очень странно смотрелась в детском матросском костюмчике.

– Оливия Томпсон, – представилась дама голосом, свидетельствующим о том, что она привыкла делать подобные объявления. – Я секретарь твоей тети. Она не смогла приехать. В театре возникло ЧП. Небольшой пожар. Она отправила меня встретить тебя. Прости, что заставила ждать. Я уже несколько часов здесь хожу, но, поскольку для опознания мне дали только эту фотографию, найти получилось не сразу. Как видишь.

В тот момент меня разобрал смех, как и сейчас, когда я об этом вспоминаю. Мне показалась ужасно забавной картина, как суровая немолодая тетка бродит по Центральному вокзалу с гигантским семейным портретом в серебряной раме, который будто в спешке сорвали со стены богатого дома (собственно, так оно и было), и заглядывает каждому в лицо, пытаясь сопоставить стоящего перед ней человека с девочкой на фотографии, снятой четыре года назад. И как я раньше ее не заметила?

Но Оливия Томпсон явно считала, что ничего смешного тут нет.

Вскоре я узнала, что для нее такое поведение было типичным.

– Забери багаж, – скомандовала она. – И поедem в «Лили». Вечернее представление уже началось. Давай быстрее. И чтоб без фокусов.

Я послушно засеменила за ней – утенок, следующий за мамой-уткой.

Без фокусов.

В мыслях крутилось: «Небольшой пожар?» – но задавать вопросы не хватило духу.

Глава третья

Впервые приехать в Нью-Йорк можно только раз, Андже́ла, и это великое событие.

Ты, может, и не поймешь всей романтики, ведь ты в Нью-Йорке родилась. Для тебя наш прекрасный город существовал всегда. А может, ты любишь его гораздо больше, чем я, чувствуешь с ним особое родство, которого мне не понять. Одно знаю точно: тебе повезло, что ты выросла здесь. Но очень не повезло, что не случилось приехать сюда впервые. Тут я тебе сочувствую, ведь ты упустила самое невероятное впечатление в жизни.

Тем более если речь о Нью-Йорке в 1940 году.

Таким город не будет уже никогда. Я не хочу сказать, что до или после 1940-го Нью-Йорк был хуже или лучше. У каждого времени свой шарм. Но когда юная девушка приезжает в Нью-Йорк впервые, город словно рождается на ее глазах, отстраивается заново лишь для нее одной. И тот город, то место – второго такого Нью-Йорка не было и не будет. Он навек отпечата́лся в моей памяти, как засушенная под прессом орхидея. Мой идеальн́ый Нью-Йорк – он всегда останется таким.

У тебя есть свой идеальн́ый Нью-Йорк, у каждого он свой, – но тот город навечно принадлежит мне.

Дорога от Центрального вокзала до театра заняла совсем немного времени – мы пересекали город по прямой, – однако таксист вез нас через самое чрево Манхэттена, где новичку легче всего почувствовать пульс города. У меня разбежались глаза, я дрожала от волнения; хотелось рассмотреть все сразу. Но я вспомнила о хороших манерах и попыталась завести со своей сопровождающей светскую беседу. Оливия, впрочем, оказалась не из тех, кто испытывает потребность беспрерывно сотрясать воздух словами, и ее загадочные ответы лишь порождали новые вопросы,

которые, как подсказывало мне чутье, она не соизволит обсуждать.

– Давно вы работаете на тетю? – спросила я.

– С тех пор, как Моисей в пеленках лежал.

С минуту я переваривала ответ.

– И чем вы занимаетесь в театре?

– Ловлю все, что падает, пока не разбилось.

Некоторое время мы ехали в тишине, и я пыталась уложить в голове слова Оливии. Потом решилась возобновить разговор:

– А какой спектакль сейчас идет?

– «Жизнь с матерью». Мюзикл.

– О, кажется, я про него слышала!

– Вряд ли. Ты слышала про «Жизнь с отцом»^[3]. Бродвейская пьеса, была хитом в прошлом году. А у нас – «Жизнь с матерью». Мюзикл.

«А это законно?» – подумалось мне. Разве можно взять бродвейский хит, изменить одно слово в названии и поставить в другом театре? Оказалось, можно, если на дворе сороковые, а «другой» театр – это «Лили».

– А вдруг люди по ошибке купят билеты на ваш мюзикл, решив, что идут на «Жизнь с отцом»? – спросила я.

– Бывает, – хмыкнула Оливия. – Значит, им не повезло.

Тут я почувствовала себя маленькой надоедливой дурочкой и решила впредь молчать. Остаток пути я просто смотрела в окошко. Было невероятно увлекательно разглядывать город, проносящийся мимо. Куда ни повернись, открывались замечательные виды. Стоял чудесный летний вечер, было уже поздно, а нет ничего прекраснее позднего летнего вечера в центре Манхэттена. Только что прошел дождь. Над головой алело закатное небо. В окошке мелькали зеркальные небоскребы, неоновые вывески, блестящие мокрые улицы; по тротуарам бежали, шли, прогуливались и

фланировали люди. Высоченные экраны на Таймс-сквер изливали на прохожих ослепительно сияющий поток рекламы и свежайших новостей. Вспыхивали огнями торговые галереи, платные дансинги, кафетерии, театры и кинозалы, роскошью не уступающие дворцам. А я, как зачарованная, не могла отвести от них глаз.

Не доезжая Девятой авеню, мы свернули на Сорок первую улицу. Тогда она не блистала красотой; впрочем, и сейчас немногим лучше. Но в 1940-м вся улица состояла из хитросплетения пожарных лестниц и запасных выходов домов, чьи парадные фасады смотрели на Сороковую и Сорок вторую улицы. А в центре невзрачного квартала сияло огнями единственное здание – «Лили», театр моей тетушки, чьи подсвеченные афиши зазывали на «Жизнь с матерью».

До сих пор так и вижу его. Настоящая машина, построенная, как я теперь знаю, в стиле ар-нуво, но тогда просто поразившая меня своей громадой. Фойе явно должно было создавать впечатление вопиющей роскоши. Здесь царил торжественный полумрак: дорогие деревянные панели на стенах, лепные потолки, кроваво-красная напольная плитка и массивные старинные светильники от «Тиффани». Интерьер украшала пожелтевшая от табачного дыма роспись с изображениями полуголых нимф, забавляющихся с сатирами, – и одной из забавниц в скором времени явно грозили известные неприятности, если она не поостережется. Были там и картины, где мускулистые герои с толстенными икрами боролись с морскими чудищами, но сценки выглядели скорее эротично, чем воинственно (складывалось впечатление, будто цель схватки – вовсе не победа в бою, если ты меня понимаешь). В других сюжетах стенной росписи фигурировали дриады, которые грудью вперед высвобождались из древесных пут, пока в ручейке по соседству плескались наяды, с энтузиазмом поливая

водой голые торсы друг дружки. Резные колонны увивали мраморные виноградные гроздья и глициния – и, разумеется, лилии. Короче, обстановка была откровенно бордельная. И она сразу меня покорила.

– Пойдем прямо на спектакль. – Моя провожатая взглянула на часы. – Слава богу, он вот-вот кончится.

Она распахнула массивные двери, ведущие в зрительный зал. К моему огорчению, Оливия Томпсон воспринимала свое рабочее место с такой брезгливостью, будто ей противно здесь до чего-либо дотрагиваться, но я... я была совершенно очарована. Внутри театр поистине ошеломлял – громадный и сверкающий, как старинная шкатулка с драгоценностями, внутрь которой я ненароком попала. Меня восхищало решительно все: слегка покосившиеся подмости, ряды не слишком удобных кресел, тяжелый пурпурный занавес, тесная оркестровая яма, потолок с позолотой и массивная поблескивающая люстра, при взгляде на которую первым делом возникал вопрос: «А если она рухнет?..»

Здесь все было грандиозным, и все нуждалось в обновлении. Зал напомнил мне бабушку Моррис – не только из-за ее любви к роскошным старым театрам, но и потому, что сама она выглядела точно так же: старая, но с гонором и разодетая в поеденный молью бархат.

Мы стояли в глубине зала, прислонившись к стене, хотя свободных мест было предостаточно. Если честно, зрителей оказалось немногим больше, чем актеров на сцене. Оливия тоже это заметила. Посчитав публику по головам, она записала число в блокнотике, который выудила из кармана, и тяжело вздохнула.

На сцене тем временем творилось нечто невероятное. Видимо, мы действительно попали на самый финал, поскольку чуть ли не все актеры высыпали на подмости одновременно, и каждый вел свою партию. У задника смешанный кордебалет

отплясывал канкан; танцоры улыбались во весь рот и задирали ноги выше головы. В центре милостивый юноша и бойкая девушка отбивали чечетку с таким пылом, будто у них горели подметки; при этом парочка во весь голос распевала, что «теперь все будет хорошо, мой друг, ведь это-это-это любовь!». По левому флангу выстроилась колонна артисток бурлеска. Их костюмы и жесты балансировали на грани дозволенного цензурой, но роль в сюжете оставалась неясной (если допустить, что у постановки вообще был сюжет). Похоже, их задача состояла в том, чтобы, вытянувшись в струнку, медленно поворачиваться вокруг своей оси, дабы зритель мог в полной мере и со всех ракурсов насладиться их статями прекрасных амазонок. С другого края сцены мужчина в костюме бродяги жонглировал кеглями.

Даже для финала действие продолжалось очень долго. Гремел оркестр, отплясывал кордебалет, счастливая запыхавшаяся парочка никак не могла поверить в наступление безбрежного счастья, артистки бурлеска в медленном развороте демонстрировали свои фигуры, жонглер потел и подбрасывал кегли – и вдруг все инструменты слились в едином мощном аккорде, прожекторы завертелись, руки актеров одновременно взметнулись вверх, и все кончилось!

Раздались аплодисменты.

Не шквал оваций, нет. Скорее легкий шелестящий ветерок.

Оливия не аплодировала. Я из вежливости похлопала, хотя в глубине зала мои хлопки казались особенно одинокими. Впрочем, аплодисменты быстро стихли. Актерам пришлось покидать сцену в почти полной тишине, а это плохой знак. Публика мрачно проследовала мимо нас к выходу, словно горстка трудяг, бредущих домой после тяжелого рабочего дня (собственно, они ими и были).

– Думаете, им понравилось? – спросила я Оливию.
– Кому?
– Зрителям.
– Зрителям? – Оливия растерянно моргнула, словно раньше ей даже не приходило в голову, что у них есть свое мнение. Поразмыслив, она ответила: – Уясни одну вещь, Вивиан: у наших зрителей не бывает ни особых надежд на входе в «Лили», ни особых восторгов на выходе.
Судя по тону, она вполне одобряла такой расклад или, по крайней мере, давно с ним смирилась.
– Пошли, – сказала она. – Твоя тетя за кулисами.

Туда мы и отправились, нырнув в шум, гам и суету, которые неизменно поднимаются за сценой после спектакля. Все сновали туда-сюда, кричали, курили, переодевались. Танцовщицы подносили друг другу зажигалки, артистки бурлеска снимали головные уборы. Рядом несколько рабочих в комбинезонах таскали декорации, хоть и без особого рвения. То и дело раздавался громкий залиvistый смех, но не потому, что было над чем смеяться; просто вокруг были артисты, а они всегда не прочь повеселиться.

И тут я увидела свою тетю Пег. Высокую, дюжую, с папкой в руке. Ее каштановые с проседью волосы были коротко и неудачно подстрижены, отчего Пег смахивала на Элеонору Рузвельт, но с более волевым подбородком. На ней были длинная саржевая юбка цвета лососины и оксфордская рубашка – по всей видимости, мужская. А еще синие гольфы до колен и бежевые мокасины. Если по описанию костюм показался тебе безвкусным, Андже́ла, поверь, ты не ошиблась. Он был безвкусным тогда, безвкусен сейчас и останется безвкусным, даже когда погаснет солнце. Никому не под силу стильно выглядеть в саржевой юбке цвета лососины в

комплекте с голубой мужской рубашкой, гольфами и мокасами!

Тетин нелепый наряд казался еще более нелепым по контрасту с облачением двух восхитительно прекрасных артисток бурлеска, с которыми она говорила. Сценический грим придавал им неземной шик, на головах высились прически из сияющих локонов. Обе накинули поверх костюмов розовые шелковые халаты. Я еще ни разу не видела, чтобы женщины так откровенно выставляли себя напоказ. Одна из них, блондинка – заметь, платиновая, – обладала такой фигурой, что Джин Харлоу удавилась бы от зависти. Вторую, жгучую брюнетку, я заметила еще из глубины зала благодаря ее исключительной красоте. (Впрочем, особой зоркости не потребовалось: такую сногшибательную девицу заметил бы и марсианин со своего Марса.)

– Вивви! – воскликнула Пег и ослепительно улыбнулась, отчего на душе у меня сразу потеплело. – Малышка! Ты все-таки добралась!

«Малышка!»

Ни разу в жизни меня не называли малышкой, и по неведомой причине я так расчувствовалась, что захотелось броситься в тетины объятия и зарыдать. Как здорово было услышать это ее «все-таки добралась» – как будто меня хвалили за великое достижение! А ведь на самом деле список моих достижений ограничивался тем, что меня сначала вышвырнули из колледжа, потом из родительского дома и наконец я потерялась на Центральном вокзале. Но искренний восторг тети Пег пролился бальзамом мне на душу. В кои-то веки я пришлась ко двору. И не просто ко двору: мне были рады.

– С Оливией ты уже знакома. Она смотритель нашего зверинца, – пояснила Пег. – А это Глэдис, наша прима...

Платиновая блондинка улыбнулась, надула пузырь из жвачки и промурлыкала:

– При-иве-ет.

– ...и Селия Рэй из кордебалета.

Селия протянула изящную руку и глубоким голосом произнесла:

– Очень приятно. Я очарована.

Тембр у нее был просто невероятный. Дело было не только в сильном нью-йоркском акценте, но и в заметной хрипотце. Артистка варьете с голосом Лаки Лучано^[4]!

– Ты ужинала? – спросила Пег. – Небось с голоду умираешь?

– Да нет, – ответила я. – Не то чтобы умираю, хотя толком не ужинала.

– Тогда пошли скорее куда-нибудь! Опрокинем пару стаканчиков и наверстаем упущенное.

Тут вмешалась Оливия:

– Багаж Вивиан еще не доставили наверх, Пег. Чемоданы так и стоят в фойе. Девочка целый день провела в пути, ей наверняка хочется освежиться. А нам не мешало бы подумать над распределением ролей.

– Ребята сами принесут ее вещи, – отмахнулась Пег. – И выглядит она вполне свежо, как по мне. А над распределением ролей и думать нечего.

– Над распределением ролей всегда не мешает подумать.

– Завтра разберемся, – отрезала Пег, к вящему неудовольствию Оливии. – Не хочу я сейчас говорить о делах. Я бы сейчас убила за хороший обед, а еще больше мне хочется выпить. Давай все-таки выберемся, а?

Пег как будто просила у Оливии разрешения.

– Не сегодня, Пег, – твердо произнесла Оливия. – День выдался долгий. Девочка устала. Ей нужно отдохнуть и устроиться на новом месте. Наверху

Бернадетт приготовила мясной рулет, а я могу сделать бутерброды.

Пег, кажется, приуныла, но уже через минуту снова повеселела.

– Значит, идем наверх! – провозгласила она. – Давай, Вивви! Вперед!

Уже потом я узнала о своей тете одну интересную вещь: когда она говорила «идем», подразумевалось, что приглашаются все, кто находится непосредственно в зоне слышимости. За ней всегда тянулась толпа, и тетю не особенно заботило, из кого эта толпа состоит.

Вот почему тем вечером в жилых помещениях над театром ужинали не только мы с Пег и Оливией, но и Глэдис с Селией, артистки бурлеска. А еще тщедушный юноша, которого Пег в последнюю минуту перехватила на выходе из-за кулис. Я узнала в нем одного из танцоров кордебалета. Казалось, пареньку не больше четырнадцати и ужин ему совсем не повредит.

– Роланд, пойдем наверх, поешь с нами, – предложила тетя.

Роланд замялся:

– Спасибо, Пег, обойдусь.

– Не волнуйся, дорогой, еды у нас много. Бернадетт приготовила большой мясной рулет. На всех хватит.

Оливия было запротестовала, но Пег шикнула на нее:

– Ой, Оливия, довольно изображать надзирательницу! Если надо, я своей порцией поделюсь. Роланду не мешало бы поправиться, а мне похудеть, так что все в выигрыше. И дела у нас не так уж плохи. Можем позволить себе прокормить несколько лишних ртов.

Мы направились к выходу из зрительного зала, где широкая лестница вела наверх, в апартаменты над

театром. Поднимаясь по ступенькам, я таращилась на Селию и Глэдис, так называемых шоу-герлз. Таких красоток я в жизни не видела. В школе Эммы Уиллард тоже был театр, но там играли совсем другие девчонки. Из тех, кто никогда не моет голову, носит черные трико и воображает себя Медеей на сцене и в жизни. Я их терпеть не могла. А Глэдис и Селия – те принадлежали к особой категории. Даже особой расе. Меня завораживали их манера держаться, акцент, грим, движение бедер под шелковыми халатами. Кстати, Роланд двигался точно так же. Его жесты были плавными, он мягко покачивал бедрами. А как все они тараторили! Обрывки сплетен и слухов сыпались на меня, как дождик ярких конфетти.

– Да ничего в ней нет, кроме фигуры! – говорила Глэдис, видимо, о какой-то знакомой.

– Там и фигуры нет, – парировал Роланд, – только ноги.

– На одних ногах далеко не уедешь, – отвечала Глэдис.

– На сезон хватит, – встряла Селия, – хотя как знать.

– А ее кавалер еще хуже.

– О, этот дурень!

– Дурень-то дурень, а от халявного шампанского ни разу не отказался!

– Ей бы поставить его на место.

– На него где сядешь, там и слезешь.

– Сколько можно работать билетершей?

– Но вы видели ее кольцо? Такой бриллиант ого-го сколько стоит.

– Лучше бы трезво поразмыслила о будущем.

– Лучше нашла бы себе богатого папика из глухомани.

О чем шла речь? Что имелось в виду? Кто эта бедняжка, которой перемывали косточки? Какое будущее светит простой билетерше, которая не умеет

трезво мыслить? Кто подарил ей кольцо с бриллиантом? И откуда берется халявное шампанское? Все эти вопросы несказанно меня волновали. Ведь это же так важно! И что еще за «папик из глухомани»?

Никогда еще я так отчаянно не жаждала услышать окончание истории, а ведь у нее даже не было сюжета – лишь безымянные персонажи, намеки на действие и атмосфера надвигающегося кризиса. Сердце пустилось вскачь – да и как тут устоять девятнадцатилетней балбеске вроде меня, которая в жизни не думала ни о чем серьезном!

Мы вышли на тускло освещенную лестничную площадку, Пег отперла дверь и впустила нас внутрь.

– Вот ты и дома, малышка, – сказала она.

«Дом» тети Пег занимал третий и четвертый этажи театра «Лили». Здесь располагались жилые помещения, а на втором этаже, как я потом узнала, была контора. Первый этаж занимал сам театр: фойе и зрительный зал, их я тебе уже описывала. Но третий и четвертый этажи служили домом. Там мы и расположились.

Мне хватило одного взгляда, чтобы понять: Пег ничего не смыслит в дизайне интерьеров. Если допустить, что она обставляла комнаты по своему вкусу, а не как придется, то вкус у нее явно хромал: повсюду громоздилась массивная антикварная мебель, давно вышедшая из моды и дополненная стульями от разных гарнитуров. Все это было расставлено без всякой системы. Как и в доме моих родителей, на стенах висели мрачные темные картины, видимо доставшиеся по наследству от кого-то из родственников, – выцветшие гравюры с лошадьми и портреты чопорных старых квакеров. Серебро и фарфор тоже присутствовали, как и у нас дома, – подсвечники, сервизы и прочая утварь, с виду иногда даже

недешевая, хотя как знать? Все эти вещицы казались чужими и нелюбимыми. Зато повсюду стояли пепельницы, и вот они-то выглядели так, будто ими часто пользуются и очень их любят.

Не могу сказать, что там была совсем уж дыра: не грязно, а просто как-то бестолково. По пути мы миновали столовую – точнее, комнату, которая в любом другом доме называлась бы столовой, но у тети Пег вместо большого обеденного стола посреди комнаты размещался стол для пинг-понга. Еще больше меня удивило, что прямо над ним нависала громадная люстра, которая наверняка мешала играть.

Наконец мы расположились в просторной гостиной – такой большой, что сюда поместилось довольно много мебели и даже рояль, бесцеремонно втиснутый в угол.

– Кто-нибудь хочет выпить? – спросила Пег, направляясь к бару. – Мартини? Кому? Всем?

Нестройный хор голосов подтвердил, что все хотят мартини.

Вернее, почти все. Оливия от выпивки отказалась и хмуро уставилась на Пег, смешивающую коктейли. Она будто подсчитывала в уме стоимость каждой порции вплоть до полпенни (не исключено, что именно этим она и занималась).

Тетя вручила мне мартини, словно мы с ней всю жизнь вместе выпивали и это самое обычное дело. К собственному удовольствию, я почувствовала себя совсем взрослой. Мои родители тоже пили (ну еще бы, а какой белый англосакс не пьет?), но меня никогда не приглашали. Приходилось прикладываться тайком. Теперь, видимо, не придется.

Чин-чин!

– Пойдем, покажу тебе твои комнаты, – сказала Оливия.

Я последовала за ней по коридору, узкому, как кроличья нора. В конце коридора была дверь, ее-то

Оливия и открыла.

– Это квартира твоего дяди Билли. Пег решила поселить тебя здесь.

Я удивилась:

– У дяди Билли есть тут квартира?

Оливия вздохнула:

– Твоя тетя питает к мужу такие нежные чувства, что держит для него эти апартаменты, чтобы ему было где остановиться, случись он проездом в городе.

Возможно, мне показалось, но «нежные чувства» Оливия произнесла таким тоном, каким обычно говорят «неизлечимая сыпь».

Что ж, спасибо тете Пег за любовь к дяде Билли: его квартира оказалась чудесной. В отличие от других помещений наверху, ее не захламляла уродливая мебель, наоборот – здесь чувствовался стиль. Маленькую гостиную с камином дополнял красивый письменный стол из черного лакированного дерева, на котором стояла печатная машинка. На полу спальни – с окнами на Сорок первую улицу и двуспальной кроватью из хромированного металла и темного дерева – лежал белоснежный ковер. Прежде я никогда не стояла на белом ковре. К спальне примыкала просторная гардеробная с большим зеркалом в хромированной раме и абсолютно пустым новеньким шкафом. В углу я заметила маленькую раковину. Везде было безупречно чисто.

– Отдельной ванной комнаты тут нет, к сожалению, – сообщила Оливия, пока рабочие в комбине зонах заносили мои чемоданы и швейную машинку в гостиную. – Через коридор – общая ванная, будешь пользоваться ею пополам с Селией, она тут тоже временно живет. В другом крыле – квартиры мистера Герберта и Бенджамина. У них своя ванная.

Я понятия не имела, кто такие мистер Герберт и Бенджамин, но сообразила, что вскоре нам предстоит

познакомиться.

– А вдруг квартира понадобится Билли?

– Сильно сомневаюсь.

– Точно? Если он приедет и захочет пожить здесь, я, конечно, могу переселиться и в другую комнату... Я к тому, что апартаменты шикарные, мне подойдет и попроще.

Я лгала. Я хотела жить именно в этой квартире, жаждала ее всем сердцем и в мечтах уже видела своей. Здесь я, Вивиан Моррис, добьюсь чего угодно!

– Твой дядя не появлялся в Нью-Йорке уже четыре года, – отчеканила Оливия, сверля меня своим фирменным взглядом: будто она просматривает мысли собеседника, как кинохронику. – Можешь располагаться и не тревожиться на его счет.

Какое счастье!

Я достала самое необходимое, умылась, припудрила нос, причесалась и вернулась в большую захламленную гостиную. В мир Пег, полный новизны и шумной суеты.

Оливия пошла на кухню и принесла маленький мясной рулет, гарнированный пожухлыми салатными листьями. Она верно рассчитала, что его на всех не хватит. Но вскоре вернулась с колбасой и хлебом, половинкой обглоданной курицы, блюдцем маринованных огурчиков и бумажными коробочками с остывшей китайской едой. Кто-то открыл окно и включил небольшой вентилятор, но в комнате по-прежнему было жарко и душно.

– Ешьте, детки, – сказала Пег, – берите, сколько кому надо.

Глэдис и Роланд набросились на мясной рулет, точно пара голодных крестьян. Я выбрала китайское рагу из свинины. Селия к еде не притронулась и молча

сидела на диване, держа в одной руке бокал с мартини, а в другой – сигарету. Воплощенная грация.

– Как прошло начало спектакля? – спросила Оливия. – Я только конец застала.

– До «Короля Лира» не дотягивает, – пожалала плечами Пег. – Но самую чуточку.

И без того хмурая Оливия нахмурилась еще сильнее:

– Что-то случилось?

– Да ничего не случилось, – отмахнулась Пег. – Совершенно проходной спектакль, но горевать тут не о чем. Он с самого начала был проходным. Никто из зрителей не пострадал. Все ушли на своих двоих. К тому же на следующей неделе у нас новая постановка, так что уже не важно.

– А отчет по кассе? Сколько собрали за дневной спектакль?

– Чем меньше мы будем говорить об этом, тем лучше, – заметила Пег.

– Сколько мы выручили, Пег?

– Не спрашивай о том, чего не хочешь знать, Оливия.

– Но я должна знать. С такой аудиторией, как сегодня, мы долго не протянем.

– И вот это ты называешь аудиторией? Какая прелесть! На пятичасовом я насчитала сорок семь человек.

– Пег! Этого слишком мало!

– Оливия, не дрейфь. Летом всегда меньше народу. И нам ли жаловаться? Хотели бы собирать стадионы – устраивали бы бейсбольные матчи. Или раскошелились на кондиционер. Давай-ка лучше сосредоточимся на новом шоу: на следующей неделе премьера спектакля про южные моря. Если кордебалет начнет репетировать завтра с утра, ко вторнику управится.

– Только не завтра с утра, – возразила Оливия. – Завтра у нас детская танцевальная студия. Я сдала зал.

– Вот умница. Мне бы твою смекалку. Значит, завтра вечером.

– И вечером нельзя. Я опять сдала зал. Под уроки плавания.

Пег оторопела:

– Уроки плавания? Здесь?

– Муниципальная программа. Детей из окрестных домов учат плавать.

– Плавать? Оливия, они зальют сцену водой?

– Разумеется, нет. Это называется сухое плавание. Уроки проходят без воды.

– То есть плавание преподают как теоретическую науку?!

– Вроде того. Обучают самым основам. Дети сидят на стульях. Все это оплачивается из городской казны.

– Ясно. Давай так: сообщи Глэдис, когда зал свободен. Когда нет ни детских танцевальных классов, ни уроков сухого плавания и можно назначить репетицию, чтобы наконец запустить в работу шоу про южные моря.

– После обеда в понедельник, – с ходу ответила Оливия.

– После обеда в понедельник, Глэдис! – окликнула Пег приму бурлеска. – Слышишь? Сможешь всех собрать?

– Все равно я не люблю репетировать утром, – буркнула Глэдис. Я не поняла, значит это «да» или «нет».

– Ничего сложного придумывать не надо, Глэдди, – сказала Пег. – Кусочек оттуда, кусочек отсюда – ты знаешь, как это делается.

– Я тоже хочу участвовать, – подал голос Роланд.

– Все хотят, Роланд, – ответила Пег и пояснила для меня: – Ребята любят спектакли про экзотические страны, Вивви. Потому что в них самые красивые костюмы. В этом году мы ставили пьесы про Индию,

китайскую горничную и испанскую танцовщицу. Однажды запустили мюзикл об эскимосской любви, но вышло не очень. Эскимосские наряды никого не украшают, мягко говоря. Сплошной мех, сама понимаешь. Тяжеленные такие. Да и песни не удались. Рифма «снежный – нежный» повторялась столько раз, что под конец у всех уши разболелись.

– Ты мог бы сыграть гавайскую танцовщицу, Роланд, – с улыбкой заметила Глэдис.

– Еще бы! Из меня выйдет отличная гавайская танцовщица! – Роланд игриво покрутил бедрами.

– О да, – согласилась Глэдис. – И ты такой тоненький, того и гляди ветром унесет. Нам нельзя стоять рядом на сцене: по сравнению с тобой я громадная жирная корова.

– Ты и впрямь набрала вес, Глэдис, – вставила Оливия. – Не ешь все подряд, а то на тебе костюм лопнет.

– Между прочим, еда фигуре не помеха! – запротестовала Глэдис и потянулась за добавкой мясного рулета. – Я в журнале прочитала. Толстеют от кофе! Вот его и надо ограничивать.

– Тебе не кофе надо ограничивать, а мартини, – ухмыльнулся Роланд. – Пьянеешь с одного бокала.

– Что правда, то правда, – согласилась Глэдис. – Это про меня все знают. Но посмотрим с другой стороны: если бы я не пьянела с одного бокала, в моей жизни было бы куда меньше секса! – Она обратилась к подруге: – Одолжи-ка мне помаду, Селия.

Та молча достала тюбик из кармана шелкового халата и протянула девушке. Глэдис накрасила губы самым сочным оттенком красного, который я только видела в жизни, и крепко расцеловала Роланда в обе щеки, оставив на них четкие отпечатки губ.

– Ну вот, Роланд. Теперь ты самая симпатичная девчонка среди нас.

Роланд и не думал возражать. Он напоминал фарфоровую куколку и даже, кажется, выщипывал брови (что не ускользнуло от моего экспертного взгляда). Меня поразило, что он даже не пытается вести себя по-мужски. Во время разговора он манерно жестикулировал, точно юная дебютантка. И даже не вытер помаду со щек! Он будто сознательно хотел быть похожим на девушку. (Прости мою наивность, Анджела, – в девятнадцать мне еще не доводилось сталкиваться с людьми, предпочитающими однополую любовь. По крайней мере, с мужчинами. Лесбиянок-то я видела сколько угодно. Все-таки год в Вассаре не прошел даром: даже я была не настолько наивной.)

Тут Пег переключилась на меня:

– Итак! Вивиан Луиза Моррис! Чем же ты намерена заняться в Нью-Йорке?

Чем я намерена заняться? Да вот этим самым! Распивать мартини с артистками бурлеска, слушать рассказы о театре и сплетни мальчиков, похожих на девочек! А еще – познакомиться с теми, у кого в жизни много секса!

Но вслух я этого, конечно, не произнесла. Мне удалось успешно вывернуться:

– Для начала я хочу немножко осмотреться. Понять, что к чему.

Теперь все уставились на меня. Ждали продолжения? Но какого?

– Я ведь совсем не ориентируюсь в Нью-Йорке, вот в чем главная беда, – добавила я, чувствуя себя полной идиоткой.

В ответ на мою глупую реплику тетя Пег взяла салфетку и набросала на ней карту Манхэттена. Жаль, что я не догадалась сохранить тот рисунок, Анджела. Ни до, ни после мне не доводилось видеть схемы прелестнее. Тетя изобразила остров в виде кривой морковки с темным прямоугольником посередине,

обозначавшим Центральный парк; тонкими волнистыми линиями были отмечены реки Гудзон и Ист-Ривер; значком доллара в самом низу – Уолл-стрит; музыкальной ноткой вверху – Гарлем, а яркая звездочка в самом центре указывала место, где мы сейчас находились: Таймс-сквер. Центр мира!

– Вот, – сказала тетя, – теперь не заблудишься. Малышка, потеряться на Манхэттене невозможно. Просто читай названия улиц. Они пронумерованы по порядку – проще некуда. И помни, что Манхэттен является островом. Люди часто об этом забывают. В какую сторону ни пойдешь, упрешься в берег. Увидишь реку – поворачивай назад и шагай в противоположном направлении. Запросто сориентируешься. Тут и тупица разберется.

– Даже Глэдис разобралась, – поддакнул Роланд.

– Полегче, солнышко, – осадила его Глэдис. – Я родом отсюда.

– Спасибо! – Я сунула салфетку в карман. – А если вам нужна помощь в театре, я буду только рада поучаствовать.

– Ты хочешь помочь? – Кажется, Пег удивилась. Она явно на меня не рассчитывала. Интересно, что родители обо мне наплели? – Что ж, тогда подключайся к Оливии в конторе, если тебе не претит бумажная работа. Счета и всякое такое.

Услыхав это предложение, Оливия побелела, и я, боюсь, тоже. Меньше всего на свете мне хотелось помогать Оливии, да и она не горела желанием брать меня в напарницы.

– Или можешь работать в кассе, – продолжала Пег, – продавать билеты. Петь ты, конечно, не умеешь? Да и с чего бы. В нашей семье певцов отродясь не водилось.

– Я умею шить, – сказала я.

Наверное, я говорила слишком тихо, потому что никто даже не обратил внимания на мои слова.

– Пег, а почему бы не записать Вивиан в школу Кэтрин Гиббс, где учат на машинисток? – предложила Оливия.

Пег, Глэдис и Селия хором застонали.

– Оливия каждую из нас пытается засунуть в школу Кэтрин Гиббс на курсы машинисток, – пояснила Глэдис и поежилась в притворном ужасе, будто учиться печатать не легче, чем махать кайлом в лагере для военнопленных.

– Кэтрин Гиббс заботится о повышении занятости среди женщин, – парировала Оливия. – Девушки достойны востребованной профессии.

– У меня есть профессия, хоть я и не машинистка, – возразила Глэдис. – И я очень востребована! Востребована вами! Вы же сами меня и наняли!

– Артистка бурлеска – не профессия, Глэдис, – ответила Оливия. – Сегодня работа есть, завтра ее нет. Совершенно ненадежное занятие. А вот секретарши везде нужны.

– Я не просто артистка бурлеска, – с оскорбленным видом поправила Глэдис. – Я ведущая солистка кордебалета. Ведущая солистка без работы не останется! И вообще, если у меня кончатся деньги, я просто выйду замуж.

– Не вздумай учиться на машинистку, малышка, – сказала Пег, обращаясь ко мне. – А если и выучишься, никому не признавайся, иначе тебя засадят за пишущую машинку до конца твоих дней. Хуже только профессия стенографистки. Все равно что заживо себя похоронить. Стоит взять в руки блокнот для стенографии, и уже от него не избавишься.

И тут – впервые с тех пор, как мы поднялись вверх, – неземное создание, сидевшее на диване в другом конце гостиной, внезапно заговорило.

– Ты, кажется, сказала, что умеешь шить? – спросила Селия.

Я снова удивилась, насколько низкий у нее голос. Теперь она еще и смотрела прямо на меня, отчего я слегка струхнула. Не хотелось бы, говоря о Селии, злоупотреблять эпитетом «знойная», но ничего не поделаешь: от нее действительно исходил жар, даже когда она не прикладывала специальных усилий. Выдержать ее горячий взгляд оказалось непросто, поэтому я просто кивнула ей, а ответ адресовала в сторону Пег, как более безопасную:

- Да, умею. Меня бабушка Моррис научила.
- И что ты умеешь? - спросила Селия.
- Ну, например, я сама сшила вот это платье.
- Ты сама сшила это платье?! - взвизгнула Глэдис.

Они с Роландом накинулись на меня, как поступали все девчонки, узнав, что мой наряд изготовлен собственноручно. Оба принялись теревить и ощупывать меня со всех сторон, этакie прелестные маленькие обезьянки.

- Неужели правда сама? - повторяла Глэдис.
- Даже кантики? - восторгался Роланд.

Мне хотелось ответить: «Да это ерунда!» - ведь мне удавались и куда более сложные модели, а это простенькое платьице, при всей его прелести, не потребовало особых трудов. Однако я побоялась выглядеть заносчиво, поэтому просто сказала:

- Всю свою одежду я шью сама.

Селия снова заговорила из противоположного угла гостиной:

- А как насчет костюмов для театра?
- Смотря какие костюмы, но, пожалуй, я справлюсь.

Селия встала и произнесла:

- Вот такой сделаешь? - Она сбросила халат, и тот упал на пол, открывая взгляду ее сценический наряд.

(Знаю, фраза «сбросила халат» звучит слишком картинно, но Селия и правда не снимала одежду, как

другие смертные женщины, – она сбрасывала ее. Всегда.)

Фигура у нее была потрясающая, а вот костюм не представлял собой ничего особенного: нечто вроде раздельного купальника из блестящей ткани. Такие вещи всегда лучше смотрятся издали, чем вблизи: шортики с высокой талией, расшитые яркими пайетками, и бюстгальтер в стеклярусе и перьях. На Селии костюм выглядел отлично, но на ней и больничная ночнушка выглядела бы отлично. Если честно, шортики не мешало бы подогнать по фигуре. Да и бретельки лифа были пришиты криво.

– Да, такой сделаю, – кивнула я. – Со стеклярусом придется повозиться, но это всего лишь украшение. А сама модель очень простая. – Тут меня осенило, словно молния озарила ночное небо: – Слушайте, а если у вас есть художница по костюмам, можно мне с ней поработать? Я стала бы ее ассистенткой!

Раздался дружный хохот.

– Художница по костюмам? – воскликнула Глэдис. – По-твоему, у нас здесь «Парамаунт пикчерз»? Думаешь, мы прячем в подвале Эдит Хэд^[5]?

– Девушки сами отвечают за свои наряды, – пояснила Пег. – Если в костюмерной ничего не найдется – а у нас там ничего и нет, – приходится справляться собственными силами. Конечно, влетает в копеечку, но так уж заведено. Вот этот костюм, Селия, – он у тебя откуда?

– Купила у одной девчонки. Помнишь Ивлин из «Эль Марокко»? Она вышла замуж, в Техас переехала. Оставила мне целый чемодан костюмов. Вот уж свезло так свезло.

– Еще как свезло, – хмыкнул Роланд. – Свезло, что триппер от нее не подцепила.

– Брось, Роланд, – вмешалась Глэдис. – Ивлин не такая. Тебе просто завидно, что она умудрилась

выскочить замуж за ковбоя.

– Если поможешь девочкам с гардеробом, Вивиан, все будут только счастливы, – заверила Пег.

– А сумеешь сделать мне костюм для спектакля про южные моря? – спросила Глэдис. – Как у гавайской танцовщицы?

Еще бы спросила шеф-повара, сумеет ли он сварить кашу.

– Без проблем, – ответила я. – Завтра и сделаю.

– А мне? – подскочил Роланд.

– Бюджета на новые костюмы нет, – предупредила Оливия. – Мы так не договаривались.

– Ах, Оливия, – вздохнула Пег, – из тебя получилась бы отличная жена викария. Не порти деткам веселье.

Я невольно обратила внимание, что с самого начала разговора Селия не сводит с меня глаз. Ее внимание одновременно и пугало, и приводило в трепет.

– А знаешь, Вивиан, – изрекла она, пристально меня изучив, – ты хорошенькая.

Справедливости ради скажу, что обычно мою миловидность замечали раньше. Но разве станешь обвинять в невнимании обладательницу такого лица и такой фигуры, как у Селии?

– Мне даже кажется, мы с тобой похожи, – добавила она и впервые за вечер улыбнулась.

Признаюсь честно, Анджела: ничего подобного.

Селия Рэй была богиней; я – неуклюжим подростком. Хотя, строго говоря, некоторое сходство все-таки имелось: я тоже была высокой брюнеткой со светлой кожей и широко посаженными карими глазами. Мы сошли бы за двоюродных сестер, но уж никак не родных, а тем более не близнецов. Фигуры у нас различались кардинально: у Селии – соблазнительные округлости, у меня – сплошь острые углы. Но ее слова мне польстили. Впрочем, я до сих пор уверена, что Селия Рэй обратила на меня внимание по одной-

единственной причине: мы действительно были чуточку похожи, самую малость. Это ее и привлекло. Для столь тщеславной особы, как Селия, я служила лишь отражением в зеркале, пусть даже очень мутном и очень далеком. А Селия не встречала зеркала, которое ей не нравилось бы.

– Надо бы нам с тобой одинаково одеться и пройтись по барам! – заявила она. И снова меня поразил ее голос: низкий, грудной, по-кошачьи бархатистый и с сильным бронкским акцентом. – Уж мы-то найдем приключений на свою голову!

Я даже понятия не имела, как реагировать. Просто сидела и хлопала глазами, как глупая школьница, которой совсем недавно была.

Что до тети Пег – между прочим, моей законной опекуни, – то она, услышав столь несправедный призыв, воскликнула:

– Отличная идея, девочки!

Пег подошла к бару и принялась смешивать очередной мартини, но тут Оливия положила вечеринке конец. Суровая смотрительница театра «Лили» встала, хлопнула в ладоши и объявила:

– Довольно! Пег нужно немедленно в кровать, иначе утром она не поднимется.

– Да чтоб тебя, Оливия! Сейчас ты у меня в глаз схлопочешь! – пригрозила тетя.

– Марш спать, Пег, – повторила неумолимая Оливия и для пущей остроты потянула тетю за кушак. – И немедленно.

Присутствующие потянулись к выходу, наперебой желая друг другу спокойной ночи.

Я вернулась в свою квартиру (подумать только, в свою квартиру!) и продолжила разбирать чемодан. Но никак не могла сосредоточиться. Голова гудела от восторга и волнения.

Пег заглянула ко мне, когда я развешивала платья в гардеробе.

– Как устроилась? – спросила тетя, оглядывая безукоризненную квартиру Билли.

– Мне так здесь нравится! Прекрасное место.

– О да. У Билли губа не дура.

– Пег, можно вопрос?

– Конечно.

– А как насчет пожара?

– Какого пожара, малышка?

– Оливия сказала, что сегодня в театре был пожар. Вот я и хотела узнать, все ли в порядке.

– Ах, ты об этом! Ничего страшного, просто старые декорации вспыхнули на заднем дворе. У меня есть друзья в пожарной части, мы быстро все потушили. Господи, неужели это случилось сегодня? Я уже и думать забыла. – Пег потерла глаза. – Что ж, малышка, вскоре ты узнаешь, что в театре «Лили» вся жизнь состоит из череды маленьких пожаров. А теперь спать, иначе Оливия сдаст тебя полиции.

И я отправилась спать. То была моя первая ночь в Нью-Йорке и первая (но далеко не последняя) ночь в постели чужого мужчины.

Даже не помню, кто в тот вечер убирал со стола и мыл посуду.

Наверняка Оливия.

Глава четвертая

Всего за две недели со дня переезда в Нью-Йорк моя жизнь перевернулась с ног на голову. Помимо всего прочего, я лишилась девственности. Это ужасно смешная история, Анджела, и вскоре я тебе ее расскажу, если наберешься терпения.

Потому что первым делом я хочу заметить, что театр «Лили» нельзя было сравнить ни с одним из мест, где мне доводилось жить. Здесь царила круговерть роскоши и нищеты, веселья и безумия, и взрослые вели

себя как дети. О порядке и режиме, к которым меня настойчиво приучали дома и в школе, тут слыхом не слыхивали. В «Лили» никто даже не пытался поддерживать нормальный ритм степенного взрослого существования – никто, кроме, пожалуй, бедняжки Оливии. Нормой считались пьянки и кутежи. Обедали и ужинали когда придется. Спали до полудня. Работа могла начаться в любое время, хотя, в сущности, она и не заканчивалась: каждый день был одновременно выходным и рабочим. Планы менялись в одночасье, гости приходили и уходили, не здороваясь и не прощаясь, а обязанности распределялись совершенно непонятным образом.

Вскоре я, к собственному изумлению, обнаружила, что никто не следит за моими перемещениями и я могу уходить и приходить когда вздумается. Ни перед кем не надо было отчитываться, от меня ничего не ждали. Я вызвалась помочь с костюмами? Прекрасно, но официально меня на работу не нанимали. Комендантского часа в театре не было, по головам нас перед сном не считали. Никакой охраны, никакой строгой мамочки.

Полная свобода.

Разумеется, формально тетя Пег несла за меня ответственность как кровная родственница, которой родители поручили заботу обо мне. Но тетя не слишком лезла в мои дела, и это еще мягко говоря. На самом деле тетя оказалась первым свободомыслящим человеком, которого я встретила в жизни: она считала, что люди должны распоряжаться своей жизнью самостоятельно. До приезда в Нью-Йорк я о таком и помыслить не могла.

В тетином мире царил хаос, но это ничуть не мешало ей работать и жить. Несмотря на полное отсутствие порядка, она умудрялась давать два спектакля в день – дневной (он начинался в пять часов,

и ходили на него в основном женщины и дети) и вечерний (начало в восемь, сюжет посмелее и предназначен для публики постарше, главным образом мужского пола). По воскресеньям и средам играли утренники, а в субботу в полдень устраивали бесплатное шоу с фокусами для местных детишек. В остальное время Оливия сдавала зал различным местным кружкам и студиям, но на уроках сухого плавания никто еще не разбогател, поэтому доход с аренды был невелик.

Все наши зрители жили тут же, на близлежащих улицах. В те времена соседи действительно друг друга знали. Вокруг «Лили» обитали в основном ирландцы и итальянцы, католики из Восточной Европы и довольно много евреев. Четырехэтажные многоквартирные дома ломились от свежее испеченных эмигрантов, и под «ломились» я имею в виду, что в одной квартире порой ютились двенадцать человек. Вот почему Пег старалась избегать мудреных слов в постановках: не все наши зрители как следует знали английский. Да и актерам было легче заучивать реплики, ведь наши исполнители в шекспировских театрах не стажировались.

Туристы и критики в «Лили» не заглядывали; не жаловали его и так называемые театралы. У нас был рабочий театр для рабочего люда. Пег не позволяла актерам обманываться и что-то из себя изображать. «Хороший канкан лучше плохого Шекспира», – любила говорить она. В «Лили» и впрямь отсутствовали приметы типичного бродвейского театра: мы не выезжали на гастроли, не закатывали роскошных вечеринок в дни премьер. Не закрывались в августе, как большинство приличных заведений. (Наши зрители не катались на курорты, не катались и мы.) Мы работали даже по понедельникам. «Лили» скорее напоминал конвейер, где развлечения бесперебойно подавались день за днем круглый год. И пока цены на билеты были

сравнимы с ценами ближайших кинотеатров – наряду с торговыми галереями и подпольными карточными притонами, кинотеатры являлись нашими главными конкурентами в борьбе за рабочий доллар, – в зале всегда сидела публика.

Традиционный бурлеск в «Лили» не показывали, но многие из наших танцовщиц когда-то работали в подобных заведениях и не стеснялись продемонстрировать свои умения. Не ставили мы и водевили, потому что к тому моменту жанр почти канул в Лету. Впрочем, наши наспех сработанные музыкальные комедии очень напоминали водевиль. По правде говоря, назвать их пьесами или спектаклями можно было с большой натяжкой. Тут скорее подходит определение «ревю»: коктейль из сюжетов, песен, скетчей и танцевальных номеров, которые служили лишь предлогом для финального воссоединения влюбленных и зажигательного канкана, где танцовщицы показывали стройные ножки. (Наши возможности в любом случае ограничивались скромным набором декораций из трех комплектов. Действие всех шоу разворачивалось или на городском перекрестке девятнадцатого века, или в элегантной великосветской гостиной, или на океанском лайнере.)

Раз в две-три недели Пег меняла репертуар, но по сути спектакли оставались прежними и по-прежнему незапоминающимися. (Как?! Неужели ты никогда не слышала о пьесе «До белого каления» о парочке беспризорников, которые влюбились друг в друга? Ну еще бы! Она шла в «Лили» всего две недели, после чего ее сменило шоу с почти таким же сюжетом – «Успеть на пароход». Действие, понятное дело, происходило на океанском лайнере.)

– Поверь, если бы рецепт поддавался улучшению, я бы его улучшила, – призналась однажды Пег. – Но он и без того работает.

Рецепт состоял в следующем.

Доставить удовольствие публике (или хотя бы ненадолго отвлечь ее от будничных проблем) изложением короткой (ни в коем случае не дольше сорока пяти минут!) истории любви. Взять на главные роли симпатичную парочку актеров, которые умеют танцевать чечетку и петь. Пусть им не дает воссоединиться некий злодей – обычно банкир или гангстер (идея одна, костюмы разные). Злодей скрежещет зубами и строит всяческие козни влюбленным. В какой-то момент на сцене непременно возникает разлучница с огромным бюстом: она строит глазки главному герою, но для него существует лишь одна девушка – его возлюбленная. Далее красавец сердцеед безуспешно попытается отбить героиню у нашего парня. Для комического эффекта необходим пьяный бродяга с нарисованной при помощи жженой пробки щетиной. Нужна как минимум одна мечтательная любовная баллада, где «луна» рифмуется с «пьяна». Заканчивается все, естественно, канканом.

Аплодисменты, занавес, еще раз повторить на вечернем спектакле.

Театральные критики старательно делали вид, что не замечают нашего существования. Пожалуй, так было лучше для всех.

Не думай, что я невысокого мнения о постановках Пег. Я обожала эти шоу. Все на свете отдала бы, лишь бы сидеть на заднем ряду обветшалого старого театра и смотреть их снова и снова. Ни до, ни после я не видела ничего лучше этих простых и веселых спектаклей. Они делали меня счастливой. Их единственное предназначение заключалось в том, чтобы делать людей счастливыми, и для этого не нужно было вникать в сюжет и даже понимать, что происходит на сцене. В траншеях Первой мировой, ставя веселые пьески с музыкой и танцами для солдат, которые только что

потеряли ногу или обожгли глотку ипритом, Пег усвоила важную вещь: иногда людям просто необходимо отвлечься.

Задача театра «Лили» состояла в том, чтобы дать им такую возможность.

Что до актерского состава, во всех наших постановках участвовали восемь танцоров: четверо парней и четыре девушки. Плюс четыре шоу-герлз – гвоздь программы. Ради них к нам и ходили. Если тебе интересно, в чем разница между обычной танцовщицей и шоу-герл, знай: разница в росте. Рост артистки бурлеска составляет не меньше пяти с половиной футов. Причем без каблуков и головного убора. Кроме того, артистки бурлеска гораздо красивее обычных танцовщиц.

И чтобы еще больше тебя запутать: иногда артистки бурлеска танцуют в кордебалете (как наша ведущая солистка Глэдис), но танцовщицы кордебалета никогда не выступают в бурлеске. Для этого им не хватает роста и красоты, и никакие ухищрения тут не работают. Ни грим, ни подкладки в лифчик никогда не поставят умеренно привлекательную танцовщицу среднего роста на одну ступень с роскошной амазонкой, какой была нью-йоркская шоу-герл середины двадцатого века!

Многие артистки кабаре на дороге к славе прошли через «Лили». Кое-кто начинал у нас, а потом устроился в «Радио-сити» или «Алмазную подкову»^[6]. Некоторые даже стали солистками. Но чаще девушки попадали к нам на пути вниз, а не вверх. (Самое героическое и душещипательное зрелище на свете – стареющие звезды «Радио-сити», которые пробуются в кордебалет простецкой пьески «Успеть на пароход».)

Была у нас и небольшая постоянная труппа, развлекавшая скромную публику «Лили» из года в год.

Дольше всех в «Лили» работала Глэдис. Она изобрела танец под названием «попотряс», настолько полюбившийся публике, что он стал неотъемлемой частью каждого спектакля. Да и кто устоит, когда целая толпа девушек дефилирует по сцене, потряхивая самыми выдающимися частями тела.

– Попотряс! – кричали зрители, вызывая танцовщиц на бис, и те были рады им угодить.

Нам случалось замечать, как соседские детишки исполняют этот танец по пути в школу.

Можно сказать, он стал нашим культурным достоянием.

Я бы хотела объяснить тебе, Анджела, каким образом театральной компании Пег удавалось не прогореть, но, по правде говоря, я и сама не знаю. Хотя, возможно, тут придется к месту старый анекдот о том, как сколотить небольшое состояние в шоу-бизнесе: нужно взять большое состояние и истратить половину. У нас не бывало аншлагов, билеты стоили копейки. Более того: некогда роскошное здание театра превратилось в белого слона, крайне дорогого в содержании. Здесь все протекало и разваливалось. Электропроводка была ровесницей самого Эдисона, трубы издавали потусторонние стоны, краска отваливалась кусками, а крыша не текла лишь в погожие солнечные дни. Тетя Пег всаживала деньги в эту древнюю рухлядь с тем же упорством, с каким бессовестный наследник транжирит состояние в опиумных притонах – отчаянно, бессмысленно и безнадежно.

Что до Оливии, в ее обязанности входило пресекать эти бесконечные траты – задача столь же отчаянная, бессмысленная и безнадежная. До сих пор слышу, как она кричит: «Здесь вам не французский отель!» –

поймав квартирантов на том, что те почем зря льют горячую воду.

Оливия всегда выглядела усталой, и неудивительно: с 1917 года (именно тогда они с Пег познакомились) она единственная среди театральной братии вела себя как взрослый человек, понимающий, что такое ответственность. Оливия не шутила, сказав, что работает на Пег со времен Моисеевых пеленок. В годы Первой мировой Оливия тоже служила в Красном Кресте, хотя на медсестру училась, естественно, в Британии. Они с Пег повстречались во Франции на поле боя. После войны Оливия решила бросить сестринское дело и последовала за тетей в мир шоу-бизнеса, став ее доверенным и многострадальным секретарем.

В любое время дня и ночи Оливию можно было встретить в коридорах театра: она отдавала распоряжения, напоминала о правилах и отчитывала тех, кто их нарушал. На лице у нее навечно застыла страдальческая настороженность верной пастушьей овчарки, которой поручено навести порядок в стаде непутевых овец. У нее имелись указания на любой случай. В театре не ужинать («не то крыс будет больше, чем зрителей»). На репетициях не мямлить. Гостей на ночь не водить. Деньги за билеты без чека не возвращать. Налоги платить исправно.

Пег уважала правила Оливии, но только в теории – как человек, давно не посещающий церковь, но еще помнящий основные заповеди. Другими словами, уважала, но не выполняла.

Остальные вели себя так же: нарушали запреты сплошь и рядом, хотя иногда притворялись, что соблюдают.

Поэтому Оливия постоянно выматывалась до предела, а мы продолжали вести себя как дети.

Пег с Оливией жили на четвертом этаже театра, в апартаментах с общей гостиной. Там было еще несколько квартир, но к моменту моего приезда они пустовали. Первый владелец здания селил там любовниц, а сейчас, как мне объяснила тетя, квартиры держали для тех, «кто в последнюю минуту останется ночевать, и прочих бродяжек».

А все самое интересное происходило на третьем этаже, где поселилась я. Тут имелся рояль, обычно заставленный полупустыми бокалами для мартини и полными окурков пепельницами. (Бывало, Пег, проходя мимо рояля, собирала недопитые остатки и сливала обратно в бутылку. У нее это называлось «взимать дивиденды».) На третьем этаже ужинали, курили, пили, ссорились, работали и жили. Здесь билось сердце театра «Лили».

А еще тут обитал господин по имени мистер Герберт. Мне его представили как «нашего драматурга». Он писал сценарии для спектаклей, придумывал шутки и гэги. Он же был режиссером-постановщиком. И, как я потом узнала, пресс-агентом театра.

– А чем занимается пресс-агент? – спросила я однажды.

– Хотел бы я знать, – ответил мистер Герберт.

Когда-то мистер Герберт работал адвокатом, но лишился лицензии, а с Пег они дружили с незапамятных времен. Лицензию у него отобрали за растрату денег клиента. Пег не считала его настоящим злоумышленником, потому что в момент совершения преступления мистер Герберт был в запое. «Нельзя винить человека в том, что он натворил под мухой» – такая у тети Пег была философия. (Еще она любила повторять, что у каждого свои недостатки, и всегда давала слабым и оступившимся второй, третий и четвертый шанс.) Бывало, актеров не хватало, и мистер

Герберт выходил на сцену в роли пьяного бродяги. В его исполнении роль приобретала такой натуральный драматизм, что у меня сердце разрывалось.

Но мистер Герберт умел и развеселить. Несмотря на мрачный сарказм, его шутки были по-настоящему смешными. Утром, когда я приходила на завтрак, мистер Герберт неизменно сидел за кухонным столом в мешковатых штанах от костюма и нижней сорочке. Он пил кофе без кофеина и ковырял один-единственный несчастный блинчик. Вздыхая и хмурясь над блокнотом, мистер Герберт сочинял шутки и диалоги для очередного спектакля. Каждое утро я радостно приветствовала его и в ответ получала депрессивную реплику, причем всякий раз новую.

– Доброе утро, мистер Герберт! – говорила я.

– Доброе? Это спорно, – отвечал он.

На следующий день:

– Доброе утро, мистер Герберт!

– Сегодня соглашусь, но лишь наполовину.

Или:

– Доброе утро, мистер Герберт!

– Не вижу причин так считать.

Или:

– Доброе утро, мистер Герберт!

– Только не для меня.

И мое любимое:

– Доброе утро, мистер Герберт!

– Похоже, теперь ты у нас главная шутница?

Кроме мистера Герберта, на третьем этаже обитал привлекательный чернокожий мужчина по имени Бенджамин Уилсон – наш композитор, поэт-песенник и аккомпаниатор. Бенджамин был молчалив, элегантен и всегда одевался в безупречные костюмы. Обычно он сидел за роялем, наигрывая веселый мотивчик из

предстоящей постановки или джаз для собственного удовольствия. Иногда исполнял и церковные гимны, но только если считал, что никто не слышит.

Отец Бенджамин был уважаемым в Гарлеме проповедником, а мать – директрисой школы для девочек на Сто тридцать второй улице. По гарлемским меркам Бенджамин считался особой королевских кровей. Его готовили к карьере священнослужителя, но огни шоу-бизнеса оказались ярче. Родные считали его страшным грешником и видеть не желали. Как я узнала позже, типичная история для многих обитателей «Лили». Под крылышком Пег находили приют многие отщепенцы.

Наряду с танцовщиком Роландом, Бенджамин был слишком талантлив для столь простецкого заведения, как «Лили». Но Пег обеспечивала ему стол и кров и не слишком нагружала обязанностями, так что он не рвался уйти.

Когда я въехала на третий этаж «Лили», там жила еще одна особа, рассказ о которой я приберегла напоследок, поскольку для меня она важнее всех остальных.

Эта особа – Селия, артистка бурлеска, моя богиня.

Оливия упомянула, что Селия живет в театре временно, пока не найдет другую квартиру. Новое пристанище понадобилось Селии по той причине, что недавно ее выселили из «Репетиционного клуба» – недорогого и уважаемого отеля для дам на Пятьдесят третьей улице в Вест-Сайде, где в свое время жили многие бродвейские танцовщицы и актрисы. Селию выгнали, застав в номере с мужчиной. И Пег предложила ей перекантоваться в «Лили».

Я подозревала, что Оливия предложение не одобрила. Впрочем, еще раз повторюсь, Оливия не

одобряла любую благотворительность Пег. К тому же жилье едва ли напоминало царские хоромы. Крошечная клетушка в конце коридора была гораздо скромнее роскошных апартаментов дяди, куда его нога в жизни не ступала. Помещение скорее напоминало чулан для швабр, и места там хватало только для узкой койки и кусочка пола, куда Селия сбрасывала одежду. В комнате было окошко, но оно вело в душный зловонный переулок. Ковер отсутствовал, раковина тоже, зеркало и подавно – никаких тебе гардеробных и роскошной королевской кровати, как у меня.

Возможно, именно поэтому уже во вторую мою ночь в «Лили» Селия переселилась ко мне. Причем не спросив ни у кого разрешения. Мы даже не обсуждали этот вопрос: все произошло само собой и в самый неожиданный момент. На второй день моего пребывания в Нью-Йорке, в один из темных часов между полночью и рассветом Селия ввалилась ко мне в спальню, разбудила меня ощутимым тычком кулака в плечо и заплетающимся языком пробормотала одно слово:

– Двигайся.

И я подвинулась. Я откатилась на самый край кровати, а Селия повалилась на мой матрас, отобрала мою подушку, натянула мою простыню на свое прекрасное тело и через секунду вырубилась.

Все это меня страшно взволновало.

Взволновало настолько, что я не смогла уснуть. Мало того, я не осмеливалась шевельнуться. Во-первых, я осталась без подушки, к тому же Селия прижала меня к стене, попробуй тут расслабься. Во-вторых, у меня возникла проблема посерьезнее: как вообще полагается себя вести, когда в спальню врывается пьяная артистка бурлеска и при полном параде плюхается к тебе в кровать? Абсолютно непонятно. Поэтому я продолжала лежать молча и не двигаясь, слушала ее шумное

дыхание, вдыхала шлейф сигаретного дыма и духов, которым пропитались ее волосы, и гадала, как преодолеть неминуемую неловкость поутру.

Селия проснулась часов в семь, когда в спальню проникли безжалостные солнечные лучи, игнорировать которые было невозможно. Она лениво зевнула, потянулась и заняла еще больше места на кровати. Она была при боевом макияже и в открытом вечернем платье, в котором щеголяла вчера. Выглядела она потрясающе: точно ангел, провалившийся вниз на землю сквозь дыру в полу небесного ночного клуба.

– Привет, Вивви, – сказала она, моргая на ярком солнце. – Спасибо, что пустила к себе в кровать. У меня в комнате койка хуже тюремной. Уже сил никаких нет.

Я удивилась, что Селия вообще запомнила мое имя, а уж ласковое уменьшительное «Вивви» и вовсе привело меня в восторг.

– Ничего, – ответила я, – можешь спать здесь, когда хочешь.

– Правда? – обрадовалась она. – Круто. Сегодня же перетащу вещи.

Ох ты ж. Значит, теперь у меня есть соседка. Впрочем, я не возражала. Даже сочла за честь, что Селия выбрала меня.

Мне хотелось максимально растянуть этот дикий и странный момент, поэтому я осмелилась продолжить беседу:

– А куда ты вчера ходила?

Селия, кажется, удивилась, что я интересуюсь ее делами.

– В «Эль Марокко», – ответила она. – Видела Джона Рокфеллера.

– Неужели самого Рокфеллера?

– Он душка. Хотел потанцевать со мной, но я была с компанией.

– С какой?

– Да так, ничего особенного. Просто парочка мальчиков, которые вряд ли пригласят меня домой познакомиться со своей мамочкой.

– И что за мальчики?

Селия откинулась на подушку, закурила и стала рассказывать о вчерашнем вечере. Она отправилась по клубам с еврейскими ребятами, которые строили из себя гангстеров, но потом появились настоящие еврейские гангстеры, и притворщикам пришлось срочно сваливать. В итоге Селия осталась с одним парнем, тот отвез ее в Бруклин, а потом оплатил ей лимузин до дома. Я слушала ее с раскрытым ртом. Мы провалялись в кровати еще час, и моя новая подруга своим незабываемым голосом с хрипотцой описывала мне подробности обычного вечера из жизни Селии Рэй, танцовщицы бурлеска.

Я ловила каждое ее слово.

На следующий же день вещи Селии перекочевали в мою квартиру. Все столики, комоды и тумбочки теперь были заставлены ее тюбиками с театральным гримом и баночками с кольдкремом. На элегантном дядином письменном столе поселились флаконы духов от Элизабет Арден и компактная пудра от Элены Рубинштейн. Я находила в раковине длинные волосы. На полу раскинулась сеть из спутанных бюстгалтеров, чулок в сетку, подвязок и поясов. (Ты даже представить себе не можешь, сколько у Селии Рэй было белья! Ее чулки и бюстгалтеры как будто размножались сами собой.) Старые пропотевшие подмышечные прокладки прятались у меня под кроватью, как маленькие белые мыши. Под ноги то и дело попадались щипчики, впиваясь в стопу.

Ее бесцеремонность не знала границ. Селия вытирала помаду моими полотенцами, без спроса

одалживала мои свитера. Наволочки вскоре почернели от потеков ее туши, а простыни стали оранжевыми от густого тонального крема. Пепел Селия стряхивала в любую емкость, оказавшуюся поблизости, – однажды даже в ванну, когда я ее принимала.

Как ни странно, меня это не коробило. Напротив, мне не хотелось, чтобы она уходила. Будь у меня в Вассаре такая потрясающая соседка, глядишь, я и колледж окончила бы. Селия Рэй казалась мне совершенством. В моих глазах она служила самым воплощением Нью-Йорка: роскошная, утонченная и загадочная. Я готова была терпеть любой беспорядок и пренебрежение, лишь бы она оставалась рядом.

Так или иначе совместное проживание устраивало нас обеих: я получала доступ к ней, она – к моей раковине.

Я не спрашивала разрешения у тети Пег и даже не рассказала ей, что Селия переехала в апартаменты дяди Билли и, похоже, намерена осесть в «Лили» навсегда. Теперь я понимаю, что поступила очень бестактно, ведь самые элементарные правила вежливости требовали прояснить вопрос с хозяйкой дома. Но в тот момент я слишком увлеклась собственными переживаниями, чтобы думать о вежливости, – как и Селия. Так что мы и дальше вели себя как заблагорассудится.

Мало того, меня даже не беспокоила грязь, которую Селия разводила в нашей квартире, ведь я знала, что тетина горничная Бернадетт все почистит. Бернадетт, скромная трудолюбивая пчелка, приходила в «Лили» шесть дней в неделю и убирала за всеми. Мыла кухню и туалеты, натирала воском паркет, готовила ужины (иногда мы их съедали, иногда нет, а иногда к трапезе являлся десяток незапланированных гостей). Та же

Бернадетт заказывала продукты с доставкой из бакалейной лавки, чуть ли не каждый день вызывала водопроводчика и, похоже, делала еще десять тысяч дел, за которые ей даже «спасибо» не говорили. Теперь ей приходилось еще и убирать за нами с Селией, что вряд ли назовешь справедливым.

Однажды я услышала, как Оливия сказала кому-то из гостей: «Разумеется, Бернадетт – ирландка. Но она не из буйных ирландцев^[7], так что пусть остается».

В те времена, Анджела, о политкорректности и не слыхивали.

К сожалению, больше про Бернадетт я ничего не помню.

А все потому, что в юности совершенно не обращала внимания на слуг. Они были для меня привычной частью обстановки, я их почти не замечала. Сидела и ждала, когда меня обслужат. Но почему? Откуда столько глупого высокомерия?

Оттуда, Анджела, что я была богатой.

Я еще об этом не упоминала на страницах своего письма, так что сейчас самое время признаться: я была очень богата, Анджела. Богата и избалована. Да, я выросла во времена Великой депрессии, но нашу семью кризис не затронул – по крайней мере, ощутимо. До биржевого краха мы держали трех горничных, двух поваров, няню, садовника и шофера на полный день. После обвала биржи остались две горничные, один повар и шофер на полставки. Сама понимаешь, в очереди за хлебом по карточкам мы не стояли.

А поскольку в элитной школе-интернате все девочки были мне под стать, я на полном серьезе считала, что у каждой семьи в гостиной стоит дорогой радиоприемник «Зенит»; у каждой девочки есть пони; все мужчины – республиканцы, а женщины делятся на две категории: те, что идут в Вассар, и те, что идут в Смит. (Мама окончила Вассар. Тетя Пег училась в Смите – правда,

всего год, пока не бросила и не пошла в Красный Крест. Я не знала, в чем разница между этими двумя колледжами, но, судя по маминым репликам, она была существенной.)

И я всерьез считала, что прислуга есть в любой семье. Всю мою сознательную жизнь обо мне заботилась какая-нибудь Бернадетт. Я оставляла грязную посуду на столе, а кто-то ее убирал. Мою кровать каждый день аккуратно застилали. Сухие чистые полотенца появлялись вместо мокрых как по волшебству. Туфли, кое-как брошенные у входа, выстраивались в линию, стоило только отвернуться. За всем этим скрывались невидимые силы природы – неизменные, как гравитация, и такие же скучные, – наводившие порядок вокруг и следившие, чтобы у меня никогда не кончались чистые трусы.

Теперь тебя вряд ли удивит, что с момента своего переезда в «Лили» я и пальцем не пошевелила, чтобы помочь по дому. Я даже ни разу не убирала в квартире, куда меня поселила великодушная Пег. Мне просто не приходило в голову, что надо поучаствовать в уборке. И я ни на секунду не задумалась о том, что нельзя по собственной прихоти держать артистку бурлеска в качестве домашней зверушки.

Сама удивляюсь, как меня не придушили.

Ты наверняка встречала моих ровесников, чье детство и юность пришлись на годы Великой депрессии и чьи семьи, в отличие от моей, познали настоящую нужду. Твой отец – один из них. Но поскольку все вокруг в то время жили бедно, эти дети не видели в своих лишениях ничего необычного; более того, они не воспринимали их как лишения.

Дети, выросшие в те годы, часто говорят: «Мы даже не догадывались, что мы бедняки!»

Так вот, Анджела, у меня все было наоборот: я даже не догадывалась, что богата.

Глава пятая

За неделю у нас с Селией сложилось некое подобие совместного распорядка. Каждый вечер после спектакля она надевала вечернее платье (которое в других кругах сочли бы нижним бельем) и отправлялась в ночь греховодничать и развлекаться. Тем временем я ужинала с Пег, слушала радио, шила, ходила в кино или ложилась спать пораньше, но в глубине души мечтала о более интересных занятиях.

В предутренний час меня будил толчок в плечо и знакомая команда «двигайся». Я двигалась, Селия плюхалась на кровать и занимала все свободное место, отбирая у меня подушку и одеяло. Иногда она сразу проваливалась в сон, иногда начинала спяну болтать и отключалась на полуслове. Бывало, я просыпалась и обнаруживала, что она держит меня за руку.

По утрам мы вставать не торопились. Селия выкладывала мне все подробности о мужчинах, с которыми встречалась накануне. Они возили ее в Гарлем на танцы. Приглашали на полуночные сеансы в кино. Без очереди проводили в «Парамаунт» на выступление Джина Крупы^[8]. Знакомили с Морисом Шевалье^[9]. Угощали лобстером «Термидор» и запеченной «Аляской»^[10]. (Ради лобстера «Термидор» и запеченной «Аляски» Селия согласилась бы – и соглашалась – на что угодно.) О своих кавалерах она говорила так, будто те ничего для нее не значили, – потому что они на самом деле ничего для нее не значили. Стоило им оплатить счет, как их имена мгновенно улетучивались у нее из памяти. Она пользовалась мужчинами, как пользовалась моими лосьонами и чулками – бесцеремонно и легко.

«Бери, пока дают» – таков был ее девиз.

Что до ее биографии, вскоре я узнала следующее.

Селия родилась в Бронксе, и на самом деле ее звали Мария Тереза Беневенти. Как можно догадаться по имени и фамилии, она была итальянкой. То есть наполовину итальянкой, по отцу. От него она унаследовала блестящие черные волосы и выразительные темные глаза. Светлая кожа и высокий рост достались ей от матери-польки.

В средней школе Селия отучилась всего год: в четырнадцать ей пришлось бросить учебу после скандальной интрижки с другом отца. («Интрижка», вероятно, не самое подходящее слово для описания сексуальных отношений между сорокалетним мужчиной и четырнадцатилетней девочкой, но Селию оно устраивало.) «Интрижка» привела к изгнанию Селии из дома и ее беременности. Возлюбленный поступил поджентльменски и оплатил ей аборт, после чего не пожелал иметь с ней ничего общего и вернулся к жене и детям. Мария Тереза Беневенти осталась одна-одинешенька и стала пробиваться самостоятельно.

Сначала она устроилась на фабрику-пекарню, владелец которой дал ей работу в обмен на регулярную «полировку сучка» – мне первый раз встретилось такое выражение, и Селия услужливо объяснила, что речь о мастурбации. (И с тех пор, Анджела, стоит мне услышать про «век невинности», у меня перед глазами встает эта картина: Мария Тереза Беневенти, четырнадцати лет, только что после аборта, без крыши над головой, ублажает владельца фабрики, чтобы не лишиться работы и крова. Вот уж точно «старое доброе времечко».)

Вскоре Мария Тереза выяснила, что платные партнерши в дансинге зарабатывают куда больше, чем пекари на конвейере у извращенца. Она сменила имя на Селию Рэй, сняла квартиру с парой других девочек и начала карьеру, которая заключалась в том, чтобы

демонстрировать себя миру во имя личного продвижения.

Сначала она работала «партнершей напрокат» в заведении «Медовый месяц» на Седьмой авеню. За полсотни долларов в неделю (плюс чаевые) она позволяла мужчинам лапать ее, потеть и рыдать от одиночества у нее плече. В шестнадцать лет попробовала поучаствовать в конкурсе «Мисс Нью-Йорк», но ее обошла девушка, игравшая в купальнике на вибрафоне. Еще Селия подвизалась фотомodelью и рекламировала всякую всячину от собачьего корма до противогрибковых кремов. Работала натурщицей, за почасовую оплату сдавая свое обнаженное тело художественным школам и отдельным живописцам. Ей не исполнилось еще и восемнадцати, когда она выскочила замуж за саксофониста, с которым познакомилась в «Русской чайной», где недолго работала гардеробщицей. Но браки с саксофонистами – плохая затея, и супружество Селии не стало исключением: в мгновение ока пара распалась.

Вскоре после развода Селия с подругой отправились в Калифорнию, планируя стать кинозвездами. Селия ходила на пробы, но роль со словами ей так и не досталась. («Однажды я изображала труп в криминальном кино, отвалили двадцать пять долларов за день», – с гордостью сообщила она, упомянув название фильма, о котором я никогда не слышала.) Спустя пару лет Селия сообразила, что в Лос-Анджелесе «на каждом перекрестке торчит по четыре девки с фигурами получше моей и без бронкского акцента». Она уехала домой.

По возвращении из Голливуда Селия устроилась артисткой бурлеска в клуб «Аист». Там познакомилась с Глэдис, нашей ведущей солисткой, и та позвала ее в «Лили». К 1940-му, когда я прибыла в Нью-Йорк, Селия работала на тетю Пег уже почти два года – самый

продолжительный период стабильности в ее жизни. Театр «Лили» не блистал шиком, с «Аистом» и близко не сравнишь, но Селию все устраивало. Работа непыльная, платят регулярно, владелица женщина, то есть на службе не придется уворачиваться от «похотливого босса с загребущими руками и пальцами-сосисками». К тому же после десяти часов вечера Селия освобождалась. То есть, отплясав смену на подмостках «Лили», она могла до утра преспокойно плясать в ночных клубах – причем частенько ходила в «Аист», но теперь уже в качестве посетительницы.

Одного не понимаю: как столь колоссальный опыт мог достаться девушке, которой, по ее словам, было всего девятнадцать.

К моему изумлению и удовольствию, мы с Селией подружились.

Разумеется, в известной мере Селия ценила меня в качестве девочки на побегушках. Даже тогда, будучи совсем неопытной и юной, я понимала, что она считает меня своей прислугой, но меня это не смущало. (Если ты хоть что-нибудь знаешь о девичьей дружбе, но наверняка в курсе, что одна из двух всегда играет роль девочки на побегушках.) Да, Селия требовала преданного исполнения определенных обязанностей – помассировать ей уставшие ноги, расчесать волосы. Или восклицала: «Ах, Вивви, у меня опять кончились сигареты!», прекрасно зная, что я тут же побегу покупать ей новую пачку. («Какая же ты лапочка, Вивви», – мурлыкала она, засовывая сигареты в карман и даже не думая вернуть мне деньги.)

А еще она грешила тщеславием, причем в таких масштабах, что на ее фоне моя склонность к самолюбованию выглядела детским лепетом. Клянусь, ни до, ни после я не встречала человека, который

столько времени проводил перед зеркалом. Селия могла бесконечно любоваться своим отражением, буквально околдованная собственной красотой. Знаю, выглядит так, будто я сгущаю краски, но нет. Клянусь, однажды Селия два часа кряду смотрелась в зеркало, рассуждая, как лучше втирать крем для шеи – снизу вверх или сверху вниз, – чтобы избежать двойного подбородка.

Но присутствовало в ней и наивное, полудетское обаяние. Особенно по утрам. Она просыпалась в моей постели, измученная, с похмелья, – сущий ребенок, которому хочется подольше поваляться и поболтать. Она делилась со мной своими мечтами – грандиозными и смутными. Ее амбиции, не подкрепленные даже мало-мальски конкретным планом, неизменно поражали меня. Селия сразу перескакивала к самым вершинам, где ее ждали богатство и слава, не трудясь хотя бы пунктиром обозначить дорогу к ним, – очевидно, она считала, что при такой внешности мир рано или поздно падет к ее ногам.

Спорный план – хотя, если честно, у меня и такого не было.

Я была счастлива.

Наверное, можно сказать, что я заняла должность художницы по костюмам в театре «Лили» – но лишь потому, что я сама считала себя таковой, да и других претендентов не наблюдалось.

Говоря по правде, фронт работ открывался обширнейший. Артисткам и танцорам постоянно требовались новые костюмы, а гардеробная театра «Лили» (жуткий сырой шкаф с пауками, набитый тряпьем еще более древним и дряхлым, чем само здание) служила слабым подспорьем. И поскольку девчонки вечно сидели на мели, мне пришлось импровизировать. Я научилась отовариваться дешевыми

тканями на оптовом складе или – совсем дешевыми – на Орчард-стрит. Что еще ценнее, я наострилась ловить отрезы в комиссионках на Девятой авеню и шила костюмы из лоскутов. У меня обнаружился редкий талант превращать любую поеденную молью старую тряпку в роскошный наряд.

Больше всего мне нравился «Комиссионный рай Луцкого» на углу Девятой авеню и Сорок третьей улицы. Польские евреи Луцкие несколько лет работали во Франции на кружевной мануфактуре, после чего эмигрировали в Америку. По прибытии в Нью-Йорк семейство обосновалось в Нижнем Ист-Сайде, где торговало старьем с тележки. Но потом Луцкие перебрались в Адскую кухню^[11] и завели прибыльный бизнес по продаже старых театральных костюмов и вечерних туалетов. Теперь семья владела целым трехэтажным домом в центре Манхэттена, полным несметных сокровищ. Здесь торговали не только подержанными костюмами из оперных театров и мюзикхоллов, но и старыми свадебными платьями, а изредка попадались великолепные наряды от-кутюр с распродаж имущества богачей из Верхнего Ист-Сайда.

Меня тянуло туда как магнитом.

Однажды в «Комиссионном раю Луцкого» я купила для Селии эдвардианское платье невероятного фиалкового цвета – точь-в-точь лепестки живых цветов. Фасон был страшнее некуда, и поначалу Селия скривилась, но стоило мне укоротить рукава, припустить декольте и сделать глубокий V-образный вырез сзади, перехватив талию широким черным атласным поясом, как древняя рухлядь превратилась в вечернее платье, в котором моя подруга выглядела любовницей миллионера. Все дамочки ахали от зависти, когда Селия появлялась на пороге в этом платье – всего за два доллара!

Едва остальные танцовщицы увидели, какой шедевр я сотворила для Селии, им тоже захотелось эксклюзивных нарядов. Как и в школе, я обрела популярность благодаря «Зингеру-201», служившему мне верой и правдой. Девчонки из «Лили» принялись таскать мне кипы вещей для починки – платья без молний, молнии без платьев, – умоляя «как-нибудь их переделать». Помню, Глэдис объявила:

– Мне нужно полностью сменить гардероб, Вивви! Надоело ходить, как старая бабка!

Быть может, тебе покажется, что в этой истории мне выпала роль бедной Золушки, которая неустанно ткет и прядет, пока более красивые сестры развлекаются на балах. Но пойми, я была страшно благодарна уже за то, что меня приняли в театральный круг. Я получала от нашего общения гораздо больше, чем девочки из «Лили». Их сплетни стали моими университетами – единственным курсом обучения, о котором я мечтала. А поскольку мои швейные таланты не простаивали ни минуты, вся активность в театре постепенно сконцентрировалась вокруг всемогущего «Зингера». Вскоре моя обитель стала главным местом сбора труппы – по меньшей мере, женской ее части. (Немаловажную роль сыграли симпатичный интерьер квартиры – уж точно уютнее затхлой гримерки в подвале – и ее близость к кухне.)

И вот однажды – с моего приезда в Нью-Йорк прошло меньше двух недель – мы с несколькими танцовщицами сидели у меня в гостиной. Девушки курили и смотрели, как я строчу на машинке. Я шила простую накидку для артистки по имени Дженни – прелестной хохотушки из Бруклина, всеобщей любимицы с очаровательной щелочкой между передними зубами. Вечером Дженни собиралась на свидание и пожаловалась, что ей нечего надеть на случай похолодания. Я пообещала сшить ей красивую

накидку, чем и занималась. Плевое дело для меня, но оно обеспечивало расположение Дженни на веки вечные.

Именно тогда девушки узнали, что я еще девственница.

Тайна всплыла во время болтовни о сексе – а девушки всегда говорили только о нем, если не считать обсуждений нарядов и денег, а также споров о том, где поесть, как стать кинозвездой, как выйти замуж за кинозвезду и стоит ли удалять зубы мудрости (девчонки уверяли, что именно таким способом Марлен Дитрих добилась выразительной линии скул).

Глэдис и Селия сидели рядом на куче грязного белья, и Глэдис поинтересовалась, есть ли у меня парень. Точнее, спросила:

– А ты с кем-нибудь встречаешься?

Стоит отметить, что это был первый вопрос по существу, который мне задали в театре насчет моей жизни. (Я восторгалась девушками, но интерес не всегда бывает взаимным.) Увы, никаких интересных подробностей у меня не нашлось.

– Нет, у меня никого нет, – ответила я.

Глэдис забеспокоилась.

– Но ты же хорошенькая, – сказала она. – Дома-то у тебя наверняка был ухажер. Парни небось проходу не давали!

Я объяснила, что всю жизнь торчала в школе для девочек, где не так уж много шансов познакомиться с мальчиками.

– Но ты же занималась этим, да? – Дженни не стала ходить вокруг да около. – Хоть разочек дошла до самого конца?

– Никогда, – призналась я.

– У тебя ни разу не было секса? – Глэдис таращилась на меня, не веря своим ушам. – Даже случайно?

- Даже случайно, - подтвердила я, гадая про себя, каким это образом можно заняться сексом случайно.

(Не волнуйся, Анджела, теперь я в курсе. Случайный секс - дело привычки, стоит только попробовать. Впоследствии у меня было огромное количество случайных связей, уж поверь, но в тот момент я еще не умела мыслить настолько широко.)

- Ты что, истинная христианка? - уточнила Дженни, видимо не находя другого разумного объяснения для сохранения девственности в девятнадцать. - Бережешь себя?

- Да нет же! Ничего я не берегу. Просто не было возможности.

Вот теперь девчонки, кажется, встревожились не на шутку. И все смотрели на меня так, будто я только что призналась в неумении самостоятельно перейти улицу.

- Но шашни ты наверняка водила, - полуутвердительно произнесла Селия.

- Ты ведь обжималась с парнями, да? - спросила Дженни. - Конечно, обжималась!

- Совсем чуть-чуть, - сказала я.

Ответ честный: мне нечем было похвастаться по части сексуального опыта. В школе Эммы Уиллард устраивали танцы и привозили к нам мальчиков из интерната Хотчкисса - расчет был такой, что когда-нибудь мы выйдем за них замуж. Во время танца я разрешила одному из них пощупать мою грудь. (Правда, только когда моему партнеру удалось ее найти, что потребовало от него немалых усилий.) Пожалуй, «разрешила» - это слишком громко сказано. Если точнее, он с места в карьер начал тискать мне грудь, а я его не остановила. Во-первых, не хотелось показаться невежливой. Во-вторых, у меня возникли любопытные ощущения. Я даже была не прочь продолжить, но танцы кончились, и мальчиков из Хотчкисса загнали в автобус,

прервав наши эксперименты на самом интересном месте.

А в одну из моих ночных велосипедных вылазок из Вассара в бар Покипси меня поцеловал мужчина. Мы обсуждали джаз (точнее, он говорил о джазе, а я слушала, как он говорит о джазе, потому что именно так и беседуют с мужчинами о джазе), и вдруг – бац! Он прижал меня к стенке и ткнулся пенисом мне в бедра, а потом принялся меня целовать, пока я не задрожала от желаний. Но когда он сунул мне руку между ног, я струсила и вырвалась из его объятий. По пути в общежитие я крутила педали в страхе и смятении, раздираемая противоречивыми чувствами, одновременно и страшась, и надеясь, что мужчина последует за мной.

Я и хотела большего, и не хотела.

Старая песня, знакомая любой девушке.

Какими еще сексуальными достижениями я могла похвалиться? С Бетти, лучшей подругой детства, мы неуклюже практиковались друг на друге в так называемых «романтических поцелуях». Впрочем, мы также практиковались в «материнстве», напихав подушек под блузку, чтобы изобразить беременность, и с точки зрения биологии последний эксперимент был настолько же далек от жизни, как и первый.

Однажды меня осматривал гинеколог моей мамы, когда она забеспокоилось, что в четырнадцать лет у меня еще не начались месячные. Он ощупал мне вагину – мама стояла рядом, – а потом велел есть побольше печенки. Думаю, ни один из участников не счел бы тот визит эротическим опытом.

В промежутке между десятью и восемнадцатью годами я раз сто влюблялась в приятелей своего брата Уолтера. Когда у тебя красивый и популярный брат, вокруг него все время крутятся такие же красивые и популярные друзья. Но они обращали внимание только

на Уолтера – своего предводителя, капитана каждой команды, всеобщего любимца. Их ни капли не интересовало его окружение, включая меня.

Не то чтобы я совсем ничего не соображала в сексе. Иногда я ласкала себя, испытывая одновременно возбуждение и стыд, но я понимала, что секс – это совсем другое. (Скажем прямо: мои попытки мастурбации напоминали обучение плаванию на суше.) Технически я знала, как осуществляется половой акт: студентки Вассара посещали обязательный семинар «Гигиена», где нас умудрились научить всему, ни разу не назвав вещи своими именами. (Нам показывали схему яичников и яичек в разрезе и строго предупреждали, что спринцевание лизолом не относится к современным и безопасным методам контрацепции, – картинка настолько прочно засела в голове, что и по сей день не дает мне покоя.)

– И когда же ты собираешься с этим покончить? – Дженни прервала мои воспоминания. – Часики-то тикают, и моложе ты не становишься!

– Самое ужасное, – заметила Глэдис, – если ты встретишь парня, который тебе действительно понравится, а потом придется его огорошить, что ты еще девственница.

– Ага, большинству парней это даром не нужно, – поддакнула Селия.

– Точно, кому охота брать на себя ответственность, – кивнула Глэдис. – И нельзя же в самый первый раз ложиться с парнем, который тебе нравится.

– Вот именно: вдруг ничего не получится? – добавила Дженни.

– Что может не получиться? – удивилась я.

– Всё! – воскликнула Глэдис. – Ты же ни сном ни духом в таких делах и будешь выглядеть полной дурой! А если станет больно – неужели ты хочешь разреваться в объятиях человека, который тебе нравится?

Надо сказать, всю жизнь мне внушали совершенно противоположные взгляды. Моим школьным подругам, как и мне, четко давали понять, что мужчины предпочитают девственниц. Нас учили беречь цветок невинности для юноши, который нам не просто понравится, а которого мы полюбим всей душой. В идеале – к нему следовало неуклонно стремиться – за всю жизнь девушка вступает в половые отношения всего с одним человеком: собственным мужем, с которым познакомилась на танцах в школе Эммы Уиллард.

Оказывается, меня обманывали! У Глэдис, Дженни и Селии подход был совсем другой, а уж им-то можно доверять. Они знают, о чем толкуют. Меня вдруг страшно обеспокоил собственный возраст. Господи, мне ведь уже девятнадцать, куда дальше тянуть-то? Я в Нью-Йорке целых две недели и до сих пор не попрощалась с девственностью! Чего я тяну?

– А это сложно? – спросила я. – В смысле в первый раз?

– Боже мой, Вивви, да не тупи ты, – засмеялась Глэдис. – Проще пареной репы. Строго говоря, от тебя вообще ничего не требуется. Все сделает мужчина. Но тебе пора действовать.

– Да уж, давно пора, – решительно отрезала Дженни. А вот Селия смотрела на меня с явным беспокойством.

– Может, ты хочешь остаться девственницей, Вивви? – спросила она, пригвоздив меня к месту взглядом своих невыносимо прекрасных глаз.

С тем же успехом она могла спросить: «Ты хочешь остаться глупым ребенком, вызывающим жалость у зрелых и опытных женщин?» – но меня тронула ее забота. Я видела, что она пытается убедить меня принять решение самостоятельно, невзирая на давление.

Но на самом деле я резко расхотела оставаться девственницей. И не собиралась медлить ни дня.

– Нет, – сказала я, – я готова действовать.

– Мы с радостью поможем, милая, – обрадовалась Дженни.

– У тебя сейчас месячные? – тут же спросила Глэдис.

– Нет, – ответила я.

– Тогда нет смысла ждать. Кто из наших знакомых... – Глэдис погрузилась в раздумья.

– Только чтобы непременно милый, – подсказала ей Дженни. – Деликатный.

– Настоящий джентльмен, – кивнула Глэдис.

– Не какой-нибудь там тупица, – добавила Дженни.

– И чтобы принял меры предосторожности. – Снова Глэдис.

– И чтобы обращался с ней нежно. – Дженни.

И тут Селия сказала:

– Я знаю, кто нам нужен.

Так у них возник план.

Доктор Гарольд Келлогг жил в прелестном таунхаусе близ Грамерси-парка. Его жена отсутствовала, потому что была суббота, а каждую субботу миссис Келлогг садилась на поезд и отправлялась в Дэнбери навестить мать, которая жила за городом. Поэтому мою дефлорацию назначили на совершенно не романтичный час: десять утра в субботу.

Доктор Келлогг и его супруга считались почтенными членами общества. В таких кругах вращались и мои родители. Отчасти именно поэтому Селия решила, что доктор мне подойдет, – мы с ним принадлежали к одному социальному классу. Двое сыновей Келлоггов учились на медиков в Колумбийском университете. Сам доктор состоял в клубе «Метрополитен». В свободное

время он наблюдал за птицами, собирал марки и занимался сексом с артистками бурлеска.

Само собой, свои связи доктор не афишировал. Человек с такой репутацией не мог появиться в городе с молодой женщиной, телосложением напоминающей резную фигуру на носу корабля, – это неизбежно привлекло бы внимание. Поэтому артистки приходили к доктору домой – причем обычно субботним утром, когда его жена была в отъезде. Он впускал их через черный ход, угощал шампанским и развлекал в комнате для гостей. Потом давал им денег за потраченное время и приложенные усилия, после чего отправлял восвояси через тот же черный ход. К полудню веселье заканчивалось, потому что во второй половине дня доктор принимал пациентов.

Все девушки в «Лили» знали Келлогга. Они наведывались к нему по очереди в зависимости от того, кто поутру в субботу меньше страдал от похмелья и больше нуждался в карманных деньгах.

Узнав о финансовом аспекте соглашения, я в ужасе переспросила:

– То есть доктор Келлогг платит вам за секс?

Глэдис недоверчиво уставилась на меня:

– А ты что думала, Вивиан? Что это мы ему платим?

Так вот, Анджела: я в курсе, что существует особый термин для женщин, оказывающих джентльменам сексуальные услуги в обмен на деньги. Вообще-то, даже не один, а много всяких терминов. Но девушки, с которыми я общалась в Нью-Йорке в 1940-м, не принимали на свой счет ни один из этих терминов, хотя постоянно брали у джентльменов деньги в обмен на сексуальные услуги: они никакие не проститутки, нет; они артистки бурлеска. Это звание они носили с гордостью, поскольку добились его упорным трудом, и

соглашались только на такое определение. Но реальность была такова: артистки бурлеска не слишком много зарабатывали, а всем нужно как-то вертеться (хорошие туфли даже тогда стоили недешево). Вот девушки и разработали систему «взаимовыгодных договоренностей», обеспечивающую им небольшой дополнительный доход. Доктор Келлогг и ему подобные были частью этой системы.

Как мне теперь представляется, даже доктор Келлогг не считал этих юных леди проститутками. Ему нравилось называть их подружками, выдавая желаемое за действительное: да, он себе льстил, но так ему было проще.

Другими словами, несмотря на непреложный факт обмена секса на деньги (а сексом там занимались только за деньги, уж поверь), ни о какой проституции и речь не шла. Всего лишь «взаимовыгодная договоренность», и она устраивала обе стороны. Ты ведь знаешь лозунг: от каждого по способностям, каждому по потребностям.

Меня несказанно радует, что мы прояснили этот вопрос, Анджела.

Столь важная тема не терпит недомолвок.

– Только учти, Вивви, он зануда, – предупредила Дженни. – Если вдруг заскучаешь, ни в коем случае не подумай, что секс всегда такой унылый.

– Зато он доктор, – возразила Селия. – Самое то для нашей Вивви. Сейчас ей важнее всего бережное обращение.

(«Нашей Вивви»! Разве придумаешь лучшее напутствие? Меня считают «своей Вивви»!)

Субботним утром мы сидели под сенью вяза в дешевой закусочной на пересечении Третьей авеню и Восемнадцатой улицы, дожидаясь, когда пробыет

десять. Девочки успели показать мне дом доктора Келлогга – совсем рядом, за углом, – и черный ход, которым мне надлежало воспользоваться. А пока мы заправлялись кофе и блинчиками и подруги взволнованно давали мне последние указания. Вообще-то, артистки крайне редко вставали в такую рань, тем более по субботам, но ни одна не пожелала пропустить столь важное событие.

– Он наденет резинку, Вивви, – предупредила Глэдис. – Он всегда ею пользуется, так что не о чем переживать.

– С резинкой ощущения похуже, – добавила Дженни, – но без нее нельзя.

Термин «резинка» мне не доводилось слышать, но я догадалась, что речь о презервативе – приспособлении, о котором нам рассказывали на том самом семинаре «Гигиена» в Вассаре. Я даже держала одну такую штучковину в руках – мы с девчонками брезгливо передавали ее по рядам, будто дохлую препарированную лягушку. Если Глэдис и Дженни имели в виду другую резинку, решила я, скоро сама все узнаю, так что нет смысла спрашивать.

– А потом раздобудем тебе пессарий, – добавила Глэдис. – У нас у всех стоит пессарий.

Что такое пессарий, я тоже не знала, но потом сообразила, что это диафрагма. О ней нам тоже рассказывали на уроках гигиены.

– А у меня больше нет пессария! – пожаловалась Дженни. – Его бабушка нашла и спросила, для чего он, и я соврала, что этой штукой чистят серебро. И она забрала его себе.

– Чистят серебро?! – взвизгнула Глэдис.

– Надо ведь было что-то сказать, – пожала плечами Дженни.

– Одного не пойму: как приспособить пессарий для чистки серебра? – не сдавалась Глэдис.

- А мне-то откуда знать! Спроси бабулю, она как-то умудряется.

- Как же ты сейчас предохраняешься? - спросила Глэдис.

- Никак... ведь мой пессарий лежит у бабули в шкатулке с драгоценностями.

- Дженни! - хором воскликнули Селия и Глэдис.

- Да знаю я, знаю. Но я осторожна.

- Вот уж дудки! - отрезала Глэдис. - Ты постоянно забываешь об осторожности! Вивиан, не будь такой глупой дурочкой, как Дженни. Предохраняться надо всегда!

Селия порылась в сумочке и протянула мне сверток в коричневой бумаге. Внутри оказалось маленькое, аккуратно сложенное белое махровое полотенце, все еще с ценником.

- Это тебе, - объяснила Селия. - Если кровотечение начнется.

- Спасибо, Селия.

Она пожала плечами, отвернулась и, к моему изумлению, покраснела.

- Иногда в первый раз идет кровь. Хоть будет чем вытереться.

- Только не вздумай пачкать полотенца миссис Келлогг, - добавила Глэдис.

- Да уж, вещишки миссис Келлогг лучше не трогать, - сказала Дженни.

- Кроме ее мужа! Его можно трогать, - прыснула Глэдис, и девушки расхохотались.

- Ого! Уже одиннадцатый час, Вивви, - сказала Селия. - Тебе пора.

Я попыталась встать, но в глазах вдруг потемнело. Я тяжело плюхнулась обратно на скамейку. Ноги не слушались. Умом я совершенно не волновалась, но тело было другого мнения.

– Все в порядке, Вивви? – спросила Селия. – Ты точно хочешь?

– Хочу, – подтвердила я. – Совершенно точно.

– Ты, главное, не накручивай себя, – посоветовала Глэдис. – Я вот никогда не накручиваю.

Здоровый совет, решила я. Вспомнила, как мать учила меня несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть, прежде чем брать барьер верхом на лошади, – а потом встала и направилась к выходу.

– До скорого, девочки! – попрощалась я весело, хотя происходящее казалось мне немного нереальным.

– Будем ждать тебя ровно на этом месте, – пообещала Глэдис.

– Оглянуться не успеешь, как все кончится! – успокоила меня Дженни.

Глава шестая

Доктор Келлогг ждал меня прямо у черного хода. Я едва успела постучать, как дверь распахнулась, и меня пригласили в дом.

– Здравствуй, здравствуй. – Доктор высунулся наружу и огляделся по сторонам, проверяя, не шпионят ли за нами соседи. – Давай-ка закроем за тобой дверь, милочка.

Он был среднего роста, с самым обычным лицом и цветом волос, в самом обычном костюме, какие носят все уважаемые мужчины средних лет. (Если сейчас у тебя появилось подозрение, что я не в состоянии вспомнить его внешность, ты не ошиблась: я и правда совершенно его забыла. Попадают такие люди, чьи черты невозможно запомнить, даже когда стоишь нос к носу и смотришь им прямо в лицо.)

– Вивиан, – он протянул мне руку для рукопожатия, – благодарю за визит. Пойдем наверх и расположимся там.

Он говорил со мной, как доктор с пациенткой. Точь-в-точь мой педиатр в Клинтоне. Будто я пришла с

жалобой на ушную инфекцию. Меня это, с одной стороны, успокоило, с другой – развеселило. Я чуть не захихикала, но сдержалась.

Мы прошлись по его дому, элегантному и респектабельному, но, как и сам доктор, совершенно безликому. В округе наверняка нашлась бы сотня домов с точно такой же обстановкой. Помню лишь шелковые диваны с дурацкими кружевными салфеточками на спинках. Терпеть не могу кружевные салфеточки. Доктор провел меня в комнату для гостей, где на кофейном столике нас ждали два бокала с шампанским. Шторы были задернуты – видимо, чтобы не напоминать о безбожно раннем часе. Келлогг закрыл за собой дверь.

– Располагайся на кровати, Вивиан. – Он протянул мне бокал с шампанским.

Я чопорно присела на самый краешек, почти ожидая, что доктор сейчас вымоет руки и достанет стетоскоп, но он придвинул деревянный стул и устроился прямо напротив меня. Подавшись вперед, Келлогг опустил локти на колени и уставился на меня, будто собирался поставить диагноз.

– Итак, Вивиан. Наша общая подруга Глэдис упомянула, что ты девственница.

– Верно, доктор, – ответила я.

– Не нужно называть меня «доктор». Мы ведь друзья. Зови меня Гарольдом.

– Очень приятно, Гарольд, – сказала я.

С этого момента, Анджела, происходящее превратилось для меня в сплошную комедию. Если раньше я волновалась, то теперь нервозность как рукой сняло. Это ведь чистый абсурд: моя реплика «очень приятно, Гарольд», маленькая гостевая комната с нелепым мятно-зеленым синтетическим покрывалом на кровати (я не помню лица доктора Келлогга, но то жуткое покрывало мне никогда не забыть), доктор в своем официальном костюме и я в лютиково-желтом

вискозном платъице, – даже если поначалу Келлогг не верил, что я девственница, само это платъице развеяло бы всякие сомнения.

Полный идиотизм. Доктор привык к артисткам бурлеска, а ему подсунули меня!

– Глэдис сообщила, что ты желаешь... – он подыскивал нужное слово, – избавиться от девственности?

– Так точно, Гарольд, – отвечала я, – желаю удалить ее без наркоза.

До сих пор уверена: тогда я впервые в жизни удачно пошутила, причем с совершенно невозмутимым лицом, что доставило мне невероятное удовольствие. «Удалить без наркоза»! Блеск.

Он серьезно кивнул; хороший врач с плохим чувством юмора.

– Тогда будь любезна снять одежду, – предложил он. – Я тоже разоблачусь, и начнем.

Тут я засомневалась, нужно ли раздеваться догола. Обычно в кабинете врача я оставалась в нижнем белье – так учила меня мама. (Господи, ну почему я в такой момент вспомнила о матери?) С другой стороны, обычно в кабинете врача я не собиралась заниматься сексом с доктором. И я приняла опрометчивое решение снять все. Еще не хватало, чтобы Гарольд счел меня застенчивой дурочкой. Абсолютно голая, я улеглась на спину поверх кошмарного синтетического покрывала: руки по швам, ноги пряменько. Только представь: ни дать ни взять коварная искусительница.

Доктор Келлогг остался в трусах и нижней сорочке. Я решила, что так нечестно. Почему ему можно раздеваться не до конца, а мне нельзя?

– Будь добра, подвинься чуть в сторону, чтобы мне тоже хватило места... – попросил он. – Вот так. Отлично... Давай-ка на тебя посмотрим.

Он лег рядом, подпер голову рукой и стал меня разглядывать. Только не подумай, что мне было противно. Будучи тщеславной юной особой, в глубине души я считала совершенно нормальным, что людям нравится на меня смотреть. В собственной внешности меня больше всего тревожила грудь, точнее, ее отсутствие. Но доктора Келлогга это, похоже, не беспокоило, хотя он привык к совсем другим формам. На самом деле открывшийся его глазам вид явно доставлял ему удовольствие.

– Грудь девственницы! – восхитился он. – Которой не касался ни один мужчина!

(«Ну, я бы так не сказала», – подумалось мне. Разве что не касался взрослый мужчина.)

– Заранее прошу прощения за холодные руки, Вивиан, – сказал доктор. – Сейчас я начну тебя трогать.

И он действительно начал меня трогать. Сначала потискал левую грудь, затем правую, потом снова левую и еще раз правую. Как он и предупредил, руки у него были ледяные, но вскоре согрелись. Сначала я запаниковала и даже зажмурилась, но через некоторое время происходящее увлекло меня, и я подумала: ого, а это интересно! Давайте еще!

В какой-то момент мне стало по-настоящему приятно. Тогда-то я и решила открыть глаза, чтобы ничего не пропустить. Полагаю, мне хотелось увидеть, как мужчина страстно набрасывается на мое тело. (Ох уж этот нарциссизм юности!) Я посмотрела вниз, залюбовавшись своей тонкой талией и изгибом бедра. Я загодя побрила ноги позаимствованной у Селии бритвой, и в приглушенном свете они выглядели чудесно гладкими. Грудь под ладонями доктора Келлогга тоже была хороша.

Ладони мужчины! На моей обнаженной груди! Вот это да!

Я украдкой взглянула на лицо Гарольда и порадовалась тому, что увидела: алеющие щеки, сосредоточенно нахмуренные брови. Он тяжело дышал через нос, и я решила, что это хороший знак, – значит, я его возбудила. И мне нравились его ласки и тот эффект, который они производили на кожу, – грудь порозовела, разрумянилась.

– А сейчас я возьму твой сосок в рот, – предупредил Гарольд. – Это стандартная процедура.

Лучше бы он ничего не говорил. А то мы как на медосмотре. В предыдущие годы я много думала о сексе, но ни в одной из фантазий любовник не вел себя как врач, посещающий пациентку на дому.

Гарольд наклонился и взял мой сосок в рот, как и обещал, чему я несказанно порадовалась, поскольку доктор наконец замолчал. Но вообще-то, таких приятных ощущений я в жизни не испытывала. Снова закрыв глаза, я решила лежать неподвижно и тихо, рассчитывая, что доктор продолжит делать мне приятное. Но он внезапно прервался и снова заговорил:

– Мы будем продвигаться осторожно и поэтапно, Вивиан. Господи боже, можно подумать, он собирается ввести мне ректальный термометр! В детстве у меня однажды был такой опыт, но сейчас мне меньше всего хотелось о нем вспоминать.

– Или ты хочешь побыстрее покончить с этим, Вивиан? – спросил доктор Келлогг.

– Что? – сказала я.

– Я полагаю, ты нервничаешь, впервые оказавшись в постели с мужчиной. И возможно, лучше сделать дело побыстрее, чтобы не растягивать неловкость. Или же ты хочешь, чтобы мы не спешили и я кое-чему тебя научил? Тому, что нравится миссис Келлогг, к примеру?

О нет! Меньше всего мне хотелось учиться тому, что нравится миссис Келлогг! Но я действительно не знала,

что ответить. Поэтому просто глупо таращилась на него.

– В двенадцать у меня начинается прием, – весьма неромантически напомнил доктор. Кажется, мое молчание его раздражало. – Но пока у нас еще достаточно времени на изобретательные забавы, если они тебя привлекают. Только решай поскорее.

Да как тут решишь? Откуда мне знать, что меня привлекает? «Изобретательные забавы» – что это вообще такое? Я лишь растерянно моргала в ответ.

– Нашему маленькому утенку страшно, – ласково проговорил он.

Мне захотелось прибить его за этот сюсюкающий тон.

– Вовсе мне не страшно, – ответила я и не соврала. Я не боялась – просто не знала, что делать. Я-то думала, он накинется на меня и растерзает, а тут такая тягомотина. Неужели обязательно обсуждать каждый пункт?

– Все в порядке, утенок, – заверил он. – Мне не впервой. Совсем засмущалась, да? Позволь я возьму инициативу на себя.

И он опустил ниже и коснулся моего лобка. Потом накрыл рукой вульву. Ладонь он держал раскрытой – так угощают рафинадом лошадь, опасаясь, что она может укусить. Потом он стал тереть мой маленький холмик. Это было не так уж плохо. Вообще-то, очень даже неплохо. Я снова закрыла глаза и закачалась на волшебных волнах чудесных ощущений.

– Миссис Келлогг любит, когда я так делаю. – У меня перед глазами возникла миссис Келлогг с ее кружевными салфеточками, и возбуждение как рукой сняло. – Она любит, когда я делаю круговые движения сначала по часовой стрелке... а потом против часовой стрелки...

Теперь мне стало ясно, что главная беда заключается в разговорах.

Я стала думать, как заставить доктора Келлогга замолчать. Нельзя же просто попросить его не болтать, ведь он у себя дома и к тому же оказывает мне одолжение, согласившись лишить меня девственности. Я была воспитанной девушкой и привыкла с известным почтением относиться ко взрослым; у меня просто язык не повернулся бы сказать: «Не соблаговолите ли вы заткнуться, доктор?»

Тут я сообразила: если я попрошу его поцеловать меня, говорить он больше не сможет. Возможно, план сработает. Ведь рот-то у него будет занят. Но тогда мне тоже придется его целовать, а я сомневалась, хочу ли этого. Что хуже – целоваться с доктором и наслаждаться молчанием или не целоваться и слушать его надоедливую болтовню?

– Твоей киске нравится, когда ее гладят? – спросил он, продолжая тереть мне между ног. – Твоя киска мурлычет?

– Гарольд, – сказала я, – не могли бы вы поцеловать меня?

Наверное, я несправедлива к доктору Келлогу.

Ведь он был добрым человеком и просто пытался помочь, не слишком испугав меня. Уверена, меньше всего на свете ему хотелось меня обидеть. Думаю, он рассматривал эту ситуацию с точки зрения клятвы Гиппократы: «не навреди» и все такое прочее.

А может, он вовсе и не был добрым. Теперь уже не узнать, ведь больше я его не видела. Так что давай не будем изображать его героем. Может, он совершенно не пытался мне помочь, а просто наслаждался дефлорацией смущенной нимфетки в своей гостевой комнате, пока женушка навещает его мамашу.

Во всяком случае, проблем с эрекцией у него не возникло, и вскоре он отвернулся, чтобы надеть «резинку». Раньше я никогда не видела эрегированный пенис (знаменательный момент!), хотя и сейчас толком его не разглядела. Отчасти потому, что на нем был презерватив, и к тому же доктор Келлогг заслонял его рукой. А еще потому, что уже через секунду Гарольд оказался на мне.

– Вивиан, – сказал он, – думаю, чем быстрее я совершу проникновение, тем лучше для тебя. В этом случае, пожалуй, действовать поэтапно не стоит. Приготовься. Я вхожу.

Сказано – сделано.

Вот так все и случилось.

Боль оказалась не такой сильной, как я опасалась. Это хорошая новость. Плохая новость, что мне было далеко не так приятно, как я рассчитывала. Я-то надеялась, что секс с проникновением многократно усилит чувства, которые я испытывала, когда Гарольд целовал мне соски и гладил между ног, но нет. На самом деле прежнее удовольствие вмиг испарилось, сменившись очень резким и грубым ощущением, которое немножко напоминало боль при месячных. Я безошибочно чувствовала присутствие чужеродного предмета внутри меня, и это было не хорошо и не плохо – только жутко странно.

Доктор стонал и совершал резкие толчки, бормоча сквозь стиснутые зубы:

– Миссис Келлогг предпочитает, чтобы...

Но я так и не узнала предпочтений миссис Келлогг, потому что снова начала целовать Гарольда. Только так удавалось заставить его замолчать, как я успела убедиться. К тому же мне хоть было чем заняться, пока он делает свое дело. Я уже говорила тебе, Анджела, что не блистала опытом по части поцелуев, но в целом догадывалась, как это делается. В таких вещах

мастерство приходит только с опытом, но я очень старалась. Было не так-то просто зажимать ему рот своим, в то время как доктор по мне елозил, однако дело того стоило: мне жутко не хотелось, чтобы он снова заговорил.

Но в последний момент он все же произнес одно слово.

Оторвавшись от моих губ, он воскликнул:

– Изумительно! – после чего выгнулся назад, еще раз сильно дернулся, и на том дело кончилось.

После доктор Келлогг встал и пошел в другую комнату, наверное, чтобы помыться. Вернувшись, он немного полежал рядом, крепко обняв меня и приговаривая:

– Утенок, утенок, мой славный маленький утенок! Не плачь, утеночек.

Я не плакала – даже не думала плакать, – но он даже не заметил.

Вскоре доктор снова встал и попросил разрешения проверить, не запачкала ли я кровью покрывало, ведь он забыл постелить простыню.

– Еще не хватало, чтобы миссис Келлогг заметила пятно, – беспокоился он. – Я совсем потерял голову. Обычно я куда более аккуратен. Видимо, не хватило осмотрительности, что, вообще говоря, мне несвойственно.

– Ой, – вспомнила я и схватила сумочку, радуясь, что могу поспособствовать, – у меня ведь есть полотенце!

Но крови не было. Ни капельки. Видимо, уроки верховой езды в детстве сделали свое дело, избавив меня от девственной плевы. Спасибо маме! К своему облегчению, сильной боли я тоже не почувствовала.

– А теперь, Вивиан, – инструктировал доктор, – я попрошу тебя в ближайшие два дня не принимать ванну, так как можно занести инфекцию. Душ вполне допустим, но не погружайся в воду. Если возникнут

выделения или неприятные ощущения, Глэдис и Селия покажут, как спринцеваться уксусом. Но ты крепкая здоровая девушка, так что осложнений не предвидится. Сегодня ты держалась молодцом. Я тобой горжусь.

Я почти ждала, что сейчас он вручит мне леденец на палочке.

Пока мы одевались, доктор Келлогг болтал о том, какая сегодня хорошая погода. Застала ли я цветение пионов в Грамерси-парке в прошлом месяце? Нет, ответила я, в прошлом месяце я даже не жила в Нью-Йорке. Что ж, заметил он, я непременно должна полюбоваться пионами в следующем году: срок их цветения совсем короток, но зрелище незабываемое. (Только не подумай, что доктор Келлогг пытался провести параллель между пионами и кратким сроком моего «цветения», – не будем приписывать ему несуществующую склонность к романтике и патетике. Похоже, он просто любил пионы.)

– Позволь проводить тебя к выходу, утенок.

Мы спустились по лестнице, прошли через гостиную с салфеточками и оказались у двери черного хода. На кухне доктор прихватил со стола заготовленный конверт и вручил мне, пояснив:

– В знак моей признательности.

Я знала, что там деньги, но сочла, что не заслуживаю их.

– О нет, Гарольд, я не могу, – сказала я.

– Нет-нет, непременно возьми.

– Нет-нет, не могу. Никак не могу, нет.

– Но я настаиваю.

– Но я не могу...

Вынуждена признаться, я упиралась вовсе не потому, что не хотела сойти за проститутку. (Мои моральные качества не настолько высоки.) Скорее, дело в привитых с детства социальных условностях. Видишь ли, родители раз в неделю посылали некоторую сумму

на мое содержание, которую тетя Пег выдавала мне по средам, и деньги доктора Келлогга были мне попросту не нужны. Кроме того, совесть подсказывала, что я их не особенно и заработала. Я плохо разбиралась в сексе, но сильно сомневалась, что доктору Келлоггу было со мной весело. Когда девушка лежит на спине, вытянув руки по швам, и почти не шевелится, разве что лезет с поцелуями при каждой попытке завести разговор, – радости от нее в постели немного, согласись. Если мне будут платить за секс, пусть уж платят за дело.

– Вивиан, я требую, чтобы ты взяла конверт, – заявил он.

– Гарольд, я отказываюсь.

– Вивиан, прошу, не устраивай сцену. – Доктор нахмурился и насильно всучил мне конверт. (В тот момент я была ближе всего к испугу и волнению за все время нашего короткого знакомства с доктором Келлоггом.)

– Ладно, – уступила я и взяла деньги.

(Полюбуйтесь-ка на меня, мои почтенные предки! Вознаграждение за секс, причем с первой же попытки, вот так-то!)

– Ты прелестная девушка, – сказал мне доктор на прощанье. – И не беспокойся: грудь у тебя еще вырастет.

– Спасибо, Гарольд, – ответила я.

– Очень помогает стакан простокваши ежедневно.

– Благодарю, обязательно попробую, – соврала я, вовсе не собираясь ежедневно выпивать стакан простокваши.

Я уже собиралась шагнуть за дверь, как вдруг меня разобрало любопытство.

– Гарольд, а можно узнать, какая у вас специализация?

По моим предположениям, он был или гинекологом, или педиатром. Я склонялась в пользу педиатрии и

просто хотела удостовериться.

– Я ветеринар, утенок, – ответил он. – Передавай мои наилучшие пожелания Глэдис и Селии и не забудь полюбоваться пионами следующей весной!

Я вывалилась на улицу, сгибаясь пополам от хохота, и помчалась в закусочную.

Как было обещано, девочки в полном составе дожидались меня за столиком. Не успели они и рот раскрыть, как я завопила:

– Он же ветеринар! Вы отправили меня к ветеринару?!

– Как все прошло? – спросила Глэдис. – Больно было?

– Он ветеринар! – захлебывалась я хохотом. – А вы говорили, что он врач!

– Доктор Келлогг и есть врач, – возразила Дженни. – У него на табличке написано.

– К ветеринару меня отправили, точно кошку на стерилизацию!

Я плюхнулась на диванчик рядом с Селией, с облегчением почувствовав рядом ее теплый бок. От приступов хохота меня трясло с головы до пят. Я чувствовала себя свободной и дикой. Как будто прежде я и не жила вовсе, а теперь жизнь во мне была ключом. Счастье, возбуждение, отвращение, стыд, гордость – все это нахлынуло разом и совершенно сбивало с толку, но чувствовала я себя потрясающе. Послевкусие от секса намного превзошло сам секс. Мне просто не верилось, что я совершила такой подвиг. Как будто на моем месте оказалась совсем другая Вивиан, бесстрашная и дерзкая, – секс с незнакомцем, с ума сойти! – и вместе с тем я как никогда ощущала себя настоящей.

При виде сидящих за столиком девушек меня накрыло такой мощной волной благодарности, что я чуть не прослезилась. Как здорово, что они рядом! Мои подруги! Самые лучшие подруги в мире! Мои самые

лучшие подруги, с которыми я познакомилась всего две недели назад – кроме Дженни, с которой мы знакомы только два дня! Как же я их всех люблю! Они ждали меня! Они беспокоились обо мне!

– И все-таки – как прошло? – спросила Глэдис.

– Отлично. Просто отлично.

Передо мной стояла тарелка остывших блинов, недоеденных за завтраком, и я накинулась на них, как хищник на добычу. У меня тряслись руки. Казалось, я никогда не наемся. Господи, да я просто умираю с голоду! Раз за разом поливая блины сиропом, я запихивала их в рот один за другим.

– И вечно талдычит про свою женушку, скажите же? – пробубнила я с набитым ртом.

– Не то слово! – Дженни закатила глаза. – Просто ужас.

– Он мяля, – признала Глэдис, – зато добрый, а это самое главное.

– А больно-то было? – спросила Селия.

– Представляешь, вообще ни капельки, – ответила я. – Даже полотенце не пригодилось.

– Повезло тебе, – вздохнула Селия. – Еще как повезло.

– Не сказать чтобы было приятно, – добавила я, – но и не противно. Слава богу, теперь все позади. Похоже, не худший способ лишиться девственности.

– Все остальные намного хуже, – подтвердила Дженни. – Поверь. Я перепробовала их все.

– Вивви, я ужасно тобой горжусь, – заявила Глэдис. – Сегодня ты стала женщиной.

Она приветственно подняла чашку кофе, и я чокнулась с ней своим стаканом с водой, и этот тост Глэдис, примы кордебалета, заменил мне самые пышные церемонии посвящения и самые высокие награды.

- И сколько он тебе дал? - поинтересовалась Дженни.

- Ой, я и забыла! - Я достала из сумочки конверт. - Открой лучше ты. - Дрожащими руками я вручила его Селии.

Та разорвала конверт, привычным жестом пересчитала купюры и объявила:

- Пятьдесят баксов!

- Пятьдесят баксов! - ахнула Дженни. - А обычно дает двадцать!

- На что потратим? - спросила Глэдис.

- Надо устроить что-нибудь особенное, - объявила Дженни, а я почувствовала облегчение оттого, что девушки сочли деньги общими, а не лично моими. Теперь бремя позора словно разделилось на всех. Да и дух товарищества только укрепился.

- Можно смотаться на Кони-Айленд, - предложила Селия.

- Не успеем, - возразила Глэдис. - К четырем надо вернуться в «Лили».

- Успеем, - сказала Селия. - Мы быстренько. Съедем по хот-догу, посмотрим на пляж и сразу обратно. Возьмем такси. Деньги-то у нас есть, верно?

И мы поехали на Кони-Айленд. Открыв нараспашку все окна в такси, мы курили, смеялись и болтали. Стоял самый теплый денек с начала лета. Небо сияло невозможной синевой. Я сидела на заднем сиденье между Селией и Глэдис, а Дженни устроилась на переднем и без умолку щебетала с водителем - а тот не верил своему счастью, любясь целой стайкой ослепительных красоток, впорхнувших к нему в машину.

- Откуда вы взялись, девчонки, с такими-то фигурками? - подмигнул он нам, и Дженни тут же его осадила:

– Не наглейте, мистер! – Но, готова поклясться, ей льстило его внимание.

– А вам не совестно перед миссис Келлогг? – спросила я Глэдис, ощущая смутное беспокойство насчет своей утренней эскапады. – В смысле вы ведь спите с ее мужем. Может, мне следует стыдиться?

– Совесть не резиновая, знаешь ли, – отмахнулась Глэдис. – Если переживать по каждому поводу, то и жить будет некогда.

Боюсь, таков был предел наших моральных угрызений. Больше мы про миссис Келлогг не вспоминали.

– В следующий раз хочу попробовать с другим, – решительно сказала я. – Думаете, у меня получится найти кого-нибудь еще?

– Раз плюнуть, – заверила Селия.

На Кони-Айленде было весело и солнечно. От обилия дешевых курортных развлечений рябило в глазах. По набережной прогуливались шумные семьи, молодые парочки, дети с липкими от конфет пальцами, обалдевшие от счастья – точь-в-точь как я. Мы разглядывали афиши бродячих цирков. Спустились на пляж и помочили ноги в воде. Мы ели яблоки в карамели и лимонный шербет. Сфотографировались с силачом. Накупили плюшевых зверюшек, видовых открыток и маленьких сувенирных пудрениц. Я подарила Селии симпатичную плетеную сумочку, расшитую ракушками, а девочкам – солнечные очки, оплатила такси до центра Манхэттена, и у меня еще осталось девять долларов.

– Хватит на добрый стейк, – сказала Дженни.

Мы вернулись в театр, едва успев к пятичасовому спектаклю. Оливия рвала на себе волосы, испугавшись, что девушки опоздают к выходу. Она ходила кругами и

кудахтала, как квочка, распекая всех за нерасторопность. Но Селия, Дженни и Глэдис юркнули в костюмерные и вынырнули минутой позже в полном облачении, словно блески и страусовые перья выросли на них сами собой.

Тетя Пег тоже была там и довольно рассеянно поинтересовалась, хорошо ли я провела день.

– Еще как! – воскликнула я.

– Вот и умница, – сказала Пег. – Веселись, пока молода. Перед самым выходом на сцену Селия сжала мне руку. Я обняла подругу, прижавшись к ее невозможно прекрасному телу.

– Селия! – прошептала я. – До сих пор не верится, что сегодня я лишилась невинности!

– Невелика потеря, – ответила она. – Ты ни разу о ней не пожалеешь.

И знаешь что, Анджела?

Селия была абсолютно права.

Глава седьмая

Так все и началось.

Теперь, пройдя инициацию, я постоянно думала о сексе – и весь Нью-Йорк был пропитан им. Мне надо было многое наверстать. Столько лет потрачено впустую! Столько лет я была скучной и занималась скучными вещами, но отныне не желала скучать ни дня! Ни часа! Ни минуты!

А сколько всего нужно узнать! Я хотела, чтобы Селия научила меня всему, что знала сама. О мужчинах, о сексе, о Нью-Йорке, о жизни вообще – я жаждала знать все, и Селия с радостью стала моим учителем. Отныне и навсегда я перестала быть ее девочкой на побегушках (по крайней мере, почти перестала) и превратилась в соучастницу. Теперь Селия больше не возвращалась домой среди ночи пьяная после диких загулов; теперь мы обе возвращались домой среди ночи пьяные после диких загулов.

Тем летом мы рыскали по ночному Нью-Йорку в поисках приключений на свою голову, и те нас всегда находили. Хорошенькой девушке в большом городе не приходится долго искать приключений, но если приключений ищут две хорошенькие девушки, удача ждет их буквально на каждом углу – а нам только этого и хотелось. Мы с Селией поставили себе цель веселиться на всю катушку и шли к этой цели с почти маниакальным упорством. Мы были ненасытны – не только по части парней, но и в еде, коктейлях, танцах до упаду и живой музыке, которая заставляет курить сигареты одну за другой и хохотать, запрокинув голову.

Иногда в начале вечера к нам присоединялись другие девочки из «Лили», но где им было угнаться за нами. Стоило одной из нас чуть притормозить, инициативу перехватывала другая. Порой мне казалось, что мы с Селией исподтишка наблюдаем друг за другом, пытаюсь придумать, что бы еще такого выкинуть, ведь мы понятия не имели, чем займемся дальше. Мы знали только, что нам хочется веселиться. Думаю, в первую очередь нас с Селией гнал вперед страх заскучать. В наших сутках было сто часов, и мы стремились заполнить их все; нам казалось, что иначе мы погибнем от тоски.

Короче, тем летом мы избрали бесчинство и угар – и предавались им с таким рвением, что я до сих пор сама себе поражаюсь.

Вспоминая лето 1940 года, я вижу себя и Селию двумя темными, чернильно-черными сгустками чистой похоти, дрейфующими сквозь тьму и неоновое сияние Нью-Йорка в безостановочном поиске приключений. И как бы я ни пыталась вспомнить отдельные сцены, вызывать в памяти детали, наш марафон сливается в одну длинную, жаркую, потную ночь.

После окончания спектакля мы с Селией переодевались в самые короткие и узкие вечерние платья в мире и бросались в гущу событий. Выбегали на заждавшиеся улицы, ни капли не сомневаясь, что упускаем самое интересное и важное: как они посмели начать без нас?

Вечер всегда начинался у Тутса Шора^[12], в «Эль Марокко» или «Аисте», но мы даже понятия не имели, где окажемся через несколько часов. Если в центре становилось слишком скучно и привычно, мы мчались на метро в Гарлем послушать Каунта Бейси^[13] или выпить в «Красном петухе». Но с таким же успехом могли отправиться с ребятами из Йеля в «Риц» или отплясывать с социалистами в «Вебстер-холле». Главное, чтобы соблюдалось правило: танцуй до упаду, а потом танцуй еще.

Мы перемещались с невероятной скоростью. Иногда мне казалось, что я не успеваю за городом, что волочусь в хвосте, проваливаясь в бездонную воронку звуков, огней и кутежа. Но бывало, что город не успевал за нами: куда бы мы ни шли, за нами тянулся шлейф событий и людей. В безумии тех ночей мы иногда встречали по пути мужчин, с которыми Селия была уже знакома, иногда знакомились с новыми. Или и то, и другое. Иногда я целовалась с тремя красавчиками за вечер, иногда трижды целовалась с одним красавчиком – уследить было сложно, да я и не трудилась.

Кавалеры находились сами собой.

Селии Рэй достаточно было войти в клуб, и все мужчины падали к ее ногам. Она ослепляла своим великолепием уже на пороге, будто швыряя гранату в гнездо пулеметчика, после чего оставалось лишь пройтись по залу во всей красе, оценивая нанесенный ущерб. Как только она появлялась в клубе, вся сексуальная энергия концентрировалась вокруг нее. Со

скучающим видом Селия плыла к барной стойке или столику, притягивая на свою орбиту каждого чужого мужа или любовника, причем без малейших усилий со своей стороны.

Мужчины смотрели на Селию Рэй, точно на шоколадное яйцо с сюрпризом. Им не терпелось поскорее съесть шоколад и докопаться до игрушки.

Она в ответ уделяла им не больше внимания, чем узору на обоях.

И окончательно сводила их с ума.

– Детка, покажи-ка мне свою улыбку, – как-то обратился к ней на танцполе один храбрец.

– Сначала покажи мне свою яхту, – парировала Селия и развернулась на сто восемьдесят градусов.

Поскольку теперь мы всегда были рядом и я внешне походила на Селию, эффект удваивался. В приглушенном свете мы выглядели почти близнецами: одного роста, с одинаковым цветом волос и кожи. Вдобавок я носила такие же узкие платья и такую же прическу, подражала походке Селии и подкладывала вату в лифчик, чтобы грудь казалась больше.

Не хочу хвастаться, Анджела, но наш дуэт был неотразим.

Вообще-то, я как раз хочу похвастаться, и позволь старухе урвать свой кусочек славы: вместе мы выглядели ослепительно. Одним своим появлением мы заставляли всех мужчин за столиками сворачивать шеи.

– Плесните нам чего-нибудь освежающего, – говорила Селия, усаживаясь за барную стойку. Она ни к кому конкретно не обращалась, но уже через мгновение пятеро мужчин протягивали нам коктейли – три для нее, два для меня. А еще через десять минут нам требовались новые порции.

Откуда мы черпали энергию?

О да, конечно: то была энергия самой юности. Мы сами производили ее, точно динамо-машины. Впрочем,

по утрам нам приходилось несладко. Даже в таком возрасте похмелье никого не щадит. Но если мне нужно было вздремнуть посреди дня, я всегда могла прикорнуть на репетиции или во время спектакля за кулисами, устроившись на груди старых портьер. Десять минут сна – и я возрождалась для нового штурма города, как только стихнут аплодисменты после шоу.

Легко вести такую жизнь, когда тебе девятнадцать (или, в случае Селии, когда притворяешься, что тебе девятнадцать).

– Плохо кончите, девочки, – однажды бросила нам вслед пожилая леди, когда мы пьяные брели по улице, спотыкаясь на каждом шагу. Она была права. Но не понимала одного: мы и хотели плохо кончить.

О, девичьи желания!

О, манящая и ослепляющая жажда юности! Она толкала нас к краю обрыва и раз за разом загоняла в расставленные нами же ловушки.

Не могу сказать, что летом 1940-го я обучилась премудростям секса, хотя количественный опыт, безусловно, приобрела.

Но одно дело количество, а другое – качество.

Для достижения мастерства в сексе – а для женщины это значит научиться получать удовольствие от процесса и даже режиссировать его, направляя к собственному оргазму, – требуются время, терпение и прилежный партнер. Пока же, в отсутствие столь сложных материй, я брала количеством, а сам половой акт занимал рекордно короткое время. (Мы с Селией не любили надолго зависать в одном месте или с одним мужчиной: а вдруг на другом конце города прямо сейчас происходит что-нибудь поинтереснее?)

Тем летом жажда приключений и сексуальное любопытство сделали меня не только ненасытной, но и

падкой на искушения. Такой я себя вижу, вспоминая то время с высоты прожитых лет. Я велась на все, что таило хотя бы легчайший намек на эротику или недозволенность. Неоновые огни в темных переулках, коктейли в половинках кокоса в гавайском зале отеля «Лексингтон», бесплатные билеты в первый ряд, проходки за кулисы безымянных ночных клубов – я заглатывала любую наживку. Я западала на всякого, кто умел играть на музыкальном инструменте или мало-мальски изящно танцевать. Садилась в машину к каждому, у кого была машина. Мужчине достаточно было подойти ко мне в баре с двумя хайболами и сказать: «Кажется, я заказал лишний коктейль по ошибке. Вы мне не поможете?»

О да, помогу с радостью, сэр.

И помощница из меня была хоть куда.

В нашу защиту скажу, что мы с Селией занимались сексом не со всеми мужчинами, с кем познакомились тем летом.

Но почти со всеми.

Вопрос, с кем переспать, для нас с Селией не стоял – какая разница? – гораздо больше нас волновал вопрос где.

И ответ был таков: где придется.

В шикарных номерах отелей, за которые платили заезжие воротилы. На кухне (не работавшей по ночам) маленького клуба в Ист-Сайде. На пароме, где мы непонятно как оказались уже под утро – огни на воде плясали и расплывались перед глазами. На заднем сиденье такси. (Ты решишь, что там неудобно, и уж поверь мне, так и есть: неудобно. Но осуществимо.) В кинотеатре. В примерке в подвале «Лили». В примерке в подвале «Алмазной подковы». В примерке в подвале «Мэдисон-сквер-Гарден». В Брайант-парке, где под

ногами шныряют стаи крыс. В темных душных переулках центра Манхэттена в двух шагах от оживленных перекрестков, где снуют такси. На крыше Пак-билдинг. В кабинетах на Уоллстрит, где нас могли услышать лишь ночные уборщики.

Пьяные, с расширенными зрачками, с кипящей кровью, пустоголовые, невесомые – тем летом мы с Селией перемещались по Нью-Йорку со скоростью электричества. Мы не ходили – мы летали. Никаких целей, лишь постоянный поиск острых ощущений. Мы ничего не пропускали и ничего не запоминали. Мы видели, как Джо Луис^[14] тренировался с партнером по спаррингу; мы слышали выступление Билли Холидей^[15], – но я не помню ни единой детали. Мы были слишком заняты собой, чтобы обращать внимание на окружающие нас чудеса. (Скажем, в тот вечер, когда мы попали на концерт Билли Холидей, у меня начались месячные, и я ужасно расстроилась: парень, который мне нравился, ушел с другой девчонкой. Вот тебе мой отчет о выступлении Билли Холидей.)

Мы с Селией накачивались спиртным и врезались в толпу пьяных парней, с подавляющим большинством которых вступали в связь, – последствия ты сама можешь себе представить. Мы шли в бар с ребятами, с которыми познакомились в другом баре, и начинали флиртовать с другими ребятами, которых встретили в новом баре. Из-за нас то и дело вспыхивали драки, и многим доставалось не на шутку, но потом Селия выбирала среди выживших того, кто вел нас в следующий бар, – и заваруха повторялась по новой. Мы порхали от одной компании к другой, переходили из рук в руки. Однажды мы с Селией даже поменялись ухажерами посреди ужина.

– Забирай, – во всеуслышание заявила она прямо при незадачливом партнере, который успел ей наскучить. –

Я в дамскую комнату. А ты пока не дай ему загрустить.

– Но это же твой парень! – воскликнула я, когда ее поклонник послушно придвинулся ко мне. – А ты моя подруга!

– Ох, Вивви! – Селия взглянула на меня ласково и жалостливо, как на неразумное дитя. – Такую подругу не потеряешь, всего лишь уведя у нее парня!

Тем летом я почти не общалась с родными.

Меньше всего на свете мне хотелось, чтобы они прознали про мои безумства.

Раз в неделю мать присылала деньги на карманные расходы и короткое письмо, в котором сообщала последние новости. Папа повредил плечо, играя в гольф. Брат грозит уйти из Принстона в следующем семестре и вступить во флот: хочет служить своей стране. Мать победила такую-то в таком-то теннисном турнире. В ответ я раз в неделю посылала родителям открытку с одним и тем же стандартным набором пресных и туманных сведений. У меня все хорошо, я работаю в театре, Нью-Йорк – чудесный город, спасибо за деньги. Время от времени подбрасывала какую-нибудь безобидную подробность, например: «На днях мы с тетей Пег замечательно пообедали в „Никербокере“».

Естественно, я не сообщала родителям о том, что недавно моя подруга Селия, артистка бурлеска, отвела меня к врачу, чтобы мне нелегально поставили пессарий. (Нелегально – потому что в те времена врач не имел права прописывать контрацепцию незамужним женщинам. Но, к счастью, танцовщицы знали, к кому обращаться в таких случаях. Гинеколог Селии, немногословная русская, не задавала вопросов. Она снабдила меня всем необходимым даже глазом не моргнув.)

Ни слова я не сказала маме с папой и о том, как испугалась, что подхватила гонорею – которая, слава богу, оказалась всего лишь легкой инфекцией мочевыводящих путей, хотя целую неделю я провела в мучительном страхе, пока ситуация не прояснилась. Умолчала я и о том, как меня повергла в ужас задержка месячных – к счастью, эта проблема тоже решилась сама собой. Еще я не рассказывала, что регулярно сплю с Кевином «Псом» О'Салливаном – управляющим подпольной ирландской лотереи в Адской кухне. (Разумеется, я водила шашни и с другими, не менее опасными мужчинами, но кличка у Кевина была самая яркая – Пес.)

Не упоминала я и о том, что презервативы теперь у меня всегда с собой: мне хватило одного приступа гонорейной паники, да и осторожность лишней не бывает. Я также не призналась, что «резинками» меня регулярно снабжают дружки по доброте сердечной («Представляешь, матушка, в Нью-Йорке презервативы продают только мужчинам!»).

Нет, обо всем этом я умолчала.

Зато поделилась новостью, что камбала в «Никербокере» – просто пальчики оближешь.

И не соврала. Камбалу там подавали отменную.

Тем временем мы с Селией продолжали развлекаться в том же духе, каждый вечер отправляясь на поиски приключений, больших и маленьких.

От выпивки мы совершенно теряли голову. Мы забывали следить за ходом времени, числом коктейлей и именами кавалеров. Накачиваясь джином с тоником, мы забывали, как переставлять ноги. Пускаясь во все тяжкие, мы забывали о собственной безопасности, и за нами приглядывали другие люди, часто совершенно незнакомые. (Помню, однажды Селия набросилась на

любезного джентльмена, который всего лишь хотел проводить нас домой. «Не учите девушек жить!» – кричала она.)

В наших ночных вылазках опасность подстерегала за каждым углом. Мы с Селией были готовы ко всему, и могло случиться что угодно. И частенько случалось.

Видишь ли, Анджела, эффект воздействия Селии на мужчин превращал их в послушных и преданных рабов – пока они вдруг не переставали быть послушными и преданными. Вот они выстраиваются перед нами в шеренгу, готовые слушать приказы и исполнить любую прихоть, милые и покорные. Иногда они такими оставались – но временами, совершенно внезапно, слетали с катушек. Существовал предел мужского вожделения и злости: стоило его пересечь, и назад дороги не было. За этой чертой Селия производила на мужчин прямо противоположный эффект: они буквально зверели. Только что все веселились, кокетничали, поддразнивали друг друга и смеялись, и вдруг сама атмосфера в комнате менялась, и дело могло кончиться не только сексом, но и насилием.

И обратить все в шутку не было шансов.

Дальше начинался беспредел.

В первый раз, когда это случилось при мне, Селии удалось предугадать перемену обстановки буквально за секунды, и она отослала меня прочь. Мы сидели в президентском люксе отеля «Билтмор», куда нас пригласили трое мужчин, с которыми мы только что познакомились в бальном зале «Уолдорфа». Эти типы сорили деньгами налево и направо и явно занимались темными делишками. Если бы меня попросили угадать род их занятий, я бы, пожалуй, сделала ставку на рэкет. Сперва они стелились перед Селией: такие почтительные, такие благодарные за оказанное внимание, они из кожи вон лезли, стараясь доставить удовольствие красотке и ее подруге. Еще шампанского,

дамы? Закажем в номер крабов? Не желаете ли посмотреть президентский люкс в «Билтморе»? Радио включить или выключить?

Я еще не знала правил игры; мне казалось забавным, что громилы так выслуживаются перед нами. Повергнуты ниц нашей победительной красотой и все такое. Хотелось посмеяться над их слабостью: ох уж эти мужчины, мы можем из них веревки вить!

А потом – мы как раз поднялись в президентский люкс – произошла та самая перемена, о которой я тебе говорила, и Селия вдруг оказалась зажатой между двумя громилами на диване, и те уже не выглядели угодливыми слабаками. И хотя они даже ничего не делали, градус общения стал совсем другим, и я всерьез испугалась. Их лица неуловимо изменились, и мне это не понравилось. Третий мужчина поглядывал в мою сторону и шутить, похоже, больше не собирался. Эту внезапную перемену можно описать так: представь, что ты наслаждаешься пикником под ярким солнцем и вдруг налетает торнадо. Стрелка барометра резко падает, небо чернеет, птицы смолкают. И вихрь летит прямо на тебя.

– Вивви, – в тот же миг проговорила Селия, – сбегай вниз за сигаретами.

– Сейчас? – спросила я.

– Уходи, – шепнула она, – и не возвращайся.

Я бросилась к выходу, прежде чем третий громила успел меня перехватить, и, к своему стыду, захлопнула дверь, оставив за ней подругу. Я бросила Селию, потому что она мне велела, но на душе все равно было гадко. Селия осталась наедине с тремя гангстерами, а кто знает, что у них на уме? Она отправила меня восвояси, чтобы я не видела, как ее мучают, – и чтобы не мучили меня. В то же время я чувствовала себя ребенком, которого не допустили ко взрослым играм. С одной стороны, я боялась этих мужчин и боялась за Селию, с

другой – обижалась, что меня выгнали. Это было невыносимо. Целый час я мерила шагами холл отеля, гадая, не пора ли бить тревогу и вызвать управляющего. Но что я ему скажу?

Наконец Селия спустилась – одна, без троицы сопровождающих, которые совсем недавно столь любезно пригласили нас в лифт.

Она заметила меня, неспешно подошла и сказала:

– Ну и ночка. Не лучшее завершение вечеринки, доложу я тебе.

– У тебя все хорошо? – спросила я.

– Ага, просто потрясно. – Она оправила платье. – Как я выгляжу?

Выглядела она великолепно, как всегда, – если не считать фингала под левым глазом.

– Прямо-таки конфетка, – заверила я.

Селия заметила, что я таращусь на ее подбитый глаз, и успокоила:

– Только не заводись, Вивви. Глэдис закрасит синяк, никто и не заметит. Она у нас эксперт. Подгонишь нам такси? Тачка до самого дома – вот что мне сейчас нужно.

Я нашла нам такси, и по дороге домой мы не сказали ни слова.

Оставили ли события той ночи шрам в душе Селии? Ты ведь наверняка считаешь, что оставили, верно?

К стыду своему, Анджела, я не знаю. Мы с ней ни разу не обсуждали тот случай. И я уж точно ни разу не замечала в ней следов душевной травмы. Впрочем, я их и не искала. А если бы и искала, не сумела бы распознать. Может, я надеялась, что мерзкий инцидент просто забудется сам собой, рассосется, как фингал под глазом, если не упоминать о нем. Или считала, что для

Селии насилие не в новинку, если учесть ее прошлое. (Не исключено, что так и было, прости господи.)

Той ночью в такси я могла задать ей столько вопросов (для начала хотя бы убедиться, что у нее действительно все хорошо), но я смолчала. И даже не поблагодарила, что она уберегла меня от побоев. Мне было стыдно, что меня понадобилось спасать, – стыдно, что она считает меня более невинной, более хрупкой и уязвимой, чем она сама. До той ночи я могла прикидываться, будто мы с Селией Рэй одного поля ягоды: рискованные оторвы, берущие город штурмом и веселящиеся напропалую. Но это была только бравада. Я лишь заигрывала с опасностью, а Селия знала ее в лицо. Селия знала многие стороны жизни – стороны темные и мрачные, – которых я и не нюхала. От которых она стремилась меня уберечь.

Вспоминая сейчас те времена, Анджеला, я ужасаюсь, каким обычным делом тогда выглядело насилие над женщинами – причем не только для Селии, но и для меня. Почему, например, мне даже в голову не пришло поинтересоваться, каким образом Глэдис стала экспертом в маскировке синяков? Пожалуй, общая точка зрения была такова: «Мужчины есть мужчины, что с них возьмешь!» Однако не забудь, что дело происходило задолго до того, как подобные мрачные стороны начали обсуждать вслух, – поэтому мы их не обсуждали и между собой. Вот почему я больше не упоминала тот случай, и Селия тоже о нем не заговаривала. Мы просто сделали вид, что ничего не было.

Хочешь верь, хочешь нет, но следующим вечером мы опять ринулись в город в поисках приключений. Изменилось лишь одно: я пообещала себе, что впредь никогда не оставлю подругу, не позволю себя прогнать при любом раскладе. Куда Селия, туда и я. Что бы с ней ни произошло, пусть произойдет и со мной тоже.

«Я уже не ребенок», – твердила я себе, как твердят все дети.

Глава восьмая

А между тем война была на пороге.

Вообще-то, она началась давно и в Европе шла вовсю. Но в США продолжались разгоряченные дебаты, стоит ли нам в нее вступать.

Само собой, я в этих дебатах не участвовала. Но все кругом обсуждали войну, и от этого было не скрыться.

Возможно, ты сочтешь, что я могла бы и пораньше заметить приближение войны, но, если честно, прежде эта тема не привлекала моего внимания. Если ты еще не поняла, Анджела, в молодости наблюдательность не входила в число моих достоинств. Летом 1940 года было очень трудно не замечать, что в мире вот-вот начнется война, но я каким-то образом умудрилась. В свое оправдание скажу, что мои подруги и коллеги по театру тоже игнорировали эту тему. Не помню, чтобы Глэдис, Селия или Дженни хоть раз обсуждали боеготовность Соединенных Штатов Америки или растущие потребности «флота двух океанов»^[16]. Политика меня никогда не интересовала. Я не назвала бы фамилию ни одного министра в кабинете Рузвельта. Зато я знала полное имя второй жены Кларка Гейбла, многократно разведенной светской львицы из Техаса: Риа Франклин Прентисс Лукас Лэнгхэм Гейбл – язык сломаешь, но я запомнила его до скончания дней.

В мае 1940-го нацисты вторглись в Бельгию и Нидерланды. Примерно в то же время я провалила экзамены в Вассаре, так что мне было не до войны. (Помню, папа говорил, что вся эта кутерьма закончится к концу лета: французская армия оттеснит захватчиков обратно в Германию. Я сочла его слова вполне авторитетными, ведь он читал столько газет.)

Когда я приехала в Нью-Йорк – в середине июня 1940 года, – немцы уже маршировали по Парижу (вот

тебе и папин авторитет). Но в моей жизни случилось столько всего интересного, что мне некогда было следить за развитием событий. Меня гораздо больше интересовало происходящее в Гарлеме и Виллидже, чем на линии Мажино. В августе, когда люфтваффе бомбило Британию, меня одолевали кошмары из-за возможной беременности и гонореи, так что я даже не замечала военных репортажей.

Слышала про «пульс истории»? Я умудрилась не слышать его, хотя он гремел мне в самые уши.

Будь я умнее и прозорливее, то поняла бы, что рано или поздно Америку втянут в мировое противостояние. Я могла бы уделить больше внимания известию, что мой брат собрался пойти на флот. Могла бы даже задуматься о том, как это решение повлияет на будущее Уолтера – и на будущее всех нас. Могла бы сообразить, что некоторые юные весельчаки, с которыми мы еженочно развлекаемся в Нью-Йорке, по возрасту как раз подходят для отправки на передовую, когда Америка неизбежно вступит в войну. Знай я тогда то, что знаю сейчас, а именно – что многие из этих юношей вскоре сгинут на полях Европы и в аду Тихоокеанского фронта, – я бы переспала с каждым из них.

И если ты думаешь, что я шучу, – то нет, я не шучу.

Я сожалею, что не успела осчастливить каждого из них. (Конечно, мне не хватило бы времени, но я уж постаралась бы втиснуть в свой плотный график всех до единого – всех, кого вскоре взорвут, сожгут, ранят. Всех обреченных.)

Я сожалею, что не распознала грядущие ужасы, Анджела. Искренне сожалею.

Впрочем, остальные оказались умнее меня. Оливия с особой тревогой следила за новостями, поступавшими из ее родной Англии. Я видела, что она беспокоится, но поскольку Оливия беспокоилась по любому поводу, на меня это не производило впечатления. Каждое утро за тарелкой яичницы с почками Оливия прочитывала все газеты, которые смогла найти: «Нью-Йорк таймс», «Барронс», «Геральд трибьюн» (хотя последняя и лебезила перед республиканцами), а тем более британскую прессу, когда удавалось ее достать. Даже моя тетя Пег, обычно читавшая лишь «Пост» (и то ради бейсбольной колонки), стала с тревогой следить за репортажами. Одну мировую войну она уже пережила и не горела желанием пережить вторую. Вдобавок ко всему Пег искренне переживала за Европу, которую очень любила.

Тем летом Пег и Оливия укрепились во мнении, что американцы должны вступить в войну. Кто-то же должен помочь англичанам и освободить французов! Обе они горячо поддерживали нашего президента, пытавшегося добиться одобрения военных действий со стороны Конгресса.

Пег, предатель своего класса, всегда любила Рузвельта. Когда я впервые об этом услышала, меня потрясло ее отношение: мой отец ненавидел президента и был рьяным изоляционистом. Он всецело поддерживал Линдберга^[17]. Я полагала, что все мои родственники обязаны ненавидеть Рузвельта. Но у нью-йоркцев по любому вопросу есть собственное мнение.

– Ну все, нацисты меня достали! – однажды воскликнула Пег за завтраком, читая газету, и в приступе гнева ударила кулаком по столу. – Хватит! Кто-то должен их остановить! Чего мы ждем?

Никогда не слышала, чтобы Пег так взъярилась, вот почему тот случай отложился у меня в памяти. Ее реакция на мгновение заставила меня забыть

собственные мелочные заботы и задуматься: ого, раз уж Пег злится, значит, дело плохо!

Но я понятия не имела, чего она ждет от меня. Уж я-то точно не могла остановить нацистов.

Если честно, у меня вплоть до сентября 1940 года не укладывалось в голове, что война – такая далекая и досадная – может иметь для нас реальные последствия.

Но потом в театре «Лили» появились Эдна и Артур Уотсоны. **Глава девятая**

Осмелюсь предположить, Анджела, что ты никогда не слышала об Эдне Паркер Уотсон.

Ты слишком молода, чтобы помнить эту великую драматическую актрису. К тому же Эдна больше известна в Лондоне, чем в Нью-Йорке.

Так получилось, что я слышала о ней еще до знакомства, но только потому, что она была замужем за красивым английским актером кино Артуром Уотсоном, который только что сыграл сердцеда в слащавой британской военной мелодраме «Врата полудня». Я видела фотографии четы Уотсонов в журналах, поэтому и знала Эдну в лицо. Вообще-то, почти преступление говорить об Эдне только в связи с ее мужем. Из них двоих она куда более талантливая актриса, да и как личность куда более интересна. Но что поделать: симпатичной мордашкой обладал именно Артур, а в нашем поверхностном мире симпатичная мордашка важнее всего.

Возможно, Эдна достигла бы большей известности, снимаясь она в кино. Возможно, ее помнили бы до сих пор, как помнят Бетт Дэвис и Вивьен Ли – актрис того же масштаба. Но Эдна не соглашалась играть перед камерой. И не потому, что не предлагали: Голливуд не единожды стучался в ее двери, но Эдне каждый раз хватало упорства отказывать важным студийным шишкам. Она не снисходила даже до радиопьес –

считала, что в записи человеческий голос теряет сакральную жизненную силу.

Нет, Эдна Паркер Уотсон выступала только на сцене, а беда театральных актрис в том, что с окончанием карьеры о них просто забывают. Тот, кто ни разу не видел Эдну на подмостках, не в силах представить ее магнетизм и власть над публикой.

Между прочим, Джордж Бернард Шоу считал ее своей любимой актрисой – теперь ты видишь уровень? Карьера Эдны началась с его знаменитого отзыва о ее Жанне д'Арк. «Это светящееся лицо в обрамлении шлема – достаточно одного взгляда, чтобы любой ринулся за ней в битву».

Но нет, даже оценка автора «Святой Иоанны» не в силах передать величие Эдны Уотсон.

При всем уважении к мистеру Шоу, я лучше опишу ее своими словами.

Я познакомилась с Эдной и Артуром в третью неделю сентября 1940 года.

В театре «Лили» привыкли к неожиданным гостям, и визит Эдны с Артуром не стал исключением. Но даже по меркам «Лили» с его постоянным хаосом и кутерьмой их приезд выглядел событием внезапным и чрезвычайным.

Эдна с Пег дружили давно. Они познакомились во Франции во время Первой мировой и сразу сблизились, но с тех пор много лет не виделись. И вот в конце лета 1940-го Уотсоны приехали в Нью-Йорк, где Эдна репетировала новую пьесу с Альфредом Лантом^[18]. Однако спектакль так и не состоялся: не успели актеры заучить реплики, как финансирование отозвали. Уотсоны засобирались было назад в Англию, но тут нацисты начали бомбардировки, и через несколько недель в лондонский дом Уотсонов угодила бомба люфтваффе. И стерла его с лица земли. До основания.

– В щепки разнесло, – сообщила нам Пег.

Так Эдна и Артур застряли в Нью-Йорке. Они жили в отеле «Шерри-Незерланд»: не худший вариант для беженцев, оставшихся без крова, но оба сидели без работы, и вскоре проживание в отеле стало им не по карману. Они оказались в Америке без средств к существованию, без дома, куда можно вернуться, и даже без надежд на безопасное появление в родной стране.

Пег услышала об их беде от общих знакомых и, само собой, позвала Уотсонов пожить в «Лили». Оставайтесь, сколько нужно, сказала она. И даже пообещала занять в паре своих спектаклей, если супруги не погнушаются таким заработком.

Разве могли они отказаться? Деваться-то все равно некуда.

И Уотсоны переехали к нам. Тогда я впервые в жизни и соприкоснулась с войной напрямую.

Уотсоны прибыли в один из первых по-осеннему холодных вечеров сентября. Когда их машина подъехала к театру, мы с Пег стояли на пороге и разговаривали. Я только что вернулась из магазина Луцкого и притащила огромный мешок кринолинов, с помощью которых надеялась подлатать костюмы наших танцовщиц. (Мы ставили спектакль «Пляши, Джеки!» – об уличном проходе, которого спасает от криминальной стези любовь прекрасной юной балерины. Мне досталась задача не из легких: превратить наш фигуристый кордебалет в стайку невесомых фей. С костюмами я постаралась на славу, но юбки у девушек постоянно рвались. Всему виной, полагаю, был пресловутый «попотряс», и теперь гардероб нуждался в реконструкции.)

Приезд Уотсонов сопровождался небольшим переполохом, так как у них было очень много вещей. За такси следовали еще две машины, набитые оставшимися чемоданами и коробками. Я стояла на тротуаре, а Эдна Паркер Уотсон выплыла из такси, словно прибыла на шикарном лимузине. Маленькая, тоненькая, узкобедрая и плоскогрудая, она была одета в самый роскошный наряд, который мне доводилось видеть на женщине. Высокий воротник двубортного жакета – саржа цвета павлиньего пера, два ряда золотых пуговиц спереди – был оторочен золотым шнуром. Темно-серые слегка расклешенные брюки сидели на ней идеально, а остроносые черные блестящие туфли смахивали на мужские, если бы не маленький, элегантный и очень женственный каблук. Она была в солнечных очках в черепаховой оправе; короткие темные волосы уложены глянцевыми волнами. Никакого макияжа, за исключением помады на губах – идеально глубокого красного цвета. Наряд дополнял простой черный берет, щегольски сдвинутый набок. Эдна напоминала крошечного командира самой шикарной в мире армии – и с того самого момента мое представление о стиле изменилось раз и навсегда.

Прежде я считала нью-йоркских артисток бурлеска с их блестками и перьями вершиной гламура. И вдруг всё, чем (и кем) я восхищалась целое лето, превратилось в дешевку по сравнению с этой миниатюрной женщиной в изящном маленьком жакете, идеально скроенных брюках и «мужских» туфлях.

Впервые в жизни я лицезрела настоящий шик. И без преувеличения могу сказать, что с того дня только и делала, что пыталась скопировать стиль Эдны Паркер Уотсон.

Пег бросилась навстречу Эдне и крепко обняла ее.

– Эдна! – завопила она и крутанула старую подругу, чтобы хорошенько разглядеть со всех сторон. – Неужто сама Роза Друри-Лейн^[19] почтила своим присутствием наши скромные берега!

– Милая моя Пег! – воскликнула в ответ Эдна. – Ты ничуть не изменилась! – Она высвободилась из объятий подруги, сделала шаг назад и окинула взглядом здание театра: – Но неужели это все твое, Пег? Целое здание?

– Да, увы, – отозвалась Пег. – Хочешь купить?

– У меня ни гроша за душой, дорогая, а то бы непременно. Прелестный театр. Значит, ты стала импресарио! Ну надо же, наша Пег – театральный магнат! Фасад напоминает старый «Хэрни»^[20]. Очень мило. Понимаю, почему ты купила этот дом.

– Я тоже понимаю, почему его купила, – вздохнула Пег, – ведь иначе я до старости лет жила бы в довольстве и богатстве, а кому это надо? Но хватит про мой дурацкий театр, Эдна. У меня просто сердце разрывается из-за беды с твоим домом – и нашей несчастной Англией!

– Пег, милая моя! – Эдна мягко коснулась тетиной щеки. – Да, дело дрянь. Но мы с Артуром живы. А теперь благодаря тебе у нас есть крыша над головой, а нынче не каждому так везет.

– А кстати, где же Артур? – встрепелась Пег. – Не терпится с ним познакомиться.

Я тем временем уже давно его заметила.

Артур Уотсон – писанный темноволосый красавец в голливудском стиле с квадратной челюстью – в тот момент с чрезмерным энтузиазмом пожимал руку таксисту, ослепляя его белозубой улыбкой. Он был хорошо сложен, плечист и гораздо выше ростом, чем казалось на экране, – что для актеров, вообще-то, редкость. Сигара у него в зубах выглядела реквизитом. Я впервые видела такого красивого мужчину в жизни, а

не в кино, но в его внешности проскальзывало нечто искусственное. Например, на глаза ему постоянно падала непослушная прядь волос, что смотрелось бы привлекательно, если бы не было столь явно отрепетировано. (Небрежность не бывает намеренной, Анджела.) Короче, он выглядел как актер – вот самое точное описание. Как актер, исполняющий роль красивого, хорошо сложенного мужчины, пожимающего руку таксисту.

Артур подошел к нам широким спортивным шагом и затряс руку Пег с тем же неумным энтузиазмом, как и руку бедолаги таксиста.

– Миссис Бьюэлл, – произнес он. – Безумно любезно с вашей стороны предоставить нам кров!

– Мне только в радость, Артур, – отвечала Пег. – Я обожаю вашу жену.

– Я тоже! – пророкотал тот и с такой силой стиснул Эдну в объятиях, что ей, наверное, стало больно, но она лишь просияла от удовольствия.

– А вот моя племянница Вивиан, – представила меня Пег. – Она живет у нас с начала лета. Учится, как не надо управлять театром.

– Ага, та самая племянница! – воскликнула Эдна, как будто слышала обо мне много хорошего. Она расцеловала меня в обе щеки, окутав ароматом гардений. – Надо же, Вивиан. Ты настоящая красотка! Только не говори, что хочешь стать актрисой и сломать себе жизнь. Хотя у тебя есть все данные для сцены.

Она одарила меня улыбкой – невероятно теплой и искренней для звезды подмостков. Но что еще важнее, Эдна отметила меня своим безраздельным вниманием, и я мгновенно вспылала к ней любовью.

– Нет, – ответила я, – я не собираюсь в актрисы. Но мне очень нравится жить в «Лили» у тети.

– Еще бы, дорогая. Ведь тетя у тебя чудесная.

Тут встрял Артур, едва не раздавив мне ладонь рукопожатием:

– Безумно рад познакомиться, Вивиан, безумно рад! И давно вы играете в театре?

Мой восторг перед Артуром слегка померк.

– Да нет же, я не актриса... – начала было объяснять я, но Эдна опустила руку мне на плечо и шепнула на ухо, как ближайшей подруге:

– Не обращай внимания, Вивиан. Артур иногда бывает рассеянным, но рано или поздно до него дойдет.

– Выпьем по коктейлю на веранде? – предложила Пег. – Вот только я не сообразила купить дом с верандой, так что устроимся в грязной гостиной над театриком и притворимся, будто пьем на веранде!

– Непобедимая Пег! – улыбнулась Эдна. – Как же я по тебе скучала!

Спустя несколько подносов с мартини я уже будто знала Эдну Паркер Уотсон всю жизнь.

Своим невероятным обаянием Эдна словно освещала гостиную: такая королева эльфов с ясным маленьким личиком и мерцающими серыми глазами. Но ее внешность была обманчива. При очень белой фарфоровой коже Эдна вовсе не казалась слабой или болезненной. Несмотря на миниатюрность – по-птичьи узкие плечики, худощавое сложение, – она не выглядела хрупкой. Ее громкий смех и уверенная походка резко контрастировали с небольшим ростом и бледностью.

Это был дюжий маленький эльф.

Я никак не могла понять, в чем секрет ее красоты. В отличие от девушек, с которыми я веселилась все лето, черты у нее были безупречными. Лицо скорее круглое, скулы не точеные, как тогда было модно. Да и молодость ее давно миновала: Эдне было не меньше

пятидесяти, и она не пыталась это скрыть. На расстоянии возраст не так бросался в глаза (потом я узнала, что она играла Джульетту в сорок пять, причем играла прекрасно). Но вблизи было заметно, что кожа вокруг глаз пестрит морщинками, а линия подбородка начала оплывать. В стильно уложенных коротких волосах блестели серебристые нити. Но душа у нее осталась юной. Никто не поверил бы, что Эдне пятьдесят. А может, возраст просто не имел для нее значения и ни капли не тревожил. Проблема многих стареющих актрис в том, что они пытаются повернуть время вспять. Но к Эдне время отнеслось весьма благосклонно, и в ответ она не держала на него зла.

А главным ее природным даром была сердечность. Она радовалась всему, что видела, отчего хотелось постоянно находиться с ней рядом, купаясь в лучах ее радости. Даже Оливия при виде Эдны сменила привычную угрюмую гримасу на столь редкую улыбку. Они обнялись, как старые подруги – и они действительно ими были. Как я узнала тем вечером, Эдна, Пег и Оливия познакомились на полях сражений во Франции, где Эдна гастролировала с британской театральной труппой и играла в спектаклях для раненых солдат. Пег и Оливия ставили эти спектакли.

– А ведь где-то на этой планете, – заметила Эдна, – хранится снимок нашей троицы в полевом госпитале. Я бы многое отдала, чтобы еще раз взглянуть на то фото. Какие же мы были молодые! И какая ужасная у нас была форма – платья мешком без всякой талии.

– Помню ту фотографию, – кивнула Оливия. – Мы там жутко грязные.

– Мы всегда ходили грязные, Оливия, – возразила Эдна. – Поле боя, чего ты хочешь. Никогда не забуду, как там было холодно и сыро, в этой Франции. А помните, я делала себе сценический грим из кирпичной пыли и свиного сала? Я тогда очень боялась выступить

перед солдатами. У них были такие ужасные раны. Помнишь, Пег, что ты мне сказала? Когда я спросила: «Как можно петь и танцевать перед этими бедными покалеченными мальчиками?»

– Я тебя умоляю, Эдна, – отмахнулась Пег, – разве упомнишь каждое сказанное слово.

– А я вот помню. Ты сказала: «А ты пой громче, Эдна. Танцуй веселее. И смотри им прямо в глаза». А еще ты сказала: «Не смей унижать этих храбрых ребят своей жалостью». Так я и поступила. Я пела громче, танцевала веселее и смотрела им прямо в глаза. Задвинула свою жалость глубже и не унизила ею этих храбрых мальчиков. Но господи боже, до чего же было тяжело.

– Ты выложились на всю катушку, – одобрительно кивнула Оливия.

– Если кто и выкладывался, так это вы, медсестры, – откликнулась Эдна. – Помню, у каждой дизентерия, обморожение, а сами твердят: «Выше нос, девочки! Зато гангрены нет!» Настоящие героини. Особенно ты, Оливия. Что бы ни стряслось, тебе все было нипочем. Я этого никогда не забуду.

После такого комплимента лицо Оливии вдруг осветилось до странности непривычной эмоцией. Веришь или нет, это было настоящее счастье.

– Эдна читала солдатам шекспировские монологи, – объяснила мне Пег. – Помню, поначалу я решила, что идея хуже некуда. Думала, парням будет скучно до зубовного скрежета. Но видела бы ты, как они радовались.

– Они радовались, потому что много месяцев не видели хорошенькой английской девчонки, – усмехнулась Эдна. – Помню, один крикнул: «Круче, чем в борделе!» И это после монолога Офелии. Лучшая рецензия в моей жизни. Помнишь тот спектакль, Пег? Ты играла Гамлета. Колготки тебе очень шли.

– Я не играла Гамлета, просто читала по бумажке, – проворчала Пег. – Я не обладаю актерским талантом, Эдна. И терпеть не могу «Гамлета». Ты хоть раз в жизни видела постановку «Гамлета», после которой не хочется пойти домой и сунуть голову в духовку? Я – нет.

– А по-моему, наш «Гамлет» вполне удался.

– Потому что мы его сократили, – сказала Пег. – Только так и следует играть Шекспира.

– А еще, как мне помнится, Гамлет у тебя получился дико жизнерадостный, – заметила Эдна. – Пожалуй, самый жизнерадостный Гамлет в истории.

– Но «Гамлет» не должен быть жизнерадостным! – вдруг вмешался Артур Уотсон. Вид у него был растерянный.

Все замолчали. Повисла неловкая тишина. Вскоре я узнала, что Артур всегда производил такой эффект на компанию. Стоило ему открыть рот, и самая оживленная беседа резко обрывалась.

Мы повернулись посмотреть, как Эдна отреагирует на глупое замечание своего мужа. Но та посмотрела на него с нежной улыбкой:

– Ты прав, Артур. «Гамлет» – совсем не веселая пьеса, но Пег привнесла в свою игру свойственную ей жизнерадостность и оживила весь сюжет. Он перестал быть таким унылым.

– О! – удивился ее супруг. – Что ж, тем лучше! Но что подумал бы об этом достопочтенный Шекспир?

Пег спасла положение, сменив тему.

– Шекспир перевернулся бы в гробу, узнай он, что мне позволили вылезти на сцену рядом с такой звездой, как ты, – заявила она Эдне, а потом повернулась ко мне: – Вивиан, если ты не в курсе, Эдна – одна из величайших драматических актрис своей эпохи.

Эдна ухмыльнулась:

– Ой, Пег, ты будто об эпохе динозавров говоришь.

– Мне кажется, Эдна, Пег имела в виду, что ты одна из величайших актрис своего поколения, – поправил Артур. – Она вовсе не намекала на твой возраст.

– Спасибо за прояснение, дорогой, – ответила Эдна без капли сарказма или раздражения в голосе. – И тебе спасибо, Пег, за добрые слова.

Пег продолжала:

– Эдна – лучшая шекспировская актриса, которую тебе посчастливится увидеть, Вивиан. Шекспир всегда давался ей особенно хорошо. С колыбели. Говорят, она декламировала сонеты задом наперед еще до того, как выучила слова в правильном порядке.

– По-моему, проще сначала выучить в правильном порядке, – пробормотал Артур.

– Пег, ты очень добра, – ответила Эдна, к счастью не обратив на мужа ни малейшего внимания. – Ты всегда так хорошо обо мне отзываешься.

– Надо найти тебе занятие, пока ты в Нью-Йорке, – объявила Пег, для убедительности хлопнув себя по ноге. – Могу дать тебе роль в одном из своих ужасных спектаклей, но они тебя совершенно недостойны.

– Нет такого спектакля, который был бы меня недостойн! Вспомни, Пег, я играла Офелию по колено в грязи.

– Эдна, ты просто не видела наши постановки. Поверь, по колено в грязи – это еще цветочки. К тому же я не смогу хорошо тебе платить – уж точно не по заслугам.

– Сейчас и в Англии мне вряд ли заплатят больше – даже если удастся туда вернуться.

– Тебе бы найти работу в театре поприличнее... – задумалась Пег. – В Нью-Йорке их полно; по крайней мере, так говорят. Сама-то я ни разу в них не была, но знаю, что они существуют.

– Но сезон уже начался, – возразила Эдна. – Середина сентября, состав трупп уже утвержден. Да и

не так уж я известна в Штатах. Пока живы Линн Фонтэнн и Этель Бэрримор, в Нью-Йорке мне главные роли не светят. Но я бы с удовольствием поработала, да и Артур тоже. Я универсальная актриса, Пег, ты же знаешь. Могу играть и молодых героинь, если отодвинешь меня подальше от авансцены и правильно выставишь освещение. Могу изобразить еврейку, цыганку, француженку. При необходимости и мальчишку сыграю. А хочешь, мы с Артуром будем продавать орешки в фойе? Или чистить пепельницы. Что угодно, лишь бы отплатить за твою доброту.

– Послушай-ка, дорогая, – нахмурился Артур Уотсон, – вряд ли мне понравится чистить пепельницы.

Тем вечером Эдна посетила оба сеанса «Пляши, Джеки!» и пришла в небывалый восторг. Она радовалась нашей дешевой пьеске почище двенадцатилетнего крестьянского парнишки, впервые попавшего в театр.

– Боже, как весело! – выпалила она, когда участники шоу вышли поклониться публике. – Знаешь, Вивиан, именно в таком театре я начинала. Родители были артистами, и я выросла на таких пьесах. Я ведь, можно сказать, родилась за кулисами, а пять минут спустя уже оказалась на сцене.

Эдна пожелала пройти за кулисы, познакомиться со всеми актерами и танцорами и выразить им свой восторг. Некоторые слышали о ней, но большинство – нет. Для них она была лишь милой женщиной, которая пришла их похвалить, – впрочем, им и этого хватило. Артисты окружили ее, жадно впитывая щедрые комплименты.

Я отвела Селию в уголок и шепнула:

– Это Эдна Паркер Уотсон.

– И что? – Мои слова ни капли ее не впечатлили.

- Знаменитая британская актриса. Жена Артура Уотсона.

- Артура Уотсона? Который играл во «Вратах полудня»?

- Да! Они останутся здесь. Их лондонский дом разбомбили.

- Но ведь Артур Уотсон совсем молодой. - Селия вытаращилась на Эдну. - Как он может быть женат на ней?

- Не знаю, - ответила я, - но она потрясающая.

- Ага. - Селия, похоже, не разделяла моей уверенности. - Куда пойдем сегодня?

Впервые за время знакомства с Селией я засомневалась, что мне хочется куда-то с ней идти. Я бы предпочла провести вечер с Эдной. Всего разочек.

- Ты обязана с ней познакомиться, - заявила я. - Она знаменитость, и мне нравится, как она одевается.

Я подвела Селию к Эдне и с гордостью представила свою подругу.

Нельзя предугадать реакцию женщин на знакомство с артисткой бурлеска. Шоу-герл в полном облачении словно специально создана для унижения остальных представительниц слабого пола. Нужно обладать известной уверенностью в себе, чтобы стоять рядом с артисткой бурлеска во всем ее сиянии и не отшатнуться, не возненавидеть ее, не пожелать провалиться сквозь землю и слиться со стеной.

Однако Эдна, при всей ее миниатюрности, была очень уверена в себе.

- Боже, вы просто восхитительны! - воскликнула она, когда я представила ее Селии. - Какая вы высокая! И это лицо. Вам, моя дорогая, самое место в «Фоли-Бержер»!

- Это кабаре в Париже, - шепнула я Селии. Та, к счастью, не заметила моего снисходительного тона, увлекшись выслушиванием комплиментов.

– Откуда вы родом, Селия? – спросила Эдна, с любопытством склонив голову набок и полностью сосредоточившись на разговоре с моей подругой.

– А прямо отсюда. Из Нью-Йорка, – ответила Селия. (Как будто такой акцент водится в других местах!)

– Я обратила внимание, что для девушки вашего роста вы очень хорошо танцуете. Вы занимались балетом? У вас выправка классической балерины.

– Нет, ничем таким я не занималась, – ответила Селия, засияв от удовольствия.

– А в кино играть пробовали? Камера таких обожает. Вы похожи на кинозвезду.

– Немного играла, да. Но мои актерские работы пока не очень известны. – Я чуть не прыснула, вспомнив, что единственной актерской работой Селии была роль трупа во второсортном фильме.

– Уверена, это ненадолго. Не бросайте театр, моя милая. Вы на правильном пути. У вас лицо героини нынешнего поколения.

Говорить комплименты не так уж сложно. Гораздо сложнее говорить комплименты, которые завоюют собеседника. Селии без конца твердили, что она красива, но ни разу не сравнивали с классической балериной. Ни разу не сказали, что у нее лицо героини поколения.

– Знаете, я только что сообразила, – спохватилась Эдна. – Я так увлеклась, что даже не распаковала вещи! Хотите помочь, девочки?

– А то! – горячо воскликнула Селия, сияя, как восторженная тринадцатилетняя девчонка.

И, к моему изумлению, в ту же минуту богиня превратилась в служанку.

Мы поднялись на четвертый этаж, в квартиру, где Эдне с Артуром предстояло жить. Здесь словно сошла

багажная лавина: весь пол был завален чемоданами, коробками и шляпными картонками.

- О боже, - ахнула Эдна. - Какой жуткий беспорядок! Совесть эксплуатировать вас, девочки, но давайте начнем.

Что до меня, я не могла дожидаться. Мне не терпелось взглянуть на гардероб Эдны. Я не сомневалась, что у нее миллион превосходных нарядов, и оказалась права. Ее чемоданы преподали мне настоящий урок портновского искусства. Вскоре я обнаружила, что в ее гардеробе нет места случайностям, весь он выдержан в едином стиле, который я назвала бы «маленький лорд Фаунтлерой^[21] пополам с французской горничной».

Больше всего у нее было жакетов: они составляли основу ее гардероба. Приталенные, изящные, с легким намеком на военную форму - жакетов у Эдны был миллион. Отороченные каракулем или с атласными лацканами. Строгие, как костюм для верховой езды, или более кокетливые. И все украшены золотыми пуговицами разной формы и размера и подбиты шелком изумрудного, рубинового, сапфирового цветов.

- Сшиты на заказ, - пояснила она, заметив, что я ищу этикетки. - В Лондоне у меня индийский портной, он обшивает меня много лет и хорошо знает мой вкус. Без конца изобретает новые модели, а я без конца их покупаю.

А какие у нее были брюки! И сколько! Длинные и широкие или узкие до середины икры. («Эти я носила, когда обучалась танцам, - сказала Эдна. - Все парижские танцовщицы тогда щеголяли в таких укороченных брючках. Господи, как они шикарно смотрелись! Я называла наших девочек отрядом „Стройные щиколотки“».)

Коллекция ее брюк меня поразила. Раньше я с подозрением относилась к брюкам на женщинах, пока

не увидела, как идеально они выглядят на Эдне. Даже Гарбо и Хепбёрн не убедили меня, что дама в брюках способна сохранить женственность и элегантность. Но гардероб Эдны открыл мне, что только в брюках дама выглядит по-настоящему женственно и элегантно.

– На каждый день я предпочитаю брюки, – призналась она. – Я маленького роста, но шаг у меня широкий. Мне нужна свобода движений. Много лет назад один критик написал обо мне: «В ней есть толика мальчишеского очарования». Мой любимый комплимент! Что может быть лучше толики мальчишеского очарования?

Селия озадаченно уставилась на нее, но я понимала Эдну и всецело разделяла ее точку зрения.

Дальше мы перешли к чемодану с блузками. У многих были изысканные жабо и кружевные рюши. Я сообразила, что именно воздушные детали позволяют женщине носить мужской костюм и по-прежнему оставаться женщиной. Когда я взяла в руки блузку с воротником-стойкой из крепдешина самого нежного оттенка розового, который только можно представить, у меня аж дыхание перехватило от желания обладать этой вещью. Но потом из чемодана появилась на свет изящная шелковая рубашка цвета слоновой кости с крошечными жемчужными пуговками у ворота и коротенькими рукавчиками, едва прикрывающими плечи.

– Что за чудо! – воскликнула я.

– Спасибо, Вивиян. У тебя наметанный глаз. Эту блузку я получила от самой Коко Шанель. Она мне ее подарила – можешь себе представить, чтобы Коко бесплатно раздавала вещи? Видимо, дала слабинку. Может, несвежих устриц наелась.

Мы с Селией ахнули, а я воскликнула:

– Вы знали Коко Шанель?

– Никто не знал Коко, моя дорогая. Коко бы в жизни такого не допустила. Но мы были знакомы, это да. Много лет назад я играла в парижском театре и жила на набережной Вольтера. Штудировала французский. Актрисам полезно знать французский: он учит правильно пользоваться языком.

Ничего изощреннее я в жизни не слышала.

– И какая она? Шанель?

– Какая? – Эдна задумалась, опустила веки, словно подыскивая нужные слова. Затем распахнула глаза и улыбнулась. – Коко Шанель – талантливая, амбициозная, хитроумная, изворотливая трудяга, которой очень не хватает любви. Боюсь, скорее она завоюет мир, чем Муссолини с Гитлером. Шучу, конечно – она хороший человек. Коко становится опасной только в одном случае: когда начинает называть вас другом. Впрочем, она гораздо интереснее, чем в моем описании. Как вам эта шляпка, девочки?

Она достала из коробки фетровую шляпу наподобие мужской, но все-таки не мужскую: мягкую, сливового цвета, с единственным красным пером. Эдна примерила ее и улыбнулась.

– Вам очень идет, – признала я, – хотя такие сейчас вроде не носят.

– Спасибо, – ответила Эдна, – терпеть не могу шляпки, которые нынче в моде. Целая поленница на макушке вместо простых приятных линий. Фетровая шляпа всегда сидит идеально, если сделана на заказ. Плохие шляпы меня бесят и вгоняют в тоску. А их вокруг полно. Но модисткам тоже нужно есть. Увы.

– Какая прелесть! – Селия вытянула из коробки длинный желтый шелковый шарф и накинула на голову.

– Чудесно, Селия! – похвалила Эдна. – Женщинам редко идут шарфы в качестве головного убора. А ты счастливица! Я в нем была бы похожа на мертвую святую. Нравится? Дарю.

– Ой, спасибо! – Селия стала искать зеркало.

– Даже не знаю, зачем я вообще его купила, девочки. Наверное, в том году желтые шарфы были в моде. И пусть это станет вам уроком! Главное в моде, птички мои, – ей вовсе необязательно следовать, кто бы что ни говорил. Мода никогда не бывает обязательной, запомните. А если одеваться с ног до головы по последнему писку, будешь выглядеть истеричкой. Парижская мода прекрасна, но нельзя же копировать парижанок только потому, что они парижанки, верно?

Нельзя копировать парижанок только потому, что они парижанки!

Я на всю жизнь запомнила ее слова. Одна эта фраза произвела на меня большее впечатление, чем все речи Черчилля, вместе взятые.

Мы с Селией ухватились за чемодан с туалетными принадлежностями, и тут уж нашему восторгу не было предела. Масла для ванны с ароматом гвоздики, лосьоны с лавандой, душистые шарики для белья и миллион флакончиков с надписями на французском. Мы совершенно потеряли голову. Я бы смутилась от наших восторженных визгов, но Эдну они, похоже, искренне радовали. Кажется, ей так же весело с нами, как и нам с ней. У меня даже возникла безумная мысль, что мы ей действительно нравимся. Мне тогда это показалось любопытным и кажется любопытным сейчас. По очевидным причинам взрослым женщинам обычно не очень уютно в компании юных прелестниц. Но только не Эдне.

– Ох, девочки, – воскликнула она, – весь день бы любовалась вашими восторгами!

И мы действительно были в восторге. Никогда я не видела такого гардероба. У Эдны имелся даже целый саквояж с перчатками – каждая пара бережно завернута в отдельный шелковый лоскут.

– Никогда не покупайте дешевых, плохо пошитых перчаток, – наставляла нас Эдна. – Здесь не место для экономии. Когда соберетесь приобрести перчатки, спросите себя: будете ли вы скорбеть, забыв одну из них на заднем сиденье такси? Если нет, они вас недостойны. Покупайте только такие, которые невыносимо будет потерять.

В какой-то момент в комнату вошел Артур, но мы его даже не заметили, настолько он (при всей своей красоте) проигрывал в сравнении с роскошным гардеробом Эдны. Она поцеловала мужа в щеку и отправила восвояси, заявив:

– Мужчинам здесь сейчас делать нечего, Артур. Иди выпей где-нибудь и развлекись, пока мои прелестные помощницы не закончат. Потом, обещаю, я найду место и для тебя, и для твоего несчастного одинокого саквояжика.

Артур обиженно насупился, но послушался.

Когда он ушел, Селия выпалила:

– Какой красавчик, а?

Я решила, что Эдна обидится, но та лишь рассмеялась.

– Он и правда, как ты выразилась, красавчик. Если откровенно, никогда раньше таких встречала. Мы женаты почти десять лет, а я не устаю им любоваться.

– Но он же совсем молодой.

Я чуть не пнула Селию за бестактность, но Эдна, опять-таки, не обиделась.

– Да, дорогая Селия, молодой. Намного моложе меня, прямо скажем. Я бы сказала, одно из моих величайших достижений.

– А вы не боитесь? – не унималась Селия. – Сколько хорошеньких бабочек вокруг порхает.

– Бабочки меня не волнуют, милая. Бабочки живут один день.

– Ого, – опешила Селия и восхищенно уставилась на Эдну.

– Успешная женщина, – пояснила та, – может позволить себе такую прихоть – выйти за мужчину намного моложе. Считай это наградой за тяжелый труд. Когда мы с Артуром познакомились, он был мальчишкой, монтировал декорации к ибсеновской пьесе, в которой я тогда участвовала. «Враг народа». Я играла фру Стокманн – боже, до чего же нудная роль! Но встреча с Артуром развеяла мою скуку, и с тех пор он по-прежнему не дает мне скучать. Я обожаю его, девочки. Впрочем, он мой третий муж. Первые мужья такими не бывают. Мой первый муж служил чиновником и сексом занимался по-чиновничьи. Второй раз я вышла за театрального режиссера. Ошибка, о которой жалеет каждая актриса. А теперь со мной Артур, такой красивый, но такой уютный. Подарок судьбы до окончания дней. Я так его полюбила, что даже взяла его фамилию, хотя друзья меня отговаривали, ведь я прославилась под своим именем. Знаете, прежде я никогда не брала фамилию мужей. Но согласитесь, «Эдна Паркер Уотсон» звучит чудесно. А ты, Селия? У тебя были мужья?

У нее было много мужей, Эдна, хотелось ответить мне. Но только один – ее собственный.

– Да, – ответила Селия, – я однажды выскочила замуж. За саксофониста.

– О боже. Видимо, брак долго не протянул?

– Ага, угадали, мэм. – Селия чиркнула пальцем по горлу, видимо обозначая конец любви.

– А ты, Вивиан? Замужем? Обручена?

– Нет, – ответила я.

– Есть кто-нибудь на примете?

– Никого конкретного нет. – Я подчеркнула слово «конкретный», и Эдна расхохоталась.

– Но кто-то у тебя все же есть, да?

– У нее их целая толпа, – пояснила Селия, и я невольно улыбнулась.

– Молодец, Вивиан! – Эдна окинула меня одобрительным взглядом. – Ты с каждой минутой все больше мне нравишься.

Позднее тем вечером – должно быть, уже перевалило за полночь – Пег зашла проверить, как у нас дела. Она уселась в глубокое кресло с бокалом в руке, с удовольствием наблюдая, как мы с Селией заканчиваем разбирать чемоданы Эдны.

– Черт подери, Эдна, – заметила моя тетя, – сколько же у тебя вещей.

– Это только десятая часть коллекции, Пег. Видела бы ты мою гардеробную в Лондоне! – Она осеклась. – О боже. Только что вспомнила, что лондонской гардеробной больше нет. Что ж, на войне не без потерь. Очевидно, уничтожение коллекции костюмов, которую я собирала тридцать лет, входило в план мистера Геринга. Уж не знаю, как это послужит мировому господству арийской расы, но черное дело сделано.

Я поразились, как легко она воспринимает потерю дома. Пег, видимо, тоже удивилась.

– Должна признать, Эдна, я опасалась, что случившееся потрясет тебя гораздо сильнее.

– Ох, Пег, ты же меня знаешь. Или забыла, как я легко приспосабливаюсь к обстоятельствам? При такой пестрой жизни, как у меня, к вещам не привязываешься.

Пег ухмыльнулась.

– Богема, что с них взять, – сказала она мне, понимающе покачав головой.

Селия достала элегантное черное креповое платье в пол, закрытое, с длинными рукавами и маленькой жемчужной брошью, нарочно приколотой не точно по центру.

– Вот это да, – выдохнула она.

– Тебе правда нравится? – Эдна приложила платье к себе. – У меня с ним сложные отношения. Черный цвет может быть как лучшим, так и худшим решением, все зависит от фасона. Этот наряд я надевала всего раз. Чувствую себя в нем греческой вдовой. Но я оставила его из-за броши.

Я почтительно потянулась к платью:

– Позвольте?

Эдна отдала мне «вдовый наряд». Я разложила его на диване, защипывая тот тут, то там, оценивая впечатление.

– Проблема не в цвете, – наконец объявила я, – а в рукавах. Ткань здесь тяжелее, чем на лифе, видите? Этому платью нужны шифоновые рукава. Или можно просто их отрезать – так будет даже лучше при вашем небольшом росте.

Эдна внимательно изучила платье, подняла голову и удивленно взглянула на меня:

– Пожалуй, в этом что-то есть, Вивиан.

– Я могу переделать его для вас, если доверите мне такую работу.

– Наша Вивви божественно шьет! – гордо подтвердила Селия.

– Это правда, – кивнула Пег. – Вивиан – местный мастер-модельер.

– Она шьет все костюмы для спектаклей, – добавила Селия. – Балетные пачки, в которых мы сегодня выступали, – тоже ее работа.

– Неужели? – еще больше восхитилась Эдна, пусть и незаслуженно. Даже дрессированную кошку можно научить шить балетные пачки. – Значит, ты у нас не

только хороша собой, но и талантлива? Ну и ну. А еще говорят, будто Бог дважды не одаривает!

Я пожала плечами:

– Я просто говорю, что это платье можно исправить. И еще немного укоротить. Вам больше пойдет длина до середины икры.

– Да ты разбираешься в одежде гораздо лучше моего, – заметила Эдна. – Я-то уже намеревалась отправить это старое глупое платье на свалку. Подумать только, я целый вечер несла всякую чепуху насчет моды и стиля, а надо было послушать тебя. Рассказывай, дорогая моя, где ты научилась так замечательно чувствовать пропорции?

Вряд ли женщине уровня Эдны Паркер Уотсон было интересно несколько часов кряду слушать трескотню девятнадцатилетней девчонки о ее бабушке, но именно это произошло в тот вечер, и Эдна с достоинством выдержала испытание. Более того, она ловила каждое мое слово.

Посреди моего монолога Селия потихоньку ускользнула. Я увидела ее лишь на рассвете, когда она в обычный час завалилась в кровать, пьяная и растрепанная. Пег в конце концов тоже нас покинула: Оливия постучала в дверь и строго напомнила тете, что ей давно пора спать.

И мы с Эдной остались вдвоем. Забравшись с ногами на диван в ее новой квартире, мы проговорили до глубокой ночи. Остатки воспитания призывали меня не отнимать время у гостей, но сопротивляться ее обаянию было невозможно. Эдне хотелось знать все о моей бабушке, а рассказы о бабулиных фривольных и эксцентричных выходках привели ее в полный восторг. («Ну что за персонаж! Хоть кино снимай!») Каждый раз, когда я пыталась сменить тему беседы, Эдна снова

переводила разговор на меня. Моя любовь к шитью вызывала у нее искреннее любопытство, а когда я призналась, что при необходимости могу сделать корсет на китовом усе, она была поражена.

– Ты прирожденный художник по костюмам! – заявила она. – Знаешь, в чем разница между платьем и костюмом? Платья шьют, а костюмы конструируют. Шить сейчас умеют многие, но конструирование – редкий дар. Театральный костюм – та же декорация, он должен быть прочным, как мебель. На сцене всякое случается. Костюм должен выдержать любые испытания.

Я рассказала Эдне, как бабушка выискивала в моих платьях малейшие изъяны и требовала, чтобы я немедленно все исправила. «Никто не заметит!» – уверяла я, но бабушка Моррис отвечала: «Неправда, Вивиан. Все заметят, только не поймут, в чем проблема. Но они заметят несовершенство. Не давай им такой возможности».

– Как она права! – воскликнула Эдна. – Вот почему я так тщательно продумываю костюмы. Терпеть не могу, когда меня торопят и говорят: «Никто не заметит!» Знала бы ты, сколько раз я спорила с режиссерами по этому поводу! Я всегда им говорю: если я два часа торчу под прожекторами перед тремя сотнями человек, изъян обязательно заметят! Изъян в прическе, в гриме, в голосе – и уж точно заметят изъян в костюме. И не потому, что зрители – эксперты по стилю, Вивиан: все то время, пока они сидят на своих местах, как приклеенные, им нечем больше заняться, кроме выискивания недочетов.

Все лето мне казалось, что я веду взрослые разговоры, ведь я общалась с искушенными артистками бурлеска, – но только сейчас я поняла, что такое настоящий взрослый разговор. О мастерстве, о профессиональном опыте, об эстетике. Ни один из моих

знакомых (кроме бабушки Моррис, разумеется) не разбирался лучше меня в создании костюмов. Никого это даже толком не интересовало. Никто не понимал и не ценил модельное искусство.

Я могла бы сто лет сидеть у Эдны в гостиной и обсуждать тонкости стиля, но тут ввалился Артур Уотсон и заявил, что желает поскорее «лечь в чертову постель со своей чертовой женой», чем положил конец нашей беседе.

На следующий день я впервые за два месяца проснулась без похмелья.

Глава десятая

Уже на следующей неделе тетя Пег стала готовить постановку, в которой Эдна могла бы сыграть главную роль. Она твердо решила дать подруге работу, но в настоящий момент театр «Лили» не мог предложить ничего достойного – нельзя же приглашать величайшую драматическую актрису современности в мюзикл «Пляши, Джеки!».

Что до Оливии, той вообще не нравилась тетина идея. При всей их обоюдной любви к Эдне, с деловой точки зрения не было никакого резона превращать «Лили» в «высокий театр» и ставить здесь приличные – или хотя бы полуприличные – спектакли: это нарушило бы привычную формулу.

– Аудитория у нас и так маленькая, – пыталась вразумить тетю Оливия. – И состоит из простых людей. Других зрителей у нас нет и не будет, но эти зрители нам верны. И мы обязаны ответить тем же. Нельзя изменять им ради одной пьесы – а тем более ради одной актрисы, – иначе мы их потеряем. Мы играем для своих, для тех, кто живет по соседству. А им не нужен Ибсен.

– Мне тоже не нужен Ибсен, – возразила Пег. – Но ведь больно смотреть, как Эдна томится без дела. А заставлять ее играть в нашей дешевой тягомотине еще больнее.

– Тягомотина или нет, Пег, но благодаря ей нам хватает на электричество. Мы и так еле сводим концы с концами. Хотя что-то изменишь – и всё посыплется.

– Можно поставить комедию, – упорствовала Пег. – Пьесу, которая понравится всем. Но достаточно толковую, чтобы Эдне было не стыдно в ней сыграть.

Она повернулась к мистеру Герберту, который, как обычно за завтраком, сидел за столом в мешковатых брюках и нижней сорочке, уныло глядя в никуда.

– Мистер Герберт, – обратилась к нему Пег, – как считаете, получится у вас написать пьесу, которая будет смешной, но не глупой?

– Нет, – буркнул он, даже не подняв головы.

– Ладно, а чем вы сейчас заняты? Какой сценарий у нас на очереди?

– «Город женщин», – ответил мистер Герберт. – Я вам еще в прошлом месяце рассказывал.

– Про подпольный притон во времена сухого закона? – вспомнила Пег. – Ага, точно. Гангстеры и их подружки, да? И что за сюжет?

Мистер Герберт изобразил оскорбленный и одновременно смущенный вид.

– Сюжет? – переспросил он. Похоже, раньше ему не приходило в голову, что в его пьесах для «Лили» должен быть сюжет.

– Впрочем, какая разница, – отмахнулась Пег. – Там найдется роль для Эдны?

И снова мистер Герберт смутился.

– Даже не знаю, – обиженно проворчал он. – У нас есть инженерю и есть герой. Есть злодей. А вот роль для женщины постарше... даже не знаю.

– Но у инженерю может быть мать?

– Пег, она сирота, – покачал головой мистер Герберт. – Иначе никак.

Я разделяла его позицию: инженерю непременно должна быть сиротой. Если у нее есть родители, вся

история теряет смысл. Зрители взбунтуются. Они начнут кидаться ботинками в артистов, если инженерю не будет сиротой.

– А кто в вашей пьесе владелец притона?

– Там нет владельца.

– Так пусть будет! Ведь им может оказаться женщина?

Мистер Герберт потер лоб с таким ошарашенным видом, словно Пег предложила ему расписать потолок Сикстинской капеллы.

– Это приведет к сюжетным неувязкам самого разного рода, – изрек он.

Вмешалась Оливия:

– Пег, Эдна Паркер Уотсон в роли владелицы подпольного притона будет выглядеть неубедительно. С какой стати хозяйка нью-йоркского кабака родом из Англии?

Пег огорчилась:

– Черт, Оливия, а ведь ты права. Что за дурная привычка вечно оказываться правой. Вот бы тебя от нее избавить, а? – Пег надолго замолчала, напряженно размышляя. А потом взорвалась: – Черт, черт, черт! Вот бы Билли был здесь. Он бы придумал для Эдны потрясающую роль.

Я встрепенулась. Во-первых, раньше тетя столько не чертыхалась. Во-вторых, она впервые произнесла при мне имя блудного мужа. Боевую стойку на упоминание Билли Бьюэлла сделала не только я. Оливия с мистером Гербертом тоже вытаращились на тетю, будто им за шиворот высыпали полную корзинку льда.

– Нет-нет, Пег, не надо! – взмолилась Оливия. – Не вздумай звонить Билли. Пожалуйста, сохраняй благоразумие.

– Я добавлю в пьесу кого угодно. – Мистер Герберт вдруг стал покладистым. – Только скажите, и я все

сделаю. Разумеется, притону нужен хозяин. Или хозяйка. И почему бы не из Англии.

- Билли так любил Эдну. - Пег, похоже, разговаривала сама с собой. - И видел ее на сцене. Он бы сообразил, куда ее лучше пристроить.

- Пег, я не намерена вмешивать Билли в наши дела, - предостерегла Оливия.

- Я ему позвоню. Наверняка он что-нибудь подскажет. У него всегда полно идей.

- На Западном побережье пять утра, - возразил мистер Герберт. - Нельзя звонить в такую рань!

Мне было жутко интересно наблюдать за их схваткой. Градус накала в гостиной поднялся до критической отметки, и всего-то хватило одного упоминания Билли.

- Тогда позвоню ему после обеда, - решила Пег. - Впрочем, не факт, что он уже проснется к тому времени.

- О нет, Пег, не надо, умоляю! - Оливия была в отчаянии.

- Пусть просто подкинет нам пару мыслишек, Оливия, - успокоила ее Пег. - От одного звонка вреда не будет. Билли нужен мне, Оливия. Говорю же: у него полно идей!

Вечером после спектакля Пег отвела всю компанию в «Динти Мур»^[22] на Сорок шестой улице. Тетя торжествовала: днем она все-таки позвонила Билли, и теперь ей не терпелось изложить нам его идеи.

За столом, кроме меня, присутствовали Уотсоны, мистер Герберт и наш пианист Бенджамин (я впервые видела его вне стен «Лили»). И Селия, конечно же, потому что мы с Селией были неразлучны.

- Итак, слушайте, - начала Пег. - Билли все разложил по полочкам. Мы таки поставим «Город женщин», и действие будет происходить во времена

сухого закона. Разумеется, сюжет комедийный. Эдна, ты сыграешь хозяйку притона. Билли говорит, чтобы увязать концы с концами и чтобы получилось смешно, владелица кабака должна быть из аристократов, тогда твоя природная утонченность сыграет нам на руку. Твоя героиня – дамочка со средствами, а в бутлегерский бизнес попала случайно. По задумке Билли, муж у тебя умер, а потом ты потеряла состояние во время биржевого краха. Тогда, чтобы добыть денег, ты решила гнать джин и открыла казино в своем шикарном особняке. Теперь, Эдна, тебе удастся сохранить свою хваленую элегантность, которую все так ценят, и в то же время органично влиться в комическое ревю с танцорами и бурлеском – излюбленный жанр нашей публики. По-моему, блестяще! И еще Билли считает, что для вящего веселья к притону надо добавить бордель.

Оливия нахмурилась:

– Не нравится мне идея перенести действие спектакля в бордель.

– А мне нравится! – возликовала Эдна. – Мне все очень нравится! Я буду одновременно мадам в борделе и хозяйкой притона. Какая прелесть! Комедийная роль – просто бальзам на душу после стольких лет на драматической сцене. В последних четырех пьесах я играла или падшую женщину, которую в конце убивает любовник, или многострадальную жену, чьего мужа убивает падшая женщина. От трагедий у меня уже зубы сводит.

Пег просияла:

– Говорите про Билли что хотите, но он гений.

Судя по виду Оливии, ей много чего хотелось сказать про Билли, но она промолчала.

Пег повернулась к нашему пианисту:

– Бенджамин, музыка для шоу должна быть особенно хороша. У Эдны прекрасный альт, и я хочу услышать, как он гремит под сводами «Лили»! Тут

нужно что-нибудь покруче слезливых баллад, которые я обычно заставляю тебя писать. Укради пару тактов у Коула Портера, как ты умеешь. Но сделай все по высшему разряду. Мне нужен настоящий размах!

- Я не краду у Коула Портера, - оскорбился Бенджамин. - Я ни у кого не краду.

- Правда? А я готова была поклясться, что крадешь, ведь твоя музыка очень похожа на Коула Портера.

- Даже не знаю, как реагировать на такую оценку, - заметил Бенджамин.

Пег пожала плечами:

- А может, Коул Портер крадет у тебя? Как знать, Бенджамин. Я лишь прошу хорошенько постараться. И сочини для Эдны самый выигрышный номер. - Тетя повернулась к Селии: - Селия, а ты сыграешь инженерю.

Мистер Герберт хотел было вмешаться, но Пег нетерпеливо отмахнулась:

- Нет, послушайте-ка все меня. Инженю тут нужна особенная. Хватит с меня наивных сироток с глазами-блюдцами и в белом платице. Я представляю нашу героиню чертовски сексапильной - твои голос и походка, Селия, тут в самый раз, - но при этом неиспорченной. Соблазнительной, но с ноткой невинности.

- Шлюха с золотым сердцем, - резюмировала Селия. Она была гораздо умнее, чем казалось на первый взгляд.

- Именно, - кивнула Пег.

Эдна мягко коснулась руки Селии:

- Давай назовем твою героиню белой голубкой, замаравшей крылышки.

- Такая роль мне по плечу. - Селия потянулась за второй свиной отбивной. - Мистер Герберт, а много у меня будет слов?

- Понятия не имею! - Сценарист мрачнел с каждой минутой. - Я понятия не имею, как сочинить роль...

замаравшей крылышки белой голубки.

– Могу подсказать пару реплик, – предложила Селия. Тоже мне драматург!

Пег обратилась к Эдне:

– А знаешь, что ответил Билли, когда я сказала ему, что ты теперь здесь, с нами? «Нью-Йорку крупно повезло!»

– Правда? Он правда так сказал?

– Ага. По части комплиментов он мастак. И еще добавил: «Поосторожнее с Эдной, на сцене она всегда разная: то играет превосходно, а то безупречно».

Эдна так и растаяла:

– До чего же мило с его стороны. Билли лучше всех умеет заставить женщину почувствовать себя привлекательной. Иногда говорит комплименты десять минут кряду по нарастающей. Но, Пег, один вопрос: а для Артура найдется роль?

– Конечно! – ответила Пег, и я сразу поняла, что никакой роли для Артура нет и в помине. Более того, тетя напрочь забыла о его существовании. А теперь Артур нарисовался напротив во всей своей красе и простодушии и с нетерпением ждал роли, как лабрадор-ретривер ждет, когда ему кинут мячик.

– Конечно, у нас найдется роль для Артура, – повторила Пег. – Пусть он сыграет... – Она запнулась, но лишь на долю секунды (не зная Пег, вы бы даже не заметили). – Полицейского! Да, Артур, ты сыграешь полицейского, который все время пытается закрыть притон, но влюблен в героиню Эдны. Как по-твоему, сумеешь ты изобразить американский акцент?

– Я сумею изобразить любой акцент, – обиженно заявил Артур, и в ту же минуту мне стало ясно, что он и близко не сумеет изобразить американский акцент.

– Полицейский, ну надо же! – Эдна захлопала в ладоши. – И к тому же влюблен в меня, а? Лихо закручено!

– Впервые слышу, что в пьесе есть полицейский, – добавил ложку дегтя мистер Герберт.

– Ну как же, мистер Герберт, – осадила его Пег, – в сценарии с самого начала подразумевался полицейский.

– В каком таком сценарии?

– В сценарии, к которому вы приступите завтра с утра пораньше.

У мистера Герберта сделался такой вид, будто его вот-вот хватит удар.

– А у меня будет своя песня? – спросил Артур.

– Хм. – Пег снова замялась на долю секунды. – Ну разумеется. Бенджамин, непременно напиши ту песню для Артура, которую мы обсуждали, помнишь? Песню полицейского.

Бенджамин хладнокровно выдержал умоляющий взгляд Пег, после чего повторил с едва уловимым сарказмом:

– Песню полицейского.

– Вот именно, Бенджамин. Которую мы обсуждали.

– Может, я просто украду ее у Гершвина?

Но Пег уже переключила внимание на меня.

– Костюмы! – воскликнула она, но не успела больше и слова сказать, как Оливия отрезала:

– На костюмы бюджет не предусмотрен.

– Тьфу ты. Я и забыла, – огорчилась Пег.

– Ничего, – успокоила я тетю. – Куплю всё у Луцкого. Для костюмов в стиле двадцатых годов много ума не надо.

– Прекрасно, Вивиан, – ответила Пег. – Уверена, ты справишься.

– В рамках бюджета, – добавила Оливия.

– В рамках бюджета, – согласилась я. – Если потребуется, добавлю из своих карманных денег.

В процессе дальнейших обсуждений, пока все подряд, кроме мистера Герберта, с нарастающим возбуждением изобретали новые идеи для шоу, я отлучилась попудрить носик. На обратном пути я чуть не врезалась в симпатичного молодого человека с широким галстуком и голодным волчьим взглядом, который поджидал меня в коридоре.

– Ну, доложу я тебе, подружка у тебя просто блеск, – сообщил он, кивая в сторону Селии. – Да и ты тоже.

– Спасибо, мы в курсе, – парировала я, выдержав его взгляд.

– Подвезти вас до дому, девчонки? – Он решил обойтись без прелюдий. – У меня есть приятель с машиной.

Я присмотрелась повнимательнее. От него так и веяло опасностью. Волк, подстерегающий Красных Шапочек. Приличным девушкам с такими лучше не связываться.

– Не исключено, – ответила я и не соврала. – Но сейчас мы ужинаем с деловыми партнерами.

– С деловыми партнерами? – Он насмешливо фыркнул, оглядев наш столик, за которым сидела самая пестрая и странная компания на свете: артистка бурлеска, одним взглядом способная довести мужчину до инфаркта; неряшливый седой господин в нижней сорочке; две дамочки средних лет – одна рослая и дюжая, другая невысокая и коренастая; стильно одетая небедная леди; необыкновенный красавчик с точеным профилем и элегантный молодой чернокожий в безупречно скроенном костюме в тонкую полоску. – Что же у вас за бизнес такой, куколка?

– Мы из театра, – гордо ответила я.

А откуда еще взяться такому сборищу?

Наутро я, как водится, проснулась ни свет ни заря в типичном для лета 1940-го состоянии: в адском похмелье. Волосы провоняли потом и сигаретным дымом. Под скомканной простыней я долго не могла понять, где мои ноги, а где – Селии. (Уверена, ты ужаснешься, Анджела, но мы все-таки отправились кутить с тем волчарой и его приятелем, и ночка выдалась еще та. Меня будто выудили из сточной канавы.)

Я поплелась на кухню, где обнаружила мистера Герберта. Тот сидел, уронив голову на стол и чопорно сложив ладони на коленях. Поза, видимо, демонстрировала новую глубину его отчаяния.

– Доброе утро, мистер Герберт, – поздоровалась я.

– Представьте доказательства. Не верю, – ответил он, не поднимая головы.

– Как ваше самочувствие сегодня?

– Превосходно. Блестяще. Фантастически. Чувствую себя султаном нашего дворца.

Он по-прежнему не поднял головы.

– Как продвигается сценарий?

– Смилуйся, Вивиан, и перестань задавать вопросы.

На следующее утро мистер Герберт сохранял ту же позу. И через день. И еще через день. Удивительно, как можно просидеть столько времени упершись лбом в стол и не заработать аневризму. Настроение нашего сценариста не менялось, как и поза, – во всяком случае, я не заметила никаких подвижек. Чистый блокнот так и лежал рядом на столе.

– Он точно справится? – спросила я у Пег.

– Написать пьесу непросто, Вивиан, – ответила она. – Проблема в том, что я попросила его написать достойную пьесу, чего раньше не бывало. Вот у него мозги и закипели. Но знаешь, как говорили во время

войны инженеры британской армии? «Можешь или не можешь – бери и делай». Так и в театре, Вивиан. Точь-в-точь как на войне. Я часто прошу от людей невозможного, да и сама совершала невозможное, пока не стала старой и никчемной. Поэтому я верю в мистера Герберта. Всей душой.

Однако я не верила.

Однажды ночью мы с Селией вернулись домой, по обыкновению пьяные, и споткнулись о неподвижное тело, лежащее на полу гостиной. Селия завизжала. Я включила свет и увидела мистера Герберта. Тот растянулся на спине посреди ковра, сложив ладони на груди и уставившись в потолок. Сначала я решила, что он умер. Потом он моргнул.

– Мистер Герберт! – воскликнула я. – Что вы делаете?

– Смотрю в будущее, – проговорил он, по-прежнему не шевелясь.

– И что там, в будущем? – спросила я. Язык у меня спьяну заплетался.

– Мрак и обреченность, – ответил он.

– Ладно, тогда спокойной ночи. – Я выключила свет.

– Благодарю, – тихо произнес он, пока мы с Селией пробирались к двери. – Не сомневаюсь, такой она и будет.

Пока мистер Герберт страдал, остальные решительно приступили к работе над пьесой, у которой еще не было сценария.

Пег и Бенджамин целыми днями сидели у рояля и сочиняли песни, наигрывая разные мелодии и перебирая слова.

– Пусть героиню Эдны зовут миссис Алебастр, – предложила Пег. – Звучит внушительно, и можно придумать кучу рифм.

– Продаст, предаст; горласта, грудаста, мордаста, – с ходу предложил Бенджамин. – Определенно есть с чем поработать.

– Оливия ни за что не пропустит «грудаста». Давай мыслить шире. В первой сцене, когда миссис Алебастр лишается состояния, хорошо бы вернуть слова помудреннее, чтобы подчеркнуть ее аристократическое происхождение. Например: Алебастр – «пилястр», «пиастр», «кадастр»!

– А еще хор может петь обращенные к ней вопросы, – предложил Бенджамин. – «Миссис Алебастр! Кто ее предаст? Кто ее продаст? Кто ей наподдаст?»

– Напасть! Напасть случилась с миссис Алебастр!

– Бедняга Алебастр! Ну надо ж так попасть!

– Миссис Алебастр теперь бедна, как пастор!

– Погоди-ка, Пег, – Бенджамин резко прекратил играть. – Мой отец пастор, и он не беден.

– Я тебе не за простои плачу, Бенджамин. Бренчи дальше. У нас, кажется, что-то вырисовывается.

– Ты мне вообще не платишь. – Бенджамин сложил руки на коленях. – Я уже три недели гонорара не видел. И не я один, насколько мне известно.

– Правда? – удивилась Пег. – А чем ты же питаешься?

– Святым духом. И объедками с твоего стола.

– Ох, прости, дружок! Я поговорю с Оливией. Но не сейчас. Сейчас начни заново, только добавь мелодию, которую ты наигрывал, когда я вошла в тот раз, она мне еще понравилась, помнишь? В воскресенье, когда по радио передавали матч «Гигантов».

– Пег, я вообще ни сном ни духом, о чем ты толкуешь.

– Играй, Бенджамин. Просто играй. По ходу дела вспомнишь. А потом я попрошу тебя заняться номером Селии. Я уже и название придумала: «Примерной девочкой еще побыть успею». Сможешь?

– Любой каприз за ваши деньги.

Я тем временем изобретала костюмы действующих лиц, но больше всего билась над обликом героини Эдны.

Она опасалась «потеряться» в свободных, по моде 1920-х годов, платьях без талии, эскизы которых я набросала.

– Такой силуэт мне и в юности не шел, – пожаловалась она, – а сейчас, когда я постарела и подурнела, не пойдет и подавно. Пусть будет хоть немножко приталенное. Знаю, мода тогда была совсем другая, но придумай что-нибудь. Вдобавок я в последнее время раздалась в боках чуть больше, чем хотелось бы. Это тоже придется учесть.

– Но вы же совсем худенькая, – искренне удивилась я.

– Не настолько. Но не волнуйся: за неделю до премьеры я всегда сажусь на диету. Жидкая рисовая каша, сухарики, постное масло и слабительное. Я еще похудею. А пока вставь дополнительные клинышки, чтобы позже заузить талию. Если надо будет танцевать, ничего не должно задираться – поняла, о чем я, моя дорогая? Не хочу сверкать исподним на сцене. Впрочем, ножки у меня, слава богу, по-прежнему хороши, так что не бойся их показать. Что еще? Ах да, плечи у меня гораздо уже, чем кажется. А шея слишком короткая, тут нужно аккуратнее, особенно если предполагается большая шляпа. Если ты превратишь меня в жирного французского бульдога, Вивиян, я никогда тебе не прощу!

Я тут же прониклась глубочайшим уважением к этой женщине, которая так хорошо знала особенности своей фигуры. Большинство модниц понятия не имеют, что им идет, а что нет. Но у Эдны на этот счет не оставалось

никаких сомнений. Ее указания были предельно точны, и я поняла, что работа с ней многому меня научит.

– Это сценический костюм, а не обычное платье, Вивиан, – наставляла она. – Здесь форма важнее деталей. Ближайший зритель находится в десяти шагах. Думай масштабнее. Яркие цвета, чистые линии. Костюм – это пейзаж, а не портрет. И еще: платья должны быть безупречны, но не они гвоздь спектакля. Следи, чтобы наряды меня не затмили. Понимаешь?

Я понимала. И был в полном восторге от наших обсуждений. В восторге от Эдны. Если начистоту, я попросту влюбилась в нее. Она почти заменила мне Селию в качестве главного объекта обожания. Я по-прежнему восхищалась Селией, и мы по-прежнему вместе развлекались почти каждый вечер, но тяга к ней слегка ослабла. Изысканный стиль и утонченность Эдны влекли меня гораздо сильнее всего того, что могла предложить Селия.

Я могла бы сказать, что мы с Эдной говорили на одном языке, но соврала бы: в то время я еще не настолько свободно разбиралась в дизайне одежды. Точнее будет сказать, что Эдна Паркер Уотсон стала первой в моей жизни носительницей языка, который я так жаждала выучить, – языка высокой моды.

Через несколько дней мы с Эдной отправились в «Комиссионный рай Луцкого» за тканями и свежими идеями. Я слегка волновалась, приглашая женщину со столь рафинированным вкусом в это пестрое царство цвета, шума и фактуры. (Говоря по правде, один запах чего стоил. Он отпугнул бы любого мало-мальски требовательного покупателя.) Но Эдну, как настоящего эксперта в тканях и фасонах, магазин привел в полный восторг. А еще ее покорила юная Марджори Луцкая,

дочка владельцев, встретившая нас в дверях своим обычным вопросом: «Чё изволите?»

За время своих набегов в универмаг в последние месяцы я успела хорошо ее узнать. Марджори, умненькая энергичная круглолицая девочка четырнадцати лет, неизменно одевалась самым причудливым образом. К примеру, в тот день на ней был совершенно безумный наряд: туфли с крупными пряжками, как у отцов-пилигримов на детском рисунке ко Дню благодарения, накидка из золотой парчи с десятифутовым шлейфом и поварской колпак, украшенный гигантской брошью с фальшивым рубином. Под всем этим великолепием скрывалась школьная форма. Несмотря на свой абсурдный вид, Марджори была девушкой серьезной. Чета Луцких плохо знала английский, и дочь с малых лет говорила за них. Несмотря на юный возраст, ей не было равных в торговле подержанными вещами и тканями; она общалась с клиентами на четырех языках – русском, французском, английском и идиш. Марджори была со странностями, но я успела убедиться в ценности ее навыков.

– Марджори, нам нужны платья двадцатых годов, – сказала я. – Хорошие платья. Как у богатых дам.

– Хотите сначала посмотреть наверху, в «Коллекции»?

За громким названием «Коллекция» скрывался небольшой закуток на третьем этаже, где Луцкие торговали самыми редкими и драгоценными находками.

– Боюсь, с нашим бюджетом в сторону «Коллекции» лучше даже не заглядываться.

– Значит, вам нужны платья для богатых, но по цене для бедных?

Эдна рассмеялась:

– Ты все правильно поняла, моя птичка.

– Да, Марджори, – кивнула я. – Мы пришли копаться, а не шиковать.

– Тогда начинайте вон там. – Марджори указала в глубину зала. – На днях привезли новую партию на вес. Мама еще не успела ее разобрать. Вдруг вам повезет.

Знай, Анджела: раскопки в закромах Луцких – занятие не для слабонервных. Представь себе гигантские бельевые контейнеры для фабрик-прачечных, под завязку набитые барахлом, которое Луцкие покупали оптом и продавали по фиксированной цене за фунт веса. Там попадалось что угодно: от старых рабочих комбинезонов до нижнего белья со зловещими пятнами, драной мебельной обивки, парашютного шелка, выцветших блузок из китайской чесучи, французских кружевных салфеток, тяжелых старинных портьер и чудесных прабабушкиных атласных крестильных платьиц. Добыча полезных ископаемых в этих завалах превращалась в тяжелую и утомительную работу, своего рода акт веры. Веры в то, что среди груды хлама прячется сокровище, и чтобы его отыскать, нужно потрудиться.

Эдна, к моему восхищению, сразу же нырнула в ближайший контейнер. Мне даже показалось, что ей не впервой. Плечом к плечу мы молча перерывали один контейнер за другим, даже не представляя, что конкретно ищем.

Примерно через час я вдруг услышала ликующий возглас: «Ага!» – и оглянулась. Эдна торжествующе махала над головой какой-то тряпкой. Торжествовала она, как выяснилось, не зря: тряпка оказалась лиловым вечерним платьем *robe de style*^[23] из шелкового шифона с бархатной отделкой, расшитым стеклярусом и золотой нитью.

– Держите меня! – ахнула я. – В самый раз для нашей миссис Алебастр!

– Именно, – кивнула Эдна. – И ты посмотри на это. – Она вывернула черный воротничок платья, и я прочла надпись на этикетке: «Lanvin, Paris». – Держу пари, двадцать лет назад его купила во Франции некая богатенькая дамочка и, судя по виду, надела один раз. Восхитительно. Представь, как оно заиграет бликами на сцене!

В мгновение ока Марджори Луцкая подскочила к нам.

– Ну, что нарыли, детки? – поинтересовалась она, хотя деткой тут можно было назвать только ее.

– Руки прочь, Марджори, – предупредила я, вдруг испугавшись, что она отнимет у нас платье и выставит наверху, в «Коллекции». – Правила есть правила. Эдна нашла его в контейнере, значит, платье на вес, всё честь по чести.

Марджори пожала плечами:

– В любви и на войне все средства хороши. Но платье и правда что надо. Закопайте его поглубже под тряпками, когда пойдете взвешиваться к маме. Она меня прибьет, если узнает, что я упустила такую вещь. Вот вам мешок и пара тряпок для маскировки.

– Ох, Марджори, спасибо, – ответила я. – Ты просто сокровище.

– Теперь мы с тобой навек повязаны, – подмигнула она с кривой ухмылкой. – Главное – помалкивай. Не то меня уволят.

Марджори зашагала прочь, а Эдна изумленно вытаращилась ей вслед:

– Неужели этот ребенок только что произнес: «В любви и на войне все средства хороши»?

– Я же говорила, что вам понравится у Луцких.

– И не ошиблась. Мне очень здесь нравится. А платье! Просто восторг. А у тебя какой улов, дорогая?

Я протянула ей хлипкую ночнушку на тонких бретельках вызывающего, вырви глаз, цвета фуксии. Она приложила ее к себе и сморщила нос:

– О нет, милая. Я такое не надену. Пожалей наших зрителей.

– Это не для вас, Эдна. Для Селии и сцены соблазнения, – объяснила я.

– Батюшки. Ну да. Тогда понятно. – Эдна еще раз внимательно рассмотрела ночнушку и покачала головой. – Бог мой, Вивиан, если ты выпустишь на сцену Селию в таком наряде, мы сорвем кассу. Мужчины выстроятся в очередь длиной в милю. Перейду-ка я уже сейчас на рис и воду, иначе на мою жалкую фигурку вообще никто не взглянет!

Глава одиннадцатая

Седьмого октября 1940 года мне исполнилось двадцать лет.

Свой первый день рождения в Нью-Йорке я отметила вполне предсказуемо: мы с девочками из театра пошли по барам, охмурили целую компанию плейбоев, выпили тонну коктейлей за чужие деньги, навеселились по самое не хочу и вполне предсказуемо приплелись домой на рассвете, еле-еле шевелясь, точно снулые рыбы в мутной воде.

Кажется, я поспала минут восемь, не больше, когда меня разбудило странное ощущение. В воздухе витало что-то непонятное. Разумеется, я была с похмелья – а то и до сих пор пьяна, – но чувства меня не обманули: что-то было не так. Я повернулась проверить, лежит ли рядом Селия, и увидела ее знакомые очертания. Значит, на этом фронте все в порядке.

Вот только я чувствовала запах дыма.

Табачного дыма.

Я села и тут же пожалела о своем решении. Рухнув обратно на подушку, я несколько раз глубоко вздохнула, извинилась перед своим несчастным

организмом и попыталась снова сесть, теперь уже не так быстро и резко.

Взгляд постепенно сфокусировался в тусклом утреннем свете, и я увидела в кресле напротив фигуру человека. Мужчины. Он курил трубку и смотрел на нас.

Неужели Селия кого-то притащила с собой? Или это я притащила?

Меня накрыла паника. Мы с Селией придерживались свободных нравов, как ты, наверное, уже поняла, но из уважения к Пег (и страха перед Оливией) я никогда не позволяла себе приводить в «Лили» мужчин. Откуда же он взялся?

– Представь, как восхитительно вернуться домой, – заговорил незнакомец, заново раскуривая трубку, – и обнаружить у себя в кровати двух девиц! Да еще каких! Все равно что залезть в холодильник за молоком и найти там завалявшуюся бутылку шампанского. Даже две бутылки, если уж быть точным.

Мозг все еще отказывался работать.

А потом до меня вдруг дошло.

– Дядя Билли? – спросила я.

– Ах, так ты моя племянница? – воскликнул мужчина и расхохотался. – Вот незадача. Это существенно ограничивает наши возможности. Как тебя зовут, лапочка?

– Вивиан Моррис.

– О-о-о, – уныло протянул он, – теперь все встало на свои места. Ты и правда моя племянница. Какое разочарование. Полагаю, семья не простит мне твоего растления. Я и сам себе не прощу – на старости лет я стал таким высоконравственным. Увы, увy. А вторая тоже моя племянница? Надеюсь, нет. Она совсем не похожа на чью-нибудь племянницу.

– Это Селия, – указала я в сторону прекрасного неподвижного тела. – Моя подруга.

– Судя по всему, очень близкая, – лукаво заметил дядя Билли, – хотя свечу я над вами не держал. Какая свобода нравов, Вивиан! Весьма современно. Целиком и полностью одобряю. Не волнуйся, я не скажу родителям. Еще, не дай бог, обвинят во всем меня. С них станется.

– Простите, что... – Я запнулась, не зная, как закончить предложение. Простите, что заняла вашу квартиру? Что сплю в вашей кровати? Что на вашей каминной полке сохнут наши мокрые чулки? Что мы заляпали оранжевыми румянами ваш белоснежный ковер?

– Не извиняйся, дитя мое. Я все равно здесь не живу. «Лили» – детище Пег, не мое. В Нью-Йорке я всегда останавливаюсь в теннисном клубе «Ракетка». Исправно плачу взносы, хотя, бог свидетель, дерут с меня втридорога. Зато там гораздо спокойнее и не надо отчитываться перед Оливией.

– Но это же ваша квартира.

– Разве что формально, благодаря доброте твоей тети Пег. Сегодня утром я всего лишь заскочил за пишущей машинкой, которой, к слову, не вижу на обычном месте.

– Я убрала ее в шкаф для белья. В коридоре.

– В шкаф, значит? Смотрю, ты тут обжилась, лапочка.

– Извините... – начала было я, но он снова меня прервал:

– Да шучу я, не волнуйся. Чувствуй себя как дома. Все равно я в Нью-Йорке редкий гость. Здешний климат мне вреден. Того и гляди ангину схлопочешь. К тому же в белых туфлях в этом городе ходить невозможно: пачкаются вмиг.

У меня в голове роился миллион вопросов, но вымоченные в джине мозги отказывались соображать, а во рту будто кошки ночевали. Как тут оказался дядя

Билли? Что он делает в Нью-Йорке? Кто его впустил? Почему в такую рань он во фраке? Ой, а сама-то я в чем? Кажется, в одной ночнушке, и даже та не моя, а Селии... А в чем же тогда она сама?! И где мое платье?

– Что ж, спасибо, порадовали старика, – улыбнулся Билли. – Не каждый день поутру застаешь двух ангелов в собственной постели. Но теперь, раз уж ты моя родственница, оставляю тебя в покое и попытаюсь раздобыть кофе в этом богом забытом месте. Тебе, кстати, кофе тоже не помешает, лапочка. Если позволишь сказать, я от всей души надеюсь, что ты каждый вечер вот так напиваешься и заваливаешься в кровать с красивыми артистками. Продолжай в том же духе, дитя мое. Знай: дядя тобой гордится. Мы отлично поладим.

Уже у самой двери он спросил:

– А кстати, во сколько обычно встает Пег?

– Часов в семь, – ответила я.

– Прекрасно. – Он взглянул на часы. – Жду не дождусь встречи с ней.

– Но как вы сюда попали? – спросила я, все еще очень туго соображая.

На самом деле я хотела узнать, как он попал в здание (дурацкий вопрос, ведь очевидно же, что тетя Пег дала мужу – или бывшему мужу, или кем он там ей приходится – запасной комплект ключей). Но Билли истолковал тему гораздо шире:

– Приехал на экспрессе «Твентис сенчури лимитед». Единственный комфортный способ добраться из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Мы сделали остановку в Чикаго – и видела бы ты, какие расфуфыренные великосветские цацы к нам подсели! Всю дорогу мы ехали в одном вагоне с Дорис Дэй, резались в картишки, пока тащились через Великие равнины. Знаешь, Дорис – отличная собеседница. Классная девчонка. У нее репутация святоши, но с ней ужасно весело. Я прибыл

вчера вечером, сразу отправился в клуб, сделал маникюр и стрижку, повстречался с парочкой отщепенцев и неудачников из числа старых знакомых, а потом решил заглянуть сюда за машинкой и поздороваться с семьей. Так что надевай-ка халат, лапочка, и покажи мне, где раздобыть завтрак в этой дыре. Не советую пропускать реакцию местных на мой приезд. Поверь, ты не пожалеешь.

Когда мне наконец удалось вылезти из постели и принять вертикальное положение, я поплелась на кухню, где застала самую удивительную парочку на свете.

За одним концом стола сгорбился мистер Герберт в своем обычном состоянии: штаны и нижняя рубашка висят мешком, седые волосы взъерошены, безнадежный взгляд утонул в традиционной кружке кофе без кофеина. За противоположным концом сидел мой дядя Билли: высокий, стройный, в роскошном фраке, с золотистым калифорнийским заггаром. И не просто сидел – он кайфовал, развалившись на стуле, прихлебывая виски из высокого стакана и оглядывая интерьер с исключительным удовольствием. Он чем-то смахивал на Эррола Флинна, которому надоело махать саблей.

Другими словами, если судить по внешнему виду, один из сидевших за столом готовился разгружать вагон с углем; другой собирался на свидание с Розалинд Расселл^[24].

– Доброе утро, мистер Герберт, – привычно поздоровалась я.

– Не надо так шутить, – ответил он.

– Я не нашел нормального кофе, а эта растворимая бурда противна моему существу, – пояснил Билли, – поэтому пробавляюсь виски. На безрыбье и рак рыба. Не

хочешь глотнуть, Вивиан? Сдается мне, сушняк тебя мучает не по-детски.

– Все будет тип-топ, когда выпью кофе, – пообещала я, хоть и сама сильно сомневалась в этом.

– Пег говорила, вы работаете над сценарием? – обратился Билли к мистеру Герберту. – Был бы счастлив взглянуть.

– Глядеть пока особо не на что. – Мистер Герберт печально воззрился на лежавший рядом блокнот.

– Вы позволите? – Билли потянулся за блокнотом.

– Мне бы не... Хотя ладно, что уж там. – Мистер Герберт привык сдаваться еще до начала битвы.

Билли медленно пролистал блокнот. Воцарилось томительное молчание. Мистер Герберт уставился в пол.

– Похоже, тут только набор шуток, – заметил Билли. – Даже не шуток, а их концовок. И куча рисунков птиц.

Мистер Герберт отрешенно пожал плечами:

– Если родятся идеи получше, я буду во всеоружии.

– А птицы ничего, кстати. – Билли отложил блокнот.

Мне стало жаль бедного мистера Герберта, который ответил на иронию Билли еще более несчастным видом. Я посчитала своим долгом вмешаться:

– Мистер Герберт, вы знакомы с Билли Бьюэллом? Мужем Пег?

Билли рассмеялся:

– Не волнуйся, лапочка. Мы с Дональдом сто лет друг друга знаем. Вообще-то, он мой поверенный – точнее, раньше был, пока ему не запретили практиковать, – а я крестный отец Дональда-младшего. Точнее, раньше был. Дональд просто нервничает, потому что я явился без приглашения. Неизвестно, какой будет реакция его начальства.

Дональд! Мне раньше и в голову не приходило, что у мистера Герберта есть имя.

Стоило Билли помянуть начальство, как в кухню вошла Оливия.

Сделала два шага, увидела Билли, раскрыла рот, закрыла и вышла.

Мы некоторое время сидели в благоговейном молчании. Эффектное появление, ничего не скажешь, – и эффектный уход со сцены.

– Не судите Оливию слишком строго, – наконец заметил Билли. – Не сумела справиться с восторгом от встречи со мной.

Мистер Герберт рухнул лбом на стол и пробормотал:

– Господибожемой. – Именно так, в одно слово.

– Не тревожься насчет нас с Оливией, Дональд. Все обойдется. Взаимное уважение несколько компенсирует нашу обоюдную антипатию. Во всяком случае, я точно ее уважаю. Хотя что-то общее у нас есть. Мы сохраняем превосходные отношения, базирующиеся на долговременном, глубоком и всестороннем уважении с моей стороны. – Билли вынул трубку изо рта, чиркнул спичкой и повернулся ко мне: – Вивиан, а как поживают твои родители? Мама и усатик? Знаешь, они всегда мне нравились. Во всяком случае, твоя мама. Что за впечатляющая женщина! Ни разу в жизни доброго слова ни о ком не сказала, но я ей вроде бы тоже нравился. Только не вздумай спрашивать у нее: ради приличия ей придется отпираться. А вот к твоему отцу душа у меня не лежит. Слишком чопорный. Я звал его дьяконом – за глаза, разумеется, чисто из вежливости. Ну да ладно. Как они поживают?

– Хорошо, спасибо.

– Все еще не развелись?

Я кивнула, но вопрос застиг меня врасплох. Мне даже в голову не приходило, что папа с мамой могут развестись.

– И что же, ни одной интрижки?

– Интрижки? У моих родителей? Как можно!

– Страсть с годами выдыхается, ты не находишь?
– Э-э-э...
– А ты была в Калифорнии, Вивиан? – К счастью, Билли решил сменить тему.
– Нет.
– Обязательно приезжай. Тебе понравится. Такого вкусного апельсинового сока нигде не найдешь. И климат потрясающий. Выходцы с Восточного побережья вроде нас с тобой там в чести. Калифорнийцы всех нас считают голубой кровью. Согласны на что угодно, лишь бы мы добавили лоска их сборищам. Скажешь, что училась в закрытой школе и что твои предки прибыли в Новую Англию на «Мэйфлауэре», и готово дело: для них ты уже почти Плантагенет. Стоит им услышать твой аристократический выговор, и тебе вручат ключи от города. А уж если умеешь играть в теннис или гольф, считай, карьера обеспечена, – главное, не слишком налегать на выпивку.

Для семи утра после празднования дня рождения разговор развивался слишком стремительно. Боюсь, в ответ я лишь тупо таращилась на дядю и моргала, хотя изо всех сил старалась уследить за ходом его мысли.

И кстати: я правда голубых кровей?

– А чем ты занимаешься здесь, в «Лили»? – снова сменил тему Билли. – Нашла себе применение?

– Я шью костюмы, – ответила я.

– Умно. С таким талантом всегда найдешь работу в театре, причем возраст тут не помеха. Но ни в коем случае не становись актрисой. А твоя красивая подруга? Она актриса?

– Селия? Она солистка бурлеска.

– Тогда ей не позавидуешь. У меня сердце разрывается, когда гляжу на этих девочек. Их век так короток, моя лапочка. Молодость и красота живут мгновение. Даже самой красивой девушке на свете наступает на пятки десяток новых красоток, помоложе

и посвежее. А те, что постарше, киснут, как перезрелый виноград, все еще дожидаясь, когда их заметят. Но твоя подруга – о, эта оставит след, поверь. Множество мужчин падут ее жертвами в смертельной любовной битве, ей наверняка посвятят песню или наложат на себя руки от любви к ней, но очень скоро все кончится. При большом везении она выйдет за богатого старого маразматика, – впрочем, судьба незавидная. Разве что при очень большом везении маразматик в один прекрасный день откинет копыта на поле для гольфа, оставив ей все свои денежки, пока она еще способна ими насладиться. Юные красотки и сами понимают, что конец не за горами. Что все это временно. Надеюсь, твоя прекрасная молодая подруга веселится на всю катушку. Она веселится?

– Да, – кивнула я. – Вроде да.

По моему скромному мнению, в умении веселиться Селии не было равных.

– Вот и хорошо. И ты веселись, пока есть возможность. Старые зануды будут твердить, что нельзя растрачивать юность понапрасну, но ты их не слушай. Юность – недолговечное и невосполнимое сокровище, так какой смысл его беречь? Существует лишь один правильный способ провести юность, Вивиан, – растратить ее без остатка.

В тот самый момент в кухню вошла тетя Пег в клетчатом фланелевом халате и с растрепанными волосами.

– Пегси! – воскликнул Билли, вскакивая из-за стола. Его лицо осветилось радостью. Все напускное безразличие развеялось в мгновение ока.

– Простите, сэр, запомятовала ваше имя, – проворчала Пег.

Но она тоже улыбалась, и через мгновение они уже обнимались. Я бы не сказала, что объятие было романтическим, но уж точно крепким, – недвусмысленное доказательство если не любви, то очень сильного чувства. Разомкнув объятия, они отстранились и еще пару минут глядели друг на друга, не опуская рук. И пока они вот так стояли, я внезапно впервые увидела то, чего раньше не замечала: я увидела, что Пег настоящая красавица. Прежде я не понимала, насколько она хороша собой. Теперь, когда она смотрела на Билли, лицо у нее просто сияло, что меняло всю ее внешность. (И дело было не только в том, что рядом с Билли любая женщина выглядела чуть красивее.) Рядом с ним она стала совсем другим человеком. Я видела, как сквозь ее черты проступает облик отважной американки, что отправилась во Францию служить медсестрой на фронте. Я видела авантюристку, которая десять лет колесила по стране с дешевым передвижным театром. Она не просто сбросила вдруг десяток лет; из старой тетки она превратилась в первую красавицу округа.

– Решил вот заскочить, солнышко, – сказал Билли.

– Оливия уже донесла. Мог бы и предупредить, между прочим.

– Не хотел тебя обременять. И не хотел нарваться на отказ. Подумал, что лучше уж нагрюну на свой страх и риск. У меня теперь есть секретарша, она все устроила. Организовала поездку. Ее зовут Жанна-Мари. Такая умница, такая способная и ответственная. Она тебе понравится, Пег. Похожа на Оливию, только женщина.

Пег отпрянула:

– Господи, Билли, ты неисправим.

– Только не обижайся! Я просто тебя дразню. Сама знаешь, никак не могу удержаться. Все дело в мандраже, Пегси. Я жутко боюсь, что ты вышвырнешь меня вон, солнышко, а я ведь только приехал.

Мистер Герберт поднялся из-за кухонного стола и заявил:

– Пойду-ка я отсюда, – после чего ретировался.

Пег уселась на его место и глотнула холодного растворимого кофе из его кружки. Нахмурившись, глянула внутрь, и я поднялась, чтобы приготовить ей свежего кофе. Не знаю, стоило ли мне оставаться на кухне в такой щекотливый момент, но тут Пег обратилась ко мне:

– Доброе утро, Вивиан. Как прошел день рождения? Повеселилась?

– Пожалуй, даже слишком, – ответила я.

– Вы с дядей Билли уже познакомились?

– Да, и поговорить успели.

– О боже. Не слушай его и забудь все, что он сказал.

– Пег, – вмешался Билли, – ты потрясающе выглядишь!

Пег пригладила рукой короткие волосы и широко улыбнулась, отчего ее изборожденное морщинами лицо засветилось изнутри.

– Для женщины вроде меня комплимент спорный.

– Нет женщин вроде тебя. Я проверял. Ты одна такая.

– Билли, прекрати.

– Ни за что.

– Так что привело тебя в Нью-Йорк, Билли? Работа?

– Никак нет. Я тут как обычный гражданский. В отпуске. Когда ты сказала, что Эдна здесь и ты подыскиваешь для нее хороший спектакль, я не смог удержаться от визита. Мы с Эдной не виделись с девятнадцатого года. Господи, до чего же мне хочется снова с ней встретиться! Обожаю эту женщину. А когда ты упомянула, что доверила сценарий Дональду Герберту, мне стало ясно как день, что я просто обязан тебя спасти.

- Благодарю. Ужасно мило с твоей стороны. И если меня потребуется спасти, Билли, я непременно дам тебе знать. Обещаю. В списке моих потенциальных спасителей ты на четырнадцатом месте. Из пятнадцати.

Он просиял:

- Но все же я в списке!

Пег прикурила сигарету и протянула ее мне, затем зажгла еще одну для себя.

- А чем ты сейчас занимаешься в Голливуде? - поинтересовалась она.

- Да всякой ерундой. Мои последние опусы совершенно справедливо отмечены грифом «ДСП»¹ - они такие же плоские и унылые. Мне ужасно скучно, Пег. Но платят хорошо. На жизнь хватает. Запросы у меня скромные.

Пег расхохоталась:

- Скромные запросы? Знаю я твои скромные запросы. Ты же, Билли, у нас аскет. Практически монах.

- Мне много не надо, - кивнул Билли.

Для служебного пользования» и «древесно-стружечная плита».

- Его величество скромность, который сидит у нас на кухне в таком наряде, будто собрался принять рыцарское звание. Его величество скромность с виллой в Малибу. Напомни, сколько там бассейнов?

- Ни одного. Я пользуюсь бассейном Джоан Фонтейн^[25].

- И что Джоан получает взамен?

- Бесценную роскошь общения со мной.

- Господи, Билли, она же замужем. За твоим другом Брайаном.

- Я люблю замужних женщин, Пег. Ты же знаешь. Особенно тех, у кого идеальный счастливый брак. Женщина, счастливая в браке, - самый верный друг для мужчины. Не переживай, Пегси, мы с Джоан просто

приятели. Брайану Ахерну с моей стороны ничего не грозит.

Я невольно переводила взгляд с Билли на Пег и обратно, пытаясь представить их романтической парой. Поначалу они производили впечатление совершенно разных людей, но от их диалога просто искры летели. Поддразнивание, шутки, понятные лишь им двоим, полная погруженность друг в друга – их близкие отношения не оставляли сомнений, вот только что это за отношения? Любовь? Дружба? Родство душ? Соперничество? Кто бы знал. Я оставила тщетные попытки разобраться и лишь следила за их искрометной беседой.

– Мне бы хотелось провести с тобой немного времени, пока я здесь, Пегси, – сказал Билли. – Мы слишком давно не виделись.

– Кто она? – спросила Пег.

– О чем ты?

– Женщина, которая только что тебя бросила, – ведь в этом причина твоей внезапной ностальгии по мне? Давай, не томи: кто она, очередная мисс Билли, разбившая тебе сердце?

– Обижаешь. По-твоему, ты видишь меня насквозь?

Пег молча смотрела на него и ждала.

– Ладно, если тебе так интересно, ее звали Камилла, – сдался Билли.

– Танцовщица, осмелюсь предположить? – спросила Пег.

– Ха! А вот и мимо! Она пловчиха! Пловчиха из шоу русалок. Несколько недель у нас продолжались очень серьезные отношения, но потом она решила пойти другой дорогой, и больше я ее не видел.

– Очень серьезные отношения на несколько недель. Вы только его послушайте, – рассмеялась Пег.

– Давай сходим куда-нибудь, раз уж я здесь, Пегси. Только ты и я. Послушаем отличный джаз, навестим

бары, куда раньше любили ходить, – те, что закрываются в восемь утра. Без тебя мне и веселье не впрок. Вчера, например, я заглянул в «Эль Марокко» и был страшно разочарован. Те же лица, те же разговоры. Ничего не меняется.

Пег улыбнулась:

– Слава богу, ты живешь в Голливуде, там-то разговоры небось поинтереснее! Но нет, Билли, нет. Никуда я с тобой не пойду. Ночные вылазки уже не для меня. Да и пить мне вредно. Ты же знаешь.

– Серьезно? Хочешь сказать, вы с Оливией не напиваетесь?

– Тебе бы все шуточки, но раз уж ты спросил – нет. У нас теперь вот как заведено: я пытаюсь напиться, а Оливия пытается мне помешать. И меня такой расклад устраивает. Не знаю, какой с него прок Оливии, но я страшно рада, что она взяла на себя роль сторожевого пса.

– Тогда давай я хотя бы помогу со спектаклем. Сама знаешь, этой макулатуре еще далеко до сценария. – Он постучал наманикюренным пальцем по почти пустому блокноту мистера Герберта. – Сколько бы Дональд ни старался, вряд ли у него получится путный сюжет. Не требуй от него невозможного. Позволь мне сесть за машинку и придать сценарию лоск. Ты знаешь, на что я способен. Сделаем отличную пьесу, достойную Эдны и ее таланта.

– Молчи. – Пег схватилась за голову.

– Давай, Пег. Риски.

– Молчи, – повторила она. – Я думаю изо всех сил.

Билли умолк и дал ей подумать.

– Мне нечем тебе платить, – наконец выдала она, снова поднимая на него взгляд.

– Я богат, Пег. Такой уж у меня талант. Врожденный.

– И никаких прав на выручку. Оливия будет категорически против.

- Забирай все себе, Пег. Возможно, тебе даже удастся неплохо подняться за счет этой авантюры. Если позволишь мне написать сценарий и он окажется настолько хорош, как я себе представляю, ты заработаешь такие деньги, что обеспечишь потомкам безбедную жизнь до конца дней.

- Придется оформить письменный договор, что ты отказываешься от всех прав. Оливия будет настаивать. И постановку я оплачу из своего кармана, не из твоего. Не хочу больше связываться с твоими деньгами. Ни разу ничего путного не вышло. Таковы условия, Билли. Соглашайся, иначе Оливия ни за что не допустит тебя к шоу.

- Разве это не твой театр, Пег?

- Формально – мой. Но без Оливии я ничего сделать не могу, и ты это знаешь. Она нужна мне как воздух.

- Воздух столько не зудит над ухом.

- Ты тоже зудишь, но без тебя я легко обойдусь. А без Оливии я как без рук. Она мне необходима. Вот в чем главное различие между вами.

- Ох уж эта Оливия! И как ты ее терпишь? До сих пор не пойму, что ты в ней нашла, – не считая того, что она бросается выполнять любую твою прихоть по первому зову. Дело в ее верности, да? Пожалуй, я на такое не способен. Но Оливия – та надежна, как несгораемый шкаф. Вот только мне она не доверяет.

- Именно. Ты прав по всем пунктам.

- Но почему? Seriously, Пег, почему эта женщина не верит мне? Я же очень-очень-очень заслуживаю доверия.

- Чем больше повторяешь «очень», тем меньше заслуживаешь доверия. Но ты ведь и сам понимаешь, да?

Билли рассмеялся:

- Понимаю. А все-таки, Пег, уж тебе-то отлично известно, что я могу написать этот сценарий левой

рукой, одновременно играя в теннис правой и подбрасывая мячик на носу, как дрессированный тюлень.

– И не пролив ни капли виски.

– Ни капли твоего виски, – подчеркнул Билли, поднимая бокал. – Я тут угостился в твоём баре.

– Уж лучше ты, чем я, если учесть безбожно ранний час.

– Хочу повидать Эдну. Она уже проснулась?

– Эдна так рано не встает. Пусть выспится. У нее на родине идет война, город бомбят, Эдна только что лишилась дома и всего остального. Она заслужила отдых.

– Тогда загляну позже. Съезжу в клуб, приму душ, отдохну, а потом вернусь, и начнем. Между прочим, спасибо, что не сохранила мои апартаменты, хоть я там никогда и не жил. Твоя племянница с подружкой заняли мою кровать и разбросали повсюду свое нижнее белье. А запах! Как взрыв на парфюмерной фабрике.

– Простите, – начала я, но Билли и Пег нетерпеливо отмахнулись, приказывая замолчать. До квартиры им, по-видимому, не было дела. Похоже, им и до меня не было дела, настолько они сконцентрировались друг на друге. Повезло еще, что мне позволили остаться. Я решила помалкивать, чтобы меня не вытолкали из кухни.

– А что у нее за муж, кстати? – спросил Билли у Пег.

– Муж Эдны? Милейший человек. Глуп и бездарен, но в остальном просто идеал. Чертовски привлекателен.

– Я заметил. Видел, как он играет, если это можно назвать игрой. Во «Вратах полудня». Глаза пустые, как у дойной коровы, но шарф авиатора ему очень к лицу. А что он за человек? Не изменяет ей?

– Нет, насколько мне известно.

– Настоящий подарок судьбы, – заметил Билли.

Пег улыбнулась:

– Да уж, Билли, прямо-таки чудо природы. Только представь: верный муж! Где это видано? Впрочем, Артур и правда подарок судьбы для Эдны. Могло быть и хуже.

– Может, и будет хуже. Со временем, – добавил Билли.

– Проблема в том, что она считает его хорошим актером.

– Но ведь он и близко не лежал к хорошему актеру. Скажи мне главное: он будет в нашем спектакле?

Пег улыбнулась, на этот раз печально:

– Слегка смущает слово «нашем» из твоих уст.

– Почему? Я вот дико счастлив, что мы в одной лодке, – ухмыльнулся Билли.

– Ровно до тех пор, пока ты не решишь сбежать с корабля, – возразила Пег. – Ты правда готов подключиться, Билли? Или умчишься в Лос-Анджелес на первом поезде, как только заскучаешь?

– Если ты согласна, я готов. Обещаю быть паинькой. Как досрочно освобожденный на испытательном сроке.

– Ты и есть на испытательном сроке. И Артур Уотсон будет в нашем спектакле. Так что придется тебе придумать, куда его приткнуть. Он красив, но не очень сообразителен – пусть и сыграет красивого, но не очень сообразительного героя. Ты же сам меня учил, Билли: надо работать с тем, что есть. Как ты там говорил, когда мы гастролировали? Если под рукой только толстуха и стремянка, поставим пьесу «Толстуха и стремянка».

– Надо же, ты до сих пор помнишь! – улыбнулся Билли. – Кстати, «Толстуха и стремянка» – далеко не худшее название для пьесы, уж поверь мне на слово.

– Конечно, поверю. Как всегда.

Билли потянулся и накрыл ее ладонь своей. Пег не отдернула руку.

– Пегси, – произнес он, и в одном этом имени – в том, как дядя его произнес, – я услышала десятки лет любви.

– Уильям, – ответила она, и это имя и тетин тон тоже вмещали годы любви. А еще – годы отчаяния.

– Оливия не слишком расстроилась из-за моего приезда? – спросил он.

Пег убрала руку.

– Сделай одолжение, Билли, не притворяйся, будто тебе не все равно. Я люблю тебя, но терпеть не могу, когда ты притворяешься, будто тебе не все равно.

– Знаешь что, – ответил он, – я далеко не такой бесчувственный, каким меня считают.

Глава двенадцатая

Через неделю после своего приезда в Нью-Йорк Билли Бьюэлл уже сочинил сценарий «Город женщин».

Вообще-то, за неделю сценарии не пишутся – по крайней мере, так я думала прежде, – но Билли трудился без устали. Устроившись за кухонным столом и попыхивая трубкой, он как заведенный стучал на машинке, пока не дописал последнюю фразу. Что ни говорите, но Билли умел обращаться со словами. Более того: творческий процесс, похоже, давался ему без мучений – никаких кризисов вдохновения, никакого выдиранья волос. Даже никаких пауз на размышления – во всяком случае, так казалось. Билли сидел себе за столом – шикарные фланелевые брюки, ослепительно-белый кашемировый свитер, пошитые на заказ в лондонском «Максвелле» парусиновые туфли без единого пятнышка, – и невозмутимо барабанил по клавишам, словно писал под диктовку невидимых божественных сил.

– Он чудовищно талантлив, Вивви, – сказала мне Пег однажды. Мы сидели в гостиной и рисовали эскизы костюмов под неумолчный стук пишущей машинки, доносящийся из кухни. – Он из тех, для кого и правда нет ничего невозможного. Да он даже невозможные

задачи одолеет играючи. Идей у него – миллион. Но вот беда: Билли соглашается работать, только если его «роллс-ройсу» нужен новый двигатель или если после отпуска в Италии вдруг обнаруживает, что на банковском счету осталась всего пара баксов. Чудовищно талантлив, но чудовищно ленив. А что взять с выходца из привилегированного класса? Да ничего.

– А сейчас-то ему какой резон вкалывать? – спросила я.

– Даже не знаю, – пожала плечами Пег. – Может, из любви к Эдне. Или ко мне. Может, ему что-то от меня нужно, но он пока предпочитает помалкивать. Может, ему просто наскучила Калифорния или даже стало одиноко. Я не намерена слишком пристально изучать его мотивы. Вкалывает – и то хорошо. Главное – не рассчитывать на него в будущем. И «будущее» может наступить завтра или через час: неизвестно, когда Билли потеряет интерес и сольется. Ему не нравится, когда на него рассчитывают. Если захочется отдохнуть от Билли, достаточно сказать, что он тебе необходим, – и тогда он поскачет напрямик к двери и пропадет на четыре года.

Как только Билли допечатал последнее слово, сценарий можно было сразу отправлять в работу. Не припоминаю, чтобы он редактировал рукопись, но она содержала не только диалоги и сценические указания, но и тексты песен, музыку к которым Бенджамину еще предстояло сочинить.

И сценарий был превосходен – по крайней мере, насколько я могла судить по своему небольшому опыту. Но даже я понимала: пьеса у Билли вышла живая и веселая, динамичная и праздничная. Теперь мне стало ясно, почему «Твентис сенчури Фокс» держит его на окладе и почему Луэлла Парсонс однажды написала в

своей колонке: «Все, чего коснулась рука Билли Бьюэлла, превращается в кассовый хит! Даже в Европе!»

Главной героиней нового «Города женщин» по версии Билли по-прежнему была миссис Элеонора Алебастр, богатая вдова, потерявшая состояние во время биржевого краха 1929 года и открывшая в своем особняке подпольное казино и бордель, чтобы удержаться на плаву.

Однако Билли добавил в сюжет новых героев, притом весьма колоритных. К примеру, у миссис Алебастр появилась дочь, жуткая задавака по имени Виктория (в начале шоу она исполняла комические куплеты «У мамочки притон»). Всплыл также нищий, но жадный до денег кузен-аристократ из Англии, желающий жениться на Виктории с целью заполучить семейный особняк. Эту роль поручили Артуру Уотсону. («Не может Уотсон играть американского полицейского, – объяснял Билли моей тете. – Никто ему не поверит. А вот дятел-англичанин – самая подходящая для него роль. Она ему даже больше понравится: можно носить красивый костюм и воображать себя важной птицей».)

В качестве героя-любовника выступал Счастливчик Бобби, юный оборванец из трущоб, который раньше чинил машину миссис Алебастр, а теперь помогал хозяйке управлять подпольным казино, принесшим богатство им обоим. Главную героиню, блистательную артистку бурлеска, звали Дэйзи. Обладая сногшибательным телом, Дэйзи мечтала о простом женском счастье – выйти замуж и нарожать кучу детишек. (Ее коронная ария «Хочу вязать носочки малышам» сопровождалась танцем на манер стриптиза.) Роль Дэйзи, само собой, предназначалась Селии Рэй.

В конце Дэйзи и Счастливчик Бобби обретают счастье и отчаливают в Йонкерс, чтобы завести ту самую кучу детишек. Дочка-задавака крутит шашни с самым крутым гангстером в городе, обучается стрелять из автомата и отправляется грабить банки, чтобы удовлетворить свои немалые запросы. (Ее финальный номер назывался «Бриллианты нынче измельчали».) Ушлый кузен-англичанин несолоно хлебавши изгнан на родные берега. А миссис Алебастр влюбляется в мэра, честного гражданина, который всю дорогу пытается прикрыть ее притон. Они играют свадьбу, мэр уходит в отставку и становится барменом в подпольном казино. (Их финальный дуэт «Налей-ка нам двойную» подхватывал хор из всего актерского состава.)

Появились в пьесе и второстепенные роли. Например, добавился сугубо комический персонаж – пьяница, который притворяется слепым, чтобы не ходить на работу, но при этом отлично играет в покер и ворует кошельки. (На эту роль Билли уговорил мистера Герберта: «Если не можешь написать сценарий, Дональд, хоть сыграй в этой чертовой пьесе!») Добавилась мать Дэйзи, старая проститутка, не желающая сдавать позиции. («Зовите меня миссис Казанова», – пела она.) Добавился банкир, пытающийся завладеть особняком. А также хор и расширенный кордебалет – по задумке Билли, куда больше наших обычных четырех парней и четырех девушек, иначе грандиозного шоу нам не видать.

Пег сценарий понравился.

– В писательстве я ни черта не смыслю, но могу отличить плохую пьесу от хорошей, и это хорошая пьеса, – заявила она.

Эдна и вовсе пришла в восторг. Под пером Билли ее миссис Алебастр из карикатурной аристократки

превратилась в обаятельную умницу с отличным чувством юмора. Самые смешные реплики в пьесе принадлежали Эдне; ее героиня участвовала во всех сценах.

– Билли! – воскликнула Эдна, прочитав сценарий. – Это восхитительно, но ты меня слишком балуешь! Может, дашь слово и другим персонажам?

– А зачем? – усмехнулся Билли. – Раз уж мне выпал шанс поработать с Эдной Паркер Уотсон, пусть весь мир знает, что я работаю с Эдной Паркер Уотсон!

– Ты прелесть, Билли, – умилилась Эдна. – Но я давно не играла в комедиях. Боюсь, потеряла хватку.

– Суть комедии в том, чтобы играть ее с серьезной миной, – пояснил Билли. – Не старайся быть смешной, и тогда все обхохочутся. У вас, британцев, это отлично выходит: половину реплик проговаривай как бы между делом, будто не собираешься утруждаться. Для хорошей комедии отстраненность просто необходима.

Наблюдать за Билли и Эдной было очень любопытно. Как оказалось, их связывает настоящая дружба, основанная не только на общих шутках и взаимном заигрывании, но на истинном уважении. Они восхищались талантами друг друга и наслаждались общением. В ту, первую, встречу Билли сказал:

– С тех пор как мы не виделись, душа моя, случилась куча всякой ерунды, но ничего важного. Давай-ка выпьем и не будем говорить о мелочах.

А Эдна отвечала:

– Больше всего на свете я хочу не говорить о мелочах, Билли, но еще больше – не говорить о них с тобой.

Однажды Билли заявил мне в присутствии Эдны:

– Знала бы ты, скольким мужчинам Лондона посчастливилось пасть жертвами нашей Эдны в те времена, когда мы с ней только познакомились. Я избежал этой участи только потому, что мое сердце уже

принадлежало Пег. Но во цвете лет Эдна разила мужчин наповал. Да уж, Вивви, это надо было видеть. Плутократы, артисты, генералы, политики – все падали к ее ногам.

– Да нет же, не было такого, – запротестовала Эдна, но по ее улыбке я поняла, что все именно так и было.

– Мне даже нравилось наблюдать, как она превращает мужчин в послушных марионеток, – продолжал Билли. – У тебя отлично получалось, Эдна. Ты полностью лишала их способности сопротивляться, и они навек становились безвольными тряпками, после чего любая могла подобрать их и вить из них веревки. Можно даже сказать, ты здорово послужила женской половине человечества. Взгляни на нее, Вивиан: на вид сущая куколка, но поостерегись недооценивать эту женщину. К ней нужно относиться с глубоким уважением. Под ее стильным костюмчиком прячется железный стержень.

– Билли, ты меня перехвалил, – сказала Эдна, и снова по ее улыбке я догадалась, что каждое его слово – истинная правда.

Несколько недель спустя Эдна пришла ко мне на примерку: платье предназначалось для финальной сцены. Эдна, как и я сама, была согласна только на сногшибательный костюм. «Сшей мне платье, ради которого стоит жить» – вот какие инструкции она мне дала. И я их выполнила, уж прости за бахвальство.

Вечерний наряд для Эдны состоял из двух слоев шелкового муара небесно-голубого цвета с драпировкой из тончайшего тюля, усыпанного крошечными стразами. (Отрез этого восхитительного шелка я нашла у Луцких и потратила на него почти все свои накопления.) Платье переливалось при каждом движении, но не вульгарным блеском, а мягким мерцанием бликов на воде. Шелковая

ткань струилась вдоль тела, не обтягивая его (все-таки Эдне уже перевалило за пятьдесят), а справа я сделала разрез, чтобы Эдна могла танцевать. В этом наряде она напоминала королеву эльфов, решившую прогуляться по Нью-Йорку.

Эдна сразу влюбилась в платье и принялась крутиться перед зеркалом, любуясь искрящимися переливами шелка.

– Вивиан, ума не приложу, как ты умудрилась добиться такого эффекта, но в этом платье я и правда выгляжу высокой! А голубой цвет необычайно освежает и молодит. Больше всего я боялась, что ты обрядишь меня в черное и превратишь в труп на очереди к бальзамировщику. Скорее бы показаться Билли! Ни один мужчина не разбирается в женской моде лучше твоего дяди. Вот увидишь, он будет в восторге не меньше моего. Открою тебе один секрет, Вивиан: Билли Бьюэлл – из тех редких мужчин, кто клянется в любви к женщинам и действительно их любит.

– А Селия говорит, он плейбой, – заметила я.

– Ну естественно, моя птичка. Как и любой уважающий себя красивый мужчина. Но Билли особенный. Пойми, плейбоев в мире пруд пруди, но большинство из них не умеет наслаждаться обществом женщины, после того как получит от нее желаемое. Мужчина, который способен очаровать любую женщину, но не ценит ни одну из них? От таких следует держаться подальше. Но твой дядя Билли совсем другой. Он искренне любит женщин, даже тех, которые ему не принадлежат. Мы с ним наслаждаемся обществом друг друга. Он с равным удовольствием готов и кокетничать со мной, и просто болтать о моде. А какие диалоги для актрис он пишет! Большинству мужчин-драматургов такое не под силу. У них всего три вида героинь: шлюха, плакса и верная жена. Жуткая тоска.

– А Оливия считает, что Билли нельзя доверять.

– Тут она ошибается. Билли очень даже можно доверять. Он всегда и везде остается самим собой. Просто Оливии не нравится, какой он.

– А какой он?

Эдна замолчала и задумалась.

– Свободный, – наконец ответила она. – В жизни редко встречаются по-настоящему свободные люди, Вивиан. Билли делает лишь то, что ему нравится, – и я нахожу подобный принцип весьма полезным. Оливия по натуре более жесткая, она любит порядок – и слава богу, иначе тут все развалилось бы к чертям, – вот почему она с крайней подозрительностью относится к свободным людям. А мне они нравятся. Вдохновляют меня. И еще, смею заметить, Билли обладает магической притягательностью. Я очень люблю красивых мужчин, Вивиан, как ты, наверное, уже заметила. Мне приятно просто находиться рядом с таким красавцем, как Билли. Но берегись его чар! Если он решит применить к тебе весь свой арсенал, пиши пропало.

Я невольно подумала, применял ли дядя Билли когда-нибудь к Эдне «весь свой арсенал», но из вежливости спрашивать не стала. Зато мне хватило смелости спросить:

– А Пег и Билли?..

На самом деле я даже не знала, как сформулировать вопрос, но Эдна тут же уловила его истинный смысл.

– Гадаешь, что их связывает? – Она улыбнулась. – Могу сказать лишь одно: они любят друг друга. И всегда любили. Их роднит интеллект, чувство юмора. В молодости между ними молнии сверкали. Тем, кто не понимал их остроумия, приходилось туго: не каждому дано поддерживать столь яркую беседу. Билли обожает Пег, искренне обожает. Разумеется, такому мужчине безумно скучно хранить верность единственной

женщине, но сердце Билли Бьюэлла навсегда принадлежит Пег. И они с удовольствием работают вместе – как ты вскоре убедишься. Единственная проблема состоит в том, что Билли – настоящий виртуоз хаоса, а я не уверена, что Пег согласна терпеть хаос. Сейчас ей больше нужна верность, чем развеселая жизнь.

– Но они до сих пор женаты? – уточнила я, хотя меня, само собой, скорее интересовало, спят ли они вместе.

– Женаты в каком смысле? – Эдна сложила руки на груди, склонила голову набок и уставилась на меня. А когда я не ответила на ее вопрос, снова улыбнулась и продолжила: – Жизнь не так проста, моя дорогая. В ней масса тонкостей. Вот станешь постарше и поймешь, что практически жизнь и состоит из сплошных тонкостей. Не хочу тебя пугать, но лучше уясни прямо сейчас: большинство браков – не рай и не ад, а скорее чистилище. И все-таки любовь однозначно заслуживает уважения, а Билли и Пег любят друг друга по-настоящему. А теперь подгони-ка пояс по талии, дорогая, чтобы платье не собиралось складками на боках, когда я поднимаю руки, и я по гроб жизни буду тебе благодарна.

Поскольку престиж Эдны автоматически повышал планку шоу, Билли решил, что и остальное должно соответствовать уровню. («Театру „Лили“ выдали родословную, – как выразился Билли. – Это вам уже не выставка дворняжек, друзья мои».) Все составляющие «Города женщин» должны были намного превосходить наши стандарты.

А если вспомнить наши стандарты, задача предстояла неохватная.

Билли несколько раз посмотрел «Пляши, Джеки!» и даже не скрывал своего презрения к нынешней труппе артистов.

– Солнышко, это полное дерьмо, – заявил он Пег.

– Не льсти мне, – усмехнулась она, – а то еще решу, что ты хочешь затащить меня в постель.

– Дерьмо наивысшей пробы, и тебе это известно.

– Довольно комплиментов, Билли. Скажи правду.

– Группа артисток бурлеска еще сойдет, ведь им и делать ничего не надо, только красоваться на виду у публики, – пояснил он. – Пусть остаются. Но вот актеры вообще никуда не годятся. Нам необходимы новые таланты. Кордебалет сойдет – ребята симпатичные и выглядят как детки из бедных семей, это мне нравится... но танцуют как слоны. Смотреть больно. Личики у них смазливые, но пусть держатся позади, а вперед выведем настоящих танцоров – надо найти как минимум шестерых. Сейчас из всей труппы на авансцену я готов выпустить только вашего эльфа Роланда. Он великолепен. Но остальные должны быть не хуже.

Вообще-то, Роланд настолько поразил Билли своей харизмой, что тот даже решил написать для него отдельный номер – «Не в пехоте, а на флоте». На первый взгляд песня была о пареньке, который мечтает стать морячком, потому что его влекут приключения, но на деле завуалированно и остроумно намекала на очевидную гомосексуальность Роланда.

– Думаю, это должно быть что-то вроде «Ты лучше всех» Портера, – объяснил Билли. – Провокационная песенка с двойным дном.

Но Оливия зарубила идею на корню.

– Да ладно тебе, Оливия! – взмолилась Пег. – Пусть будет. Смешно ведь. Женщины и дети все равно не поймут подтекста. Да и сюжет у нас предполагается вполне пикантный. Давай хоть раз добавим перчика?

– Перчика и так слишком много для желудков нашей публики, – вынесла вердикт Оливия, и дело закрыли. Роланд так и не получил свою песню.

Должна сказать, Оливия несколько не радовалась новой постановке.

Билли заразил своим энтузиазмом всех, кроме нее. В день, когда он появился в «Лили», она надулась и с тех пор так и ходила надутая. По правде говоря, ее вечно кислая мина начала меня всерьез раздражать. Постоянный торг за каждую лишнюю копейку, цензура сцен с сексуальным подтекстом, строгое соблюдение ею же установленных правил, непреклонная манера с ходу отвергать лучшие идеи Билли, бесконечное нытье насчет бюджета и умение задушить на корню любое веселье и радость – Оливия определенно действовала мне на нервы.

Взять, к примеру, предложение дяди Билли нанять для шоу шестерых новых танцоров. Пег была обеими руками за, но Оливия заявила, что нет смысла «попусту пускать пыль в глаза».

А когда Билли возразил, что с шестью дополнительными участниками кордебалета пьеса хоть немного приблизится к уровню настоящего шоу, Оливия отрезала:

– Шесть танцоров – это расходы, которые мы не можем себе позволить. А для пьесы существенной разницы я не вижу. Одна только зарплата за репетиционный период съедает сорок долларов в неделю. А ты предлагаешь взять еще шестерых. И где я найду деньги?

– Нельзя заработать деньги, не потратив их, Оливия, – напомнил Билли. – Так и быть, вложу свои.

– Час от часу не легче, – буркнула Оливия. – Да и не верится, что ты нас не кинешь. Помнишь, что случилось

в Канзас-сити в тридцать третьем?

- Нет, я не помню, что случилось в Канзас-сити в тридцать третьем, - отчеканил Билли.

- Ну еще бы, - вмешалась Пег. - Ты оставил нас с Оливией с носом, вот что случилось! Мы арендовали огромный концертный зал для грандиозного мюзикла, который ты уговорил меня ставить, ты от моего имени нанял десятки местных исполнителей, а сам сбежал в Сен-Тропе на турнир по триктраку. Чтобы расплатиться, мне пришлось снять с банковского счета компании все до последнего цента, а ты со своими деньгами просто исчез на целых три месяца.

- Боже, Пегси, тебя послушать, я сделал что-то плохое.

- Разумеется, я не держу на тебя зла, - с сардонической усмешкой произнесла Пег. - Мне ли не знать о твоей любви к триктраку. Но Оливия права. «Лили» и так еле выходит в ноль. Нельзя же пойти вразнос ради одного спектакля.

- Позволь не согласиться, - возразил Билли. - Собираешься сделать шоу, которое люди захотят увидеть? Изволь потратиться! А когда люди хотят увидеть шоу, оно приносит прибыль. Невероятно, что спустя столько лет я вынужден напоминать тебе, Пег, как устроен театральный бизнес. Ну же, Пегси, хватит катить на меня бочку. Когда герой приходит тебя спасать, не стоит метать в него дротики.

- «Лили» не нужно спасать, - возразила Оливия.

- Еще как нужно, Оливия, еще как нужно! - воскликнул Билли. - Ты видела этот театр? Все разваливается на куски. Да у вас тут до сих пор газовые лампы. Зал заполняется только на четверть. «Лили» необходим хит. Позволь вам помочь. С Эдной у нас есть реальный шанс. Но халтурить нельзя ни в чем. Если удастся заманить критиков - а уж я прослежу, чтобы удалось, - все остальное должно соответствовать

уровню Эдны. Давай же, Пегси, не трусь! Тебе даже не придется особенно убиваться с постановкой, ведь я помогу с режиссурой. Поделим всю работу пополам, как раньше. Ну же, солнышко, не упускай удачу. Можешь и дальше ставить свои грошовые пьески, медленно, но верно сползая в банкротство, – или мы создадим шедевр. Грандиозное шоу. Раньше ты не боялась рисковать деньгами – так рискни еще раз.

Пег колебалась.

– Может, возьмем хотя бы четверых дополнительных танцоров, Оливия?

– Пег, он пыль тебе в глаза пускает, – предупредила Оливия. – Нам это не по карману. Нам даже два лишних артиста не по карману. Не веришь – загляни в бухгалтерскую книгу.

– Ты слишком беспокоишься о деньгах, Оливия, – отмахнулся Билли. – Сколько тебя помню, всегда так было. Но деньги в жизни не главное.

– Тебе легко говорить, ты же Уильям Акерман Бьюэлл Третий из Ньюпорта, Род-Айленд, – усмехнулась Пег.

– Брось, Пегси. Ты же знаешь, на деньги мне плевать.

– Вот именно, Билли, – поддакнула Оливия. – Тебе плевать на деньги – не то что нам, бедолагам, которые не подсустились родиться в богатой семье. Но хуже всего, что ты и Пег заразил своей беспечностью. Раньше это приносило нам одни проблемы, и я не допущу повторения.

– Но раньше-то денег нам вполне хватало, – парировал Билли. – Не будь ты такой акулой капитализма, Оливия!

Пег расхохоталась и сообщила мне на ухо громким театральным шепотом:

– Твой дядя Билли воображает себя социалистом, малышка. Но, сдается мне, не очень-то знаком с

принципами социализма – за исключением свободной любви.

– А ты что думаешь, Вивиан? – спросил Билли, внезапно заметив мое присутствие.

Я очень смутилась. Их спор напоминал мне ссору родителей – только здесь родителей было трое, что окончательно сбивало с толку. В последние несколько месяцев я много раз слышала, как Пег с Оливией ругались из-за денег, но с появлением Билли ситуация накалилась до предела. И если в спорах Пег и Оливии я еще могла выбрать сторону, то Билли оставался для меня темной лошадкой. Любой ребенок рано или поздно обучается аккуратно лавировать между двумя спорящими взрослыми, но между тремя? Это было выше моих сил.

– Думаю, каждый из вас в чем-то прав, – ответила я.

Видимо, ответ был неудачный, потому что теперь на меня обозлились все трое.

В конце концов сговорились на том, что дополнительных танцоров будет четверо и Билли возьмет расходы на себя. Решение не нравилось никому – впрочем, папа всегда говорил, что таким и должен быть результат успешных деловых переговоров. «Все участники должны встать из-за стола с ощущением, что заключили невыгодную сделку, – безрадостно втолковывал мне папа. – Это значит, никого не обошли и все в более-менее равных условиях».

Глава тринадцатая

Приезд Билли Бьюэлла, несомненно, поколебал наш устоявшийся маленький мирок, но одна перемена была особенно примечательной: с его приездом в «Лили» начали больше пить.

Намного больше.

Судя по прочитанному, Анджела, ты можешь подумать, будто физически невозможно пить еще больше, но вот в чем коварство алкоголя: место для

лишнего стаканчика всегда найдется. Дело практики, знаешь ли.

Главное отличие заключалось в том, что теперь с нами пила тетя Пег. Если прежде она ограничивалась парой бокалов мартини и отправлялась спать в положенное время – строго по установленному Оливией режиму, – теперь они с Билли после спектакля отправлялись кутить и напивались до полусмерти. Причем каждый божий вечер. На первых порциях мы с Селией частенько составляли им компанию, после чего двигали за весельем и приключениями в следующий бар.

Поначалу я чувствовала себя неловко в компании своей невзрачной старой тетушки, но от неловкости не осталось и следа, когда я обнаружила, какой зажигательной умеет быть Пег – особенно после пары рюмочек. Вдобавок она знала в шоу-бизнесе абсолютно всех, и все знали ее. А если не знали Пег, то знали Билли и непременно хотели повидаться с ним после стольких лет разлуки. А значит, выпивка текла к нам рекой, а нередко и сам хозяин заведения присаживался за наш столик посплетничать о Голливуде и Бродвее.

Внешне Билли и Пег по-прежнему казались мне совершенно неподходящими друг другу – он, такой красивый в белом фраке и с набриолиненными волосами, и она, в мешковатом платье из универмага Олтмена^[26] и без всякого макияжа, – но они могли очаровать кого угодно и каждый вечер мгновенно становились центром любого собрания.

И кутили они с размахом. Билли заказывал филе миньон и шампанское (частенько он с очаровательной беспечностью ускользал, прежде чем принесут филе, а вот про шампанское никогда не забывал) и приглашал всех присутствующих присоединиться к нашему пиршеству. Билли непрерывно говорил об их с Пег грядущем шоу, расписывая его как абсолютный хит.

Потом он объяснил мне, что у него своя стратегия; он стремился создать ажиотаж вокруг «Города женщин» еще до премьеры: «Не родился еще тот пресс-агент, который сумеет распространять слухи быстрее, чем я это сделаю в ночном клубе».

С дядей и тетей было весело, за исключением одной детали: Пег вечно пыталась проявить ответственность и уйти домой пораньше, а Билли уговаривал ее остаться и выпить еще. Помню, как-то раз в баре отеля «Алгонкин» Билли предложил:

– Еще порцию, моя дражайшая супруга? – И я вдруг увидела в глазах Пег настоящую боль.

– Не стоит, Билли, – ответила она. – Мне вредно столько пить. Дай мне собраться с мыслями, я не хочу наделать глупостей.

– Я же не спрашивал, стоит ли тебе пить, Пег. Я спросил, хочешь ли ты.

– Конечно, хочу, Билли. Я всегда хочу еще. Пожалуй, выпью коктейльчик, но только послабее.

– Может, взять тебе сразу три «послабее»? Чтобы не гонять официанта.

– Давай-ка по одному, Уильям. Мне теперь лучше не спешить.

– Твое здоровье! – Билли опрокинул очередной бокал и помахал им, подзывая официанта. – Думаю, я переживу вечер некрепких коктейлей. Главное, чтобы их приносили вовремя.

Тем вечером мы с Селией оставили Билли и Пег ради собственных приключений. Ввалившись домой, как обычно, в туманный предрассветный час, мы, к своему удивлению, обнаружили, что свет в гостиной горит. Глазам нашим открылось неожиданное зрелище. Пег раскинулась на диване в той же одежде, что и накануне, и спала, мирно похрапывая и закинув руку за

голову; ей удалось снять только один ботинок. Рядом в кресле дремал Билли, по-прежнему во фраке. На столике между ними громоздились пустые бутылки и полные пепельницы.

Когда мы вошли, Билли проснулся.

- Привет, девочки, - поздоровался он. У него заплетался язык, глаза налились кровью.

- Простите за беспокойство, - пробормотала я, в свою очередь с трудом ворочая языком.

- Ее уже ничто не побеспокоит, - Билли махнул рукой в сторону дивана. - Она в отключке. Последние несколько ступенек пришлось ее тащить. Девочки, не поможете мне?..

И мы втроем, совершенно пьяные, поволокли еще более пьяную Пег наверх. Она была отнюдь не дюймовочкой, а мы устали и спотыкались, так что операция давалась нелегко. Наконец мы кое-как подняли ее по лестнице, подхватив на манер свернутого в рулон ковра, и очутились у двери, ведущей в коридор четвертого этажа. Боюсь, всю дорогу мы хохотали, как моряки в увольнительной, а еще боюсь, что Пег было не очень удобно - или было бы неудобно, оставаясь она в сознании.

А потом мы открыли дверь и увидели на пороге Оливию - последнего человека, которого хочется видеть, когда пьян и виноват.

Оливия сразу смекнула, что к чему. Впрочем, догадаться было несложно.

Я ждала, что она в гневе обрушится на нас, но вместо этого она упала на колени и подхватила голову Пег, нежно ее баюкая. Потом с невыразимой печалью взглянула на Билли.

- Оливия, - пробормотал тот, - ну что ты, в самом деле. С кем не бывает.

- Принесите, пожалуйста, влажное полотенце, - тихо попросила она. - Холодное.

– Я с места больше не сдвинусь, – заявила Селия и сползла вниз по стене.

Я метнулась в ванную и, падая и спотыкаясь, как-то сумела сначала найти выключатель, потом полотенце, открыть кран и повернуть его на холодную воду, намочить полотенце, не вымокнув самой (вот тут я справилась не блестяще) и найти дорогу обратно.

Когда я вернулась, к обществу уже присоединилась Эдна Паркер Уотсон (даже в своем состоянии я невольно отметила прелестную красную шелковую пижаму и роскошный золотистый халат). Она помогала Оливии затащить Пег в квартиру. К сожалению, обе выглядели так, будто им не впервой.

Эдна взяла у меня влажное полотенце и положила его на лоб Пег.

– Давай, Пег. Пора просыпаться.

Билли стоял чуть в сторонке и переминался с ноги на ногу. Кажется, его мутило. В кои-то веки он выглядел на свой возраст.

– Она просто хотела повеселиться, только и всего, – слабо попытался он оправдаться.

Оливия встала и по-прежнему вполголоса произнесла:

– Вот вечно ты так. Вечно ее пришпориваешь, хотя знаешь, что нужно осадить.

На миг мне показалось, что Билли сейчас извинится, но тот совершил классическую ошибку пьяниц и полез в бутылку:

– Ой, да хватит тебе кипятиться. Она в норме. Просто решила пропустить еще пару стаканчиков, когда мы вернулись домой.

– Не суди по себе. – Оливия покачала головой, и в глазах у нее, если я не ошибаюсь, блеснули слезы. – Она не может остановиться даже после десяти стаканчиков. Как и раньше.

Эдна мягко заметила:

– По-моему, Уильям, тебе пора. Да и вам тоже, девочки.

На следующий день Пег поднялась только к вечеру. В остальном все шло своим чередом и никто не упоминал вчерашний инцидент.

А еще через день Пег с Билли снова сидели в «Алгонкине» и угощали шампанским весь зал.

Глава четырнадцатая

Чтобы привлечь исполнителей классом повыше обычного контингента «Лили», Билли устроил немыслимую прежде вещь: профессиональное прослушивание для шоу – самое настоящее, с объявлениями в театральных газетах и прочими атрибутами.

Для нас это было в новинку. Раньше роли распределяли без всяких объявлений. У Пег, Оливии и Глэдис хватало знакомых артистов и танцоров из местных, и труппа складывалась сама собой без всяких проб. Но Билли требовались кадры совсем не того уровня, что водились в Адской кухне, поэтому он настоял на прослушивании.

Целый день мы отсматривали подающих надежды танцоров, певцов и актеров. Мне разрешили посидеть на пробах вместе с Билли, Пег, Оливией и Эдной. Честно говоря, мне было неприятно смотреть на всех этих людей, которым так отчаянно хотелось заполучить роль в пьесе; они лезли из кожи вон, совершенно не скрывая своего рвения.

Но очень скоро я заскучала.

Что угодно в конце концов может наскучить, Анджела, – даже душераздирающее зрелище столь откровенного стремления понравиться. Особенно когда все кандидаты поют одну и ту же песню, танцуют один

и тот же танец и повторяют одни и те же реплики. И так несколько часов подряд.

Сначала шли танцовщицы – одна симпатичная мордашка за другой, чьи обладательницы упорно пытались протоптать себе дорожку в наш кордебалет. От их нескончаемой пестрой карусели у меня закружилась голова. Там были танцовщицы с рыжими кудряшками и с тонкими светлыми волосами; танцовщицы высокие и крошечные. Одна грузная претендентка пыхтела и фыркала, как скачущий дракон. Другой давно не мешало бы уйти на покой, но, видимо, она никак не могла заставить себя распрощаться с надеждами и мечтами. Девчушка с густой челкой отплясывала с таким серьезным видом, что ее танец больше напоминал марш на плацу. И все они самозабвенно гарцевали по сцене, задыхаясь и потев. С лихорадочным усердием и напускной веселостью отбивая чечетку. Поднимая клубы пыли, которые кружились в лучах прожекторов. Оглушительно гремя каблуками (когда дело касается танцоров, их амбиции не только видны, но и слышны).

Как ни старался Билли вовлечь Оливию в происходящее, та оставалась равнодушной. Похоже, она решила нас наказать и нарочно демонстрировала полное безразличие к пробам. Пока артисты выкладывались на сцене, она читала редакторскую колонку «Геральд трибьюн».

– А вот эта пташка хороша. Что скажешь, Оливия? – спросил Билли, когда одна особенно симпатичная девица исполняла для нас чудесную песенку.

– Нет, – бросила та, не отрываясь от газеты.

– Что поделать, Оливия, – отшутился Билли, – было бы странно, если бы наши вкусы на женщин всегда совпадали.

– Мне нравится эта, – сказала Эдна, когда на сцену вышла миниатюрная красотка с волосами цвета

воронова крыла. Она задирала ноги выше головы с легкостью, с какой иные женщины встряхивают банные полотенца. – Она хоть не лезет из кожи вон, стараясь нам угодить, как все остальные.

– Хороший выбор, Эдна, – одобрил Билли. – Мне она тоже приглянулась. Но ты же понимаешь, что она выглядит точь-в-точь как ты лет эдак двадцать с лишним назад?

– Ох, батюшки, а ведь ты прав! Значит, вот чем она меня подкупила? Господи, до чего же я тщеславная старая зануда.

– Что ж, такой типаж нравился мне тогда, нравится и сейчас, – объявил Билли. – Давайте ее возьмем. И остальные девушки из кордебалета пусть будут такого же роста. Не выше этой брюнеточки. Только представьте себе целое стадо хорошеньких маленьких пони! И Эдна рядом с ними не будет выглядеть гномом.

– Спасибо, любовь моя, – улыбнулась Эдна. – Кому захочется выглядеть гномом.

Когда дело дошло до проб на роль главного героя – Счастливого Бобби, уличного пройдохи, который учит миссис Алебастр играть в азартные игры и в конце концов женится на Селии, – моя скука чудесным и внезапным образом развеялась. Симпатичные юноши один за другим выходили на сцену и пели песню, написанную Билли и Бенджамином специально для роли («И в дождь, и в снег, и в зной, и в град / я бросить кости буду рад. / И в холода, и в непогоду / спасет от скуки карт колода»).

Мне показалось, что все играют прекрасно, но – как мы уже с тобой знаем, Анджеला, – я не отличалась особой разборчивостью. Однако Билли всех забраковал: один не вышел ростом («Ради всего святого, ему же Селию целовать, а Оливия не расщедрит на

стремянку, у нее бюджет!»); другой выглядел слишком откормленным («Публика никогда не поверит, что этот отъевшийся на кукурузе щекастик побирается на улицах Нью-Йорка»); третий – слишком жеманным («У нас уже есть мальчик, похожий на девочку, одного хватит»); четвертый – слишком серьезным («Здесь вам не воскресная школа, ребята»).

Но потом – а дело было уже к вечеру – на сцену вышел высокий и худощавый темноволосый паренек в костюме из блестящей ткани, который был ему коротковат в рукавах и штанинах. Сунув руки в карманы и сдвинув фетровую шляпу на затылок, он жевал жвачку, не потрудившись ее выплюнуть даже в свете прожекторов. И улыбался, как пират, который знает, где спрятан клад.

Бенджамин начал играть, но юноша жестом остановил его.

– А кто здесь босс? – спросил он, оглядывая нас.

Услышав голос парня – чистейший нью-йоркский говорок, сочный, дерзкий и слегка заносчивый, – Билли встрепенулся и указал на Пег:

– Она.

– Нет, она. – Пег указала на Оливию.

Та упорно продолжала читать газету.

– Просто хотел узнать, кого надо впечатлить. – Юноша присмотрелся к Оливии. – Но если все так запущено, может, лучше и не пытаться, а сразу топать домой? Понимаете, о чем я?

Билли рассмеялся:

– Ты мне нравишься, сынок. Споешь хорошо – и роль твоя.

– Петь-то я умею, мистер. На этот счет не волнуйтесь. И танцевать мастак. Вот только не хочется суесться зазря. Усекли, мистер?

– В таком случае вношу поправку в свое предложение, – ответил Билли. – Роль твоя, и точка.

Вот тут-то Оливия оторвалась от газеты и встревоженно огляделась.

– Но мы даже не видели его в деле, – шепнула Пег. – Вдруг он играть не умеет?

– Поверь, – успокоил ее Билли, – парнишка идеально подходит. Нутром чую.

– Поздравляю, мистер, – сказал юноша, – вы сделали правильный выбор. Дамы, я вас не разочарую.

Это, Анджела, и был Энтони.

Не стану жеманничать и ходить вокруг да около: я сразу влюбилась в Энтони Рочеллу. И он в меня тоже – только по-своему и ненадолго. Что до меня, я втрескалась в него буквально за пару часов. Прямо-таки образец эффективной стратегии: зачем терять время зря. Думаю, для тебя не секрет, Анджела, что молодые горазды на такие фокусы и череда страстных влюбленностей, скоротечных и ярких, как вспышки, – самое естественное состояние для двадцатилетних. Странно только, что оно не настигло меня раньше.

Секрет стремительной влюбленности, разумеется, не в том, чтобы хорошенько узнать человека. Достаточно найти в нем всего одну привлекательную черту и уцепиться за нее со всей страстью, поверив, что ее хватит для вечной любви. Например, в Энтони меня привлекла его заносчивость. Конечно, я не единственная ее заметила – ведь роль он получил исключительно благодаря наглости, – но только на меня это произвело такое впечатление.

За несколько месяцев нью-йоркской жизни я повидала самовлюбленных юношей (это же Нью-Йорк, Анджела; здесь их пачками штампуют), но Энтони отличала одна особенность: ему действительно было плевать на всех и вся. Другие ребята лишь изображали полное безразличие, а на самом деле им всегда было

что-то нужно – тот же секс, например. Но Энтони – о, тот действительно не нуждался ни в ком и ни в чем. Любой исход дела его устраивал. Победа, проигрыш – ему было до лампочки. Если обстоятельства складывались не в его пользу, он просто шагнул дальше, невозмутимо сунув руки в брюки, и брался за другое дело. Что бы ни подкинула ему жизнь, он воспринимал происходящее как данность.

Он даже меня воспринимал как данность – так что, сама понимаешь, у меня не было выбора, кроме как вспылать к нему неодолимой страстью.

Энтони жил в Вест-Сайде, на Сорок девятой улице, между Восьмой и Девятой авеню, на четвертом этаже многоквартирного дома. Жилье он делил с братом Лоренцо, шеф-поваром ресторана в Латинском квартале, где Энтони подрабатывал официантом, пока не подвернется очередная роль. В той же квартире когда-то жили его родители, но оба умерли – о чем он сообщил мне без видимой печали и сожаления. Смерть родителей он тоже воспринимал как данность.

Адская кухня породила и воспитала Энтони. Сорок девятая улица текла у него в жилах. Он вырос, играя в мяч в здешних закоулках, и научился петь в паре кварталов от дома, в Церкви Святого Креста. В последовавшие за нашим знакомством месяцы мне предстояло хорошо узнать этот район. Квартиру Энтони я изучила как свои пять пальцев и до сих пор вспоминаю с особой теплотой – ведь именно в кровати его брата Лоренцо я впервые испытала оргазм. (Своей кровати у Энтони не было: он спал на диване в гостиной. Поэтому мы пользовались постелью его брата, пока тот был на работе. К счастью, Лоренцо трудился допоздна, и я успевала вдоволь насладиться юным Энтони.)

Я уже говорила тебе, Анджела: чтобы женщина научилась получать удовольствие от секса, требуются время, терпение и прилежный партнер. Влюбившись в Энтони Рочеллу, я обрела и первое, и второе, и третье.

Мы с Энтони очутились в постели Лоренцо уже в первый вечер нашего знакомства. После проб в «Лили» он поднялся наверх, чтобы подписать контракт и забрать у Билли копию сценария. Когда взрослые дела были сделаны, Энтони ушел. Но Пег тут же велела мне догнать его и обсудить костюмы. Я с радостью бросилась выполнять ее просьбу. Так быстро я еще никогда не бегала.

Догнав Энтони на тротуаре, я схватила его за руку и представилась, одновременно пытаюсь отдышаться.

Вообще-то, обсуждать было нечего. Костюм, в котором он пришел на пробы, идеально подходил для роли Счастливого. Разве что слишком современный, но с подтяжками и ярким галстуком будет самое то. Дешево и мило – так и должен одеваться Счастливчик Бобби. О чем я – весьма опрометчиво – и сообщила Энтони: мол, костюм идеально подойдет для роли, потому что он дешевый и милый.

– Дешевый и милый, значит? – уточнил он. – Это ты про меня? – В глазах у него плясали веселые искорки.

Глаза у него были удивительные – темно-карие, живые. Его как будто все время что-то забавляло. Присмотревшись к нему вблизи, я поняла, что он старше, чем казалось со сцены, – не долговязый юнец, а скорее стройный молодой человек ближе к двадцати девяти годам, чем к девятнадцати. Но из-за худобы и беспечной походки он действительно выглядел много моложе.

– Может, и про тебя, – ответила я. – Хотя в дешевом и милом нет ничего плохого.

– А ты у нас дорогая, значит. – Он неспешно окинул меня оценивающим взглядом.

– Но ведь милая?

– Очень.

Мы молча смотрели друг на друга. Ни слова не говоря, мы активно обменивались информацией – и наши взгляды были красноречивее любых речей. Разговор без слов – это и есть флирт в чистом виде, Анджела. Серия безмолвных вопросов, которые одна сторона задает другой одними лишь глазами. И ответ всегда один и тот же.

«Возможно».

Мы долго смотрели друг на друга, обмениваясь безмолвными вопросами и каждый раз отвечая: «Возможно, возможно, возможно». Молчание так затянулось, что стало неловким. Но из упрямства я не собиралась ни отводить взгляд, ни заговаривать первой. Наконец Энтони рассмеялся, и я тоже.

– Как тебя зовут, куколка? – спросил он.

– Вивиан Моррис.

– Ты свободна сегодня вечером, Вивиан Моррис?

– Возможно, – ответила я.

– То есть «да»? – уточнил он.

Я пожала плечами.

Он склонил голову набок и шагнул ближе, по-прежнему улыбаясь.

– Да? – спросил он снова.

– Да, – ответила я, решив, что хватит с меня «возможно».

Однако Энтони повторил еще раз:

– Да?

– Да! – сказала я погромче, решив, что он не расслышал.

И снова:

– Да?

И тут я поняла, что спрашивает он о другом. Не об ужине и не о кино. А о том, свободна ли я для него самого.

– Да, – ответила я совсем другим тоном.

Через полчаса мы лежали в постели его брата.

Я сразу поняла, что меня ждет совсем не тот секс, к которому я привыкла. Во-первых, в кои-то веки я была трезвой как стеклышко, и мой партнер тоже. Во-вторых, никакой гардеробной ночного клуба, никакой торопливой возни на заднем сиденье такси. Возни и близко не было. Энтони Рочелла не спешил. Во время секса он любил поговорить, но его, в отличие от доктора Келлогга, мне совсем не хотелось затыкать. Ему нравилось задавать мне игривые вопросы, от которых я просто таяла. По-моему, ему просто нравилось снова и снова слышать мое «да», а я была только рада стараться.

– Ты очень красивая, ты в курсе? – спросил он тогда, закрыв за нами дверь.

– Да, – ответила я.

– А сейчас ты сядешь на кровать рядом со мной, верно?

– Да.

– Ты ведь знаешь, что я собираюсь тебя поцеловать, потому что ты очень красивая?

– Да.

И господи боже, что это был за поцелуй. Взяв мое лицо обеими ладонями и сомкнув длинные пальцы у меня на затылке, он мягко касался губами моего рта, словно пробуя его на вкус. Эта часть любовной игры – поцелуи, которые мне очень нравились, – с другими парнями обычно заканчивалась слишком быстро, но Энтони будто и не собирался переходить к следующей стадии. Впервые меня целовал тот, кто получал удовольствие от поцелуев не меньше моего.

Прошло много времени – очень много, – прежде чем он наконец отстранился.

- Вот что мы сейчас сделаем, Вивиан Моррис. Я останусь сидеть вот тут, на кровати, а ты встанешь под лампой, на свету, и разденешься для меня.

- Да, - ответила я. (Начав говорить «да», уже невозможно остановиться!)

Я встала в центре комнаты, как он и велел, под лампой. Сбросила платье, перешагнула через него и картинно развела руки, скрывая собственное волнение: «Та-да!» Однако, едва платье упало к ногам, Энтони широко улыбнулся, и меня обожгло стыдом: ведь я такая тощая, да и грудь совсем маленькая. Когда он заметил выражение моего лица, улыбка стала мягче, и Энтони сказал:

- Нет-нет, куколка, я смеюсь не над тобой. Я смеюсь, потому что ты мне очень нравишься. Такая прыткая, просто прелесть. - Он встал и подобрал с пола мое платье: - Надень-ка.

- Ой, прости, - забормотала я. - Ничего страшного, все нормально. - Я вообще ничего не поняла, но подумала про себя: «Я сплеховала, всему конец».

- Нет-нет, послушай, детка. Сейчас ты наденешь платье, а потом я попрошу тебя снова снять его для меня. Но только теперь растяни удовольствие, ладно? Не гони во весь опор.

- Ты ненормальный.

- Я просто хочу посмотреть еще разок. Давай же, куколка. Этого момента я ждал всю жизнь. Ни к чему торопиться.

- Ну уж нет. Не ждал ты этого момента всю жизнь!

Он усмехнулся:

- Ага, ты права. Не ждал. Но теперь, когда он наступил, мне и правда жуть как нравится. Так как насчет повторить его еще разок? Только очень-очень медленно.

Он снова сел на кровать, а я натянула платье и подошла, чтобы он застегнул пуговицы на спине, - что

он и сделал, осторожно и тщательно. Разумеется, я прекрасно дотянулась бы сама, и всего через пару секунд мне предстояло снова раздеться, но мне хотелось доверить пуговицы Энтони. И знаешь что, Анджела? Когда этот парень застегивал на мне платье, я испытала самое эротичное, самое интимное переживание за всю свою жизнь – хотя вскоре меня ждали ощущения куда сильнее.

Я повернулась и снова встала в центр комнаты, полностью одетая. Слегка взбила волосы. Мы смотрели друг на друга и улыбались, как два дурака.

– А теперь еще раз, – велел он. – И как можно медленнее. Представь, что меня здесь нет.

Тогда, Анджела, я впервые почувствовала, что на меня по-настоящему смотрят. И хотя за последние месяцы многие мужчины обнимали меня и трогали в самых разных местах, никто из них словно не видел меня как следует. Я повернулась к Энтони спиной, будто стеснялась его. Если честно, я действительно немного стеснялась. Никогда еще я не чувствовала себя такой голой, причем даже не успев раздеться! Заведя руку за спину, я расстегнула платье. Оно соскользнуло с плеч, но застряло на талии. Там оно и осталось, а я освободилась от бюстгальтера, медленно стягивая бретельки по обнаженным рукам. Потом я положила бюстгальтер на стул и застыла, давая Энтони возможность полюбоваться моей открытой спиной. Его взгляд ощущался как электрический разряд, бегущий вдоль позвоночника. Я долго стояла в ожидании хоть какой-нибудь реплики, но Энтони молчал. Я не видела его лица, и меня это очень будоражило – я не знала, чем он занят там, на кровати, у меня за спиной. До сих пор я помню воздух в той комнате. Прохладный, свежий, осенний.

Я медленно повернулась, не поднимая взгляда. Платье висело на талии, но грудь была обнажена.

Энтони по-прежнему молчал. Я закрыла глаза и позволила ему рассмотреть и изучить меня. Электрический ток из позвоночника распространился на переднюю поверхность тела. Голова стала легкой и закружилась. Казалось, я никогда уже не смогу пошевелиться и тем более заговорить.

– Вот это уже лучше, – наконец сказал Энтони. – Вот это я понимаю. Теперь подожди.

Он усадил меня на кровать и убрал волосы, упавшие мне на глаза. Я думала, он набросится на меня, примется тискать мне грудь и жадно целовать, но не тут-то было. Его неторопливость сводила меня с ума. Он даже не поцеловал меня еще раз. А просто улыбнулся:

– У меня есть идея, Вивиян Моррис. Хочешь узнать какая?

– Да.

– Вот что мы сейчас сделаем. Ты ляжешь на кровать, а я тебя раздену. Потом ты закроешь глаза. А знаешь, что я сделаю потом?

– Нет, – ответила я.

– Скоро узнаешь.

Девушкам твоего поколения, Анджела, трудно понять, насколько радикальным считался оральный секс в наши дни. Разумеется, я знала, что такое минет, и даже делала его пару раз, хотя не уверена, что оценила сам процесс или хотя бы поняла, в чем суть. Но чтобы мужчина касался ртом гениталий женщины? Тогда так никто не делал.

Поправка: конечно, делали. Каждое поколение считает, что именно оно совершило сексуальную революцию, но я уверена, что в 1940 году в Нью-Йорке люди поискусеннее меня наверняка делали куннилингус. Особенно в Виллидж. Но я – я никогда ни о чем таком не слышала. Бог свидетель, тем летом с

моим цветком женственности делали что угодно – но только не это. Его терли, гладили, проникали в него, теребили и щупали (господи, до чего же парням нравилось там рыскать, причем весьма активно), – но такое со мной было впервые.

Его рот так быстро очутился у меня между ног, что я не сразу поняла зачем, а когда поняла, была настолько шокирована, что ойкнула и попыталась сесть. Но он вытянул свою длинную руку, уперся ладонью мне в грудь и толкнул обратно на кровать, не прекращая своего занятия.

– Ой! – снова воскликнула я.

А потом я почувствовала. Я даже не подозревала, что такие ощущения вообще бывают. Я сделала самый резкий в жизни вдох и не выдыхала, кажется, следующие десять минут. На время я утратила способность видеть и слышать, у меня в мозгу словно что-то замкнуло – подозреваю, что и до сих пор полностью не разомкнуло. Все мое существо было потрясено. Я слышала, как издаю звериные стоны, ноги неудержимо дрожали (да я и не пыталась сдержать дрожь), и я с такой силой вцепилась руками себе в голову, что, кажется, пробороздила ногтями кожу до самого черепа.

А потом ощущение стало сильнее.

И еще сильнее.

Потом я закричала, словно на меня налетел поезд, а длинная рука Энтони зажала мне рот, и я вцепилась зубами в эту руку, как раненый солдат закусывает пулю.

А потом ощущение достигло пика, и я почти умерла.

Когда все закончилось, я задышала, заплакала и засмеялась одновременно; дрожь так и не прошла, меня всю трясло. А Энтони Рочелла улыбался и выглядел таким же самоуверенным, как всегда.

– Да, детка, – сказал худощавый парнишка, которого я отныне любила всем сердцем. – Теперь ты знаешь.

После этого я поняла, что никогда уже не буду прежней.

И знаешь, что самое удивительное, Анджела? В тот первый вечер, закончившийся для меня так примечательно, мы даже не занимались сексом. Я имею в виду секс в традиционном смысле. Я никак не отблагодарила Энтони в тот раз, хотя бы предложив ему ответную ласку взамен на необыкновенные ощущения, которые он только что для меня открыл. А ему, похоже, это было и ни к чему. Его совсем не смущало, что я просто лежу на кровати и не шевелюсь, будто меня сбросили с самолета.

В этом и состояла притягательность Энтони Рочеллы – в полном отсутствии нетерпения. В умении принимать все как данность. Тем вечером я начала понимать, почему Энтони Рочелла так уверен в себе. Теперь мне было ясно, почему этот юноша без гроша за душой держится так, будто весь Нью-Йорк у него в кармане. Ведь если ты можешь сделать такое с женщиной, даже не требуя ничего взамен, ты имеешь полное право задирать нос.

Он полежал немного со мной рядом, поддразнивая меня за крики наслаждения, а потом пошел на кухню и вернулся с двумя бутылками пива – себе и мне.

– Тебе надо выпить, Вивиан Моррис, – сказал он и оказался прав.

В тот вечер он даже не раздевался.

Он чуть не довел меня до обморока, даже не сняв пиджак. Свой дешевый и милый пиджак.

Естественно, на следующий же вечер все повторилось: я снова извивалась на кровати, пока его язык творил со мной чудеса. И на следующий вечер

тоже. Я по-прежнему ни разу не видела Энтони голым; он по-прежнему не просил ничего взамен. На третий вечер я наконец отважилась спросить:

– А как же ты? Ты хочешь?..

Он усмехнулся:

– Не волнуйся, детка. До этого еще дойдет.

И снова он был прав. До этого действительно дошло – и еще как дошло, – но он дождался, когда я сама его попрошу.

Не побоюсь сказать, Анджела, что он дождался, когда я буду умолять о сексе.

Что тоже вызвало у меня затруднения, поскольку я не знала, как умоляют о сексе. Какими словами воспитанная юная леди просит открыть ей доступ к тому самому мужскому органу, который нельзя называть, но которого она так жаждет?

«Не будешь ли ты любезен?..»

«Тебя не затруднит?..»

Тогда я еще не владела терминологией, допустимой в подобных случаях. Да, с момента приезда в Нью-Йорк мне довелось заниматься самыми грязными и непристойными вещами, но в глубине души я по-прежнему оставалась приличной девушкой из хорошей семьи, а приличные девушки из хороших семей о таком не просят. По сути, в те месяцы я лишь позволяла грязным и непристойным вещам со мной случаться, отдавая себя в руки мужчин, которые всегда очень торопились закончить дело. Но теперь все было иначе. Я желала Энтони, а тот не спешил дать мне желаемое, отчего я желала его еще сильнее.

Наконец дело дошло до того, что я, запинаясь, начала спрашивать:

– Как думаешь, мы с тобой когда-нибудь займемся... займемся...

Энтони отрывался от своих дел, с улыбкой поворачивался ко мне и, подняв одну бровь, спрашивал:

- Займемся чем?
- Ну, если ты когда-нибудь захочешь...
- Захочу чего, детка? Скажи прямо.

И в ответ я молчала, потому что не знала, как это назвать. А он лишь улыбался еще шире и говорил:

- Прости, детка, я не понял. Нужно выражаться яснее.

Но я не могла выражаться яснее – пока Энтони меня не научил.

Однажды вечером, когда мы, как обычно, баловались в кровати, он заметил:

- Пора бы тебе узнать некоторые слова, детка. Пока ты не будешь называть вещи своими именами, у нас ничего не получится.

И он научил меня самым грязным выражениям, которые я когда-либо слышала. Выражениям, от которых у меня горели щеки и пылали уши. Энтони заставил повторить их одно за другим, с удовольствием наблюдая за моими мучениями. А потом снова взялся за меня и заставил стонать и извиваться от желания. Когда я больше не могла терпеть – я даже дышать не могла, – он прервался и включил свет.

- А сейчас, Вивиан Моррис, – заявил он, – ты прямо в глаза скажешь мне, что я должен с тобой сделать. Теми словами, которым я тебя научил. Только так и не иначе, куколка. Или ничего не будет.

Веришь или нет, Анджеला, но я так и поступила.

Посмотрела ему прямо в глаза и сказала, чего хочу, – в точности как дешевая шлюха.

Тогда-то я и поняла, что влипла.

Втрескавшись в Энтони, я, естественно, расхотела шататься по городу с Селией, цеплять незнакомцев и перебиваться быстрым невыразительным сексом. Мне хотелось быть только с Энтони и каждую свободную минуту проводить в кровати его брата Лоренцо.

Другими словами, с появлением Энтони я весьма бесцеремонно бросила Селию.

Не знаю, скучала ли она по мне. По ней было не понять. Она ко мне не охладела, а если и охладела, то не подавала виду. Селия просто продолжала жить, как раньше, и была со мной по-прежнему приветлива, когда мы сталкивались в «Лили» (обычно это происходило в моей кровати, когда она возвращалась под утро пьяная). Вспоминая то время, я понимаю, что была ей не слишком верной подругой. Я бросила ее даже дважды: сначала ради Эдны, а потом ради Энтони. Но в молодости все мы руководствуемся самыми примитивными мотивами; наши дружеские чувства и привязанности непостоянны. Селию тоже не назовешь постоянной. Теперь я понимаю, почему в двадцать лет мне постоянно требовался объект для обожания – причем даже не важно, кто именно. На эту роль годился любой, кто был лучше меня. А Нью-Йорк тогда кишмя кишел теми, кто был лучше меня. Я была настолько бестолковой, настолько неопределившейся и до такой степени не понимала саму себя, что вечно цеплялась за других – хваталась за чужое обаяние, как за спасательный круг. Но, само собой, в каждый период времени у меня был только один кумир.

И теперь им стал Энтони.

От любви я не замечала ничего вокруг. Я ходила, как громом пораженная. Весь мир перестал существовать. Свою работу в театре я делала кое-как – ведь если честно, какая разница? Думаю, я и на репетиции ходила лишь потому, что Энтони присутствовал там каждый день; он репетировал по несколько часов кряду, а я могла им любоваться. Мне не хотелось отпускать его ни на шаг. После каждой репетиции я, как верная шавка, поджидала его, провожала в гримерную и из гримерной, по первому свистку бегала за бутербродами с языком на

ржаном хлебе. Я на каждом углу хвасталась, что у меня теперь есть парень и это любовь на всю жизнь.

Как тысячи других глупышек до меня, я заболела любовной и сексуальной горячкой – и более того, я считала, что такое возможно только с Энтони Рочеллой.

Но потом у нас с Эдной состоялся неприятный разговор. Я принесла ей на примерку новую шляпу для спектакля.

– Ты стала рассеянной, – заметила Эдна. – Лента не того цвета, какой мы выбрали.

– Правда?

Она ткнула пальцем в ленту – кроваво-красную – и спросила:

– Это, по-твоему, изумрудно-зеленый?

– Вроде нет, – ответила я.

– А все тот мальчишка, – констатировала Эдна. – Ты только о нем и думаешь.

Я невольно улыбнулась:

– Это уж точно.

Эдна тоже улыбнулась, но снисходительно:

– Так вот знай, дорогая Вивиан: когда он рядом, ты ведешь себя как течная сука.

В ответ на такую откровенность я уколола ее булавкой в шею – правда, совершенно случайно.

– Простите! – воскликнула я, даже не зная, за что извиняюсь: за укол или за свое поведение течной суки.

Эдна спокойно промокнула капельку крови носовым платком и сказала:

– Не бери в голову. Меня не впервые колют булавкой, и на сей раз я заслужила. Но послушай меня, Вивиан, хотя бы потому, что я стара, как ископаемое, и кое-что понимаю в жизни. Дело не в том, что я не рада за тебя. Что может быть прекраснее первой любви! Ты так носишься с ним, детка, и это очень мило.

- Он же настоящая мечта, Эдна, - вздохнула я. - Просто мечта!

- Не сомневаюсь, птичка моя. Иначе и быть не может. Но вот тебе совет. Развлекайся с этим юношей сколько душе угодно, напиши о нем в мемуарах, когда прославишься, но только ни в коем случае...

Я думала, она скажет «не выходи за него замуж» или «не вздумай забеременеть», но нет. Эдну заботило совсем другое.

- Не позволяй отношениям мешать твоей работе.

- Что?

- На нынешнем этапе, Вивиан, все мы должны держаться друг за друга и сохранять рассудительность и профессионализм. Может, со стороны тебе и покажется, что мы тут просто развлекаемся - и мы действительно развлекаемся, - но слишком многое поставлено на карту. Твоя тетя вложила в эту пьесу все - сердце, душу и собственные деньги до последнего цента. И мы не можем обмануть ее доверие, допустив провал. В театре существует такой закон, Вивиан: мы не портим друг другу шоу; мы не портим друг другу жизнь.

Я по-прежнему ничего не понимала, и Эдна, видимо, заметила это по лицу, потому что принялась объяснять снова:

- Я вот что хочу сказать, Вивиан: если ты любишь Энтони, люби на здоровье, никто не собирается тебя осуждать. Но пообещай, что останешься с ним до конца сезона. Энтони - хороший актер, куда выше среднего, и без него спектакля не будет. Мне не нужны сюрпризы. Если один из вас разобьет другому сердце, я рискую потерять не только главного героя, но и чертовски талантливую костюмершу. Вы оба нужны мне, и нужны в здравом уме. Твоя тетя сказала бы то же самое.

Я, наверное, совсем глупо выглядела, поскольку Эдна добавила:

– Объясню еще проще, Вивиан. Мой бывший муж – худший из бывших, который режиссер, – любил говорить мне: «Живи как угодно, ягодка моя, но не позволяй эмоциям сорвать чертово шоу».

Глава пятнадцатая

Репетиции шли полным ходом, и премьеру «Города женщин» назначили на двадцать девятое ноября 1940 года, через неделю после Дня благодарения – мы надеялись привлечь публику, которая на выходных соберется в театр.

Проблем с подготовкой практически не возникало. Прекрасная музыка, сногсшибательные костюмы (не стану скромничать). Разумеется, звездой шоу был Энтони Рочелла – по крайней мере, я в этом не сомневалась. Мой парень превосходно пел, играл и танцевал. (Как-то раз я подслушала разговор Билли и Пег. Билли сказал: «Всегда полно девиц, которые ангельски танцуют; попадают и такие же юноши. Но попробуй найти мальчишку, который танцует по-мужски, – вот это редкость. Парнишка оправдал все мои ожидания».)

Энтони оказался прирожденным комиком. Он очень убедительно смотрелся в роли хитроумного нарушителя закона, помогающего богатой даме открыть притон и бордель в гостиной ее особняка. Их общие с Селией номера были невероятными. Эти двое потрясаяще смотрелись вместе. В одной особенно впечатляющей сцене они танцевали танго, а Энтони соблазнительно напевал Селии про «одно местечко в Йонкерсе», которое Счастливчик Бобби хотел показать своей возлюбленной. Но у Энтони получалось, будто речь идет об эрогенной зоне на женском теле, и Селия всячески ему подыгрывала. Этот момент был самым сексуальным во всей пьесе. Ни одна женщина с живым бьющимся сердцем не устояла бы. По крайней мере, я так думала.

Другие-то, конечно, считали звездой шоу Эдну Паркер Уотсон – и вряд ли ошибались. Даже я, охваченная любовной лихорадкой, понимала, что игра Эдны выше всяких похвал. Я бывала на многих театральных представлениях, но никогда раньше не видела в деле настоящую актрису. Все актрисы, которых я знала до сих пор, напоминали механических кукол с четырьмя-пятью меняющимися выражениями лица: грусть, страх, злость, любовь, счастье. Маски чередовались от начала спектакля и до конца. Но Эдна умела передать все оттенки человеческих эмоций. Она держалась естественно, живо, царственно и за час репетиций могла сыграть одну сцену в девяти разных манерах, и каждый раз – идеально.

А еще она не соревновалась с другими за место на сцене. Рядом с ней все казались талантливее; своим присутствием она как будто заставляла остальных играть лучше. Во время репетиций она часто отступала в тень и давала другим проявить себя, с улыбкой наблюдая за ними со стороны. Великие актрисы редко обладают такой широтой души. Помню, Селия однажды пришла на репетицию в накладных ресницах. Эдна отвела ее в сторонку и посоветовала не надевать их на сцене: они отбрасывают глубокие тени под глазами, отчего лицо превращается «в череп, моя дорогая, а мы ведь этого не хотим».

Более ревнивая звезда никогда не стала бы помогать сопернице. Но Эдна не ревновала.

Со временем миссис Алебастр в ее исполнении обрела гораздо больше психологических нюансов, чем было прописано в сценарии. Эдна наделила ее мудростью: ее миссис Алебастр понимала нелепость своей прежней богатой жизни, нелепость разорения и нелепость идеи притона в собственной гостиной. Но она смело пускалась в авантюру и подыгрывала

обстоятельствам. Жизнь сделала ее ироничной, но не циничной; она многое пережила, но не зачерствела.

Когда Эдна пела свое романтическое соло – простую балладу под названием «Не влюбиться ли мне», – все замирали в молчаливом благоговении. Не важно, сколько раз мы уже слышали пение Эдны; каждый бросал все дела ради ее номера. И дело было даже не в красивом голосе (в верхах Эдна иногда фальшивила); она наполняла песню таким пронзительным чувством, что любой невольно заслушивался.

В песне говорилось о женщине в годах, которая решает рискнуть и еще раз влюбиться вопреки доводам рассудка. Когда Билли писал слова, он не рассчитывал, что номер получится таким грустным. Изначально задумывался легкий, забавный пустячок: «Смотрите, какая прелесть! Даже старикам не чужда любовь!» Но Эдна попросила Бенджамина замедлить темп и сменить мажор на минор, и все преобразилось. Когда она пела последнюю строчку («Может, мне повезет? / Я не знаю исход. / Не влюбиться ли мне?»), становилось ясно, что эта женщина уже влюблена и назад дороги нет. Она боится уступить велению сердца, она потеряла контроль над собой. Но у нее остается надежда.

Каждый раз, когда Эдна пела эту песню на репетиции, в конце мы вставали и аплодировали.

– Она настоящее сокровище, Вивви, – шепнула мне как-то Пег за кулисами. – Клад, каких поискать. Никогда не забывай, насколько тебе повезло увидеть на сцене настоящего мастера.

Боюсь, самой серьезной проблемой стал Артур Уотсон.

Муж Эдны не умел ничего. Он не умел играть – не мог даже запомнить свои реплики! – и уж точно не умел петь. («Слушаю его пение и завидую глухим», –

поставил диагноз Билли.) Артур танцевал, как человек, который только вчера научился ходить. Перемещался по сцене с таким видом, будто боялся наткнуться на что-нибудь. Я удивлялась, как он умудрился не отпилить себе руку в бытность плотником. Одного у Артура было не отнять: во фраке и цилиндре он выглядел сногшибательно. Но больше мне нечего сказать в его защиту.

Когда стало ясно, что с ролью Артур не справится, Билли сократил его реплики до самого минимума, чтобы бедняге было проще с ними управиться. (Например, изначальную первую фразу: «Я троюродный кузен вашего покойного мужа, Барчестер Хедли Вентворт, пятый граф Аддингтон» – Билли сократил до слов: «Я ваш кузен из Англии».) Он также убрал из сценария сольный номер Артура. И даже выкинул танец, который Артур с Эдной должны были исполнять в сцене «соблазнения».

– Эти двое танцуют так, будто видят друг друга впервые, – заявил Билли Пег, прежде чем окончательно отказаться от их танца. – Они точно муж и жена?

Эдна пыталась выручить мужа, но тот плохо воспринимал критику и обижался, если ему подсказывали, как вести себя на сцене.

– Я тебя никогда не понимал, дорогая, и никогда не пойму! – однажды выпалил он в гневе, когда жена в десятый раз объясняла ему разницу между правой и левой сторонами сцены.

Но больше всего нас донимала привычка Артура насвистывать в тон музыке из оркестровой ямы, причем даже на сцене, когда он якобы был в образе. Никому не удавалось отучить его свистеть.

Однажды Билли не выдержал и заорал:

– Артур! Твой герой не слышит музыку! Это увертюра! Она для зрителей!

– Что значит – не слышит? – возмутился Артур. – Вот же музыканты, прямо у меня перед носом!

В ответ на его реплику Билли разразился злобной тирадой по поводу диагетической музыки (которую слышат герои на сцене) и недиагетической (которую слышат только зрители).

– Говори по-английски! – потребовал Артур.

Билли попробовал объяснить иначе:

– Артур, представь, что ты смотришь вестерн с Джоном Уэйном. Джон Уэйн едет на лошади по прерии и вдруг начинает насвистывать в тон музыке за кадром. Ты понимаешь, какой это абсурд?

– Уже и посвистеть нельзя, дожили, – насупился Артур.

А потом я услышала, как он спрашивает одну из танцовщиц: «Что такое прерия?»

Помню, я смотрела на Эдну и Артура Уотсона и пыталась понять, как она его терпит.

Я могла найти этому лишь одно возможное объяснение: Эдна очень любила красоту и красивые вещи. А Артур был настоящим красавцем – этакий Аполлон, если бы тот работал мясником в соседней лавке. Если рассуждать с этой точки зрения, все вставало на свои места, ведь Эдна ценила красоту превыше всего. Я ни разу не встречала человека, который бы так заботился об эстетическом облике вещей. И я ни разу не видела Эдну иначе как при полном параде, а ведь она попадалась мне на глаза в самое разное время дня и ночи. Чтобы выглядеть безупречно даже за завтраком или в спальне наедине с собой, нужно много труда, а главное, желание, и Эдна не пожалела бы и нескольких часов ради идеального результата.

У Эдны все было красивым. Тюбики и баночки с косметикой. Маленький шелковый кошелек на шнурке, где она хранила мелочь. Ее пение и игра. Манера складывать перчатки. Эдна ценила красоту во всех ее проявлениях, и сама была ее источником.

Мне даже кажется, что именно из-за нашей с Селией красоты Эдне так нравилось с нами общаться. Она не завидовала нам, чего не избежали бы многие женщины на ее месте. Скорее, ей казалось, что наша красота идеально оттеняет ее саму и заставляет сиять ярче. Помню, однажды мы втроем шли по улице; Эдна шагала в середине. Вдруг она подхватила нас под руки, улыбнулась и заявила:

– Когда я рядом с вами, такими высокими и красивыми, то чувствую себя безупречной жемчужиной в оправе из двух сверкающих рубинов.

За неделю до премьеры вся труппа заболела. Мы подхватили один и тот же вирус, а половина девочек из хора – еще и конъюнктивит, потому что пользовались одной тушью на всех. (Другая половина заразилась мандавошками, меняясь шортиками от костюмов, хотя я сто раз их предупреждала.) Пег решила дать артистам выходной, но Билли даже слышать ничего не хотел. Ему казалось, что первые десять минут спектакля затянуты и зрители могут заскучать.

– Нужно сразу завлечь их, ребята, а времени у нас не так уж много, – говорил он артистам, когда те репетировали первую сцену. – Кому нужен хороший второй акт, если первый мы провалим. Зрители просто не вернутся после антракта, если им не понравится начало шоу.

– Ребята устали, Билли, – сказала Пег.

Они и правда устали: помимо репетиций, большинство наших артистов отыгрывали по два

спектакля в день. Несмотря на скорую премьеру, театр работал в обычном режиме.

– Комедия – это тяжкий труд, – заметил Билли. – Играть легкие пьесы сложнее всего. И сейчас не время расслабляться.

Он заставил артистов повторить первый номер еще три раза. Каждый раз они играли все хуже и ошибались все чаще. Хор еще кое-как держался, но некоторые девушки, судя по всему, уже пожалели, что нанялись к нам в труппу.

За время подготовки шоу театр превратился в форменный свинарник. Повсюду стояли раскладные стулья, висел сигаретный дым, валялись бумажные стаканчики с недопитым кофе. Бернадетт старалась поддерживать порядок, но стоило ей прибраться, как горы мусора опять вырастали словно сами собой. Вонь и шум стояли невыносимые. Все раздражались, все срывались друг на друге. Блеск театральной богемы померк. Даже самые красивые наши артистки выглядели опухшими и усталыми в тюрбанах из полотенец и сеточках для волос, с обветренными от простуды губами и щеками.

Как-то раз в дождливый день Билли выбежал за едой и вернулся промокший до нитки. В бумажных пакетах с бутербродами хлюпала вода.

– Господи, как же я ненавижу Нью-Йорк, – пробормотал он, стряхивая с себя ледяные капли.

– Чисто из любопытства, Билли, – поинтересовалась Эдна, – а что бы ты сейчас делал, будь ты в Голливуде?

– Что у нас сегодня, вторник? – Билли задумался, взглянул на часы, вздохнул и ответил: – Играл бы в теннис с Долорес дель Рио.

– Эй, а вы мне сигарет купили? – подскочил Энтони, в то время как Артур Уотсон взял бутерброд, приподнял верхний слой и недовольно спросил:

– Где моя горчица?

Мне показалось, что Билли сейчас прикончит обоих.

Пег начала выпивать даже днем – втихую и понемногу. Я заметила, что она носит с собой фляжку и часто к ней прикладывается. Признаться, это встревожило даже меня, несмотря на мое беспечное тогдашнее отношение к алкоголю. Появились и новые нехорошие признаки: пару-тройку раз в неделю Пег по вечерам отключалась прямо в гостиной среди бутылок, так и не добравшись до постели.

Но хуже всего, что под действием алкоголя тетя Пег не расслаблялась, а напрягалась еще больше. Как-то раз посреди репетиции она застала нас с Энтони за кулисами – мы целовались. Впервые за время нашего знакомства Пег мне нагрубила:

– Вивиан, черт тебя дери, ты способна хоть на десять минут оторваться от моего солиста?

Честный ответ? Нет. Не способна. Но раньше Пег никогда не разговаривала со мной в таком тоне, и я обиделась.

А потом случился казус с билетами.

Пег и Билли захотели заказать новые билеты для «Лили» и напечатать на них новую цену. Предполагалось сделать их яркими, красочными и большими, и с набранным крупными буквами названием спектакля – «Город женщин». Оливия же настаивала на использовании старых рулонов с лаконичными надписями «входной билет». А еще она возражала против повышения цены. Пег уперлась и заявила:

– Нельзя брать одни и те же деньги за дурацкие пьески с канканом и спектакль с Эдной Паркер Уотсон.

Но Оливия стояла на своем:

– Нашей публике не по карману четырехдолларовые билеты в партер, а нам не по карману печать новых билетов.

Пег:

- Нет четырех долларов на билет в партер, пусть покупают за три на балкон.

- Трех долларов у наших зрителей тоже нет.

- Тогда, может, нам и не нужны такие зрители? Привлечем другую публику, Оливия. Классом повыше. Хоть на один сезон.

- Мы работаем не для аристократов, Пег, а для простого люда, - или ты уже забыла?

- А ты не задумывалась, Оливия, что простому люду из нашего квартала тоже хочется в кои-то веки попасть на хороший спектакль? Может, им не по душе, что к ним относятся как к примитивным нищebroдам. И хоть раз в жизни они готовы заплатить чуть больше ради качественного зрелища. Такое не приходило тебе в голову?

Спор продолжался несколько дней, но в итоге разразилась гроза. Оливия ворвалась на репетицию и прервала Пег на полуслове - та объясняла танцовщице, где ей встать.

- Я была в типографии, - заявила Оливия. - Печать пяти тысяч билетов обойдется нам в двести пятьдесят долларов. Я не собираюсь за это платить.

Пег развернулась на каблуках и рывкнула:

- Будь ты неладна, Оливия! Сколько я тебе должна заплатить, чтобы ты наконец заткнулась и перестала считать гребаную мелочь?

В зале воцарилась тишина. Все замерли ровно на тех местах, где стояли.

Может, Анджела, ты еще застала времена, когда слово «гребаный» обладало мощным воздействием - прежде чем все подряд, включая детей, начали его произносить раз по десять на дню еще до завтрака. А тогда это слово считалось очень грубым. Чтобы так выражалась почтенная леди? Немыслимо. Даже Селия воздерживалась от подобных слов. Даже Билли так не

выражался. (Правда, я иногда употребляла такие слова, но только в постели брата Энтони, где нас никто не слышал, и только потому, что Энтони заставлял меня «называть вещи своими именами», – и я по-прежнему краснела до ушей.)

Но чтобы заорать во всеуслышание?

Такого я в жизни не видела.

У меня в голове даже мелькнул вопрос, откуда моей милой старой тетушке известны такие слова. Но потом я вспомнила, что та ухаживала за ранеными на передовой, где еще и не такое услышишь.

Оливия так и застыла с типографским счетом в руке. Вид у нее был такой, будто ей влепили пощечину, и мне было больно смотреть на нее в таком состоянии, ведь я привыкла видеть ее раздающей команды. Она прикрыла рот другой рукой, в глазах блеснули слезы.

Пег тут же стало стыдно.

– Оливия, прости! Прости меня. Сгоряча вырвалось. Я просто ослица, вот я кто.

Она шагнула к подруге, но Оливия замотала головой и бросилась за кулисы. Пег побежала за ней. Мы пораженно переглядывались. Казалось, сам воздух в зале сгустился.

Само собой, первой пришла в себя Эдна – возможно, она и удивилась меньше всех.

– Билли, предлагаю танцорам повторить номер с начала, – твердо произнесла она. – Ты поняла, где встать, Руби?

Маленькая танцовщица робко кивнула.

– С начала? – неуверенно переспросил Билли. Он совсем растерялся. Таким я его еще не видела.

– Именно, – ответила Эдна с обычной своей невозмутимостью. – С самого начала. И пожалуйста, Билли, напомни артистам быть повнимательнее и сосредоточиться на своих ролях. Тогда все получится идеально. Не забывайте, у нас тут комедия. Я понимаю,

все устали, но мы справимся. Сами видите, друзья мои, комедия – это тяжкий труд.

Я благополучно забыла бы тот случай с билетами, если бы не одно «но».

Тем вечером я, как обычно, отправилась к Энтони, предвкушая очередную порцию сексуальных утех. Но его брат Лоренцо вернулся с работы непростительно рано – уже в полночь, – и я поплелась назад в «Лили», немало раздосадованная и разочарованная тем, что меня выставили за дверь. Энтони даже не вызвался проводить меня до дома – хотя что с него возьмешь. Выдающихся достоинств у этого парня было хоть отбавляй, но галантность не входила в их число.

Ладно, допустим, по-настоящему выдающимся было только одно его достоинство.

Так или иначе домой я вернулась в расстроенных чувствах, погруженная в свои мысли, и к тому же обнаружилось, что блузку я надела наизнанку. Поднимаясь по лестнице на третий этаж, я услышала музыку. Бенджамин сидел за пианино. Он играл «Звездную пыль»^[27], но медленнее, чем ее исполнял Нэт Кинг Коул; у Бенджамина получилось печальнее и трогательнее. Даже тогда эта песня считалась старой и сентиментальной, и все же она мне очень нравилась. Я осторожно, чтобы не помешать, открыла дверь в гостиную. Горела лишь маленькая лампа над пианино. Бенджамин играл тихо, едва касаясь пальцами клавиш.

В центре неосвещенной гостиной я увидела Пег и Оливию. Они танцевали. Это был медленный танец – скорее, они даже просто обнимались и покачивались под музыку. Оливия положила голову Пег на грудь, а Пег прижималась щекой к затылку Оливии. Глаза у обеих были закрыты. Они цеплялись друг за друга, как утопающий за спасательный круг. В тот момент они

находились в своем мире – в другом времени, в другой истории, в общих воспоминаниях, связавших обеих единой нитью в этих крепких объятиях. Они были вместе – но не здесь.

Я смотрела на них, не в силах шевельнуться, не в силах осмыслить увиденное – и в то же время не в силах его не понять.

Через некоторое время Бенджамин оглянулся на дверь и заметил меня. Не знаю, как он почуял мое присутствие. Он не перестал играть, не изменился в лице, но теперь смотрел прямо на меня. Я тоже смотрела на него – вероятно, ждала объяснений или подсказок, как поступить, но их не последовало. Взгляд Бенджамина пригвоздил меня к порогу, словно предупреждая: «Дальше ни шагу».

Я боялась пошевелиться, боялась вздохнуть, выдав Пег и Оливии свое присутствие. Мне не хотелось смущать их и не хотелось ставить себя в неловкое положение. Но когда песня приблизилась к финалу, выбора не осталось: если я сейчас же не ускользну, меня заметят.

И я попятилась и тихонько закрыла за собой дверь под немигающим взглядом Бенджамина, словно выталкивающим меня наружу – чтобы я благополучно испарилась, прежде чем прозвучит последний печальный аккорд.

Следующие два часа я просидела в круглосуточном кафе на Таймс-сквер, гадая, когда можно будет вернуться домой. Больше мне было некуда деваться. Пойти к Энтони я не могла и по-прежнему ощущала на себе настойчивый взгляд Бенджамина, предупреждающий, что сейчас пересекать порог нельзя.

Я никогда не оставалась одна в Нью-Йорке в такой поздний час и, к своему стыду, испугалась. Мне было неуютно без моих привычных проводников – Селии, Энтони и Пег. Видишь ли, тогда я еще не стала жителем Нью-Йорка. Я была туристкой. Настоящим нью-йоркцем не станешь, пока не научишься ориентироваться в городе без посторонней помощи.

Поэтому я пошла в самое освещенное место, которое нашлось поблизости, и села за столик. Усталая старая официантка подливала мне кофе, не ропща и не задавая лишних вопросов. В кабинке слева ссорились матрос и его девушка. Оба были пьяны. Спор крутился вокруг некой Мириам. Девушка относилась к ней с крайним подозрением; матрос же защищал Мириам. Оба приводили довольно убедительные аргументы. Мне хотелось поверить то матросу, то его подруге, да и нелишне было бы все-таки взглянуть на эту Мириам, прежде чем выносить вердикт о виновности моряка перед его девушкой.

Неужели Пег и Оливия лесбиянки?

Быть такого не может. Ведь Пег замужем. А Оливия... бог ты мой, это же Оливия. Самое бесполое существо на свете. Насквозь пропахшее нафталином. Но с какой еще стати двум немолодым женщинам так крепко обниматься в темноте, пока Бенджамин играет для них самую грустную любовную песню в мире?

Да, в тот день они поссорились, но разве так люди мирятся со своими секретаршами? Хоть я и не слишком разбиралась в деловых отношениях, ясно же, что эти объятия были далеки от деловых. Как и от дружеских. Я сама каждую ночь спала в одной кровати с женщиной, и не какой-нибудь, а одной из красивейших женщин Нью-Йорка, – но мы с ней ни разу так не обнимались.

А если они все-таки лесбиянки, то с каких времен? Оливия работала на Пег с Первой мировой войны. Она познакомилась с Пег раньше, чем с Билли. Они всегда

были любовницами или стали ими только сейчас? И кто в курсе их отношений? Знает ли Эдна? А мои родители? А Билли?

Бенджамин точно знает. Во время той сцены его смущало лишь одно: мое присутствие. И часто ли он играет для них на пианино, чтобы они вот так потанцевали? Что на самом деле творится в этом театре за закрытыми дверями? Не потому ли Билли и Оливия так недолюбливают друг друга? Быть может, на самом деле вопрос не в деньгах, выпивке и власти, а в сексе? (Память услужливо подкинула реплику, которую Билли бросил Оливии на прослушиваниях: «Было бы странно, если бы наши вкусы на женщин всегда совпадали».) Неужели Оливия Томпсон – с ее бесформенными шерстяными костюмами, воинствующим ханжеством и сжатым в ниточку ртом – на самом деле соперница Билли Бьюэлла?

Разве могут у Билли Бьюэлла быть соперники?

Я вспомнила, как Эдна сказала про Пег: «Сейчас ей больше нужна верность, чем развеселая жизнь».

Что ж, Оливия верна как никто, тут не поспоришь. И развеселой жизни рядом с ней можно не опасаться.

Но я все равно не понимала, что все это значит.

Домой я вернулась в полтретьего ночи.

Заглянула в гостиную, но там никого не оказалось. Свет не горел. Будто ничего и не было – но я все еще видела тень двух женщин, в обнимку танцующих посреди гостиной.

Я легла спать, а через несколько часов меня разбудило знакомое тепло пропахшего алкоголем тела Селии, привычно плюхнувшейся рядом со мной на матрас.

– Селия, – прошептала я, когда она улеглась, – можно вопрос?

– Я сплю, – пробормотала она, еле ворочая языком.

Я принялась пихать ее и трясти, пока она не застонала и не перевернулась.

– Селия, послушай, – сказала я уже громче. – Это важно. Проснись. Скажи, тетя Пег лесбиянка?

– А собака лает? – ответила Селия и через секунду уже сопела во сне.

Глава шестнадцатая

Из рецензии Брукса Аткинсона на «Город женщин» в «Нью-Йорк таймс» от 30 ноября 1940 года:

Несмотря на полное неправдоподобие, пьеса определенно не лишена обаяния. Сюжет динамичен и богат на изящные повороты, все актеры играют превосходно почти в равной мере... Но величайшим достоинством «Города женщин» является редкая возможность увидеть на сцене Эдну Паркер Уотсон. Прославленная британская актриса, обычно блистающая в трагических ролях, продемонстрировала незаурядный комический дар. Невероятно интересно наблюдать, как миссис Уотсон искусно высвечивает абсурдные ситуации, в которых то и дело оказывается ее персонаж. Ее уморительно забавная и щедрая на тонкие нюансы игра превращает эту непритязательную комедию в чистую радость театра.

Накануне премьеры у нас тряслись поджилки, и все чуть не перессорились между собой.

Билли собирался позвать на спектакль старых друзей и светских сплетников, колумнистов и бывших любовниц, а также всех журналистов, критиков и газетчиков, которых знал по их статьям или лично. (А знал он абсолютно всех.) Пег с Оливией категорически воспротивились.

– Не уверена, готовы ли мы к такой публике, – сказала Пег, точь-в-точь как домохозяйка, которая с

ужасом узнает, что муж пригласил на ужин начальника и ей необходимо в кратчайшие сроки накрыть идеальный стол.

– Значит, надо подготовиться, – ответил Билли. – Премьера через неделю.

– Мне в этом театре критики не нужны, – отрезала Оливия. – Терпеть не могу критиков. Они иногда такие безжалостные.

– А ты сама веришь в наше шоу? – спросил Билли. – Оно тебе хотя бы нравится?

– Нет, – отвечала Оливия. – Ну разве что местами.

– Знаю, что пожалею о своем вопросе, но не могу удержаться: и какими же именно местами?

Оливия глубоко задумалась.

– Пожалуй, мне нравится увертюра.

Билли закатил глаза:

– Ты прямо-таки ходячая напасть, Оливия. – Он повернулся к Пег: – Придется рискнуть, солнышко. О пьесе должны говорить. И я не допущу, чтобы на премьере единственной знаменитостью в зале был я сам.

– Дай хотя бы неделю разыгаться, – взмолилась Пег.

– Не поможет, Пег. Если шоу удачное, оно останется таковым и через неделю, сколько ни разыгрывайся. Предлагаю сразу узнать, зря мы потратили деньги и время или все-таки не зря. В зале должны сидеть большие шишки, иначе дело не выгорит. Если спектакль им понравится, они расскажут друзьям, те придут посмотреть и расскажут своим друзьям, и дальше все покатится как снежный ком. Раз уж Оливия не разрешила мне потратиться на рекламу, пусть о премьере гавкает каждая собака. Чем раньше мы добьемся аншлагов, тем скорее Оливия перестанет смотреть на меня волком, – но аншлагов нам не видать, пока народ о нас вообще не знает.

– По-моему, это вульгарно – приглашать друзей на собственный спектакль и ожидать от них бесплатной рекламы, – проворчала Оливия.

– А как иначе оповестить публику о нашей премьере, Оливия? Или ты предлагаешь мне раздавать листовки на углу?

Судя по лицу Оливии, этот вариант ее больше устраивал.

– Главное, чтобы на листовках не было надписи «Грядет конец света», – пробормотала Пег, которая, похоже, не очень-то и шутила.

– Пегси, – возмутился Билли, – где твоя уверенность? Мы им всем покажем. И ты это знаешь. Знаешь, что мы поставили хорошее шоу. Нутром чуешь, как и я.

Но Пег по-прежнему сомневалась.

– Сколько лет ты мне твердил, что должна «чуять нутром», но обычно я чую только одно: у меня сосет под ложечкой, как бывает, когда потеряешь кошелек.

– Скоро я набью твой кошелек деньгами до отказа, – пообещал Билли. – А ты смотри и наслаждайся.

Из рецензии Хейвуда Брауна в «Нью-Йорк пост»:

Эдна Паркер Уотсон давно служит украшением британской театральной сцены, но после «Города женщин» остается лишь сожалеть, что эта актриса не перебралась на наши берега раньше. Ее стараниями незамысловатая комическая пьеска превратилась в спектакль, который надолго запомнится театралам... Она играет обедневшую аристократку, вынужденную открыть бордель, чтобы содержать семейный особняк... Чистый восторг вызывают и песни Бенджамина Уилсона, и блестящая танцевальная труппа... Новичок Энтони Рочелла великолепен в роли уличного Ромео, а гипнотическая чувственность Селии Рэй придает спектаклю пряную эротическую ноту.

За несколько дней до премьеры Билли пошел вразнос и начал сорить деньгами – еще безумнее обычного. Он пригласил для артистов двух норвежских массажисток. Пег пришла в ужас от такой расточительности, но Билли заявил: «В Голливуде так принято. Массаж успокаивает нервы». Он позвал в «Лили» врача, который сделал всем витаминные уколы. Велел Бернадетт привести своих кузин и тетушек с детьми и племянниками, чтобы вычистить театр до блеска. Нанял местных ребят полить из шлангов фасад «Лили»; заменил все лампочки и светофильтры на прожекторах.

На генеральную репетицию Билли заказал угощение от Тутса Шора: икру, копченую рыбу и канапе. Нанял фотографа, чтобы тот сделал рекламные снимки актеров в костюмах. Велел расставить в фойе огромные букеты орхидей, которые, вероятно, обошлись не дешевле моего обучения в колледже (хотя пользы принесли наверняка больше). Пригласил для Эдны и Селии косметолога, маникюршу и гримершу.

В день премьеры Билли созвал юнцов и безработных из нашего квартала, выдал им по пятьдесят центов (неплохой заработок для тех времен, для детей уж точно) и велел ошиваться у театра, создавая шумиху и суету. А самому горластому пареньку приказал кричать: «Билетов нет! Билетов нет! Все билеты распроданы!»

А вечером накануне спектакля Билли неожиданно вручил Эдне, Пег и Оливии подарки – на удачу. Эдне достался тоненький золотой браслет от Картье, как раз в ее стиле. Пег – изысканное новое кожаное портмоне от Марка Кросса.

– Вот увидишь, Пегси, новый кошелек тебе скоро пригодится, – подмигнул ей Билли. – Когда мы подсчитаем выручку за билеты, твой старый лопнет по швам.

Что касается Оливии, ей Билли торжественно вручил упакованную во множество слоев оберточной бумаги и украшенную бантиками подарочную коробку. Когда Оливия наконец добралась до ее содержимого, внутри оказалась бутылка джина.

– Твоя личная заправка для анестезии, – пояснил Билли. – Чтобы не умереть со скуки и высидеть премьеру пьесы, которая так тебе ненавистна.

Из рецензии Дуайта Миллера в «Нью-Йорк уорлд телеграм»:

Пусть театралы не обращают внимания на потертые и продавленные кресла театра «Лили»; на штукатурку, которая запросто может сорваться с потолка и приземлиться на голову зрителям, когда танцоры на сцене особенно громко топнут; на безвкусные декорации и тусклые прожектора. Да, вы просто обязаны забыть про все эти неудобства и стремглав бежать на Девятую авеню, чтобы увидеть Эдну Паркер Уотсон в «Городе женщин»!

Когда зрители начали рассаживаться, вся труппа в полном облачении и в гриме столпилась за кулисами, прислушиваясь к приятному гулу полного зала.

– Соберитесь в круг, – велел Билли, – ваш час настал.

Артисты окружили его неплотным кольцом. Все были как на иголках. Я стояла рядом с Энтони, гордясь им как никогда, и держала его за руку. Он крепко поцеловал меня, потом отпустил мою руку, перекатился с пяток на мыски и несколько раз ткнул в воздух сжатыми кулаками, как боксер перед выходом на ринг.

Билли достал из кармана фляжку, хорошенько приложился к ней и передал Пег. Та тоже сделала большой глоток.

– Я не мастер говорить речи, – начал Билли. – Цветистые фразы – не мое, и мне не нравится быть в

центре внимания. – Артисты рассмеялись. – Но вот что я вам скажу, народ: в рекордно короткие сроки и при почти полном отсутствии бюджета у вас получилось отличное шоу. Ни на Бродвее, ни тем более в Лондоне не найдется спектакля, который переплюнет тот, что мы сегодня покажем нашей почтенной публике.

– Вряд ли в Лондоне сейчас что-нибудь показывают, дорогой, – сухо поправила его Эдна. – Разве что военную хронику...

Артисты снова заулыбались.

– Спасибо, Эдна, – кивнул Билли. – Ты напомнила мне, о чем я хотел сказать. Слушайте меня внимательно: если на сцене вы занервничаете или растеряетесь, смотрите на Эдну. Отныне она ваш командир, и с ней вы в хороших руках. Эдна – самый высокий профессионал, с которым вы имеете честь разделить сцену. Эту женщину ничем не смутить. Смотрите на нее и учитесь. Заряжайтесь ее спокойствием и уверенностью. Помните: зрители готовы простить артисту что угодно, кроме растерянности. Забыли слова? Несите любую чушь, а Эдна найдет способ выйти из положения. Доверьтесь ей – она работает на сцене со времен испанской инквизиции, правда же, Эдна?

– И даже раньше, – с улыбкой кивнула она.

Эдна выглядела восхитительно в лиловом наряде от «Ланвин», который мы отыскиали у Луцких. Я потратила кучу времени и сил, чтобы подогнать платье под нее, и ужасно гордилась своими костюмами для Эдны. Загримировали ее тоже прекрасно (ну еще бы). Она по-прежнему была собой, но стала более яркой и царственной. С блестящими, аккуратно подстриженными черными волосами и в роскошном лиловом платье она напоминала китайскую лаковую статуэтку – безупречную, изысканную и драгоценную.

- И еще кое-что, прежде чем я передам слово нашему несравненному режиссеру, - продолжил Билли. - Помните: зрители, которые пришли сегодня в театр, не хотят вас возненавидеть. Они хотят полюбить вас. Мы с Пег за минувшие годы поставили тысячи спектаклей для самой разной аудитории, и я разбираюсь в желаниях зрителей. Они хотят влюбиться. И вот вам совет от старого ловеласа: полюбите их первыми, и они не смогут удержаться от ответных чувств. Так что идите и покажите им свою любовь.

Билли помолчал, смахнул слезу, а потом заговорил снова.

- А теперь слушайте, - сказал он. - Я перестал верить в Бога в Первую мировую, да и вы бы тоже перестали, если бы повидали с мое. Но иногда у меня случаются рецидивы - обычно когда я выпью или расчувствуюсь, а сейчас я и пьян, и расчувствовался, - так что простите меня, друзья мои, но давайте возьмемся за руки и помолимся.

Невероятно, но Билли говорил серьезно.

Мы склонили головы. Энтони снова взял меня за руку, и меня пробрала дрожь, как от любого его прикосновения, даже случайного. Кто-то взял меня за другую руку и сжал ее, и я узнала ладонь Селии.

Это был самый счастливый миг за всю мою жизнь.

- Дорогой Бог, кем бы ты ни был, - начал Билли, - прошу, благослови этих скромных артистов. Благослови этот старый несчастный театр. Благослови бездельников, что сидят сейчас в зале, и заставь их нас полюбить. Благослови наше никчемное маленькое шоу. В нашем жестоком и беспощадном мире оно не имеет никакого смысла, но мы все равно его покажем. Пусть наши усилия будут не напрасными. Мы просим твоего благословения - кем бы ты ни был, верим мы в тебя или нет (а большинство из нас не верит). Аминь.

- Аминь, - хором повторили мы.

Билли еще раз глотнул из фляжки и спросил:

– Хочешь что-нибудь добавить, Пег?

Моя тетя улыбнулась. В тот момент она выглядела лет на двадцать.

– Валите-ка на сцену, ребятки, – сказала она, – и порвите зал в клочья.

Из рецензии Уолтера Уинчелла в «Нью-Йорк дейли миррор»:

Где бы ни выступала Эдна Паркер Уотсон и в каком бы спектакле ни играла – я готов смотреть на нее вечно. Она на голову выше любой другой артистки, считающей себя звездой. Уотсон выглядит по-королевски, но может задать жару. «Город женщин» – настоящий шедевр абсурда, друзья мои, и это комплимент, уж поверьте... А Селия Рэй? Позор тому, кто столько лет прятал от нас это восхитительное создание. Вряд ли вы рискнете оставить с ней наедине супруга или возлюбленного, но не это ли высшая похвала для старлетки?.. Однако не волнуйтесь, дамочки, там найдется лакомый кусочек и для вас: я уже слышу, как вся женская половина публики вздыхает по Энтони Рочелле, которому прямая дорога в Голливуд... Дональд Герберт безумно забавен в роли слепого карманника – лучшая метафора для иных нынешних политиков!.. Что до Артура Уотсона, тот слишком молод для своей жены, а она слишком для него хороша. Видимо, в этом секрет их семейного счастья. Но если в жизни он такой же чурбан, как и на сцене, мне жаль его прекрасную женушку!

Первой сорвала овации Эдна.

Акт 1, сцена 1: миссис Алебастр пьет чай с дамами из высшего общества. За обычной светской болтовней она невзначай сообщает, что ее муж вчера пострадал в автокатастрофе. Дамы в ужасе ахают, и одна спрашивает:

– Насколько серьезно?

– Я всегда говорю совершенно серьезно, – отвечает миссис Алебастр.

Следует долгая пауза. Дамы растерянно смотрят на нее. Миссис Алебастр размешивает чай ложечкой, оттопырив мизинец. А потом невинно уточняет:

– Ах, вы о его состоянии? Тогда насмерть.

Зал взорвался хохотом.

За кулисами Билли сжал тетину руку и произнес:

– Они наши, Пегси.

Из рецензии Томаса Лессига в «Морнинг телеграф»:

Взгляды мужской части аудитории, безусловно, будут прикованы к сексапильной Селии Рэй, но искушенные театралы не смогут оторвать глаз от Эдны Паркер Уотсон – звезды мирового уровня, чья слава наконец докатилась и до Америки.

Тот же акт 1, но чуть позже: Счастливчик Бобби пытается уговорить миссис Алебастр заложить драгоценности и на полученные деньги открыть притон.

– Я не могу их продать! – восклицает она, прижимая к груди большие золотые часы на длинной цепочке. – Это мой подарок мужу!

– Теперь-то они ему вряд ли понадобятся, – замечает Бобби.

Эдна и Энтони перебрасывались репликами, словно теннисными мячиками, и не упустили ни одной подачи.

– Но отец учил меня никогда не лгать, не жульничать и не воровать! – говорит миссис Алебастр.

– Как и мой! – Счастливчик Бобби прижимает руки к сердцу, демонстрируя искренность: – Папаша говаривал, что главное для мужчины честь – разве что подвернется шанс сорвать куш, и вот тогда впору и брата облапошить, и сестру в бордель продать.

– Надеюсь, хотя бы в приличный бордель, – отвечает миссис Алебастр. (Знала бы ты, чего нам стоило уговорить Оливию не вырезать этот диалог!)

– Вот видите, леди, мы с вами мыслим одинаково! – заключает Бобби, и они запевают свой дуэт «Нам не указ закон, откроем мы притон».

Это был мой любимый момент во всем спектакле. В середине песни у Энтони было танцевальное соло – он исполнял чечетку, да так, что искры из-под каблуков летели. Я видела его хищную улыбку в луче прожекторов; он отплясывал с такой яростью, будто намеревался пробить в сцене дыру. А зрители – собранные в зале всеми правдами и неправдами сливки нью-йоркских театральных кругов – восторженно притоптывали в такт, точно уличные мальчишки. Сердце у меня готово было разорваться. Они обожали Энтони! Однако в глубине души, под радостью от его успеха, меня терзал страх: «Этот парень станет звездой, и я его потеряю».

Но когда сцена закончилась, Энтони помчался за кулисы в насквозь пропотевшем костюме, прижал меня к стенке и принялся целовать с бешеной страстью, и на мгновение мне удалось забыть свои страхи.

– Я лучше всех, – рычал он. – Ты видела меня, детка, ты видела? Я лучше всех! Со мной никто не сравнится!

– Да, Энтони, да! С тобой никто не сравнится! – визжала я, ведь что еще может ответить своему парню влюбленная по уши двадцатилетняя девчонка?

(Впрочем, справедливости ради скажу, Анджеला, что Энтони действительно был необычайно зажигательным.)

Потом настал черед Селии открыть душу, и она спела жалобную песенку о том, как хочет завести ребеночка, – но спела своим низким голосом с хрипотцой и грубоватым бронкским акцентом. Вот тут-то в зале не осталось ни одного равнодушного; все

попались в ее сети. Каким-то образом ей удалось одновременно выглядеть сексапильной и простодушной, а это нелегко. К концу ее номера зрители вопили и свистели, точно пьяницы в дешевом баре. Причем она завела не только мужчин: клянусь, я слышала в общем восторженном хоре и женские голоса.

В антракте зал и коридоры наполнились приятным мерным гулом: мужчины закуривали сигареты в фойе; женщины в атласных платьях теснились в дамской комнате. Билли велел мне слиться с толпой и послушать разговоры.

– Я бы и сам пошел, но меня слишком многие знают, – объяснил он. – Мне не нужно вежливое мнение; мне нужно честное. Добудь мне честное мнение.

– Но как? – спросила я.

– Если они обсуждают пьесу – хорошо. Если вспоминают, где припарковали машину, – плохо. Но в первую очередь ищи признаки гордости за себя. Когда зрителям нравится спектакль, они прямо-таки пыжятся от гордости, как будто сами поставили шоу, самовлюбленные ублюдки. Иди и посмотри, гордятся они собой или нет.

Я потолкалась среди публики, изучая счастливые, порозовевшие лица. Все здесь выглядели богатыми, откормленными и крайне довольными собой. И без конца говорили о пьесе – о божественных формах Селии, о прекрасной игре Эдны, о танцорах, о песнях. Даже повторяли друг другу шутки и снова смеялись над ними.

– Никогда не видела столько довольных собой людей, – доложила я Билли, вернувшись за кулисы.

– Отлично, – ответил тот. – Еще бы они не были довольны.

Перед началом второго акта он произнес еще одну речь – впрочем, на этот раз покороче:

– Теперь важно одно: с каким ощущением они уйдут. Если в середине второго акта вы перестанете стараться, зрители забудут, как любили вас в первом. Заслужите их любовь еще раз. Финал должен быть не просто хорошим; он должен быть грандиозным. Покажите им, ребята.

Акт 2, сцена 1: в особняк миссис Алебастр является законопослушный мэр, намереваясь закрыть нелегальное казино с борделем, о котором ему сообщили. Он маскируется под обычного игрока, но Счастличик Бобби узнает о его планах и предупреждает миссис Алебастр.

Девочки из борделя быстро надевают платья горничных поверх откровенных нарядов с блестками, крупные прикидываются дворецкими. Игровые столы накрывают кружевными скатертями, а посетители казино делают вид, будто зашли в особняк полюбоваться садом. Мистер Герберт, слепой воришка, любезно помогает мэру снять пальто и попутно вытаскивает у него кошелек. Миссис Алебастр приглашает мэра на чаепитие в зимний сад, незаметно пряча в корсет игральные фишки.

– Какой шикарный у вас дом, миссис Алебастр, – говорит мэр, исподтишка высматривая признаки незаконной деятельности. – Настоящий дворец. Ваша семья приплыла на «Мэйфлауэре»?

– Скажете тоже, – отвечает Эдна с безупречным британским выговором, элегантно обмахиваясь веером из игровых карт. – У моих предков всегда были свои корабли!

Ближе к концу шоу, когда Эдна запела свою пронзительную балладу «Не влюбиться ли мне», в зале наступила такая тишина, будто он опустел. А едва она завершила последнюю печальную ноту, зрители повскакали с мест и зааплодировали. Эдну четырежды вызывали на бис, прежде чем спектакль продолжился.

Мне и раньше приходилось слышать выражение «гвоздь программы», но лишь в тот вечер я поняла его истинное значение.

Эдна Паркер Уотсон действительно была таким гвоздем.

Когда же дошло до заключительного общего номера «Налей-ка нам двойную», я страшно разозлилась на Артура Уотсона: он пытался танцевать синхронно с остальными, но ничего у него не получалось. К счастью, аудитория, кажется, совсем не замечала его неуклюжести, а фальшивые ноты Артура заглушал оркестр. К тому же зрители хором подпевали и хлопали в такт припеву («Налей нам джина, / налей нам рома, / на свете нету / милей притона»). Их лица сияли чистейшим восторгом.

А потом все закончилось.

Занавес опустился и поднялся снова. Я устала считать, сколько раз артистов вызывали на бис. На сцену летели букеты. И наконец в зале зажегся свет, зрители расхватили свои пальто и испарились как дым.

Мы же в полном изнеможении выбрались на сцену и безмолвно застыли перед пустым залом, под сводами которого еще витали отзвуки аплодисментов, – так потрясены мы были собственным творением.

Из рецензии Николса Т. Флинта в «Нью-Йорк дейли ньюс»:

Драматург и режиссер Уильям Бьюэлл сделал умный ход, пригласив Эдну Паркер Уотсон на столь легкую роль. В этой беспечной, но остроумной пьеске миссис Уотсон берется за дело с присущим ей энтузиазмом и добивается успеха, подтягивая до своего уровня и остальных актеров. Лучшего спектакля и не придумаешь, особенно в наши мрачные времена. Скорее бегите смотреть «Город женщин» и отвлекитесь от всех

забот. Миссис Уотсон – яркий пример того, почему нужно чаще приглашать лондонских артистов в Нью-Йорк и всеми силами стараться удержать их здесь.

Остаток вечера мы просидели в «Сардис»^[28] в ожидании первых рецензий – и в процессе напились до полуобморока. Естественно, артисты «Лили» не привыкли ждать рецензий в «Сардис» – они вообще не привыкли ждать рецензий, раз на то пошло. Но сегодня случай был особенный.

– Главное – что скажут Аткинсон и Уинчелл, – наставлял нас Билли. – Если удастся зацепить и высоколобую прессу, и желтые газетенки – можно считать, дело в шляпе.

– Я даже не знаю, кто такой Аткинсон, – зевнула Селия.

– Зато, сладкая моя, он теперь знает, кто ты такая, это я гарантирую. Он глаз с тебя не спускал весь вечер.

– А он знаменит? У него деньги есть?

– Он газетчик. У газетчиков ни гроша за душой. Зато у них есть власть.

А дальше случилось нечто из ряда вон. К Билли подошла Оливия с двумя бокалами мартини и протянула один ему. Билли удивленно принял напиток и удивился еще больше, когда Оливия подняла свой бокал в знак признания.

– Ты недурственно справился с этим шоу, Уильям, – сказала она. – Весьма недурственно.

Билли расхохотался:

– «Весьма недурственно»? Из твоих уст, Оливия, это величайший комплимент!

Эдна присоединилась к нам с небольшим опозданием. На выходе из-за кулис ее окружила толпа поклонников; все хотели взять автограф. Она могла бы улизнуть от них, подняться наверх и подождать, пока толпа разойдется, но предпочла порадовать массы своим обществом. Затем она не иначе как приняла

ванну, потому что выглядела свежей, чистой и переоделась в голубой костюм, который наверняка стоил кучу денег (определить это мог лишь знаток, а я как раз была знатоком). Образ довершала небрежно перекинутая через плечо лисья горжетка. Ее сопровождал красавчик муж, этот идиот, который чуть не испортил нам финал своими неуклюжими копытцами. Он сиял, видимо воображая себя главной звездой вечера.

– Прославленная Эдна Паркер Уотсон! – воскликнул Билли, и мы поприветствовали Эдну аплодисментами.

– Осторожнее, Билли, – осадила его Эдна. – Мы еще не читали рецензий. Артур, дорогой, будь добр, принеси мне самый ледяной коктейль, что смешивают в этом заведении.

Артур ушел искать бар, а я невольно задумалась, хватит ли у него мозгов найти обратную дорогу.

– Благодаря тебе все получилось, Эдна, – сказала Пег.

– Это благодаря вам все получилось, дорогие мои. – Эдна взглянула на Билли и Пег. – Вы придумали и создали это шоу. А я всего лишь несчастная жертва войны, благодарная за ангажемент.

– Так и тянет напиться и забыться, – пробормотала Пег. – Ждать отзывов просто невыносимо. Как тебе удастся сохранять спокойствие, Эдна?

– А откуда ты знаешь, что я не напилась?

– Нет, сегодня мне надо держать себя в руках, – засомневалась Пег. – Или ладно, наплевать на все. Вивиан, дорогая, догони Артура и попроси его принести в три раза больше коктейлей, чем он изначально собирался.

«Если он вообще сумеет их сосчитать», – подумала я.

Подойдя к бару, я принялась махать рукой бармену, пытаюсь привлечь его внимание, и тут мужской голос

совсем рядом произнес:

– Мисс, позвольте вас угостить?

Я обернулась с кокетливой улыбкой и увидела своего брата Уолтера.

Узнала я его не сразу, поскольку было дико и непривычно видеть его здесь, в Нью-Йорке, – в моем мире, в окружении моих знакомых. К тому же меня обескуражило семейное сходство: мы с Уолтером были так похожи, что поначалу я решила, будто врезалась в зеркало.

Но какая нелегкая занесла его в Нью-Йорк?

– Кажется, ты не очень-то рада меня видеть, – с осторожной улыбкой заметил брат.

А я даже не знала, рада я или не рада. Я просто ужасно растерялась. Первым делом я решила, что у меня большие неприятности. Наверное, родители пронюхали о моем аморальном поведении и отправили за мной старшего братца, чтобы тот срочно вернул меня домой. Я даже глянула Уолтеру через плечо – вдруг там стоят мама с папой, и тогда мои веселые деньки в Нью-Йорке определенно подошли к концу.

– Ви, не дергайся ты так, – успокоил меня брат. – Я тут один. – Он словно прочел мои мысли. Что мне совсем не понравилось. – Заглянул посмотреть вашу пьеску. Отличный спектакль, кстати. Вы молодцы.

– Уолтер, но как ты вообще оказался в Нью-Йорке? – Я вдруг спохватилась, что платье у меня слишком открытое, а на шее – след от засоса, хоть уже и побледневший.

– Я бросил колледж, Ви.

– Ты бросил Принстон?!

– Ага.

– А папа знает?

– Да, Ви, знает.

Бессмыслица какая-то. Ведь это же я паршивая овца в семье, не Уолтер. А теперь он бросает Принстон? Мне

вдруг представилась картина, как Уолтер решает пуститься во все тяжкие – и после стольких лет идеального поведения отправляется в Нью-Йорк, чтобы вместе со мной предаться пьянству, разгулу и танцам до упаду в клубе «Аист». Может, это я его вдохновила?

– Я записался во флот, – сказал он.

А. Теперь все ясно.

– Через три недели начинается обучение в офицерской школе, Ви. И я буду проходить курс прямо здесь, в Нью-Йорке, чуть выше по реке, в Верхнем Вест-Сайде. На Гудзоне стоит списанный боевой крейсер, на котором проводят учения. Офицеров не хватает, берут всех, у кого есть хотя бы два года колледжа. Подготовка длится всего три месяца, Ви. Начну сразу после Рождества. После выпуска получу звание младшего лейтенанта. И уже весной отплываю – куда пошлют.

– Но что папа сказал о твоём уходе из Принстона? – не унималась я.

Голос у меня звучал странно и как-то сдавленно. Мне по-прежнему было очень неловко, но я старательно поддерживала беседу и делала вид, что все в порядке, как будто мы с Уолтером каждую неделю вот так запросто болтаем в «Сардис».

– Он в ужасе, вот что, – ответил Уолтер. – Но не ему выбирать за меня. Я уже совершеннолетний и способен принять решение самостоятельно. Я позвонил Пег и предупредил, что приезжаю. Она предложила пожить у нее пару недель до начала занятий в офицерской школе. Посмотреть Нью-Йорк. Посетить достопримечательности.

Уолтер будет жить в «Лили»? Мой брат? С нашей компанией дегенератов?

– Но тебе ведь необязательно идти во флот, – растерянno пробормотала я.

По моим представлениям, Андже́ла, матросами становились лишь неграмотные мальчишки, у которых не было других шансов продвинуться. Кажется, я слышала это от отца. Да, именно так он и говорил, слово в слово.

– Идет война, Ви, – сказал Уолтер. – Америка тоже будет воевать. Рано или поздно.

– Америка будет, но ты не обязан, – упрямо возразила я.

Брат посмотрел на меня, и в его взгляде читались непонимание и осуждение.

– Это моя страна, Ви. Естественно, я обязан.

С другого конца зала раздались ликующие возгласы. Разносчик газет принес первые выпуски.

Первые восторженные рецензии.

Свою любимую, Андже́ла, я приберегла напоследок.

Из рецензии Кита Ярдли в «Нью-Йорк сан» от 30 ноября 1940 года:

«Город женщин» стоит посмотреть ради одних лишь костюмов Эдны Паркер Уотсон – они безукоризненны от первого до последнего стежка.

Глава семнадцатая

«Город женщин» стал хитом.

Не прошло и недели, как нам пришлось разворачивать желающих у дверей. Мы больше никого не зазывали – народу и так было слишком много. К Рождеству вложения Пег и Билли окупились, а дальше деньги потекли рекой – по крайней мере, так утверждал Билли.

Ты, верно, решишь, что после успеха пьесы напряжение между Пег, Оливией и Билли спало, но нет. Несмотря на хвалебные отзывы, несмотря на

ежевечерний абсолютный аншлаг, Оливия продолжала беспокоиться о деньгах. Она позволила себе порадоваться в вечер премьеры, но на следующее утро снова стала собой.

Главной причиной ее беспокойства, о которой она не уставала напоминать нам каждый день, была скоротечность успеха. Сейчас все прекрасно, пьеса приносит доход, но что будет с театром в конце сезона? Мы потеряли свою аудиторию. Много лет мы ставили незатейливые пьески для рабочего люда, но отпугнули прежних зрителей высокими ценами на билеты и комедией с участием звезды мирового уровня – откуда нам знать, что публика нас не бросит, когда мы снова начнем работать, как раньше? В том, что все вернется на круги своя, у Оливии не было никаких сомнений. Билли не останется в Нью-Йорке навсегда. Он и не обещал сделаться нашим штатным сценаристом и сочинять одно хитовое шоу за другим. Эдну вскоре наверняка переманит театр рангом повыше, а без нее «Город женщин» не имеет смысла. Глупо рассчитывать, что профессионал ранга Эдны будет век прозябать в нашем разваливающемся театрике. А платить гонорары другим актерам такого же уровня мы просто не сможем. Все наше нынешнее изобилие держится на таланте одной актрисы, а это очень зыбкая основа для бизнеса.

Оливия продолжала твердить одно и то же день за днем. Расписывала мрачные перспективы. Предрекала скорый конец. Наша доморощенная Кассандра неустанно напоминала, что неминуемый крах не за горами, пусть сейчас победа и кружит нам голову.

– Осторожно, Оливия, – отшучивался Билли, – ни в коем случае не вздумай наслаждаться своей удачей! Ни минуточки! И другим не позволяй.

Но даже я понимала, что в одном Оливия права: своим успехом мы обязаны единственному человеку – Эдне, которая продолжала нас изумлять. Каждый вечер

я смотрела спектакль, и каждый вечер она привносила в роль новые краски. Некоторые актеры, ухватив суть персонажа, начинают топтаться на месте, повторять одни и те же слова и реакции. Но миссис Алебастр всякий раз была разной. Эдна не пересказывала заученные реплики, она словно придумывала их заново – по крайней мере, так выглядело со стороны. А поскольку ее игра и настроение постоянно менялись, то и другим актерам приходилось держать ухо востро и вовремя подстраиваться.

И Нью-Йорк щедро платил Эдне за ее талант.

Она играла на сцене давным-давно, но с ошеломляющим успехом «Города женщин» стала не просто актрисой, а настоящей звездой.

«Звезда», Анджела, – определение яркое, но коварное, поскольку им артиста наделяют только зрители. Критики не сделают исполнителя звездой. Кассовые сборы не сделают исполнителя звездой. И даже сценическое мастерство не сделает исполнителя звездой. Звездой можно стать только в том случае, если публика поголовно проникается к тебе любовью. Когда зрители готовы выстраиваться в очередь у служебного входа в театр, лишь бы увидеть тебя одним глазком. Когда Джуди Гарленд выпускает запись «Не влюбиться ли мне», но все, кто видел «Город женщин», уверяют, что ты пела лучше. Когда Уолтер Уинчелл упоминает тебя в своей колонке каждую неделю. Вот тогда становишься звездой.

И тогда каждый вечер после спектакля тебя ждет в «Сардис» лучший столик.

Тогда Елена Рубинштейн называет в твою честь новые тени для век («Алебастр Эдны»).

Тогда в «Женском дне» появляется статья в тысячу слов о том, где Эдна Паркер Уотсон покупает шляпы.

Поклонники засыпали и Эдну письмами: «Я тоже пыталась сделать карьеру в театре, но все пошло

прахом, когда финансовое положение мужа резко ухудшилось. Вы не могли бы взять меня под крылышко? Вы удивитесь, насколько у нас с вами похожая актерская манера».

Сама Кэтрин Хепбёрн (не привыкшая расточать комплименты другим актрисам) прислала Эдне удивительное письмо: «Дражайшая Эдна! Я только что видела Вас на сцене и пришла в полнейший восторг; теперь я посмотрю Ваше выступление еще четыре раза, а потом утоплюсь, потому что мне никогда с Вами не сравниться».

Я знала содержание этих писем, потому что Эдна просила меня читать их вслух и писать ответы: у меня был очень красивый почерк. Ее просьба меня совершенно не обременила, поскольку дизайном костюмов я сейчас не занималась. В «Лили» неделями шел всего один спектакль, и мне некуда было применить свой талант. Я лишь штопала и перешивала наряды артистов, но других дел у меня не осталось. По этой причине на волне успеха «Города женщин» я стала кем-то вроде личного секретаря Эдны Паркер Уотсон.

Я вежливо отклоняла приглашения и просьбы. Я договаривалась о фотосессии для «Вог». Я проводила экскурсию по «Лили» для репортера из «Таймс», который впоследствии написал о нас статью «Как поставить хит». Я встречала у дверей самого язвительного театрального критика Нью-Йорка Александра Вулкотта, когда тот писал об Эдне статью в журнал «Нью-йоркер». Мы боялись, что Вулкотт разнесет Эдну в пух и прах («Алек из любого сделает отбивную», – уверяла Пег), но, как выяснилось, только зря тревожились. Вот что он написал:

У Эдны Паркер Уотсон лицо женщины, сохранившей способность мечтать. По-видимому, многие ее мечты сбываются, поскольку лоб ее не изборожден следами печалей и тревог, а глаза сияют оптимизмом и

предвкушением хороших новостей... Эта актриса не просто способна изобразить самое искреннее чувство, она мастерски передает тончайшие нюансы человеческих эмоций... Энергичная и жизнерадостная исполнительница не желает ограничивать свой репертуар Шекспиром и Шоу: недавно она блеснула в «Городе женщин», самом головокружительном и взрывном спектакле нью-йоркской сцены последних лет. Уотсон в роли миссис Алебастр превращает комедию в искусство... Когда восторженный поклонник поблагодарил ее за то, что она наконец почтила Нью-Йорк своим присутствием, миссис Уотсон ответила: «Дело в том, дорогой, что мне сейчас больше нечем заняться». Если у бродвейских продюсеров есть хоть капля здравого смысла, в ближайшем будущем эта ситуация изменится.

С успехом «Города женщин» слава пришла и к Энтони. Его пригласили играть в радиопостановках: он записывался днем, а вечером выступал в театре. Он стал героем рекламной кампании табачной фирмы «Майлз» («Заработался? Устрой перекур!»). Впервые в жизни у него появились деньги. Но он не спешил улучшать свою жилищную ситуацию.

Я начала давить на него, уговаривая снять собственное жилье. Зачем многообещающей молодой звезде делить с братом квартиру, да еще и в мрачной многоэтажке, где воняет прогорклым жиром и луком? Он заслуживает жилья получше, внушала я, – с лифтом и привратником, а то и с садиком на заднем дворе. И желательно не в Адской кухне. Но Энтони даже думать об этом не хотел. Не знаю, почему он так сопротивлялся переезду из грязной конуры на четвертом этаже. Но догадываюсь, что он заподозрил меня в попытках придать ему более «жениховский» вид.

А именно этим я и занималась.

Дело в том, что мой брат Уолтер познакомился с Энтони и, естественно, не одобрил мой выбор.

Если бы я могла скрыть от Уолтера роман с Энтони, я бы, конечно, так и поступила. Но наша страсть была так очевидна, что не ускользнула от внимания Уолтера. К тому же Уолтер поселился в «Лили», и моя жизнь теперь протекала у него на глазах. Он видел всё: пьянки, флирт, дебоши, распушенность нравов театрального люда. Я-то надеялась, что он присоединится ко всеобщему веселью – девушки из бурлеска не раз пытались заманить моего симпатичного братца в свои сети, – но Уолтер оказался слишком благочестив и не заглотил наживку. Коктейль-другой он выпить мог, но этим все «веселье» в его представлении и ограничивалось. Вместо того чтобы влиться в нашу компанию, он скорее приглядывал за нами.

Я, конечно, могла бы попросить Энтони умерить пыл и воздержаться от публичных знаков внимания, чтобы не злить Уолтера, но Энтони был не из тех, кто готов меняться в угоду окружающим. Поэтому он по-прежнему тискал меня, целовал и шлепал по мягкому месту, когда ему вздумается, вне зависимости от присутствия Уолтера.

Брат смотрел, осуждал и наконец вынес вердикт по поводу моего парня:

– Энтони не слишком подходящая партия, Ви.

И теперь я никак не могла выкинуть из головы эту весомую фразу – «подходящая партия». Раньше я не задумывалась о свадьбе с Энтони и даже не была уверена, хочу ли этого. Но стоило Уолтеру высказать свое неодобрение, как я разобиделась, что моего парня сочли негодной кандидатурой в мужа. Меня оскорбляла такая характеристика, а в какой-то степени

я сочла ее вызовом. И решила, что обязана разобраться с этой проблемой.

То есть слегка пообтесать своего мужчину.

И вот я стала намекать Энтони – боюсь, не слишком деликатно, – каким образом он мог бы повысить свой статус в обществе. Разве ему не хочется, как взрослому человеку, спать в своей кровати, а не ютиться на диване в гостиной? Разве не лучше чуть поменьше пользоваться бриолином? Не кажется ли ему, что постоянно жевать жвачку не слишком респектабельно? И, может, стоит слегка изменить манеру выражаться? К примеру, когда мой брат Уолтер поинтересовался у Энтони, есть ли у него карьерные планы посерьезнее шоу-бизнеса, тот улыбнулся и ответил: «Разбежались, мистер». Неужто нельзя было ответить повежливее?

Энтони был неглуп и видел меня насквозь. Он понимал, чего я добиваюсь, и это приводило его в бешенство. Он обвинил меня в стремлении сделать из него «зануду» в угоду братцу, чего он не потерпит. Надо ли говорить, что к Уолтеру его это не расположило.

За те несколько недель, что Уолтер прожил в «Лили», напряжение между ним и моим парнем достигло такого накала, что от них впору было заряжать батареи. Классовая рознь, отличия в воспитании, ощущение сексуальной угрозы, ревность брата к любовнику – все это настраивало их друг против друга. Но главной причиной их взаимной неприязни, как я сейчас понимаю, служило неприкрытое соперничество молодых самцов. Оба отличались повышенным самомнением и гордыней, потому им и было невыносимо тесно в одном помещении.

Гром грянул однажды вечером, когда после спектакля мы отправились выпить в «Сардис». Энтони тискал меня у барной стойки (к моей вящей радости и удовольствию, разумеется), когда поймал на себе

неприятный взгляд Уолтера. Не успела я опомниться, как эти двое столкнулись лбами.

– Хочешь, чтобы я отвалил от твоей сестренки, а, братишка? – набычился Энтони, вынудив Уолтера попятиться. – А ты меня заставь.

В улыбке Энтони – не столько улыбке, сколько оскале – ясно чувствовалась угроза. Тогда я впервые ясно различила в своем парне черты уличного бойца из Адской кухни. И тогда же я впервые увидела в его глазах равнодушие. Впрочем, его заботила не я, а мой брат и перспектива хорошей драки.

Уолтер смерил Энтони немигающим взглядом и негромко ответил:

– Если хочешь помериться со мной силами, сынок, тогда меньше слов.

Энтони прикинул свои шансы, оценив Уолтеровы мускулистые плечи футболиста и шею борца, – и передумал лезть на рожон. Он отвел взгляд, отступил и усмехнулся с напускной беспечностью:

– Обойдемся без разборок, братишка. Мир. – И пошел прочь с прежним независимо-беспечным видом.

Энтони сделал правильный выбор. Моего брата можно было назвать по-всякому – снобом, занудой, пуританином, – но слабаком он не был никогда. Как и трусом.

Уолтер легко впечатал бы Энтони в асфальт.

Это было ясно как день.

На следующий день Уолтер заявил, что «нам нужно поговорить», и пригласил меня на ланч в «Колони».

Я точно знала, о чем (точнее, о ком) пойдет речь, и поджилки у меня тряслись.

– Пожалуйста, не рассказывай об Энтони маме с папой, – взмолилась я, как только мы сели за стол. Мне совершенно не хотелось обсуждать моего парня, но

Уолтер обязательно поднял бы эту тему, и я решила в упреждающем порядке попросить пощады. Больше всего я боялась, что он расскажет родителям о моей безнравственности, те устроят скандал и посадят меня под домашний арест.

Уолтер ответил не сразу.

– Я буду говорить начистоту, Ви, – предупредил он.

А как же иначе. Уолтер всегда говорил начистоту.

Как часто случалось в наших беседах с Уолтером, я молча ждала приговора, точно первоклассник, которого вызвали к директору. Как же мне хотелось, чтобы он хоть раз принял мою сторону! Но он ни разу этого не сделал. Даже в детстве он выдавал родителям все мои секреты и никогда не вступал со мной в сговор против взрослых. Он был для меня скорее третьим родителем, чем братом. И вел себя как отец, а не сверстник. Более того: и я воспринимала его как отца.

Наконец он сказал:

– Нельзя вечно вот так маяться дурью, ты же понимаешь?

– Конечно, – закивала я, хотя вообще-то планировала именно что вечно маяться дурью.

– Мы живем в реальном мире, Ви. Рано или поздно придется забыть о пьянках-гулянках и повзрослеть.

– Несомненно.

– Ты хорошо воспитана. И я верю, что воспитание даст о себе знать. Когда время придет, ты одумаешься. Сейчас ты изображаешь богему, но в конце концов успокоишься и выйдешь замуж за подходящего человека.

– Ну разумеется. – Я кивала, будто так и собиралась поступить.

– Я не сомневаюсь в твоём здравомыслии, иначе немедленно отправил бы тебя домой в Клинтон.

– Я тебя не виню! – воскликнула я в порыве самобичевания. – Будь у меня сомнения в моем

здравомыслии, я бы сама себя немедленно отправила в Клинтон.

Я несла полную чушь, но Уолтер, похоже, успокоился. К счастью, я хорошо знала брата и понимала, что моя единственная надежда на спасение – соглашаться с каждым его словом.

– Напоминает мне мою поездку в Делавэр, – заметил он уже мягче после очередной долгой паузы.

Я запнулась. Делавэр? А потом вспомнила, что прошлым летом брат провел там несколько недель. Кажется, он работал на электростанции, изучал инженерные коммуникации.

– Точно! Делавэр! – поддакнула я, решив развить вроде бы перспективную тему, хотя понятия не имела, о чем речь.

– Там мне пришлось общаться с людьми, которые не отличались благородством нравов, – продолжал Уолтер. – Но сама знаешь, как бывает. Иногда полезно столкнуться с теми, кого воспитывали иначе. Так сказать, для расширения кругозора. И укрепления характера.

Его снобизм меня покоробил.

Но брат улыбнулся, не видя в своих словах ничего дурного.

И я тоже улыбнулась. Попыталась сделать вид, что якшаюсь с отбросами общества исключительно ради расширения кругозора и укрепления характера. Такое непросто выразить мимикой, но я старалась изо всех сил.

– Ты просто не нагулялась, – подытожил он, почти убедив себя в истинности поставленного мне диагноза. – Дело молодое. Ничего страшного.

– Ты прав, Уолтер. Мне просто надо нагуляться. Не стоит волноваться за меня.

Он помрачнел. Я допустила тактическую ошибку: указала ему, чего не стоит делать.

- Но я не могу не волноваться за тебя, Ви! Через несколько дней начнутся занятия в офицерской школе. Я переберусь на крейсер в другом конце Манхэттена и не смогу больше за тобой присматривать.

Аллилуйя, подумала я, но закивала с серьезным видом.

- И мне не нравится, как ты распоряжаешься своей жизнью, - добавил он. - Вот зачем я тебя сюда позвал. Сказать, что мне это совсем не нравится.

- О, я тебя прекрасно понимаю! - Я решила вернуться к первоначальной тактике и поддакивать каждому слову.

- Скажи, что у тебя с этим Энтони ничего серьезного.

- Абсолютно ничего, - соврала я.

- Ты ведь не позволила ему лишнего?

Я покраснела. И не от смущения, а от чувства вины. Но это сыграло мне на руку, потому что со стороны я, должно быть, выглядела невинной овечкой, которую смутило одно лишь упоминание о сексе, хоть и завуалированное.

Уолтер тоже зарделся.

- Прости, что спрашиваю, - он, видимо, не хотел задеть мою предполагаемую скромность, - но я должен был узнать.

- Понимаю, - кивнула я, - но я бы никогда... Тем более с таким, как Энтони. Да и вообще ни с кем!

- Тогда ладно. Раз ты так говоришь, я тебе верю. И не стану рассказывать про Энтони маме и папе.

Тут я впервые за весь день вздохнула с облегчением.

- Но ты должна пообещать мне кое-что, Ви, - продолжил брат.

- Что угодно.

- Если у тебя возникнут любые проблемы из-за этого парня, ты мне позвонишь.

– Непременно, – поклялась я. – Но никаких проблем не будет. Вот увидишь.

Уолтер вдруг показался мне стариком. Непросто, наверное, в двадцать два года, накануне отправки на фронт, воображать себя защитником всех и вся. Одновременно пытаться выполнить долг перед родиной и решить семейные проблемы.

– Я знаю, что скоро ты покончишь с Энтони. Просто пообещай, что не наделаешь глупостей. Я знаю, что ты не дурочка и не допустишь безрассудства. У тебя есть голова на плечах.

В тот момент мне стало даже немного жаль Уолтера – так отчаянно он старался думать обо мне только хорошее.

Глава восемнадцатая

Знаешь, Анджеला, мне совсем не хочется рассказывать тебе, что было дальше.

Думаю, я намеренно оттягивала этот момент.

Слишком много боли причиняют мне те воспоминания. Потянуть еще?

Пожалуй, нет, давай покончим с этим.

Март 1941 года подходил к концу.

Зима выдалась долгой. В начале месяца на Нью-Йорк обрушился сильный буран, и несколько недель город расчищали от снега. Нам страшно надоело мерзнуть. В «Лили» стоял холод, гуляли сквозняки, в ледяных гримерках было не согреться – они скорее годились для хранения мехов.

От холода у нас шелушилась кожа и выскакивали простуды на губах. Девчонки мечтали поскорее нарядиться в весенние платья и продемонстрировать ножки, вместо того чтобы кутаться в пальто и несколько шарфов, как мумии. Я видела, как некоторые артистки надевали под платья рейтузы и тайком снимали их в

дамской комнате ночного клуба, а в конце вечера, прежде чем выйти на ледяные улицы, так же незаметно надевали. Поверь, Анджела, даже солистка бурлеска выглядит совсем не сексапильно в рейтузах! Я целыми днями шила легкие платья в тщетной надежде, что погода непременно улучшится, как только у меня появится новый летний гардероб.

Наконец к исходу месяца пришло потепление, и холода отступили.

Стоял один из тех ясных солнечных дней, когда кажется, что лето уже не за горами. Я тогда еще слишком недавно жила в Нью-Йорке, чтобы не поддаваться на обман (март здесь очень коварен!), поэтому, заведя солнце, позволила себе порадоваться.

Дело было в понедельник. В театре царила темнота. Среди утренней почты я нашла приглашение, адресованное Эдне. Тем вечером Британо-американская женская ассоциация устраивала в «Уолдорфе» благотворительный бал, средства от которого планировалось направить на поддержку вступления Соединенных Штатов в войну.

Организаторы извинялись за столь запоздалое приглашение и просили миссис Уотсон почтить мероприятие своим присутствием. Мол, ее имя повышает престиж любого события. И не соблаговолит ли миссис Уотсон попросить юную звезду Энтони Рочеллу сопровождать ее на бал? Возможно, они даже исполнят свой знаменитый дуэт из «Города женщин», на радость собравшимся дамам.

Обычно я сразу отказывалась от всех приглашений в адрес Эдны, даже не посоветовавшись с ней. График выступлений не оставлял времени на светскую жизнь; Эдну и так рвали на части. Поэтому я чуть было не написала отказ, но потом задумалась. Я знала, что Эдна ратует за вступление Соединенных Штатов в войну, и это, пожалуй, единственное дело, которое ее искренне

заботит. Я много раз слышала, как они с Оливией обсуждали этот вопрос. Организаторы не требовали многого – всего-то спеть песню, станцевать, посетить ужин. И я показала приглашение Эдне.

Та сразу же согласилась пойти на бал. Заявила, что засиделась дома, устала от бесконечной зимы и не прочь развеяться. И готова на все ради своей бедной Англии. Она попросила меня позвонить Энтони и выяснить, готов ли тот составить ей компанию и спеть дуэтом. Энтони ответил согласием, что меня удивило, но лишь отчасти. Политика его не интересовала – в сравнении с Энтони даже я выглядела знатоком, – но Эдну он обожал. (Если я забыла упомянуть о том, что Энтони обожал Эдну, то лишь по одной причине: слишком утомительно перечислять всех, кто ее обожал. Просто знай, Андже́ла: ее обожали все.)

– Конечно, детка, я сметаюсь туда с Эдной, – ответил Энтони. – Дадим им жару.

– Премного благодарна, дорогая, – сказала Эдна, когда я сообщила, что Энтони согласился ее сопровождать. – Вместе мы наконец победим Гитлера, а если повезет, даже вернемся домой вовремя.

Все выглядело совершенно невинно.

Казалось бы, что такого: обычный совместный выход двух артистов на абсолютно бессмысленное политическое мероприятие, организованное группой обеспеченных манхэттенских дам, которые никак не могли повлиять на ход войны в Европе, хоть и руководствовались самыми благими намерениями.

Но вышло по-другому. Когда я помогала Эдне одеться к балу, вошел Артур. Он увидел, что Эдна готовится к выходу, и спросил, куда она собралась. Эдна ответила, что едет в «Уолдорф», где ей предстоит выступить на благотворительном балу, организованном местными дамами в поддержку бедной старой Англии. Артур обиделся. Он напомнил, что они собирались в

кино. («У нас всего один выходной в неделю, черт возьми, всего один!») Эдна извинилась («Но это ради Англии, дорогой!»), и небольшая размолвка супругов вроде бы сошла на нет.

Но через час за Эдной заехал Энтони, и Артур, увидев его в смокинге (пожалуй, Энтони слишком вырядился для такого случая), снова разозлился.

– А он что здесь делает? – поинтересовался Артур, глядя на Энтони с нескрываемым подозрением.

– Мы идем на бал вместе, дорогой, – пояснила Эдна.

– Но почему с ним?

– Потому что его тоже пригласили, дорогой.

– Ты не говорила, что у тебя свидание.

– Это не свидание, дорогой. А выступление. Дамы из благотворительного общества попросили нас с Энтони исполнить дуэт.

– А почему я не могу исполнить с тобой дуэт?

– Дорогой, но ведь у нас в пьесе нет дуэта.

Тут Энтони допустил оплошность и рассмеялся.

Артур резко развернулся:

– Думаешь, это смешно – вести чужую жену в «Уолдорф»?

Как всегда дипломатично, Энтони щелкнул жвачкой и ответил:

– Типа того.

Артур чуть не бросился на него, но Эдна проворно загородила Энтони своим телом и положила маленькую ладошку с безупречным маникюром на широкую грудь мужа.

– Артур, милый, не горячись. Это работа, не более того.

– Работа, говоришь? Значит, вам заплатят?

– Дорогой, бал благотворительный. Никому не платят.

– Тоже мне благотворительность! – фыркнул Артур, и Энтони, с тем же врожденным тактом, снова хохотнул.

– Эдна, может быть, мы с Энтони подождем на улице? – вмешалась я.

– А мне и тут хорошо, детка, – возразил Энтони.

– Нет, останьтесь, – обратилась Эдна к нам обоим. – Все нормально. – Она снова повернулась к мужу. Выражение любви и терпения, с которым Эдна обычно смотрела на Артура, сменилось холодком. – Артур, я иду на бал, а Энтони меня сопровождает. Мы исполним дуэт для милых дам, безобидных божьих одуванчиков, и заработаем денег для нашей доброй Англии. А с тобой мы увидимся дома, когда я вернусь.

– Ну уж нет! С меня хватит! – вскричал Артур. – Мало того, что все нью-йоркские газеты забыли о том, что я твой муж, так теперь и ты об этом забыла? Никуда ты не пойдешь! Я запрещаю!

– Только посмотрите на него, – подлил масла в огонь Энтони.

– Лучше на себя посмотри! – выпалил Артур. – Ты похож на официанта в этом смокинге!

Энтони спокойно пожал плечами:

– Я и есть официант. Иногда подрабатываю. Зато смокинг я сам себе купил. А тебя, говорят, женушка одевает.

– А ну убирайся отсюда! – прорычал Артур.

– Дохлый номер, приятель. Твоя жена меня пригласила. Ей и решать.

– Моя жена никуда без меня не ходит! – довольно нелепо объявил Артур (в последние несколько месяцев Эдна постоянно куда-то ходила без него).

– Она не твоя собственность, дружище, – не унимался Энтони.

– Энтони, пожалуйста, – я положила руку ему на плечо, – давай выйдем. Не будем вмешиваться.

– Я тоже не твоя собственность, сестренка. – Энтони стряхнул мою руку и бросил на меня злобный взгляд.

Я отпрянула, как от удара. Еще ни разу он так не огрызался. Эдна оглядела нас всех по очереди, одного за другим.

– Вы как дети малые, – мягко заметила она, после чего надела нитку жемчуга, взяла шляпку, перчатки и сумочку: – Артур, я буду дома в десять.

– Черта с два, не будешь! – заорал он. – Точнее, меня здесь не будет! Как тебе такое, а?

Она его проигнорировала.

– Вивиан, спасибо, что помогла одеться, – обратилась она ко мне. – Наслаждайся выходным. Пойдем, Энтони.

И она ушла под руку с моим возлюбленным, а мы с Артуром остались вдвоем, потрясенные и напуганные случившимся.

Если бы Энтони не рывкнул на меня, я бы и забыла о том вечере – подумаешь, дурацкая стычка между Эдной и ее глупым ревнивым мужем. Я расценила бы ссору как нелепую и не имеющую ко мне никакого отношения. И скорее всего, отправилась бы пить коктейли с Пег и Билли.

Но реакция Энтони настолько поразила меня, что я не могла пошевелиться. Чем заслужила я такую отповедь? «Я тоже не твоя собственность, сестренка», – что он имел в виду? Разве я когда-то предъявляла на него права? (Разве что заставляла переехать в отдельную квартиру, тут не поспоришь. И еще просила его одеваться и говорить иначе. Меньше использовать жаргон. Поприличнее укладывать волосы. Отказаться от жвачки. И ругалась, когда он любезничал с танцовщицами. Но если кроме всего этого? Да я дала парню полную свободу!)

– Эта женщина меня погубит, – выпалил Артур, когда Эдна с Энтони ушли. – Губительница мужчин, вот

она кто.

– Что, простите? – опомнилась я.

– Если тебе нравится этот скользкий тип, приглядывай за ним как следует. С нее станется разжевать его и выплюнуть. Эдна любит молоденьких.

И опять-таки, если бы Энтони не сорвался на мне, я не придавала бы значения словам Артура Уотсона. Как мы все обычно и поступали. И зачем я его послушала?

– Да нет, она не станет... – Я даже не знала, как закончить фразу.

– Еще как станет, – возразил Артур. – Даже не сомневайся. Эдна не пропускает ни одной смазливой мордашки. Можешь быть уверена. Да она уже с ним шашни крутит, только ты не замечаешь, дурочка.

У меня в глазах потемнело.

Эдна и Энтони?

Я пошатнулась и ухватилась за ближайший стул.

– Пойду кутить, – сообщил Артур. – Где Селия?

Какой бессмысленный вопрос. При чем тут Селия?

– Где Селия? – повторила я.

– Она у тебя в квартире?

– Наверное.

– Тогда идем за ней. Пора сваливать. Давай же, Вивиан, не стой. Собирай вещички.

И что я сделала?

Пошла за этим идиотом.

А почему, скажи мне, я пошла за этим идиотом?

Потому что я была глупым ребенком, Анджела, и в свои двадцать пошла бы за кем угодно – да хоть за знаком «стоп».

Так и вышло, что в тот обманчиво теплый весенний вечер мы с Селией Рэй и Артуром Уотсоном отправились кутить.

Но кутили мы не одни: вскоре к нашей маленькой компании присоединились малосимпатичные новые

друзья Селии – Бренда Фрейзер и Джон «Разгром» Келли.

Вряд ли ты слышала о Бренде Фрейзер и Разгроме Келли. По крайней мере, я надеюсь, что не слышала. В годы моей молодости они пользовались, пожалуй, даже слишком большой известностью, и хватит с них славы. В 1941-м Бренда и Разгром несколько месяцев подряд гремели на весь Нью-Йорк. Бренда Фрейзер была богатой наследницей и дебютанткой; Разгром – звездой американского футбола. Таблоиды следовали за ними по пятам. Уолтер Уинчелл в своей колонке издевательски назвал Бренду «дебютуткой».

Если ты гадаешь, каким образом моей подруге Селии Рэй удалось завести столь рафинированных друзей, поверь, не ты одна: меня тоже интересовал этот вопрос. Ответ на него я получила очень скоро. Оказалось, самая знаменитая пара Нью-Йорка посмотрела «Город женщин», пришла в восторг и прибрала Селию к рукам – очередной каприз наряду с новым кабриолетом или бриллиантовым колье. Выяснилось, что троица уже несколько недель развлекается вместе, а я все пропустила, увлекшись Энтони. Тем временем у Селии появились новые лучшие друзья, а я даже не заметила.

Ты не подумай, Анджела, я не ревновала.

А если и ревновала, то не подавала виду.

В тот вечер мы катались на роскошном кремовом «паккарде» Джона Келли, сделанном на заказ специально для него. Бренда сидела на пассажирском месте рядом с водителем, остальные же расположились сзади: мы с Артуром – по бокам, Селия – посередине.

Бренда Фрейзер мне сразу не понравилась. Ходили слухи, что богаче нее в мире девушки нет, – представляешь, насколько она меня притягивала и

одновременно пугала? Как одевается самая богатая девушка в мире? Я глаз с нее не сводила, пытаюсь разглядеть все детали костюма. Она завораживала меня, но в то же время внушала сильную неприязнь.

Бренда, очень красивая брюнетка, куталась в обильные меха, а на пальце у нее сверкало помолвочное кольцо с бриллиантом размером с суппозиторий. Под грудой мертвых норок топорщились оборки из черной тафты и многочисленные банты. Она словно собралась на бал или только что оттуда вернулась. На слишком густо напудренном лице выделялись ярко-красные губы; взбитые локоны были уложены крупными кольцами. пышную прическу венчала маленькая черная шляпка треугольной формы с простенькой вуалью (Эдна презрительно называла такие головные уборы «шаткое воробьиное гнездышко на вершине горы из волос»). Мне не был близок такой стиль, но надо отдать Бренде должное: она выглядела богато. Говорила она мало, но когда все же открывала рот, меня передергивало от чопорного акцента выпускницы частной школы. Бренда уговаривала Джона поднять верх «паккарда», чтобы ветер не испортил ей прическу. Непохоже, что она умела веселиться.

Разгром Келли нравился мне еще меньше. Мне не нравилась его кличка, не нравилось его красное бульдожье лицо. Не нравились его ядреные шутки. Он был из тех, кто при встрече хлопает людей по спине. Всегда терпеть не могла таких.

Но сильнее всего меня встревожило, что Бренда и Джон, судя по всему, были очень хорошо знакомы с Селией и Артуром. Причем знали их в тандеме. Как пару. Моя догадка незамедлительно подтвердилась, когда Джон Келли повернулся к нам и спросил:

– Ну что, ребятки, опять в Гарлем? Куда и в прошлый раз?

– Только не в Гарлем, – отвечала Селия. – Слишком холодно.

– Знаете, что говорят про март? – сказал Артур. – Марток – надевай двое порток.

Вот идиот.

От меня не ускользнуло, что Артур вдруг заметно повеселел и крепко обнимает Селию за плечи.

С чего это он ее обнимает?

Что тут вообще творится?

– Поехали по Централу, – бросила Бренда. – В такой холод я до Гарлема с открытым верхом не доберусь.

Бренда имела в виду Пятьдесят вторую улицу, которую в Нью-Йорке называли улицей Свинга, Джазовым централом или просто Централом.

– К Джимми Райану или в «Знаменитую дверь»? Или в «Прожектор»^[29]? – спросил Разгром.

– В «Прожектор», – решила Селия. – Там сегодня Луи Прима^[30].

Возражать никто не стал. От Пятьдесят второй улицы нас отделяло одиннадцать кварталов, то есть у всего населения Манхэттена появился шанс увидеть нас и распространить слух, что Бренда Фрейзер и Разгром Келли направляются к Централу в своем «паккарде» с откинутым верхом, и когда мы вышли на тротуар перед входом в джазовый клуб, нас поджидала толпа фотографов со вспышками.

(Должна признаться, тогда мне это понравилось.)

Мне хватило пары минут, чтобы напиться вдрызг. Нам с Селией всегда подавали коктейли очень быстро, но видела бы ты, как юлили официанты перед Брендой Фрейзер!

Я не успела поесть и разнервничалась после перепалки с Энтони. (Наша ссора представлялась мне

величайшей трагедией современности, и страдала я страшно.) Алкоголь сразу ударил в голову. Биг-бенд играл нещадно громко. Когда к нашему столику подошел Луи Прима, я уже ничего не соображала. Мне совершенно не было дела до Луи Примы.

– Что у вас с Артуром? – шепнула я Селии.

– Да так, ничего, – ответила та.

– У вас интрижка?

Она повела плечами.

– Селия, не молчи!

Она взвесила все варианты и, видимо, решила сказать правду.

– Строго между нами – да, у нас интрижка. Он тупица, но да.

– Селия, он ведь женат. Женат на Эдне. – Кажется, я говорила слишком громко, и несколько человек – их имена не имеют значения – повернулись и уставились на нас.

– Давай-ка выйдем и подышим воздухом, – предложила Селия.

Через минуту мы стояли на пронизывающем мартовском ветру. Я не захватила пальто, ведь с утра был теплый весенний денек. Но погода меня обманула. Меня все обманули.

– А как же Эдна? – спросила я.

– А при чем тут она?

– Она его любит.

– Она любит молоденьких. И меняет их как перчатки. Новый спектакль – новый хахаль. Так Артур говорит.

Любит молоденьких. Таких, как Энтони.

Увидев выражение моего лица, Селия продолжила:

– Пораскинь мозгами, Вивви! По-твоему, у них обычный прочный брак? Думаешь, Эдна вышла в тираж? Она же звезда, да еще распоряжается всеми деньгами. Она безумно популярна. Думаешь, станет она сидеть

дома и поджидать своего клоуна-муженька? Черта с два! Он не подарок, сама видишь, хоть и симпатичный. И с какой стати ему сидеть и ждать ее? Они же из Старого Света, Вивви. Там так принято.

– Где там? – спросила я.

– В Европе. – Селия широко повела рукой в сторону предполагаемого континента, где живут совсем по другим законам.

Я была потрясена. Несколько месяцев я ревновала Энтони к хорошеньким танцовщицам, но ни разу не заподозрила, что угроза может исходить от Эдны. Ведь Эдна Паркер Уотсон моя подруга, и притом она старуха. Зачем ей мой Энтони? А она ему зачем? И что теперь будет с моей драгоценной любовью? Сердце сжал спазм обиды и тревоги. Как я могла так ошибаться в Эдне? А в Энтони? Я не видела ни малейших признаков измены. И как я могла не заметить, что моя лучшая подруга спит с Артуром Уотсоном? Почему она мне раньше не сказала?

Потом я вспомнила, как Пег и Оливия танцевали в гостиной под «Звездную пыль» в тот вечер и каким шоком для меня стало это открытие. Чего же еще я не знаю? И когда прекратится этот поток внезапных открытий? Когда люди перестанут меня удивлять своей похотью, своими грязными секретами?

«Как дитя малое», – сказала про меня Эдна.

В тот момент я и чувствовала себя глупым, наивным ребенком.

– Ах, Вивви, ну что ты как дурочка, – пробормотала Селия, увидев мое лицо. Она обняла меня своими длинными руками, и я уже собиралась прижаться к ней и разразиться жалкими, безутешными, пьяными рыданиями, как услышала за спиной знакомый голос.

– Решил вас проводить, – сообщил Артур Уотсон. – Раз уж я взялся сопровождать таких красоток, нельзя оставлять их без присмотра, верно?

Я хотела разомкнуть объятия и отодвинуться от Селии, но Артур сказал:

– погоди, Вивиан. Не нужно из-за меня смущаться.

И он обхватил нас обеих. Теперь мы обнимались втроем. Роста мы с Селией были немаленького, но Артур, мужчина крупный и сильный, крепко сжимал наши тонкие фигурки в кольце своих рук. Селия рассмеялась. Артур тоже.

– Так-то лучше, – пробормотал он, уткнувшись мне в волосы. – Правда так лучше?

И в самом деле – так было лучше.

Намного лучше.

Во-первых, я согрелась. Стоять без пальто посреди Пятьдесят второй улицы под ледяными порывами ветра было ужасно холодно. Пальцы рук и ног онемели. (А может, вся кровь прилила к моему несчастному израненному сердцу.) Но теперь мне стало тепло, по крайней мере местами. Со спины ко мне прижимался Артур, плотный и крепкий, как гранитная статуя, а спереди меня грела чудесная мягкая грудь Селии. Я уткнулась носом ей в шею, вдохнула знакомый запах. И тут Селия зашевелилась, подняла голову и поцеловала Артура.

Увидев, что они целуются, я сделала слабую попытку – на грани приличий – высвободиться из объятий. Но не слишком старалась, если честно. Мне было очень с ними уютно, уютно и хорошо.

– Вивви у нас сегодня грустный маленький котенок, – промурлыкала Селия, когда наконец закончился их долгий страстный поцелуй прямо у меня над ухом.

– Кто у нас грустный маленький котенок? – спросил Артур. – Ты?

И теперь уже поцеловал меня, по-прежнему обнимая нас обеих.

Мне и раньше случалось целовать кавалеров Селии, но не в дюйме от ее лица. Вдобавок это был не просто кавалер Селии, а Артур Уотсон, которого я почти презирала. И чью жену обожала. Впрочем, означенная жена сейчас, скорее всего, занимается сексом с моим возлюбленным – и если Энтони своим волшебным языком вытворяет с ней то же самое, что делал со мной...

Это было невыносимо.

В горле у меня встал ком, и я оторвалась от Артура, чтобы перевести дыхание, но не успела опомниться, как Селия начала целовать меня в губы.

– Вижу, вы уловили суть, – изрек Артур.

За месяцы своих сексуальных приключений я ни разу не целовалась с девушкой. Мне даже в голову такое не приходило. Ты, верно, подумаешь, Анджела, что к этому времени я могла бы перестать удивляться извивам и вывертам судьбы, но поцелуй Селии привел меня в изумление. Она целовала меня все крепче, а я продолжала изумляться.

Мое первое впечатление от поцелуя с Селией: он показался мне невероятно роскошным. Как и она сама. Вся такая мягкая. Такая нежная. Такая родная. Меня словно накрыло теплой волной – я тонула в бархатном прикосновении ее губ, в ее пышной груди, в знакомом цветочном аромате. Мужчины целовались совсем иначе, даже Энтони, который умел это делать очень нежно. Самый мягкий поцелуй мужчины не шел ни в какое сравнение с прикосновением губ Селии. Они напоминали бархатный зыбучий песок. Я не могла от них оторваться. Да и кто в здравом уме смог бы?

Целая тысяча лет миновала, как в бреду, а мы все стояли под фонарем, и я позволяла Селии целовать меня и отвечала на поцелуй. Мы смотрели друг другу в глаза, такие прекрасные и такие похожие, целовали

такие прекрасные и такие похожие губы друг друга, и наш абсолютный взаимный нарциссизм достиг пика.

Голос Артура вернул меня к реальности.

– Жаль прерывать вас, девушки, но, думаю, пора нам отсюда убираться. Я как раз знаю чудесный отельчик неподалеку.

Он улыбался, словно сорвал большой куш. В каком-то смысле, наверное, так и было.

Мечты далеки от реальности, Анджела.

Знаю, многие женщины фантазируют о таких вещах и представляют, что очутились в шикарном отеле на королевском ложе с красивым мужчиной и прекрасной девушкой. На деле же я быстро обнаружила: когда сразу три человека предаются сексуальным наслаждениям, это проблематично и напряженно даже с точки зрения элементарной логистики. Слишком много отвлекающих факторов, понимаешь? Слишком много рук и ног. Постоянно натыкаешься на кого-то, и приходится извиняться: «Ой, прости, я тебя не заметила». Только устроишься поудобнее, как другой решает поменять позу, и приходится прерываться. А еще непонятно, когда именно все заканчивается. Вот ты получила удовольствие, но оказывается, что остальные настроены продолжать и снова втягивают тебя в активное взаимодействие.

Возможно, этот опыт принес бы мне больше радости, будь на месте мужчины кто угодно, но не Артур Уотсон. Артур был опытным и горячим любовником, но и в постели страшно раздражал меня по тем же причинам, что и в жизни. Он смотрел только на себя и думал только о себе, и это было невыносимо. До одури самовлюбленный, Артур как будто специально красовался, чтобы мы вместе с ним могли вдоволь насладиться его привлекательностью и мускулатурой. Я

видела, что он ни на минуту не перестает позировать для нас и восхищаться собственным телом. Можешь представить такую глупость, Анджела? Можешь представить мужчину, который в постели с такими созданиями, как Селия Рэй и я во цвете двадцати лет, любит только самим собой? Что за тупица!

Что до Селии, я не знала, как с ней обращаться. Все в ней было для меня чрезмерным – ее вулканическая пылкость, лабиринты ее потайных желаний. Она змеилась, разветвлялась, как молния. Я видела ее словно впервые. Почти целый год мы спали в одной постели, прижавшись друг к другу, но это была другая постель и другая Селия. Новая Селия оказалась чужой незнакомой страной, чужим языком, на котором я не понимала ни слова. Я не узнавала свою подругу в этой загадочной незнакомке с плотно закрытыми глазами и беспрерывно извивающимся телом, которым, казалось, овладел неистовый демон, в равных частях состоявший из страсти и ярости.

Я никогда не чувствовала себя такой потерянной, такой одинокой, как в эпицентре этой бури, в ее самых неистовых водоворотах.

Должна сказать, Анджела, что я почти пошла на попятную у самой двери гостиничного номера. Почти. Но потом вспомнила обещание, данное себе самой много месяцев тому назад, – что впредь никогда не оставлю подругу одну в опасной ситуации, никогда не струшу.

Раз Селия решила совершить безумство, я тоже приму в нем участие.

И хотя обещание наполовину забылось и уже утратило смысл – ведь столько всего изменилось за последние месяцы, и с какой стати мне придавать старой клятве такое значение, с какой стати

поддерживать подругу во всех ее эскападах? – я все же сдержала слово. Осталась с Селией. Как ни парадоксально, для меня это было делом чести.

Впрочем, мной двигали и другие мотивы.

Я все еще чувствовала резкое движение плеча Энтони, когда тот стряхнул мою руку и заявил, что он не моя собственность. Помнила его презрительное: «Сестренка».

Видела лицо Селии, когда та рассуждала о супружеских отношениях Артура и Эдны – «Они же из Старого Света» – и смотрела на меня как на самое наивное и бестолковое существо на всем белом свете.

Я слышала голос Эдны, когда та назвала меня малым ребенком.

Кому хочется быть малым ребенком?

Вот почему я осталась. Вот почему каталась по постели от одного края к другому – потому что в Европе так принято, потому что я не хотела быть ребенком, – сплетаясь с божественными телами Артура и Селии, пытаюсь доказать нечто важное самой себе.

Но в то же время самым краешком сознания, не затуманенным алкоголем, обидой, похотью и глупостью, я совершенно ясно понимала, что это решение принесет мне только горе.

И до чего же я была права.

Глава девятнадцатая

Последствия не заставили себя ждать.

Завершив свои забавы, мы с Артуром и Селией мгновенно заснули, а может, просто отключились. Через некоторое время – не знаю, сколько прошло, – я очнулась, встала и оделась. Оставив их вдвоем в гостинице, я пробежала одиннадцать кварталов до дома без пальто, дрожа от холода, обхватив себя руками, чтобы хоть как-то согреться на беспощадном мартовском ветру.

Было уже далеко за полночь, когда я распахнула дверь третьего этажа и влетела в гостиную.

И тут же поняла, что творится неладное.

Во-первых, горели все лампы.

Во-вторых, в гостиной были люди. И все они смотрели на меня.

Оливия, Пег и Билли сидели в плотном облаке сигаретного и трубочного дыма. С ними был незнакомый мужчина.

– Вот она! – подскочила Оливия. – Мы тебя ждали.

– Не важно, – бросила Пег. – Уже слишком поздно.

Я ничего не поняла, но не стала задумываться над ее репликой. По голосу Пег я сообразила, что тетя очень пьяна, и не ждала от нее глубоких мыслей. Меня гораздо больше тревожило, что Оливия не спит и зачем-то ждет меня. И кто этот незнакомец?

– Здравствуйте, – произнесла я. А что еще тут скажешь? Но ведь вежливость никогда не помешает.

– Вивиан, кое-что случилось, – сообщила Оливия.

Она была очень спокойна, и я сразу поняла: произошло нечто ужасное. Оливия истерила только по пустякам, а раз она спокойна и собрана, значит, дело действительно плохо.

Первое, что мне пришло в голову, – кто-то умер.

Мои родители? Брат? Энтони?

Я стояла на пороге с трясущимися коленками, от меня несло сексом, и я ждала, что сейчас весь мой мир перевернется. Так и вышло, вот только совсем не в том смысле, в каком я ожидала.

– Это Стэн Вайнберг, – представила незнакомца Оливия. – Старый друг Пег.

Вспомнив о манерах, я вежливо пошла в его сторону, протягивая ладонь для рукопожатия. Но мистер Вайнберг внезапно покраснел и отвернулся. Его

очевидное смущение вынудило меня запнуться на полпути.

– Стэн – редактор вечернего выпуска «Миррор», – продолжала Оливия с тем же тревожным спокойствием. – Несколько часов назад он принес нам плохую вестъ. В завтрашней колонке Уолтера Уинчелла будет опубликовано разоблачение. – Она уставилась на меня, как будто ее слова что-то объясняли.

– Разоблачение? О чем?

– О том, что произошло сегодня вечером между тобой, Артуром и Селией.

– Но... – Я запнулась, плохо соображая. – А что произошло?

Клянусь, Анджела, я не пыталась отнекиваться. В тот момент я действительно не понимала, о чем идет речь. Я как будто очутилась в незнакомой пьесе – чуждая сюжету, чуждая самой себе. Что это за Артур, Вивиан и Селия, о которых все говорят? И при чем тут я?

– Вивиан, у них есть фотографии.

Это привело меня в чувство.

Сначала мелькнула паническая мысль: «Неужели в гостиничном номере был фотограф?!» Но потом я вспомнила, как мы с Селией и Артуром целовались на тротуаре Пятьдесят второй улицы. Прямо под фонарем. Яркие освещенные. На виду у папарацци, которые тем вечером дежурили у клуба, надеясь поймать в дверях Бренду Фрейзер и Разгрома Келли.

И любопытным было на что посмотреть.

Тогда-то я и заметила на коленях у мистера Вайнберга большой коричневый конверт. Вероятно, с теми самыми снимками. Боже, помоги мне, взмолилась я.

– Мы пытаемся придумать, как избежать скандала, Вивиан, – пояснила Оливия.

– Его не избежать. – Билли заговорил впервые, и я поняла, что он тоже пьян, поскольку у него заплетался

язык. – Эдна знаменита, а Артур Уотсон – ее муж. Так что, лапочка, у «Миррор» в руках сенсация. Новость на миллион. Киноактер, почти звезда и муж настоящей звезды, целуется с двумя девицами, по виду артистками бурлеска, у дверей ночного клуба. Потом тот же киноактер, почти звезда и муж настоящей звезды, замечен в гостинице не с одной, а с двумя девицами, ни одна из которых не является его женой. Это бомба, лапочка. Такая бомба обязана взорваться. Уинчелл кормится подобными скандалами. Господи, он же настоящий крокодил. Ненавижу его. Ненавидел, еще когда знал по водевильным кругам. Не надо было пускать его к нам на спектакль. Бедняжка Эдна.

Эдна. От одного ее имени у меня подвело живот.

– А Эдна знает? – спросила я.

– Да, Вивиан, – сказала Оливия. – Эдна знает. Она была здесь, когда Стэн принес фотографии. А сейчас уже спит.

Меня затошнило.

– А Энтони?..

– Он тоже знает, Вивиан. Он пошел домой.

Значит, все в курсе. И никакой надежды на спасение.

Оливия продолжала:

– Но тебе сейчас надо волноваться не из-за Эдны с Энтони, Вивиан. Твои проблемы куда серьезнее. Стэн говорит, тебя вычислили.

– Вычислили?

– Да, вычислили. Газетчикам известно, кто ты такая. Тебя узнал один из посетителей ночного клуба. То есть твое имя, причем полное имя, напечатают завтра в колонке Уолтера Уинчелла. И сейчас моя главная задача – помешать этому.

В отчаянии я повернулась к Пег, сама не знаю зачем. Может быть, в поисках поддержки и утешения. Но Пег откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. Мне

захотелось встряхнуть ее, умолять позаботиться обо мне, спасти меня.

– Ничего не выйдет, – пробормотала Пег. – Скандала не избежать.

Стэн Вайнберг мрачно кивнул в знак согласия. Он сидел и разглядывал собственные руки, аккуратно сложенные поверх того самого коричневого конверта, совершенно невинного с виду. Стэн напоминал сотрудника похоронного бюро, пытающегося сохранить достоинство и сдержанность в присутствии убитых горем родственников.

– Мы не можем заставить Уинчелла молчать об интрижке Артура, никак нет, – рассудила Оливия. – И разумеется, он пройдетя насчет Эдны, ведь она звезда. Но Вивиан – твоя племянница, Пег. Нельзя, чтобы ее имя было замешано в таком скандале. И упоминать о ней совсем необязательно. Бедной девочке ломают жизнь. Билли, если ты позвонишь своим людям со студии и попросишь их вмешаться...

– Я уже сто раз говорил, Оливия, что студия тут не поможет, – возразил Билли. – Во-первых, мы в Нью-Йорке, а не в Голливуде, и это нью-йоркские сплетни, а не голливудские. Мои знакомые не пользуются здесь влиянием. А если бы и пользовались, как мне, потвоему, разыграть этот козырь? Кому позвонить? Самому Зануку^[31]? И что я ему скажу, разбудив в такой час? «Привет, Дэррил, племянница моей жены вляпалась в историю, не мог бы ты ее выручить?» Мне и самому однажды может пригодиться помощь Занука. Так что нет. Я умываю руки. Не паникуй, Оливия. Пусть все идет своим чередом. Пара недель мучений, и все забудется. Так всегда бывает. Переживем. Подумаешь, статейка. Кому какое дело?

– Я все исправлю, обещаю, – глупо пробормотала я.

– Тут ничего не исправишь, – отмахнулся Билли. – И сейчас тебе лучше помолчать. Достаточно с тебя

сегодня подвигов, лапочка.

– Пег! – Оливия направилась к дивану и принялась трясти мою тетю, которая, кажется, отключилась. – Соберись. Ты наверняка что-нибудь придумаешь. У тебя ведь много знакомых.

Но Пег лишь повторила:

– Скандала не избежать.

Я ощупью добралась до кресла и села. Я совершила ужасный поступок, и завтра об этом напишут в колонке сплетен; скандала не избежать. Мои родители обо всем узнают. Брат узнает. Узнают все мои подруги, все одноклассницы. Весь Нью-Йорк.

И правильно Оливия сказала: мне сломают жизнь.

До сих пор моя жизнь не слишком меня заботила, но все же мне было не настолько плевать на себя, чтобы разрушить собственное будущее. Пусть в последний год я вела себя беспечно, но в глубине души всегда надеялась, что в один прекрасный день оставлю безумства позади и снова стану респектабельной юной леди (как выразился мой брат, «опомнюсь»). Но с таким скандалом и такой оглаской о респектабельности можно забыть навсегда.

Да еще Эдна. Она уже все знает. К горлу снова подступила волна тошноты.

– Как Эдна отреагировала? – спросила я предательски дрожащим голосом.

Оливия взглянула на меня почти с жалостью, но промолчала.

– А ты как думаешь? – ответил Билли уже без малейших признаков жалости. – Эдна – кремень, но сердце ее сделано из гораздо более мягкого материала, так что она совершенно разбита, Вивиан. Ладно бы ее муж целовался с одной вертихвосткой, это она как-нибудь пережила бы, но с двумя? Причем одной из них оказалась ты. Как по-твоему, Вивиан? Что она должна чувствовать?

Я схватилась за голову.

И зачем я только родилась, подумалось мне. Лучше бы меня не было на свете.

– Тебе ли, Уильям, рассуждать о морали, – предостерегающе произнесла Оливия. – Ты и сам, знаешь ли, не святоша.

– Господи, как же я ненавижу Уинчелла. – Билли будто и не слышал замечания Оливии. – И он меня ненавидит не меньше. Он бы не раздумывая швырнул меня в костер, если бы надеялся получить за меня страховку.

– Позвони на студию, Билли, – снова потребовала Оливия. – Просто позвони и попроси вмешаться. Голливудские шишки могут всё.

– Да ничего они не могут, – бросил Билли. – Новость слишком уж горячая. И на дворе сорок первый, а не тридцать первый год. Теперь в Голливуде уже нет настолько влиятельных фигур. А Уинчелл могущественнее самого президента. Можем спорить хоть до Рождества, но итог будет прежним: я тут бессилен, и шишки с киностудии тут бессильны.

– Скандала не избежать, – еще раз повторила Пег и вздохнула, тяжело и печально.

Я закрыла глаза и утонула в кресле, мучаясь от тошноты и отвращения к себе.

Прошло всего несколько минут. Так мне показалось.

Открыв глаза, я увидела Оливию: она зашла в гостиную в пальто и шляпке, с сумочкой в руках. Я решила, что она выходила на улицу, а я не заметила. Стэн Вайнберг исчез, но принесенная им дурная весть висела в воздухе, как мерзкий запах. Пег по-прежнему дремала на диване, откинув голову, и время от времени что-то бессвязно бормотала во сне.

– Вивиан, иди и переоденься во что-нибудь поскромнее, – велела Оливия. – И поторопись, пожалуйста. Надень платье в цветочек, то, что привезла

с собой из Клинтона. Прихвати пальто и шляпку. На улице холодно. Мы уходим. А когда вернемся, не знаю.

– Уходим? Куда? – Неужели этой ужасной ночи не будет конца?

– В клуб «Аист». Я намерена отыскать Уолтера Уинчелла и поговорить с ним лично.

Билли рассмеялся:

– Оливия идет в клуб «Аист»! Требовать аудиенции у самого великого Уинчелла! Умора! Вот уж не знал, что ты слышана о клубе «Аист», Оливия. Думал, ты считаешь его родильной палатой.

Оливия проигнорировала его насмешки и лишь предупредила:

– Пожалуйста, Билли, не давай Пег больше пить сегодня. Чтобы разгрести эту навозную кучу, нам понадобится ее ясная голова – как только удастся привести Пег в чувство.

– В нее больше и не влезет, – ответил Билли, махнув в сторону дивана, где распростерлась Пег. – Взгляни на нее!

– Вивиан, давай быстрее, – поторопила меня Оливия. – Приведи себя в порядок. Помни: ты скромная благовоспитанная девушка и сегодня должна выглядеть соответствующим образом. Пригладь волосы. Сотри макияж. Короче, прими приличный вид, насколько это возможно. И руки вымой как следует, с мылом. От тебя несет борделем, чего нам не надо.

Удивительно, Анджела, что нынче никто не помнит Уолтера Уинчелла. Когда-то он был самым влиятельным репортером во всей Америке, то есть самым влиятельным человеком в мире. Разумеется, Уинчелл писал о богатых и знаменитых, но и сам был не менее богатым и знаменитым. А то и более. Публика его обожала; жертвы боялись как огня. Одним росчерком

пера он возводил и рушил репутации, как ребенок – песчаные замки. Говорят даже, именно благодаря Уинчеллу Рузвельта переизбрали на второй срок – репортер всецело поддерживал вступление Америки в войну, мечтал увидеть крах Гитлера и призывал публику голосовать за Рузвельта. Репортера послушали миллионы.

Долгое время Уинчелл славился лишь тем, что торговал грязными сплетнями и писал колкости. Мы с бабушкой, разумеется, зачитывались его колонкой. Не пропускали ни одного выпуска. Он знал всё обо всех. Его щупальца простирались повсюду.

В 1941-м клуб «Аист» фактически стал резиденцией Уинчелла. Об этом знал весь Нью-Йорк, и я в том числе: я много раз видела его в «Аисте» в ходе наших с Селией ночных вылазок. Репортер сидел за неизменным столиком под номером 50, как король на троне, и повелевал придворными. С одиннадцати вечера и до пяти утра его всегда можно было найти в «Аисте»; там он вершил свои грязные дела. Как посланники к великому хану, верноподданные стекались к нему со всех концов империи, чтобы попросить об одолжении или сообщить последние сплетни, питавшие ненасытное чудище – его газетную колонку.

Уинчеллу нравилось общество артисток бурлеска (впрочем, кому оно не нравилось?), и Селия несколько раз подсаживалась к нему за столик. Он знал ее по имени. Не раз я видела их вместе на танцполе. Как бы Билли о нем ни отзывался, танцевал Уинчелл отменно. Но я, несмотря на бесконечные вечера в «Аисте», ни разу не осмелилась подсесть к Уинчеллу. Во-первых, я не была ни актрисой, ни танцовщицей, ни богатой наследницей, а значит, не интересовала его. Во-вторых, я до смерти его боялась – даже когда у меня не было на то причин.

Теперь причина появилась.

В такси мы с Оливией ехали молча. Я онемела от страха и стыда, Оливия же никогда не отличалась болтливостью. Должна отметить, что держалась она со мной очень великодушно. Не отчитывала меня, как школьная директриса, хотя у нее были все поводы. Нет, той ночью Оливия вела себя очень по-деловому. Она определила для себя цель и полностью сосредоточилась на ней. Соображай я хоть немного в ту ночь, меня поразило бы и тронуло, что именно Оливия – не Пег и даже не Билли – взяла на себя ответственность за меня. Но я пребывала в смятении и не могла по достоинству оценить ее акт милосердия. Я ждала неминуемого конца и видела вокруг лишь обреченность и мрак.

Единственная инструкция, которую Оливия дала мне на выходе из такси, была такой:

– Когда подойдем к Уинчеллу, не говори ни слова. Ни слова, слышишь? Молчи и хлопай глазками. Больше от тебя ничего не требуется. За мной.

У дверей клуба нас остановили двое тамошних вышибал – Джеймс и Ник. Они знали меня в лицо, но сегодня не сразу сообразили, кто я такая. Я разительно отличалась от блистательной спутницы Селии Рэй, какой они привыкли меня видеть. Мой наряд совершенно не подходил для танцев в «Аисте». Ни вечернего платья, ни мехов, ни украшений (которые я обычно одалживала у Селии). Повинуясь приказу Оливии одеться поскромнее (к счастью, мне достало ума ее послушаться), я надела то самое платьице, в котором много месяцев назад приехала на поезде в Нью-Йорк. И пальто, которое носила еще в школе. Я стерла все следы грима и выглядела лет на пятнадцать.

Мало того, сегодня меня сопровождала вовсе не Селия, а ее полная противоположность. Вместо роскошной артистки бурлеска я держала под руку мисс

Оливию Томпсон, степенную даму в очках в проволочной оправе и старом коричневом пальто, вылитую школьную библиотекаршу. А то и маму школьной библиотекарши. Такие посетители едва ли поднимали градус царящего в клубе веселья, поэтому Джеймс и Ник синхронно вытянули руки и перегородили нам вход, как только Оливия направилась к двери.

– Мы пришли к мистеру Уинчеллу, – отчеканила она. – Дело срочное.

– Простите, мадам, свободных столиков нет, больше гостей не пускаем, – ответил Джеймс.

Он лгал, разумеется. Будь сейчас перед ним мы с Селией, разодетые в пух и прах, те же двери распахнулись бы так стремительно, что слетели бы с петель.

– А мистер Шерман Биллингсли, случаем, не на месте сегодня? – невозмутимо поинтересовались Оливия.

Вышибалы переглянулись. Откуда невзрачной библиотекарше известно имя Шермана Биллингсли, владельца заведения?

Воспользовавшись их замешательством, Оливия продолжала.

– Потрудитесь сообщить мистеру Биллингсли, что управляющая театром «Лили» желает поговорить с мистером Уинчеллом и дело не терпит отлагательств. Передайте, что я выступаю от имени его доброй подруги Пег Бьюэлл. Времени у нас мало. Речь о возможной публикации этих фотографий.

Тут Оливия достала из старушечьей клетчатой сумки мою погибель – тот самый коричневый конверт – и протянула его вышибалам. Ход был смелый, но отчаянные времена вызывают к отчаянным мерам. Ник взял конверт, открыл его, посмотрел снимки и присвистнул. Перевел взгляд с фотографий на меня,

затем снова на фотографии. Выражение его лица неуловимо изменилось. Теперь Ник меня узнал.

Он вздернул бровь и плотоядно ухмыльнулся:

– Сколько лет, сколько зим, Вивиан. Теперь ясно, почему ты нас забыла. Нашла занятие поинтереснее, да?

От стыда у меня горели щеки, но я понимала: это только начало.

– Будьте любезны следить за языком, мистер, когда говорите с моей племянницей, – изрекла Оливия таким стальным тоном, что им можно было просверлить дыру в банковском сейфе.

«Моей племянницей»?

С какой поры я стала племянницей Оливии?

Ник пристыженно извинился. Но Оливия еще не закончила.

– Итак, молодой человек, либо вы ведете нас к мистеру Биллингсли – а тот, несомненно, не одобрит вашего крайне неделикатного обращения с двумя дамами, которых он считает едва ли не родней, – либо провожаете прямоком к столику мистера Уинчелла. Либо одно, либо другое, иначе я не сдвинусь с места. Предлагаю выбрать столик мистера Уинчелла, поскольку я в любом случае там окажусь, чего бы это ни стоило, даже если в процессе кое-кто лишится работы.

Просто невероятно, Анджела, какого страху способна напустить на молодых парней степенная матрона средних лет с суровым голосом. Парни боятся их как огня. (Видимо, такие женщины слишком похожи на их матерей, монахинь или учительниц воскресной школы. Детские травмы от давних нагоняев и телесных наказаний слишком болезненны и глубоки.)

Джеймс и Ник переглянулись, еще раз посмотрели на Оливию и решили: с ней лучше не связываться.

Так мы очутились за столиком Уолтера Уинчелла.

Оливия присела рядом с великим Уинчеллом, но мне жестом велела встать у нее за спиной. Видимо, рассчитывала своим телом, как щитом, загородить меня от самого опасного и скандального в мире репортера. А может, просто старалась держать меня подальше, чтобы я не встревала в разговор и не портила ей игру.

Отодвинув стоявшую перед Уинчеллом пепельницу, Оливия положила на ее место конверт:

– Я пришла обсудить вот это.

Уинчелл открыл конверт и пролистал фотографии. Я впервые их увидела, хоть и стояла слишком далеко и не могла разглядеть как следует. Но сомнений быть не могло: две девушки и один мужчина сплелись в тесном объятии. Чтобы понять смысл происходящего, детали не требовались.

Уинчелл пожал плечами:

– Я их уже видел. И купил. Ничем не могу помочь.

– Я знаю, – ответила Оливия. – Насколько я понимаю, завтра в вечернем выпуске вы намерены их опубликовать.

– Дамочка, а вы кто такая, если не секрет?

– Оливия Томпсон. Управляющая театра «Лили».

Я буквально слышала, как у него в мозгах защелкал арифмометр, и наконец Уинчелл сообразил.

– А, та развалюха, где идет «Город женщин», – бросил он и зажег новую сигарету от окурка предыдущей.

– Верно, – кивнула Оливия. (Она даже не стала возражать против «развалюхи» – впрочем, если начистоту, как тут возразишь?)

– Хороший спектакль, – заметил Уинчелл. – Я написал о нем хвалебный отзыв.

Похоже, он ждал благодарности, но Оливия была не из тех, кто раздает благодарности направо и налево –

даже в том случае, когда сама пришла к Уинчеллу с поклоном.

– А что за юный зайчонок прячется у вас за спиной?

– Моя племянница.

Племянница, значит. Похоже, версия закрепилась.

– Не поздновато ли ей разгуливать в такое время? – спросил Уинчелл и присмотрелся ко мне повнимательнее.

Впервые я стояла к нему так близко, и мне это ни капли не нравилось. Высокий, лет сорока с небольшим репортер немного смахивал на хищную птицу; кожа гладкая, розовая, как у младенца; нервная, подвижная челюсть. Он был одет в темно-синий костюм – стрелки на брюках отглажены так, что порезаться можно, – светло-голубую рубашку, коричневые остроносые туфли и щегольскую серую фетровую шляпу. Богатый и всесильный, он и выглядел богатым и всесильным. Руки его постоянно пребывали в движении, но взгляд, которым он меня пригвоздил, казался пугающе застывшим. Уинчелла можно было бы даже назвать привлекательным, если бы не животный страх, который он у меня вызывал.

Впрочем, взгляд его на мне не задержался: я не заинтересовала репортера. Он оценил меня, проанализировал – «персона женского пола, молодая, неизвестная, незначительная» – и тут же выкинул из головы как совершенно бесполезную мелочь.

Оливия указала на одну из фотографий:

– Этот господин женат на нашей звезде.

– Дамочка, я его знаю лучше вашего. Артур Уилсон. Бесталанный олух. Туп как пробка. Судя по всему, цеплять девиц он умеет гораздо лучше, чем играть на сцене. Впрочем, когда его женушка увидит фотографии, она ему задаст.

– Она уже их видела, – сказала Оливия.

Теперь Уинчелл не скрывал раздражения:

– Меня больше интересует, как они оказались у вас. Эти снимки – моя собственность. Зачем вы показываете их всему городу? Собираетесь брать деньги за просмотр?

Оливия не ответила, а лишь смерила Уинчелла самым суровым взглядом, на который была способна.

Подошел официант и спросил, не желаем ли мы выпить.

– Нет, благодарю, – ответила Оливия, – мы воздерживаемся от алкоголя.

Сомнительное утверждение для любого, кто учуял бы сейчас мое дыхание.

– Если вы пришли с просьбой не публиковать статью, даже не надейтесь, – отрезал Уинчелл. – Это новости, а новости – моя работа. Если информация правдивая или интересная, я ее обязательно напечатаю. А здесь у нас и то, и другое. Муж Эдны Паркер Уотсон милуется с двумя девицами легкого поведения? Чего вы от меня ждете, дамочка? Что я буду стоять, скромно потупив взор, пока знаменитый актер развлекается со старлетками прямо посреди Манхэттена? Как известно, мне не по душе сплетни о супружеских парах, но раз уж люди так откровенно выставляются напоказ, чего вы от меня-то ждете?

Оливия пронзила его ледяным взглядом:

– Я жду от вас порядочности.

– Знаете, дамочка, а вы не робкого десятка. Вас не так-то легко напугать, верно? Я вроде начинаю вспоминать: вы работаете на Билли и Пег Бьюэлл.

– Правильно.

– Чудо, что ваше жалкое заведение еще не разорилось. Как вы столько лет удерживаете зрителей? Неужто приплачиваете им? Подмазываете?

– Загоняем в угол, – отвечала Оливия. – Мы обеспечиваем качественное развлечение, а в ответ зрители вынуждены покупать билеты.

Уинчелл рассмеялся, побарабанил пальцами по столу и склонил голову набок:

– Вы мне нравитесь. Хотя и работаете на этого высокомерного мерзавца Бьюэлла. У вас хорошая хватка. Стали бы при мне отличной секретаршей.

– У вас уже есть отличная секретарша, сэр, в лице мисс Роуз Бигман, которую я считаю своей подругой. Едва ли ей понравится, если вы наймете меня.

Уинчелл снова рассмеялся:

– Вы знаете все обо всех даже больше моего! – Затем улыбка бесследно исчезла, так и не затронув безжизненных глаз. – Послушайте, леди, я ничем не могу помочь. Сочувствую вашей звезде, но от публикации не откажусь.

– Я и не прошу вас отказаться от публикации.

– Тогда что вам от меня надо? Я уже предложил вам работу. И выпить предложил.

– Важно, чтобы имя этой девушки не появилось в вашей газете. – Оливия подвинула к нему одну из фотографий, сделанную несколько часов (а мне казалось, столетий) назад. На снимке я в экстазе запрокинула голову.

– И с какой это стати?

– С такой, что она невинна.

– А по ней не скажешь. – Снова этот холодный, неприятный смех.

– Сюжет не пострадает, если фамилия бедной девочки не появится в газете, – продолжала Оливия. – В историю вовлечены трое, и двое из них – публичные личности, актер и шоу-герл. Публика уже знает их по именам. Связав свою жизнь со сценой, они отдавали себе отчет, что выставляют свою жизнь на всеобщее обозрение. Скандал доставит им немало боли, но они как-нибудь переживут. Скандалы прилагаются к славе. Но эта девочка-подросток, – она снова ткнула в меня на фотографии, – учится в колледже, она из хорошей

семьи. После такого позора она уже не оправится. Назвав ее имя, вы сломаете ей жизнь.

– Погодите, так это она на снимке? – Теперь уже Уинчелл ткнул пальцем в мою сторону, словно палач, выбравший жертву из толпы.

– Именно, – кивнула Оливия. – Это моя племянница. Хорошая, милая девушка. Учится в Вассаре.

(Тут Оливия изрядно преувеличила: да, я посещала Вассар, но вряд ли можно сказать, что я там училась.)

Уинчелл все еще смотрел на меня.

– Тогда какого дьявола ты не на занятиях, дитя?

По правде говоря, Анджела, в тот момент я мечтала оказаться в Вассаре. Ноги подо мной подкашивались, легкие отказывались работать. Слава богу, Оливия приказала мне молчать. Я изо всех сил изображала благовоспитанную девушку, которая изучает литературу в почтенном заведении и трезва как стеклышко, – и сегодня роль давалась мне с большим трудом.

– Она тут гостит, – объяснила Оливия. – А сама из маленького городка, из порядочной семьи. Случайно попала в плохую компанию. С порядочными девушками в большом городе такое бывает сплошь и рядом. Она оступилась, только и всего.

– И вы просите не поливать ее грязью, так я понимаю?

– Точно. Я прошу вас подумать, так ли необходимо упоминать ее имя. Публикуйте свой материал, коль в том есть нужда, даже фотографии публикуйте. Но имя невинной девушки можно и опустить.

Уинчелл снова просмотрел фотографии. Выбрал одну, где я целовала Селию; моя рука змеей обвивалась вокруг шеи Артура Уотсона.

– Сама невинность, – заметил он.

– Ее соблазнили, – невозмутимо подчеркнула Оливия. – Она совершила ошибку. С кем не бывает.

– Если я перестану печатать сплетни только потому, что невинные овечки совершают ошибки, где мне взять денег на норковые шубы для жены и дочери?

– У вашей дочери красивое имя, – вдруг выпалила я без всякой задней мысли.

Звук собственного голоса заставил меня вздрогнуть. Вообще-то, я не собиралась говорить. Слова вылетели сами собой. Уинчелл и Оливия тоже удивились. Оливия развернулась и гневно воззрилась на меня, а Уинчелл недоуменно встрепнулся:

– Что ты сказала?

– Вивиан, сейчас тебе лучше помолчать, – прошипела Оливия.

– Сами помолчите, – велел ей Уинчелл. – Что ты сказала, девочка?

– У вашей дочери красивое имя, – повторила я, глядя на него, как кролик на удава. – Уолда.

– И что тебе известно о моей Уолде? – настойчиво спросил он.

Будь у меня достаточно мозгов или воображения, чтобы сочинить интересную историю, я ответила бы иначе, но от страха я разучилась даже врать.

– Мне всегда нравилось ее имя, – пролепетала я. – Видите ли, моего брата зовут Уолтер, как и вас. И отца моей бабушки тоже звали Уолтер. Бабушка попросила, чтобы брата назвали в честь ее отца. Чтобы сохранить семейную традицию. Еще давным-давно бабуля начала слушать ваши радиопередачи как раз из-за имени, потому что оно ей нравилось. А потом уже все ваши заметки читала. Мы их вместе читали в «Нью-Йорк график». Уолтер – ее любимое имя, и она очень обрадовалась, когда вы назвали своих детей Уолтер и Уолда. Она позволила родителям назвать меня Вивиан, но когда узнала, что вашу дочь зовут Уолдой, очень пожалела, что не выбрала такое же имя. Говорила, что оно утонченное и послужит добрым

предзнаменованием. В детстве я все время слушала вас по радио в передаче «Танцевальный час с „Лаки страйк“». Бабушке так нравилось ваше имя. И я тоже мечтала, чтобы меня звали Уолдой. Бабуля была бы счастлива.

Наконец я выдохлась, израсходовав весь запас обрывочных фраз и сообразив, что несу полную чушь.

– Кто заказывал краткое резюме? – пошутил Уинчелл, снова показав на меня пальцем.

– Не стоит ее слушать, – отрезала Оливия, – она разволновалась.

– А по-моему, дамочка, это вас не стоит слушать, – бросил репортер Оливии и снова повернулся ко мне: – Кажется, я видел тебя раньше. Ты здесь бывала, верно? И обычно с Селией Рэй?

Я обреченно кивнула и заметила, как у Оливии поникли плечи.

– Так и знал. Сегодня ты вырядилась невинной провинциалочкой, но я-то помню тебя другой. Чего ты только не вытворяла в этом самом зале. А теперь пытаешься убедить меня в своей порядочности? Вот так номер. Послушайте, вы обе, я вас раскусил. Вы надеялись заморочить мне голову, а я терпеть не могу, когда мне морочат голову. – Он повернулся к Оливии: – Вот только не пойму, вам-то какой резон сражаться за девчонку? Каждая собака в этом клубе подтвердит, что с невинностью она давным-давно распрощалась, да и никакая она вам не племянница. Господи, да вы даже с разных континентов. Акцент отличается.

– Она моя племянница, – уперлась Оливия.

– Дитя, скажи: это твоя тетя? – обратился Уинчелл ко мне напрямую.

От страха я разучилась врать, но сказать правду тоже не могла, поэтому выкрикнула: «Простите!» – и разрыдалась.

– Тьфу. У меня от вас мигрень, – буркнул Уинчелл, сунул мне свой носовой платок и приказал: – Садись, дитя. А то решат еще, что я злодей какой. Я согласен только на слезы старлеток и танцовщиц, которым я разбил сердце.

Он прикурил две сигареты и протянул одну мне.

– Или ты воздерживаешься? – с насмешливой улыбкой спросил он.

Дрожащими пальцами я с благодарностью взяла сигарету и сделала несколько глубоких затяжек.

– Сколько тебе лет? – спросил он.

– Двадцать.

– Достаточно, чтобы соображать. Впрочем, откуда у девиц соображение. Итак, ты говорила, что читала мою колонку в «Нью-Йорк график»? Это же было сто лет назад^[32].

Я пояснила:

– Моя бабушка вас обожала. Читала мне ваши заметки, когда я была еще совсем маленькая.

– Обожала, говоришь? И чем я ей так приглянулся? Кроме имени, о чем мы уже слышаны из твоего незабываемого монолога.

На этот вопрос я ответила с легкостью, поскольку бабушкины вкусы знала как свои.

– Ей нравился ваш стиль. Нравилось, когда вы называли жениха и невесту «обреченные» вместо «обрученные». Нравилось, что вы не боитесь конфликтов. И ваши театральные обзоры нравились. Она говорила, что из всех критиков вы единственный, кто с интересом смотрит спектакли и по-настоящему болеет душой за театр.

– Вот как, значит, говорила твоя бабуля? Рад слышать. И где эта чудесная женщина сейчас?

– Умерла, – ответила я и чуть снова не заплакала.

– Жаль. Терять преданных почитателей всегда больно. А брат твой, которого называли в честь меня?

Уолтер? Про него что расскажешь?

Уж не знаю, с чего это Уолтер Уинчелл решил, будто моего брата назвали в его честь, но спорить я не собиралась.

– Мой брат Уолтер во флоте, сэр. Проходит офицерскую подготовку.

– Записался добровольцем?

– Да, сэр, – кивнула я. – И ради этого бросил Принстон.

– Вот что нам сейчас нужно, – заметил Уинчелл. – Побольше таких ребят, как твой брат. Кому хватает отваги добровольно сражаться с Гитлером, хотя никто их не принуждает. Он славный парень, твой брат, да? Хорош собой?

– Да, сэр.

– Еще бы, с таким-то именем.

Снова подошел официант спросить, не нужно ли нам чего-нибудь, и я чуть было не заказала по привычке джинс с газировкой, но, к счастью, вовремя опомнилась. Официанта звали Луи. Мы с ним как-то целовались. К счастью, он меня не признал.

– Послушайте, – проворчал Уинчелл, – идите-ка вы подобра-поздорову. Вы портите репутацию моему столику. Как вас вообще сюда пустили, в таких-то нарядах.

– Мы уйдем, только если вы пообещаете, что имени Вивиан в завтрашней газете не будет, – заявила Оливия. Ее упертости можно было позавидовать.

– Дамочка, вы пришли в мой клуб, сели за мой столик и диктуете мне свои условия? – огрызнулся Уинчелл. – Я вам ничего не должен. И ничего обещать не стану. – Он повернулся ко мне: – Я бы посоветовал тебе впредь быть поосторожнее, дитя, но знаю, что ты меня не слушаешь. Рыльце у тебя в пушку: ты поступила скверно и попалась. Наверняка ты и раньше грешила, только прежде тебе это сходило с рук. Что ж, сегодня

не повезло. Негоже девушке из порядочной семьи путаться с чужим мужем и этой оторвой Селией Рэй. Готов поспорить, ты еще наделаешь глупостей. Одно скажу: когда такая милая девчушка якшается с отребьем вроде Селии Рэй, пора научиться самой стоять за себя. Эта старая карга, твоя так называемая тетя, вцепилась мне в шею бульдожьей хваткой, но храбрости ей не занимать. Уж не знаю, какой смысл ей за тебя биться и чем ты заслужила ее преданность. Но отныне, дитя, придется тебе самой за себя сражаться. А теперь убирайтесь обе с глаз долой, и хватит портить мне вечер. Только распугиваете важных людей.

Глава двадцатая

На следующий день я решила как можно дольше не показывать носа из комнаты. Я все ждала, когда же Селия вернется домой, чтобы поговорить о случившемся, но она так и не пришла. Я совсем не спала и вся изнервничалась. Голова гудела, точно в ней одновременно звонили тысячи дверных звонков. Я не вышла к завтраку и даже к обеду, боясь наткнуться на кого-нибудь, особенно на Эдну.

После обеда я тихонько выскользнула на улицу и купила газету, чтобы прочесть репортаж Уинчелла. Я открыла ее прямо возле киоска, сражаясь с мартовским ветром, который стремился унести прочь дурные известия.

Они напечатали нашу фотографию: мы с Артуром и Селией в тройном объятии. На снимке был виден мой профиль, хотя никто не сказал бы с абсолютной уверенностью, что это я. В скупом свете все красивые брюнетки выглядят одинаково. Но лица Артура и Селии пропечатались очень четко. Полагаю, они были важнее.

Я сглотнула ком в горле и заставила себя прочесть заметку.

Из колонки Уолтера Уинчелла в «Нью-Йорк дейли миррор», дневной выпуск от 25 марта 1941 года:

Не далее как вчера в неподобающем и неджентльменском поведении был уличен супруг миссис Эдны Паркер Уотсон. Этот ненасытный сластолюбец пытался согреться в объятиях не одной, а целых двух американских артисток бурлеска! Да-да, вы не ослышались: Артура Уотсона видели у входа в клуб «Прожектор» в жарких объятиях его коллеги по спектаклю «Город женщин» Селии Рэй и еще одной длинноногой уроженки Лесбоса... Вот чем занят господин Уотсон, пока его земляки сражаются с Гитлером не на жизнь, а на смерть, – устраивает спектакли прямо на панели!.. Надеемся, нашим голубкам понравилось позировать перед камерами, ведь не надо большого ума, чтобы понять: еще одному звездному браку потребуются Рино-вация^[33]. Могу поспорить, женушка вчера задала Артуру трепку по высшему разряду... Дрянной у Уотсонов выдался денек! Лучше бы оставались в постельке... Вот что птичка на хвосте принесла.

«Длинноногая уроженка Лесбоса».

Никакого имени.

Оливия спасла меня.

Около шести в дверь моей комнаты постучали. Это оказалась Пег, вся зеленая с похмелья. Выглядела она премерзко – примерно так же, как я себя чувствовала.

Она присела на мою кровать, заваленную одеждой.

– Вот дерьмо, – сказала она, как нельзя лучше обозначив сложившуюся ситуацию.

Мы долго сидели молча.

– Ох, малышка, ну и набедокурила ты, – наконец вздохнула она.

– Простите, Пег. Мне очень жаль.

– Не извиняйся. Отчитывать я тебя не собираюсь. Но неприятностей теперь не оберешься. Самых разных. Мы с Оливией с раннего утра пытаемся восстановить хоть какое-то подобие порядка в этом дурдоме.

– Мне очень-очень жаль, – только и могла повторить я.

– Брось. Извиняться будешь перед другими. Мне твои сожаления ни к чему. Но нам с тобой есть что обсудить. Во-первых, хочу тебе сообщить, что Селия уволена.

Уволена?! Раньше из «Лили» никого не увольняли.

– Но куда она пойдет? – спросила я.

– Куда глаза глядят. С Селией покончено. Ноги ее больше не будет в «Лили». Я велела ей забрать вещи сегодня во время вечернего спектакля. И попрошу тебя уйти на то время, когда она будет здесь. Не хочу еще больше нагнетать обстановку.

Селия уезжает, а я даже не смогу попрощаться! Но куда ей деваться? У нее ни гроша за душой, я абсолютно точно это знала. Ей негде жить. У нее никого нет. Она же пропадет.

– У меня не было выбора, – заметила Пег. – Не могу же я заставлять Эдну и дальше делить сцену с этой женщиной. И если бы я не уволила Селию, остальные артисты взбунтовались бы. Все очень злы на нее. Мы не можем рисковать. Селию заменит Глэдис. Она не так хороша, но сойдет. Жаль, что нельзя уволить Артура, – Эдна не позволит. Возможно, она сама его прогонит, но тут уж ей решать. Он тот еще паршивец, спору нет, но что я могу поделать? Она его любит.

– И Эдна сегодня будет выступать? – потрясенно спросила я.

– Конечно. А почему бы ей не выступать? Облажалась-то не она.

Я поморщилась. Однако меня потрясло, что Эдна согласилась выйти на сцену как ни в чем не бывало. Я-

то думала, что она будет прятаться – сбежит на курорт восстанавливать душевный покой или как минимум запрется в комнате, оплакивая свою несчастную судьбу. Я бы не удивилась отмене спектакля.

– Вечер едва ли будет для нее приятным, – продолжала Пег. – Разумеется, колонку Уинчелла читали абсолютно все. Наверняка публика будет шептаться. Смотреть на нее жадными глазами и ждать, что она сорвется, даст слабинку. Но Эдна – боец, ее так легко не проймешь. Она сделает вид, что ничего не произошло. Шоу должно продолжаться – вот ее девиз. Нам повезло, что она такая сильная. Не будь в ней этой решимости, не будь она мне такой доброй подругой, сбежала бы без оглядки – и что тогда стало бы с нами? Благодарю Бога, что Эдна такая стойкая. Она останется несмотря ни на что.

Пег закурила и продолжала:

– Сегодня я говорила с твоим приятелем Энтони. Он хотел уволиться. Сказал, что мы ему надоели. Что мы его «жучим», что бы это ни значило. Особенно ты. Я сумела убедить его остаться, но он потребовал прибавку к зарплате и отдельно оговорил, чтобы ты к нему «не лезла». Потому что ты поступила с ним «посвински». Он не хочет с тобой знаться. Ему надоело, что ты к нему «цепляешься». Я просто повторяю его слова, Вивви. Надеюсь, смысл ты уловила. Не знаю, сумеет ли он сегодня хорошо сыграть, но скоро мы это выясним. Оливия сегодня долго с ним разговаривала, пыталась вразумить. Но тебе лучше к нему не соваться. Просто сделай вид, что его не существует.

Меня будто вывернули наизнанку. Селию выгнали. Энтони больше не хочет меня знать. А Эдне придется выступать перед целым залом кровопийц, жаждущих ее краха. И все из-за меня.

– А теперь скажи начистоту, Вивви, – продолжала Пег. – Давно ты путаешься с Артуром Уотсоном?

– Я с ним не путаюсь. Это было только один раз. Только вчера.

Тетя пристально посмотрела на меня, словно пытаюсь определить, говорю ли я правду. А потом отвела взгляд. Не знаю, поверила она мне или нет; может, решила, что это уже не важно. А у меня попросту не осталось сил защищаться. Да и защищать было нечего.

– Почему ты так поступила? – спросила Пег скорее с недоумением, чем с осуждением. И поскольку я не сразу ответила, она быстро добавила: – Не отвечай. Причина всегда найдется.

– Я думала, Эдна путается с Энтони, – проблеяла я.

– Что ж, это неправда. Я знаю Эдну и готова за нее поручиться. Она никогда так не делала – и не сделает. А если бы и сделала, Виввиан, это не оправдание.

– Простите, Пег, – снова пробормотала я.

– История попадет во все газеты. И не только в Нью-Йорке – везде. «Вэрайети» не упустит такого случая. Как и голливудские таблоиды. Не говоря уж о лондонских. Оливии весь день называют репортеры и просят прокомментировать ситуацию. У служебного входа дежурят фотографы. Для Эдны с ее безупречной репутацией это катастрофа.

– Пег. Скажите, чем я могу помочь. Умоляю.

– Ничем, – ответила она. – Единственное, что от тебя сейчас требуется, – сидеть тихо, помалкивать и надеяться на милость толпы. Слышала, вы с Оливией вчера ходили в «Аист»?

Я кивнула.

– Не хочу драматизировать, Вивви, но ты ведь понимаешь, что Оливия спасла тебя от позора?

– Понимаю.

– Можешь представить, что сказали бы твои родители? Такое пятно на репутации, в вашей-то среде, да еще и с фотографиями в подтверждение.

Я могла представить. Я и представляла. Всю ночь.

– Ты так легко отделалась, что это даже нечестно, Вивви. Остальные участники истории огребли с лихвой, и Эдна больше всех, но тебе все сошло с рук.

– Знаю, – ответила я. – Мне очень жаль.

Пег вздохнула:

– Что ж. В который раз Оливия всех выручила. Я уже со счета сбилась, сколько раз за эти годы она нас выручала – выручала меня саму. Самая замечательная, самая достойная женщина из всех, кого я знала. Надеюсь, ты ее поблагодарила?

– Да, – ответила я, хотя на самом деле сомневалась в этом.

– Жаль, что я с вами вчера не пошла. Но я и не смогла бы. В последнее время я стала хлестать джин, как водичку. И всегда это заканчивается одинаково. Даже не помню, как вчера вернулась домой. Но это я должна была пойти к Уинчеллу, это я должна была за тебя заступиться. Я, не Оливия. В конце концов, я твоя тетя. Это мой долг. Билли тоже мог бы помочь, но на него нельзя рассчитывать в кризисных ситуациях – он всегда первым делом бросается спасать себя. Да и не он за тебя отвечает. Нет, это была моя обязанность, а я оплошала. И мне очень стыдно за себя, малышка. Надо было лучше присматривать за тобой.

– Вы не виноваты, – ответила я совершенно серьезно. – Виновата только я.

– Ладно, теперь уже ничего не исправишь. Похоже, зеленый змий снова меня победил. Знаешь, так всегда бывает, когда появляется Билли и начинается праздник, конфетти, веселье. И поначалу мне действительно весело – а потом однажды утром я просыпаюсь и вижу, что мир пошел кувырком, пока я валялась в отключке, и Оливии пришлось разгребать за мной бардак. Когда же я наконец усвою урок.

Я даже не знала, что тут ответить.

– Что ж, Вивви, не падай духом. Как говорится, не конец света. Сейчас тебе не верится, но это и правда не конец света. Бывает и хуже. У нас хотя бы руки-ноги на месте.

– Вы меня уволите?

Она рассмеялась:

– Уволю? Да я тебя и не нанимала! – Она взглянула на часы и встала. – И еще. Эдна не пожелала видеть тебя сегодня перед спектаклем. С костюмом ей поможет Глэдис. Но после выступления она хочет с тобой поговорить. Велела передать, чтобы ты зашла к ней в гримерку.

– О боже, Пег. – Меня опять замутило.

– Нельзя же вечно от нее прятаться. Лучше покончить с этим как можно раньше. Она не станет с тобой церемониться, сразу предупреждаю. Но у нее есть право высказать все, что она о тебе думает. И ты заслуживаешь хорошей взбучки. Так что иди и извинись перед ней, если она позволит. Признайся во всем и получи по заслугам. Чем скорее тебя размажут по земле, Вивви, тем скорее ты сможешь начать отстраивать свою жизнь заново. Уж поверь мне, я это проходила. Послушай старого профессионала.

Я топталась у задней стены зрительного зала и смотрела спектакль из тени, где мне было самое место.

Если тем вечером зрители пришли понаблюдать, как Эдна Паркер Уотсон корчится от стыда, их ждало разочарование. Ибо стыда в ней не было и в помине. За ней следили сотни глаз, о ней шептались, над ней хихикали, а она, подобно бабочке, припиленная к сцене раскаленным белым лучом прожектора, играла свою роль – играла блестяще, как всегда. Ни один мускул не дрогнул у нее на лице, вопреки ожиданиям кровожадной толпы. Миссис Алебастр, как в любой

другой вечер, была весела, обаятельна и расслаблена. Казалось, никогда еще Эдна не держалась так естественно и грациозно. Ее уверенность не пострадала ни на йоту, а на лице отражалась лишь радость от того, что она звезда этой легкой, приятной пьесы.

Остальные члены труппы, напротив, заметно нервничали, по крайней мере поначалу. Они путались в ногах и забывали слова, но спокойствие Эдны в конце концов оказалось заразительным. Как сила притяжения, она в тот вечер подчинила всех своей воле. Вот только откуда она сама черпала силы и спокойствие, я сказать не могу.

Что до Энтони, тот держался особенно нахально и дерзко – думаю, мне не показалось. Счастливчик Бобби в его исполнении чуть не превратился в Задиру Бобби, но Эдна и его приструнила.

Моя милая Глэдис, занявшая место Селии, в ее костюме, выглядела идеально и станцевала свой номер без единой запинки. Ей не хватало тягучей, почти карикатурной чувственности Селии, которая и делала ее исполнение таким взрывным, но Глэдис хорошо справилась с ролью, а большего от нее и не требовалось.

Артур играл ужасно, впрочем, как и всегда. Правда, в тот вечер он и выглядел ужасно. Под глазами у него появились болезненные серые круги, весь спектакль он вытирал вспотевшую шею и таращился на Эдну с глупым видом служебной собачки. Он даже не пытался скрыть свое расстройство. Единственное утешение, что роль Артура урезали до абсолютного минимума и он провел на сцене всего пару минут, не успев за это время все испортить.

Но Эдна все же изменила кое-что в своей роли в тот вечер, и изменение было значительным. Обычно она пела свою заключительную балладу, обратив лицо и взгляд вверх, под своды театра. Но в этот раз,

повинуясь минутному порыву, подошла к самому краю сцены и пела, глядя в зрительный зал, выбирая отдельных людей из толпы и обращаясь к каждому из них. Она говорила с публикой напрямую, глядя зрителям в глаза и поддерживая визуальный контакт. Она изливала им душу. Никогда еще ее голос не был столь проникновенным; никогда прежде в нем не сквозила такая дерзость: «Может, мне повезет, я не знаю исход. Не влюбиться ли мне?»

Этой песней она бросала вызов всем присутствующим в зале. Она словно спрашивала каждого из них, одного за другим: «Разве вам никогда не причиняли боль? И никто не разбивал вам сердце? Неужели вы ни разу не рисковали ради любви?»

К финалу номера Эдна довела всех до слез – а сама с сухими глазами спокойно принимала их аплодисменты.

За всю свою жизнь я не встречала женщины сильнее.

Я постучала в ее гримерку онемевшей рукой.

– Заходи, – велела она.

Голову мне словно набили ватой. Уши заложило. Во рту поселился привкус кислятины и сигарет. От недосыпа и рыданий в глаза будто песка насыпали. Я сутки не ела и не могла представить, что когда-нибудь захочу есть. На мне было то же платье, в котором я ходила вчера в «Аист». Со вчерашней ночи я даже не причесывалась: мне не хватало духу взглянуть на себя в зеркало. Ноги словно существовали отдельно от всего тела; я не понимала, откуда у них берутся силы делать шаги. И на мгновение, что я стояла на пороге, даже эти силы исчезли. Потом я заставила себя войти, как человек заставляет себя переступить через край обрыва и броситься в океан.

Эдна стояла у туалетного столика, напротив зеркала, в нимбе света от ярких ламп. Она сложила руки на груди и выглядела спокойной. Она меня ждала. На ней все еще был костюм миссис Алебастр – фантастической красоты вечернее платье, что я сшила для нее много месяцев назад. Мерцающий голубой шелк, усыпанный стразами.

Я понуро стояла перед ней. Будучи на две головы выше Эдны, в тот момент я казалась себе мышью, снующей у нее под ногами.

– Почему бы тебе не высказаться первой, – произнесла она.

Я не готовила речь. Но Эдна не предлагала, а приказывала. Я открыла рот, и оттуда посыпались сбивчивые, бессвязные, жалкие оправдания. Целый водопад оправданий вперемешку с потоком униженных извинений. За ними последовали мольбы о прощении. Наивные обещания все исправить. Трусость и отрицание («Это было всего один раз, Эдна!»). К стыду своему, среди всего этого лепета я повторила фразу Артура Уотсона: «Она любит молоденьких».

Я путалась в глупых словах, а Эдна спокойно наблюдала, как я затягиваю петлю на собственной шее. Она не прерывала меня и никак не реагировала. Наконец я остановилась, извергнув последнюю порцию словесного мусора. И застыла в молчании под ее немигающим взглядом.

Когда Эдна заговорила, ее голос был зловеще тих и мягок.

– Одного ты о себе не понимаешь, Вивиан, – ты совершенно неинтересный человек. Ты красива, да, но лишь благодаря молодости. Впрочем, твоя красота скоро увянет. И ты никогда не станешь интересной. Я говорю тебе об этом, Вивиан, потому что мне кажется, ты заблуждаешься на свой счет и считаешь себя важной, а свою жизнь – значительной. Но ты никто, и

жизнь твоя значения не имеет. Когда-то мне показалось, что у тебя есть шанс стать интересной, но я ошибалась. Вот твоя тетя Пег – она интересный человек. Оливия – интересный человек. Я – интересный человек. Но ты – нет, ты совсем не интересна. Понимаешь?

Я кивнула.

– Ты, Вивиан, – не личность, а типаж. Точнее, типичная женщина. Удручающе типичная. Думаешь, я раньше таких, как ты, не встречала? Они вечно путаются у меня под ногами, ведут свою мелкую пошлую игру и создают мелкие и пошлые проблемы. Такие, как ты, Вивиан, никогда не бывают верными подругами, потому что их вечно тянет поиграть с чужими игрушками. Такие, как ты, верят в свою значимость, потому что умеют портить жизнь другим и создавать проблемы. Но на самом деле вы незначительны и скучны.

Я открыла было рот, чтобы заговорить, излить очередную порцию бессвязного бреда, но Эдна меня остановила:

– Не позорься, дорогая, лучше помолчи. Ты уже сказала достаточно.

Она произнесла эти слова с подобием улыбки, даже с подобием нежности, чем окончательно меня добила.

– И еще кое-что, Вивиан. Знай, что твоя подруга Селия уделяла тебе столько внимания лишь потому, что считала тебя аристократкой. Но ты не аристократка. А ты уделяла ей столько внимания лишь потому, что считала ее звездой. Но она не звезда. И никогда ею не станет, как и ты никогда не станешь аристократкой. Вы просто обычные девочки, каких пруд пруди. Такие обычные, что тошно. Вы – типаж, Вивиан. Таких, как вы, миллионы.

Сердце у меня сжалось до мизерных размеров, превратившись в мятый комочек фольги, раздавленный в ее изящном кулачке.

– Хочешь узнать, Вивиан, как тебе из типажа превратиться в личность?

Наверное, я кивнула, потому что она продолжала:

– Я тебе скажу. Никак. Сколько ни старайся сделать свою жизнь значительной, у тебя ничего не выйдет. Ты всегда будешь никем, Вивиан. Никогда и ни при каких условиях не обретишь ни малейшего значения.

Она ласково улыбнулась.

– А еще я готова поспорить, что совсем скоро ты вернешься домой, к родителям. Туда, где тебе самое место. Ведь так, дорогая?

Глава двадцать первая

Следующий час я простояла в телефонной будке в дальнем углу круглосуточной аптеки, пытаюсь дозвониться до брата.

Я обезумела от отчаяния.

Можно было воспользоваться телефоном в «Лили», но я не хотела, чтобы кто-нибудь услышал мой разговор, да и стыдилась показываться на глаза обитателям театра. Потому и побежала в аптеку.

Уолтер оставил мне номер офицерской школы в Верхнем Вест-Сайде и велел звонить только в чрезвычайной ситуации. Что ж, чрезвычайная ситуация настала. Но в одиннадцать вечера в школе никто не брал трубку. Это меня не остановило. Я упорно опускала монетку в щель и слушала бесконечные гудки на том конце провода. Выжидала двадцать пять гудков, затем вешала трубку и звонила снова – тот же номер, та же монетка. И все это время рыдала. До икоты.

Действия приобрели автоматизм: набрать номер, сосчитать гудки, повесить трубку, услышать звук падающей монеты, достать ее, снова опустить в щель, набрать, сосчитать, повесить. Всхлипнуть, икнуть.

И вдруг в динамике раздался голос. Злобный голос.

– ЧТО НАДО?! – проорал он мне в ухо. – Кто это, черт возьми?!

Я чуть не выронила трубку. Я впала в такой глубокий транс, что позабыла, зачем нужен телефон.

– Не могли бы вы позвать Уолтера Морриса, – опомнившись, пролепетала я. – Пожалуйста, сэр. Это срочно. Семейное дело.

Мой собеседник обрушил на меня поток ругательств («Совсем из ума выжила, малявка, звонить в такой безбожный час!») и, само собой, прочел лекцию о том, в какое время положено и не положено тревожить приличных людей. Но гнев его был не чета моему отчаянию. Громогласная лекция о соблюдении протокола ничего для меня не значила. В конце концов человек на том конце провода, верно, сообразил, что его правила в моем случае не действуют, и отправился на поиски моего брата.

Я долго ждала, скармливая монеты телефонному аппарату, пытаюсь собраться и слушая собственное прерывистое дыхание.

Наконец подошел Уолтер.

– Что стряслось, Ви? – спросил он.

Услышав голос брата, я снова перестала владеть собой и рассыпалась на тысячу маленьких кусочков. А потом сквозь слезы и икоту все ему выложила.

– Ты должен забрать меня отсюда, – взмолилась я, когда он дослушал до конца. – Должен отвезти меня домой.

Ума не приложу, как Уолтер сумел так быстро все организовать, да еще и посреди ночи. Не знаю, как у них все устроено в армии – увольнительные и прочее, – но для моего брата не существовало ничего невозможного, и он все решил. Я ни капли в нем не сомневалась. Я знала: Уолтер способен исправить что угодно.

Пока Уолтер готовил мой побег (договаривался об увольнительной, искал машину), я собирала вещи – распахивала по чемоданам платья и туфли, дрожащими пальцами упаковывала швейную машинку. Потом я написала Пег и Оливии длинное слезливое самоуничижительное письмо и оставила его на кухонном столе. Не помню всего, что там говорилось, но послание сочилось истерикой. Потом я жалела, что просто не написала: «Спасибо, что заботились обо мне, и простите, что была такой идиоткой». У Пег с Оливией и без меня хватало проблем. Моя дурацкая двадцатистраничная исповедь была совершенно лишней.

Но они все равно ее получили.

Перед самым рассветом Уолтер подъехал к театру «Лили», чтобы забрать меня и отвезти домой.

Он был не один. Ему удалось найти машину, но в нагрузку к ней прилагался водитель – высокий худощавый юноша в такой же, как у Уолтера, форме курсанта офицерской школы; по всей видимости, его одноклассник. Чернявый – похоже, итальянец, – он говорил с сильным бруклинским акцентом. Юноша поехал с нами; старенький фордик принадлежал ему.

Мне было все равно. Все равно, кто с нами ехал; все равно, кто видел меня в столь расстроенных чувствах, – я была в отчаянии и не замечала ничего вокруг. Я знала только одно: мне нужно уехать из «Лили» немедленно, прежде чем все проснутся и увидят меня. Я больше ни минуты не могла находиться в одном здании с Эдной. По сути, она в своей изысканной манере приказала мне убираться, и я четко и ясно услышала приказ. Я должна была уехать.

Сейчас же.

В голове стучало только одно: «Заберите меня отсюда».

Когда начало светать, мы миновали мост Джорджа Вашингтона. Я не могла заставить себя обернуться и посмотреть на Нью-Йорк, оставшийся позади. Это было невыносимо. Я покидала город, но мне казалось, будто его у меня отняли. Я показала себя с худшей стороны, продемонстрировала свою ненадежность, и этот город вырвали у меня из рук, как забирают у ребенка ценную хрупкую вещь.

Стоило нам переехать мост и очутиться за городской чертой, как Уолтер накинулся на меня. Впервые я видела его таким сердитым. Он никогда не выходил из себя, но сейчас совсем перестал сдерживаться. Сказал, что я опозорила семью. Напомнил, как мне повезло в жизни и как легкомысленно я распорядилась дарами судьбы. Отметил, сколько денег родители вложили в мое воспитание и образование, хотя я совсем того не заслуживала. Разъяснил, что в конце концов случается с девушками вроде меня: мужчины их используют, а потом выбрасывают за ненадобностью. Заявил, что мне еще повезло, раз я не попала в тюрьму, не забеременела и не лежу убитой в канаве, – с моим поведением подобный исход мне еще как светил. И что теперь мне в жизни не найти хорошего мужа из уважаемого общества: кто захочет иметь со мной дело, узнав хотя бы половину моей истории? Побратавшись с дворняжками, я испортила свою породу. Уолтер строго-настрого запретил мне рассказывать родителям, чем я занималась в Нью-Йорке и что натворила. И вовсе не для того, чтобы уберечь меня (я этого не заслужила), а чтобы уберечь папу с мамой. Они никогда не оправятся от удара, если узнают, как низко пала их дочь. А еще

Уолтер напрямую заявил, что впредь спасать меня не будет. Это первый и последний раз.

– Скажи спасибо, что я не везу тебя в исправительную колонию, – добавил он.

И все это в присутствии юноши, который вел машину, как будто тот был невидимкой и ничего не слышал.

Или будто я была настолько отвратительна, что Уолтера не заботило, кто об этом узнает.

Итак, брат обливал меня помоями, наш водитель против воли выслушивал детали моего падения, а я просто застыла на заднем сиденье и молча терпела. Да, это было ужасно. Но должна тебе сказать, что в сравнении с недавней отповедью Эдны это было далеко не так ужасно. Уолтер, по крайней мере, злился. А вот непоколебимое спокойствие Эдны невыносимо унижало. Уж лучше его огонь, чем ее лед.

Впрочем, на тот момент я утратила чувствительность ко всякой боли. Я не спала тридцать шесть часов. В течение последних полутора суток я успела: напиться до беспамятства, испортить себе жизнь, перепугаться до смерти; меня унизили, бросили и отругали. Я потеряла лучшую подругу, возлюбленного, круг общения, работу, самоуважение и город, который успела полюбить. Эдна – женщина, которую я обожала и которой восхищалась, – назвала меня ничтожеством и предрекла, что я всегда им останусь. Мне пришлось умолять старшего брата о спасении и выложить ему всю свою подноготную. Меня разоблачили, выпотрошили, вывернули наизнанку. Слова Уолтера уже не могли меня ни пристыдить, ни ранить.

Зато меня ранили слова нашего водителя.

Примерно через час после отъезда, когда Уолтер на миг прекратил меня отчитывать (чтобы перевести дыхание, я полагаю), худощавый юноша за рулем автомобиля впервые заговорил:

– Представляю, как ты расстроен, Уолт. Это ж надо, чтобы сестра такого образцового парня оказалась грязной маленькой потаскушкой.

Вот эти слова меня всерьез задели.

И не просто задели, а выжгли мне самое нутро. Я будто глотнула кислоты.

Мало того что парень осмелился сказать такое, он произнес эти слова в присутствии Уолтера! Да он хоть видел моего брата? Рост шесть с половиной футов, сплошные мышцы?

Замерев, я ждала, что Уолтер набросится на него или, по меньшей мере, осадит.

Но брат промолчал.

Мой брат не оспорил слова приятеля, потому что, видимо, был с ним согласен.

Мы ехали дальше, а отзвуки жестоких слов рикошетили от стен машины многократным эхом, и громче всего это эхо звучало у меня голове.

«Грязная маленькая потаскушка, грязная маленькая потаскушка, грязная маленькая потаскушка...»

Последнее эхо растаяло, и беспощадная тишина сомкнулась над нами темными водами.

Я закрыла глаза и позволила течению утащить себя на дно.

Родители, не знаящие о нашем приезде, сперва очень обрадовались при виде Уолтера, затем пришли в недоумение при виде меня, а поняв, что мы приехали вместе, встревожились. Но Уолтер не стал ничего объяснять. Он лишь сказал, что я соскучилась по дому, вот он и решил отвезти меня в Клинтон. После чего он замолк, а я вовсе не открывала рта. Мы даже не пытались вести себя нормально при родителях, которые, кажется, совсем растерялись.

– А ты надолго, Уолтер? – спросила мама.

– Не останусь даже на ужин, увы, – ответил брат и пояснил, что должен немедленно вернуться в город: достаточно того, что он пропустил один день учебы.

– А Вивиан?

– Это уж вам решать. – Уолтер пожал плечами, будто его совершенно не заботило, куда я денусь, останусь ли я дома и на какой срок.

В любой другой семье дальше последовали бы более настойчивые расспросы. Но у нас, в семье истинных белых англосаксонских протестантов, существовал иной культурный протокол. На тот случай, если тебе не доводилось общаться с белыми англосаксами, Анджела, объясню: в нашем кругу лишь одно правило является незыблемым.

Ничего не обсуждать.

В англосаксонской среде это правило касается всего – от малейшего промаха за обеденным столом до самоубийства родственника.

В любой неловкой ситуации – никаких дальнейших расспросов: таков девиз людей моего круга.

И как только до родителей дошло, что ни я, ни Уолтер не намерены распространяться о причинах моего загадочного визита – точнее, загадочной высадки, – они больше ни о чем меня не спрашивали.

Что до Уолтера, тот доставил меня в родительский дом, выгрузил мои вещи из машины, поцеловал маму на прощанье, пожал руку папе и, не сказав мне ни слова, отправился обратно в город – готовиться к другой, гораздо более важной войне.

Глава двадцать вторая

Засим последовал период мутной, бесформенной тоски.

Что-то во мне сломалось, и я потеряла волю к жизни. Я пала жертвой собственных действий и, как следствие, решила впредь отказаться от любых действий вообще. Поскольку теперь я жила дома, я позволила родителям

распоряжаться моим временем и тупо соглашалась на все, что мне предлагали.

Мы вместе завтракали, пили кофе и читали газеты; я помогала маме готовить сэндвичи на обед. Ужин подавали в полшестого; готовила его, само собой, кухарка. После ужина мы снова читали газеты, играли в карты и слушали радио.

Папа предложил мне работу в своей фирме, и я согласилась. Он посадил меня в секретарскую, где я семь часов в день переключала бумажки и отвечала на звонки, если остальные сотрудники были заняты. Худо-бедно я научилась вести картотеку. Мне казалось, что меня вот-вот разоблачат как самозванку, поймут, что я лишь притворяюсь секретаршей, но все шло нормально. Отец даже платил мне маленькую зарплату за «работу», а мне было чем заполнить бесконечную череду дней.

Каждое утро мы с папой ехали на машине в контору, а вечером он привозил меня домой. Всю дорогу от дома до работы и от работы до дома он рассуждал о политике: твердил, что Америка ни в коем случае не должна вступать в войну, обзывал Рузвельта профсоюзной марионеткой и сетовал, что власть в стране скоро захватят коммунисты. Папа всегда больше боялся коммунистов, чем фашистов. Я слушала его, но по-настоящему не слышала.

Я стала очень рассеянной, ни на чем не могла сосредоточиться. В голове постоянно грохотал топот тяжелых башмаков, напоминая, что я грязная маленькая потаскушка.

Все вокруг выглядело маленьким. Моя детская комната с ее маленькой девчачьей кроватью. Низкие потолки. Тихие голоса родителей за завтраком. Почти пустая парковка перед церковью в воскресенье. Старая бакалейная лавка, где, сколько я себя помнила, все время продавалось одно и то же. Закусочная,

работавшая до двух часов пополудни. Мой шкаф, набитый детской одеждой. Мои старые куклы. Все это давило на меня и наполняло тоской.

Каждое слово, доносившееся из радиоприемника, казалось далеким и нереальным. Меня удручали песни – как веселые, так и грустные. Я слушала радиопостановки и никак не могла уловить сюжетную нить. Иногда по радио выступал Уолтер Уинчелл – сообщал очередную сенсацию или призывал Америку вмешаться в войну в Европе. При звуках его голоса внутренности у меня скручивались в тугой узел, но отец быстро щелкал выключателем и ругался: «Этот олух не успокоится, пока всех добрых американских ребят не отправят в Европу, где их перестреляют нацисты!»

В свежем номере «Лайф», добравшемся до нашей глуши лишь в середине августа, была статья о сенсационной нью-йоркской пьесе «Город женщин» и Эдне Паркер Уотсон, игравшей в ней главную роль. Статья сопровождалась фотографиями знаменитой британской актрисы. Эдна выглядела потрясающе. На главном портрете на ней был костюм, который я для нее сшила в прошлом году, – темно-серый, с приталенным жакетом и роскошным кроваво-красным воротником из тафты. На другой фотографии Эдна под руку с Артуром прогуливалась в Центральном парке. («Несмотря на свой успех, миссис Уотсон по-прежнему считает роль жены самой главной для себя. „Актрисы любят говорить, что замужем за театром. Но я предпочитаю быть замужем за мужчиной!“ – признается звезда, всегда отличавшаяся безупречным стилем».)

Когда я прочла эту статью впервые, то ощутила себя гниющей старой лодчонкой, медленно погружающейся на дно илистого пруда. Сейчас я чувствую ярость. Артуру Уотсону сошли с рук всего его проступки и ложь. Пег выгнала Селию, Эдна выгнала меня, но Артур по-

прежнему наслаждался своей замечательной жизнью со своей замечательной женой, будто ничего не случилось.

От грязных маленьких потаскушек мгновенно отделились, словно их и не было вовсе; мужчине позволили остаться.

Тогда я не понимала, насколько это лицемерно.

Теперь понимаю.

Субботними вечерами родители стали брать меня в загородный клуб на танцы. За громким названием «бальный зал» скрывалась столовая среднего размера со сдвинутой к стене мебелью. Музыканты тоже не блистали. Я слушала их и думала о том, что в Нью-Йорке открыли летнюю крышу в «Сент-Реджисе», а я больше никогда не буду там танцевать.

В загородном клубе я встречала старых друзей и соседей. Я старалась поддерживать беседу, как могла. Многие слышали, что я некоторое время жила в Нью-Йорке, и пытались говорить со мной об этом. («Не представляю, как нью-йоркцы живут в этих многоэтажных коробках друг у друга на головах!») Я тоже пыталась с ними говорить – о летних коттеджах на озере, георгинах, рецептах кофейных тортов – обо всем, что их интересовало. Но не понимала, как людей может волновать такая ерунда. Музыка не смолкала. Я танцевала со всеми, кто меня приглашал, даже не глядя им в лицо.

По выходным мама ходила на скачки. Я присоединялась к ней, если она меня звала. Сидела на трибунах с замерзшими руками и в грязных сапогах, смотрела, как лошади описывают круг за кругом, и гадала, зачем люди убивают здесь время.

Маме регулярно приходили письма от Уолтера. Он теперь служил на авианосце в Норфолке, Виргиния. Кормили в армии лучше, чем он ожидал, с

сослуживцами он ладил. Брат просил передать привет друзьям. Обо мне он не справился ни разу.

Той весной мы часто бывали на свадьбах – так часто, что новость об очередном торжестве вызывала у меня мигрень. Все мои бывшие одноклассницы повыходили замуж и ждали первенцев – только в таком порядке и не иначе, представляешь? Как-то раз я встретила на улице подругу детства. Бесс Фармер тоже училась в школе Эммы Уиллард. Она толкала коляску с годовалым ребенком и уже ждала второго. В школьные годы я очень любила Бесс: она была по-настоящему умна, заразительно смеялась, отлично плавала. Ей хорошо давались естественные науки. Жалеть ее за участь обычной домохозяйки было бы оскорбительно и несправедливо. Но меня бросило в дрожь при виде ее огромного живота.

Я помнила соседских девчонок худенькими, энергичными, бесполоыми. В детстве мы купались голышом в речке позади наших домов. Теперь девчонки превратились в пышных матрон, истекающих грудным молоком и производящих на свет одного младенца за другим. Я была не в силах это постичь.

Но Бесс выглядела счастливой.

Что до меня – я была грязной маленькой потаскушкой.

Я совершила в отношении Эдны Паркер Уотсон гнуснейший поступок. Предать женщину, которая всегда мне помогала и относилась ко мне по-доброму, – не это ли худший позор?

Днем я бродила, как сомнамбула, а ночью не могла заснуть.

Я исполняла все указания, никому не причиняла беспокойства, но по-прежнему не могла примириться с собой.

С Джимом Ларсеном меня познакомил отец.

Джим, серьезный респектабельный молодой человек двадцати семи лет, работал в папиной горнодобывающей компании. Он служил транспортным клерком. Если тебе интересно, что это значит, Анджела, поясню: он отвечал за декларации, накладные и заказы. Он также руководил отправкой грузов. Джим был силен в математике и легко справлялся со сложными расчетами: транспортными тарифами, складской документацией, курированием грузов. Я только что написала все эти слова, Анджела, но до сих пор не понимаю, что они означают. Я просто заучила их наизусть, когда мы с Джимом Ларсеном встречались, чтобы суметь ответить на вопрос, чем он занимается.

Папа был о Джиме высокого мнения, несмотря на скромное происхождение Ларсена. Джим казался ему целеустремленным юношей, намеренным подняться на самый верх, – именно таким отец видел бы собственного сына, вот только Джим был из рабочей семьи. Папе нравилось, что Джим начал машинистом, но, благодаря упорству и старанию, вскоре дослужился до руководящей должности. Кажется, отец намеревался однажды сделать его управляющим всего предприятия. «Этот парнишка, – говорил папа, – лучше всех моих бухгалтеров и бригадиров, вместе взятых».

А еще он говорил: «Джим Ларсен – не лидер, но он надежный человек, которого каждому лидеру полезно иметь под рукой».

Джим отличался такой учтивостью, что, решив пригласить меня на свидание, сначала спросил позволения у папы. Тот согласился и даже сам сообщил мне о грядущем свидании. На тот момент я и не знала, кто такой Джим Ларсен. Но они уже все решили за меня, а я не стала возражать.

В тот раз Джим повел меня в кафе-мороженое есть сандей^[34]. Я ела, а он внимательно смотрел на меня: желал убедиться, что мне нравится. Джим искренне старался мне угодить; редкое для мужчины качество.

В следующие выходные он отвез меня на озеро. Мы гуляли по берегу и смотрели на уток.

Еще через выходные мы отправились на местную ярмарку, и он купил мне маленькую картину с подсолнухом, которая мне понравилась. («Это тебе, чтобы повесить на стену», – пояснил он.)

Похоже, в моем описании он выглядит скучнее, чем на самом деле.

Впрочем, нет.

Джим был очень хорошим парнем. Этого у него не отнять. (Запомни, Анджела: если женщина называет мужчину хорошим парнем, никакой любви нет и в помине.) Он и правда был хорошим. И если честно, отличался и другими достоинствами. Он обладал даром к математике, честностью, смекалкой. Он был умен, хоть и не очень проницателен. Хорош собой: такой типичный американец, как с рекламы хлопьев для завтрака, – светловолосый, голубоглазый, подтянутый. Меня никогда не тянуло к прямодушным блондинам, я предпочитала совсем другой тип, но с внешностью у Джима все было в порядке. Любая женщина назвала бы его красивым.

Ну надо же, Анджела! Пытаюсь описать его, а вспомнить толком не могу.

Что еще у меня найдется о Джиме Ларсене? Он играл на банджо и пел в церковном хоре. Работал на полставки в бюро переписи населения, служил волонтером в пожарной команде. Мог починить что угодно от раздвижной двери до железной дороги в папиной шахте.

Джим ездил на «бьюике», который однажды рассчитывал поменять на «кадиллак» – но не раньше,

чем заслужит его, и не раньше, чем купит дом побольше для матери, с которой жил вместе. Мать Джима была сущий божий одуванчик, скорбная вдова; она пахла лекарствами и не выпускала из рук Библию. Целыми днями она сидела у окна и шпионила за соседями, поджидая, когда те совершат неподобающий поступок и осквернят себя грехом. Джим велел мне называть ее мамой, и я повиновалась, хотя рядом с ней не могла расслабиться ни на минуту.

Отец Джима давно умер, и Джим взял на себя заботу о матери, еще когда учился в старших классах. Его отец, норвежский эмигрант, был кузнецом; он и сына воспитывал, словно ковал и закалял железо, возвращая в отпрыске непоколебимое чувство долга и порядочность. И взрастил: уже в детстве Джим мыслил и поступал по-мужски, а после смерти отца в четырнадцать лет взвалил на свои плечи весь груз ответственности за семью.

Я вроде бы нравилась Джиму. Он считал меня забавной. Веселого в его жизни было мало, а мои шуточки и уколы его забавляли.

Через несколько недель ухаживаний он начал меня целовать. Это было приятно, но до моего тела он не дотрагивался. А я и не просила. Не тянулась к нему со всей страстью, но лишь потому, что не испытывала ее. Ничто больше не возбуждало во мне страсть. Вкус к жизни угас. Мои желания и порывы словно заперли в ящик и увезли далеко-далеко. До поры они хранились совсем в другом месте, возможно на Центральном вокзале. Я лишь соглашалась на все, что делал Джим. Меня устраивали любые его желания.

Он очень заботился о моем благополучии. Все время спрашивал, подходит ли мне температура в комнате. Стал ласково называть меня «Ви», но прежде спросил разрешения на такую вольность. (Мне стало не по себе, когда он выбрал то же уменьшительное имя, что и мой

брат, но возражать я не стала.) Он был услужлив: починил сломанный барьер для лошадей, и моя мама рассыпалась в благодарностях. Папе он помог пересадить розовые кусты.

Джим стал приходить к нам по вечерам играть в карты. Не скажу, чтобы меня это раздражало. Его визиты означали, что не надо снова слушать постылое радио и читать постылые вечерние газеты. Я знала, что ради меня родители нарушают важное социальное табу: пускают в дом подчиненного. Но они принимали Джима со всей учтивостью. Эти вечера стали самым теплым, самым уютным временем в нашем доме.

Папе все больше нравился Джим.

– У этого юного Ларсена, – говорил он, – голова варит лучше всех в городе.

Маме, конечно, хотелось бы, чтобы Джим происходил из более обеспеченной семьи, но что уж тут поделаешь? Сама она вышла за абсолютную себе ровню, не ниже, не выше. У них с папой все совпадало: возраст, образование, доходы, воспитание. И мама, разумеется, желала для меня такой же равной партии. Но Джима приняла – а для моей матери такой шаг почти равнялся энтузиазму.

Далекий от роли дамского угодника, Джим мог быть по-своему романтичным. Однажды мы ехали по городу, и он сказал:

– Когда ты со мной рядом, мне кажется, что все мне завидуют.

Чудесные слова, верно, Андже́ла? Интересно, откуда он их только взял.

Вскоре мы обручились. Как это произошло, ума не приложу.

Не знаю, почему я согласилась выйти за Джима Ларсена, Андже́ла.

Хотя нет. Знаю.

Я согласилась выйти за Джима Ларсена, потому что чувствовала себя грязной и испорченной, а он был чист и честен. Возможно, мне казалось, что мое недостойное поведение сотрется из памяти, стоит мне взять его доброе имя. (Кстати, эта стратегия никогда не работает, хотя люди упорно продолжают ее применять.)

Пожалуй, на свой лад Джим мне даже нравился. Нравился, потому что не был похож на всех тех, с кем я общалась в прошлом году. Он не напоминал мне о Нью-Йорке. Глядя на него, я не думала о клубе «Аист», о Гарлеме, о прокуренных барах в Гринвич-Виллидже. Я забывала Билли Бьюэлла, Селию Рэй и Эдну Паркер Уотсон. Забывала даже Энтони Рочеллу. (Ах.) А главное, рядом с ним я забывала себя – грязную маленькую потаскушку.

Рядом с Джимом я превращалась в ту, кем притворялась, – в милую девчушку безо всякого прошлого, работающую в отцовской конторе. Достаточно было во всем соглашаться с Джимом и копировать его поведение, и постепенно я бы совсем позабыла о том, кем являюсь на самом деле. А именно этого мне и хотелось.

Я отдалась на волю течения, несущего меня к замужеству, и даже не пыталась сопротивляться.

Наступила осень сорок первого. Мы планировали пожениться весной следующего года: Джим хотел накопить денег и купить жилье попросторнее, чтобы мы не теснились в старом доме с его матерью. Он подарил мне помолвочное кольцо с небольшим, но красивым бриллиантом. Я смотрела на свою руку и не узнавала ее.

После объявления помолвки мы перестали ограничиваться поцелуями. Теперь он парковал свой «бьюик» у озера, снимал с меня блузку и щупал мне грудь, каждую минуту спрашивая моего разрешения. Мы ложились на широкое заднее сиденье «бьюика»

и терлись друг о друга – точнее, я позволяла Джиму тереться о меня. Я не осмеливалась проявлять даже малейшей инициативы. Впрочем, мне этого и не хотелось.

– Ох, Ви, – восторженно шептал он, – ты самая красивая девушка на всем белом свете.

Как-то вечером он терся особенно усердно, затем отпрянул – с заметным усилием, – потер лицо ладонями и сел.

– Не хочу, чтобы мы делали это до свадьбы, – выдохнул он.

Я лежала с задранной юбкой; обнаженную грудь холодил осенний ветер. Я чувствовала, как колотится сердце Джима, но мое билось в обычном ритме.

– Я не смогу смотреть твоему отцу в глаза, если лишу тебя невинности, прежде чем мы поженимся, – сказал он.

Я ахнула. Реакция вполне естественная и честная: одно лишь слово «невинность» вызвало у меня полнейший шок, вот я и ахнула. А ведь я об этом даже не подумала! Усиленно играя роль неиспорченной юной девы, я не сообразила, что Джим на самом деле считает меня такой. С другой стороны, с какой стати ему думать иначе? Разве я хоть намекнула, насколько далека от невинности?

Тут я поняла, что у меня проблемы. Он же обязательно узнает. Скоро мы поженимся, в первую брачную ночь он захочет исполнить супружеский долг и узнает. Стоит нам заняться сексом, Джим сразу узнает, что он у меня не первый.

– В чем дело, Ви? – встревожился он. – Что тебя беспокоит?

В юности, Анджела, я не считала нужным всегда говорить правду. В любой ситуации я скорее соврала бы, особенно в стрессовом состоянии. Мне понадобилось много лет, чтобы стать честным человеком, но я могу

объяснить причину: правда обычно пугает. Как только начинаешь говорить правду, все меняется.

Однако в тот момент я не стала врать.

– Я не девственница, Джим.

Не знаю, зачем я это сказала. Может, запаниковала. Может, ума не хватило придумать убедительную ложь. А может, просто нельзя слишком долго притворяться другим человеком: настоящее лицо рано или поздно покажется из-под фальшивой маски.

Он долго смотрел на меня, а потом спросил:

– Что ты имеешь в виду?

Мать божья, а что еще можно иметь в виду такой фразой?

– Я не девственница, Джим, – повторила я, решив, что он меня не расслышал.

Он выпрямился и уставился прямо перед собой, собираясь с мыслями.

Я тем временем тихонько надела блузку. Такие разговоры не ведутся с голой грудью наперевес.

– Но почему? – наконец спросил он с мучительной гримасой обиды и боли. – Почему ты не девственница, Ви?

И тут я разрыдалась.

Здесь, Анджела, я должна сделать паузу и кое-что объяснить.

Я уже старуха. Я достигла того возраста, когда девичьи слезы меня совсем не трогают. Они меня раздражают. Особенно противно смотреть, как плачут красивые девушки, тем более богатые. Им никогда в жизни не приходилось работать или бороться за себя, вот они и устраивают истерики по поводу и без. Когда я вижу красивую девушку, которая рыдает попусту, мне хочется ее придушить.

Но красивые девушки все равно продолжают рыдать, потому что истерика заложена в них на уровне инстинкта – и потому что это работает. Слезы – такой же отвлекающий фактор, как облако чернил для осьминога. Наплавав ведро слез, можно избежать серьезного разговора и повернуть вспять естественные последствия. Дело в том, что большинству людей – и мужчинам в особенности – невыносим сам вид хорошенькой рыдающей девушки, и они автоматически бросаются ее успокаивать, напрочь забыв, о чем шел разговор минутой раньше. Таким образом, слезы как минимум обеспечивают передышку, и благодаря ей красивая девушка выигрывает время.

Знай, Анджела, что однажды в моей жизни настал момент, когда я отказалась от этого трюка – перестала рыдать в ответ на все подножки судьбы. Потому что это унижительно. С годами я превратилась в закаленный сражениями старый боевой топор и теперь предпочту без единой слезинки встретить любой натиск жестокой правды, вместо того чтобы унижать себя и окружающих слезливыми манипуляциями.

Но осенью сорок первого я еще такой не была.

Поэтому я разразилась шквалом рыданий на заднем сиденье «бьюика» Джима Ларсена – я заливалась горячими слезами, прекраснее и обильнее которых свет не видывал.

– В чем дело, Ви? – В голосе Джима слышались отчаянные нотки. Раньше я никогда при нем не рыдала. Он тут же забыл о пережитом шоке и переключился на режим заботы: – Почему ты плачешь, дорогая?

Его участие лишь подстегнуло истерику.

Он такой хороший, а я такая ужасная!

Он обнял меня, умоляя перестать плакать. А поскольку я временно утратила дар речи и никак не могла унять рыдания, Джим взял инициативу на себя и придумал историю о том, почему я не девственница.

– С тобой случилось нечто плохое, да, Ви? В Нью-Йорке тебя обидели? – спросил он.

«Знаешь, Джим, в Нью-Йорке со мной случилось много всякого разного, но не сказать, чтобы это было так уж плохо».

Таким был бы честный и правильный ответ, но по понятным причинам я не могла его дать, поэтому промолчала, продолжая рыдать в заботливых объятиях жениха. В отсутствие ответа Джим додумал подробности за меня.

– Ты потому и вернулась домой? – внезапно прозрел он. – Над тобой надругались? Так вот почему ты всегда такая тихая! Ох, Ви. Бедная, бедная моя девочка.

Я зашла в очередном приступе рыданий.

– Если так и было, просто кивни, – сказал он.

О господи. И как теперь выкрутиться?

А никак. Тут не выкрутишься. Если только не скажешь правду, чего я сделать не могла. Признав, что я не девственница, я исчерпала лимит честности на год вперед, и в запасе у меня ничего не осталось. К тому же версия Джима определенно звучала лучше моей.

И я кивнула. Боже, прости меня, но я кивнула.

(Знаю. Это ужасно. И мне не менее противно писать эти строки, чем тебе – читать их. Но я не собираюсь лгать тебе, Анджела. Я хочу показать, каким человеком я тогда была и что получилось в итоге.)

– Я не стану заставлять тебя рассказывать. – Джим гладил меня по голове и по-прежнему смотрел прямо перед собой.

И я снова кивнула сквозь слезы, как бы говоря: «Да, пожалуйста, не заставляй меня рассказывать».

Джим, похоже, только порадовался, что не придется выслушивать подробности.

Он еще долго обнимал меня, пока рыдания не стихли. Потом ободряюще (но все же немного неуверенно) улыбнулся:

- Все будет хорошо, Ви. Теперь тебе ничто не угрожает. Знай: я вовсе не считаю тебя испорченной. И не волнуйся, я никому не расскажу. Я люблю тебя, Ви. И женюсь на тебе, несмотря ни на что.

Как ни благородны были его слова, на лице у него читалось: «Придется теперь научиться жить с этим жутким кошмаром».

- Я тоже люблю тебя, Джим, - соврала я и поцеловала его, как мне казалось, с благодарностью и облегчением.

Но если ты спросишь, Анджеला, в какой момент за всю мою долгую жизнь я чувствовала себя грязнее и гаже всего, то это было именно тогда.

Пришла зима.

Дни стали короче и холоднее. Мы с папой выезжали в контору затемно и возвращались в кромешной тьме.

Я вязала Джиму свитер на Рождество. Швейная машинка так и стояла в футляре с моего возвращения домой девять месяцев назад, и я даже смотреть на нее не могла без тоски. Но недавно я пристрастилась к вязанию. Рукоделие давалось мне легко, и я ловко управлялась с толстой шерстью. По почте я заказала схему вязания свитера с фольклорным норвежским узором - сине-белым, со снежинками. Теперь, оставшись одна, я постоянно вязала. Джим гордился своим норвежским происхождением, и я решила порадовать жениха подарком, напоминающим о родине его отца. В вязании, как и в шитье, я следовала наказам бабушки Моррис и требовала от себя абсолютного совершенства; распускала целые ряды, если они казались небезупречными, и вывязывала заново. Пусть это мой первый свитер, но он обязан быть образцовым.

Не считая этого нового увлечения, я по-прежнему лишь следовала чужим указаниям, раскладывала

бумажки в картотеке, стараясь соблюдать алфавитный порядок, и занималась прочими скучными вещами.

Дело было в воскресенье. Мы с Джимом отправились в церковь, а потом в кино на мультфильм «Дамбо». А когда вышли из кинотеатра, новость уже разлетелась по всему городу: японцы атаковали Перл-Харбор.

На следующий день Америка вступила в войну.

Джим мог бы и не идти воевать.

Возможность уклониться от призыва у него была, и даже не одна. Во-первых, по возрасту он уже не годился в новобранцы. Во-вторых, ухаживал за овдовевшей матерью и был единственным кормильцем. В-третьих, занимал важный пост на предприятии по добыче бурого железняка, то есть работал в ключевой для военного сектора отрасли. При желании он мог воспользоваться любой из этих лазеек.

Но такой человек, как Джим Ларсен, никогда не позволил бы другим ребятам умирать за себя. Не так его воспитали. И вот девятого декабря он усадил меня за стол и сказал, что нам надо поговорить. Мы были одни у него дома – мать Джима уехала в гости к сестре в другой город. И Джим признался, что решил записаться в армию. Это его долг, сказал он. Он не простит себе, если не поможет родине в час нужды.

Он, видимо, ожидал, что я попытаюсь его отговорить, но я не стала.

– Понимаю, – ответила я.

– И еще кое-что. – Он глубоко вздохнул. – Не хочется тебя огорчать, Ви, но я хорошо все обдумал. Учитывая военную обстановку, мне кажется, нам следует разорвать помолвку.

Он снова взглянул на меня в ожидании возражений.

– Продолжай, – спокойно проговорила я.

– Я не вправе просить тебя ждать меня, Ви. Так нельзя. Я не знаю, сколько продлится война и что со мной станет. Может, я вернусь инвалидом или не вернусь вовсе. Ты молода. И не должна из-за меня ставить крест на своем будущем.

Тут не помешает небольшое отступление.

Во-первых, Анджела, я была уже не молода. Мне исполнился двадцать один год, то есть по тем временам я считалась почти старухой. В 1941-м расторжение помолвки не сулило девушке двадцати одного года ничего хорошего, поверь. Но было еще кое-что. Мы с Джимом оказались в такой же ситуации, что и множество молодых пар по всей Америке в ту неделю. Сразу после Перл-Харбора миллионы американских парней отправлялись на войну. И большинство из них спешили жениться до отъезда. Причинами спешки служили и романтические чувства, и страх, и желание перед лицом более чем возможной гибели заняться сексом. Не исключено, что пары, которые уже занимались сексом на тот момент, хотели подстраховаться на случай беременности. А кое-кто просто стремился вместить как можно больше событий в оставшийся короткий отрезок. (Твой отец, Анджела, тоже был одним из многих американских ребят, второпях связавших себя узами брака с соседской девчонкой перед самой отправкой на фронт. Впрочем, ты это и так знаешь.)

А миллионы американских девушек мечтали выйти замуж за своих возлюбленных, прежде чем война их отнимет. Были и такие, кто выходил за едва знакомых солдат в надежде, что те не вернутся, ведь вдовы погибших в бою получали компенсацию в размере десяти тысяч долларов. (Таких девиц называли «женами за пособие», – услышав об их существовании, я даже порадовалась, что есть в этом мире женщины куда хуже меня.)

К чему я веду: большинство пар в ту пору стремились поскорее пожениться, а не расторгнуть помолвку. Неделю после Перл-Харбора по всей Америке мечтательные юноши и девушки повторяли один и тот же романтический сценарий, уверяя: «Я всегда буду тебя любить! И докажу свою любовь, женившись на тебе прямо сейчас! Я буду любить тебя, что бы ни случилось!»

Но Джим говорил совсем другое. Он не следовал романтическому сценарию. Не следовала ему и я.

– Вернуть тебе кольцо, Джим? – спросила я.

Если мне не показалось – а мне не показалось, – у него на лице промелькнуло огромное облегчение. И тогда я отчетливо поняла, кого вижу перед собой. Я видела человека, который нашел лазейку. Теперь ему не придется жениться на ужасной испорченной девице. Но одновременно он сумел сохранить честь. Это была искренняя радость. Реакция длилась всего секунду, но я ее заметила.

Джим снова изобразил серьезность.

– Ты знаешь, что я всегда буду любить тебя, Ви.

– А я тебя, Джим, – послушно ответила я.

Теперь мы играли по сценарию.

Я сняла кольцо и положила в раскрытую ладонь Джима. И до сих пор не сомневаюсь, что ему было так же приятно получить кольцо обратно, как мне – снять.

Так война спасла нас друг от друга.

Видишь ли, Андже́ла, история вершит не только судьбы наций; у нее находится время и для простых людей. И среди последствий, которые повлекла за собой Вторая мировая, затесался и наш маленький сюжетный поворот: Джим Ларсен и Вивиан Моррис счастливо избежали брака.

Через час после расторжения помолвки у нас случился самый великолепный, незабываемый, фантастический секс, какой только можно представить.

Кажется, инициатором была я.

Ладно, не кажется: инициатором была я.

Я вернула кольцо, и Джим в ответ решил обнять меня и нежно поцеловать. Этим поцелуем он словно говорил: «Я не хотел задеть твои нежные чувства, дорогая». Но мои нежные чувства не были задеты. Напротив, из меня словно выдернули пробку; меня затопила головокружительная легкость. Джим уезжает, причем добровольно! Я разделаюсь с ненавистной помолвкой, не потеряв лицо, и мой жених тоже! (Он-то ладно, главное – я!) Угроза миновала. Больше не надо притворяться, не надо ничего скрывать. Начиная с этого момента – кольцо долой, помолвка расторгнута, репутация не пострадала – мне нечего терять.

Он снова поцеловал меня робко и нежно, как бы извиняясь, а я в ответ засунула язык ему в рот так глубоко, что только чудом не лизнула железы.

Да, Джим был хорошим парнем. Ходил в церковь. Относился ко мне с уважением. Но все же он был парнем, и стоило мне дать зеленый свет, как он миглом откликнулся. (Впрочем, осмелюсь заявить, что любой мужчина откликнулся бы на мой призыв.) Или, может, свобода вскружила Джиму голову, как и мне. Так или иначе через несколько минут мы добрались до его спальни и рухнули на узкую сосновую кровать, где в исступленном ликовании я миглом сорвала одежду с нас обоих.

Должна сказать, я разбиралась в сексе гораздо лучше Джима. Это обнаружилось сразу. Если у него и был какой-то сексуальный опыт, то совсем маленький. Джим путешествовал по моему телу, как автомобилист в незнакомом районе – медленно и осторожно, нервно выискивая знаки и указатели. Это никуда не годилось.

Вскоре я поняла, что придется взять управление на себя. В Нью-Йорке я кое-чему научилась и, недолго думая, оживила слегка заржавевшие навыки и возглавила операцию. Я действовала молча и быстро – слишком быстро, чтобы Джим успел опомниться и возразить.

Я оседлала его, как лошадку, Анджела. Не дала ни малейшей возможности передумать или остановить меня. Заставила его потерять голову, затаить дыхание, полностью отдаться страсти – и растянула процесс как можно дольше. Должна заметить, у Джима были самые красивые плечи, какие я только видела у мужчины.

Знала бы ты, как я соскучилась по сексу!

Никогда не забуду, как в разгар бешеной скачки взглянула в его чистое, серьезное лицо и увидела, помимо страсти и восторга, выражение полного ужаса. Джим смотрел на меня с восхищением и страхом. Его невинные голубые глаза словно вопрошали: «Откуда ты такая взялась?»

А мои, в свою очередь, отвечали: «Не твое дело, приятель».

Когда мы закончили, он даже смотреть на меня боялся, не то что заговорить со мной.

Удивительно, насколько мне было на это наплевать.

На следующее утро Джим отбыл в базовый лагерь.

Что до меня, три недели спустя я была счастлива узнать, что не беременна. Я сильно рисковала, занимаясь незащищенным сексом, но до сих пор считаю, что дело того стоило.

Я довязала свитер с норвежским узором и отправила его брату на Рождество. Уолтера перевели на Тихоокеанский фронт, и теплый шерстяной свитер едва ли там ему пригодился, но он прислал мне вежливое письмо с благодарностью. Впервые с нашего

возвращения домой той ужасной ночью он написал лично мне. Это не могло не радовать. Лед в наших отношениях если не тронулся, то треснул.

Много лет спустя я узнала, что Джим Ларсен был награжден крестом «За выдающиеся заслуги». Он проявил чрезвычайную отвагу и рисковал жизнью в бою с вооруженным противником. После войны переехал в Нью-Мексико, женился на девушке из очень обеспеченной семьи и стал сенатором. Так что папа ошибался, когда говорил, что Джим – не лидер.

Я рада за Джима.

У нас обоих все сложилось наилучшим образом. Видишь, Анджеला? Война приносит не только беды.

Глава двадцать третья

После отъезда Джима все бросились меня жалеть. Родители и соседи решили, что я убита горем, поскольку потеряла суженого. Хотя я и не заслуживала их сочувствия, но отрицать ничего не стала. Сочувствие куда лучше осуждения и подозрений. Я не собиралась никому ничего объяснять.

Узнав, что Джим Ларсен бросил и его шахту, и его дочь, папа пришел в ярость (причем первое явно разозлило его сильнее второго). Мама была слегка раздосадована, что я не выйду замуж в апреле, но в целом перенесла удар спокойно. Как она объяснила, в апреле ей и без свадебных хлопот будет чем заняться: на севере штата каждые выходные проводят конные выставки.

Что до меня, я словно очнулась от затянувшейся спячки. Теперь мне хотелось лишь одного: найти себе занятие по душе. Я даже подумывала вернуться в колледж и собиралась попросить об этом родителей, но вовремя поняла, что учеба – не мое. Однако в Клинтоне я оставаться больше не собиралась. В Нью-Йорк я вернуться не могла, поскольку сожгла все мосты, – но

ведь есть и другие города. Многие хвалили Филадельфию и Бостон: можно обосноваться там.

Я понимала, что в случае переезда мне потребуются деньги, поэтому достала из футляра швейную машинку и открыла ателье в нашей комнате для гостей. Я сообщила всем и каждому, что шью на заказ и подгоняю вещи по фигуре, и вскоре клиентов у меня было хоть отбавляй. Близился сезон свадеб, всем требовались платья, но тут возникла одна проблема: хороших тканей не хватало. Поставки кружева и шелка из Франции прекратились, а кроме того, считалось непатриотичным тратить слишком много на свадебный наряд: в войну такую расточительность осуждали. А у меня еще со времен работы в «Лили» осталось несколько отрезков шелка. Из них я шила платья невероятной красоты почти за бесценок.

Моя подруга детства, милая девушка по имени Мэдлин, выходила замуж в мае. В прошлом году у ее отца случился сердечный приступ, и семья переживала не лучшие времена. Мэдлин и в мирное время не смогла бы позволить себе хорошее платье, а уж теперь тем более. И вот мы вместе залезли к ней на чердак, нашли два старых свадебных платья, оставшихся от обеих ее бабушек, и я сделала из них самый романтичный в мире наряд. Распоров платья, я собрала из деталей новое – с длинным шлейфом из антикварного кружева. Задача была не из легких: старинный шелк буквально рассыпался в руках, приходилось обращаться с ним с не меньшей осторожностью, чем с нитроглицерином. Но я справилась.

В благодарность Мэдлин выбрала меня подружкой невесты. По такому случаю я сшила себе шикарный костюм с жакетом, украшенным баской, из травянисто-зеленого шелка-сырца, доставшегося мне от бабушки Моррис; много лет назад я положила отрез себе под кровать, да так он там и остался. После знакомства с

Эдной Паркер Уотсон я старалась как можно чаще носить костюмы. Эта женщина научила меня многому, в том числе тому, что в костюме девушка всегда выглядит более роскошно и импозантно, чем в платье. От нее же я узнала, как важно не злоупотреблять украшениями. «В большинстве случаев, – говорила Эдна, – украшения лишь маскируют неудачно подобранный или плохо сидящий наряд». Да, Анджела, я думала об Эдне постоянно.

На свадьбе Мэдлин мы обе выглядели потрясающе. Гостей собралось множество – Мэдлин все любили. Так что заказчиков у меня стало еще больше. А еще я целовалась с кузеном Мэдлин – на улице, у забора, увитого душистой жимолостью.

Ко мне возвращалась радость жизни. Я снова становилась собой.

Как-то раз в порыве легкомыслия я отыскала солнечные очки, которые много месяцев назад купила в Нью-Йорке – купила только потому, что Селию они тогда привели в восторг. Очень темные, почти непрозрачные очки в гигантской черной оправе были украшены крошечными ракушками. В них я напоминала огромную стрекозу на пляже, но мне они ужасно нравились.

Надев очки, я заскучала по Селии. Мне не хватало моей блистательной подруги. Я вспомнила, как мы обе наряжались и красились, как вместе покоряли Нью-Йорк, – и затосковала. Затосковала по тем дням, когда при нашем появлении в ночном клубе у всех мужчин в зале перехватывало дыхание. (Господи, Анджела, похоже, я и сейчас скучаю по тому ощущению, хотя прошло уже семьдесят лет!) Что же стало с Селией? Сумела ли она встать на ноги? Я очень на это надеялась, но боялась худшего. Боялась, что ей, всеми

покинутой и сломленной, приходится сражаться за жизнь.

Я спустилась к обеду в дурацких очках. Увидев меня, мама остановилась как вкопанная.

– Бога ради, Вивиан, что это?!

– Это называется «мода», мама, – отвечала я. – В Нью-Йорке сейчас все так ходят.

– До чего мы дожили, – посетовала она.

Но очки я все равно не сняла.

Разве я могла объяснить, что надела их в честь павшего товарища, подруги, потерянной за линией фронта?

В июне я попросила папу об увольнении. Шитьем я зарабатывала почти столько же, сколько притворным секретарством, отвечая на звонки и перекладывая бумажки, к тому же шитье приносило мне куда больше удовольствия. Вдобавок заказчики платили наличными, то есть мне не приходилось сообщать о своих доходах государству. Последний аргумент оказался решающим, и папа разрешил мне уйти. Он на все был готов, лишь бы насолить правительству.

Впервые в жизни я стала откладывать деньги.

Я пока не знала зачем, но откладывала.

Если у тебя отложены деньги, Анджела, это вовсе не значит, что у тебя есть план, – однако накопления внушают девушке надежду, что однажды план появится.

Дни становились длиннее.

В середине июля я ужинала с родителями, когда к дому вдруг подъехала машина. Мама с папой удивленно переглянулись – они всегда удивлялись, когда кто-то осмеливался нарушить заведенный распорядок дня.

– Сейчас же ужин, – сказал папа, причем таким тоном, будто на самом деле хотел сказать: «Крах цивилизации неизбежен».

Я пошла открывать. На пороге стояла тетя Пег. От жары она покраснелась и вспотела, и наряд на ней был самый что ни на есть безумный: клетчатая мужская рубашка, висевшая мешком, короткие брюки с подтяжками и старая соломенная шляпа, как у пугала, с воткнутым за ленту пером индейки. Я удивилась и обрадовалась ей, как никогда в жизни. Поначалу я даже забыла, что мне должно быть стыдно в ее присутствии, – вот как я удивилась и обрадовалась. Я бросилась к Пег на шею, не скрывая своего счастья.

– Малышка! – с улыбкой воскликнула она. – Выглядишь шикарно!

Родители обрадовались куда меньше, но очень постарались приспособиться к новым обстоятельствам. Горничная поставила еще один прибор. Папа предложил Пег коктейль, но та, к моему удивлению, попросила чаю со льдом.

Пег уселась за стол, вытерла промокший лоб одной из наших салфеток из тончайшего ирландского полотна, огляделась и улыбнулась:

– Ну и как дела в вашем захолустье?

– Я и не знал, что у тебя есть машина, – ответил папа невпопад.

– Это не моя. Машина принадлежит одному моему знакомому хореографу. Тот поехал в Мартас-Виньярд с приятелем на «кадиллаке», а мне одолжил эту развалюху. «Крайслер», старенький, но еще ого-го. Могу дать покататься.

– Где ты взяла талоны на бензин? – спросил папа у сестры, которую не видел два года.

Тебе, наверное, любопытно, почему именно это интересовало его больше всего и почему он предпочел задать Пег такой вопрос вместо обмена стандартными

любезностями, но у папы были свои мотивы. Дело в том, что пару месяцев назад в Нью-Йорке как раз ввели талоны на бензин, и отца это просто взбесило: мол, не затем он всю жизнь трудился не покладая рук, чтобы жить в тоталитарном государстве! Что дальше? Комендантский час? Я про себя взмолилась, чтобы мы не весь вечер проговорили о талонах.

– Насобирала. Дала кое-кому взятку, использовала связи на черном рынке. В Нью-Йорке талоны на бензин не так уж и нужны. Мало кто ездит на машинах, не то что здесь. – Пег повернулась к матери и приветливо спросила: – Луиза, как поживаешь?

– Не жалуюсь, Пег, – отвечала мать, глядя на тетю если не с подозрением, то по меньшей мере с осторожностью. (И я ее понимала: присутствие Пег в Клинтоне пугало. Сейчас же не Рождество, и никто не умер.) – А ты?

– Позорю доброе имя семьи, как обычно. Но знали бы вы, до чего же приятно сбежать сюда от городской суеты! Надо делать так почаще. Простите, друзья, что не предупредила о приезде. Внезапно решила повидаться. Твои лошади живы-здоровы, Луиза?

– Здоровы, Пег. Конечно, с начала войны выставок стало меньше. И жара им не по нутру. Но все в порядке.

– Но зачем ты приехала? – спросил отец.

Мой отец не питал ненависти к сестре, но относился к ней с глубочайшим презрением. По его мнению, вся ее жизнь представляла собой один сплошной кутеж (Уолтер, наверное, думал обо мне то же самое), и в чем-то он был прав. Однако он мог бы оказать ей и более радушный прием.

– Что ж, Дуглас, не буду ходить вокруг да около. Я приехала просить Вивиан вернуться со мной в Нью-Йорк.

С этими словами большая заржавевшая дверь в моем сердце слетела с петель, и оттуда выпорхнула на

волю тысяча белых голубок. Я не осмеливалась произнести ни слова. Боялась, что Пег передумает, стоит мне открыть рот.

– Но зачем?

– Мне нужна ее помощь. Военное ведомство обратилось ко мне с просьбой поставить несколько спектаклей для рабочих Бруклинской военно-морской верфи. Патриотические пьесы, варьете, романтические мелодрамы и тому подобное. Для поднятия боевого духа. Мне не хватает рук. Я не могу одновременно управлять театром и работать на армию. Помощь Вивиан очень пригодилась бы.

– Неужели Вивиан что-то смыслит в романтических мелодрамах? – спросила моя мать.

– Больше, чем ты можешь себе представить, – отвечала Пег.

К счастью, при этом она не посмотрела на меня. А то бы увидела, как щеки у меня залились румянцем.

– Но она только-только заново обустроилась, – возразила мать. – И в Нью-Йорке очень скучала по дому. Город ей совсем не подходит.

– Значит, ты скучала по дому? – Пег посмотрела мне прямо в глаза с легкой усмешкой. – И потому вернулась?

Теперь я покраснела уже до корней волос. Но по-прежнему не произнесла ни слова.

– Послушайте, – сказала Пег, – это не навсегда. Если Вивиан опять соскучится по дому, она всегда может уехать обратно в Клинтон. Но мне действительно очень нужна ее помощь. Найти работников сейчас не так-то просто. Мужчины ушли на войну. Даже мои артистки работают на заводах. Везде платят лучше, чем в театре. Мне нужны надежные руки. Которым можно доверять.

Она так и сказала. Сказала «можно доверять».

– Мне тоже непросто найти сотрудников, – заметил отец.

– Вивиан работает на тебя? – удивилась Пег.

– Нет, но работала некоторое время – и может снова понадобится. В конторе она могла бы многому научиться.

– У Вивиан обнаружился интерес к горнодобывающей промышленности?

– Просто, на мой взгляд, ты проделала слишком долгий путь ради простой работницы. По-моему, проще найти нужного человека в Нью-Йорке. Впрочем, ты никогда не искала легких путей. А я никогда не понимал твоего стремления усложнить себе жизнь.

– Вивиан – не простая работница, а чрезвычайно талантливый костюмер.

– Неужели?

– Я много лет проработала в театральной сфере, Дуглас. Поверь, я знаю.

– Ха. В театральной сфере!

– Я поеду с тетей. – Ко мне наконец вернулся дар речи.

– Но зачем? – спросил папа. – Зачем тебе возвращаться в этот город, где все ютятся друг у друга на головах и даже дневного света не видно?

– Сказал человек, проводивший большую часть жизни в шахте, – хмыкнула Пег.

Они пререкались, как дети. Я бы не удивилась, начни они пинаться под столом.

Все глядели на меня и ждали моего ответа. Почему же я хотела вернуться в Нью-Йорк? Как им объяснить? Как описать чувства, вызванные предложением Пег, по сравнению с недавним предложением руки и сердца от Джима Ларсена? Все равно что обсуждать разницу между сиропом от кашля и шампанским.

– Я бы хотела вернуться в Нью-Йорк, чтобы расширить свои жизненные перспективы, – наконец изрекла я.

Я говорила таким уверенным тоном, что привлекла всеобщее внимание. (Должна признаться, что

выражение «расширить свои жизненные перспективы» я недавно услышала в радиопостановке и запомнила. Впрочем, источник не имеет значения, ведь фраза сработала. И к тому же была чистой правдой.)

– Если ты уедешь, – предупредила мать, – мы не станем тебя поддерживать. Нельзя же и дальше посылать тебе карманные деньги. В твоём-то возрасте.

– Мне не нужны карманные деньги. Я сама себя обеспечу.

Меня унижал сам термин «карманные деньги». Я слышать его не хотела.

– Но тебе придется найти работу, – сказал отец.

Пег в изумлении уставилась на брата:

– Дуглас, ты вообще меня не слушаешь? Всего минуту назад за этим самым столом я предложила Вивиан работу.

– Я имею в виду нормальную работу, – парировал отец.

– У нее будет нормальная работа. Формально ее нанимателем будут Военно-морские силы США. Она станет военнослужащей, как и ее брат. ВМС выделили мне бюджет, чтобы я наняла еще одного сотрудника. Вивиан будет работать на правительство.

Теперь уже мне захотелось пнуть Пег под столом, ведь папу, само собой, не обрадовала перспектива, что дочь будет работать на правительство. С таким же успехом Пег могла бы сказать, что я буду грабить банки.

– Нельзя вечно метаться между Нью-Йорком и Клинтонем, – заметила мама.

– Не буду, – пообещала я. Видит бог, я не лгала.

– Я не хочу, чтобы моя дочь связала свою жизнь с театром, – заявил отец.

Пег закатила глаза:

– О да, худшей доли и не придумаешь.

– Мне не нравится Нью-Йорк, – продолжал папа. – Город неудачников.

– Вот именно, – мигом откликнулась Пег. – На Манхэттене днем с огнем не найдешь ни одного успешного человека.

Папа решил дальше не спорить: не так уж его интересовала эта тема.

Если уж совсем начистоту, по-моему, родители не особенно сопротивлялись моему отъезду, потому что устали от меня. Они считали, что в двадцать один год мне уже не следует жить в их доме – а это действительно был их дом, не мой. Вообще-то, я должна была выпорхнуть из гнезда уже давно, в идеале – сначала в колледж, затем в дом к мужу. В нашей среде не приветствовалось проживание в отчем доме взрослых детей. Если задуматься, мои родители даже в детстве не хотели иметь со мной ничего общего, учитывая, сколько времени я провела в интернатах и летних лагерях.

Папе просто хотелось немного помучить Пег, прежде чем дать согласие.

– Не уверен, что Нью-Йорк – подходящее место для Вивиан, – заявил он. – Я себе не прощу, если моя дочь станет демократом.

– На этот счет не волнуйся, – с довольной улыбкой отвечала Пег. – Я изучила вопрос. Дело в том, что членов демократической партии не принимают в анархисты.

Тут мама расхохоталась, чем несказанно меня обрадовала.

– Я еду с вами, Пег, – уверенно произнесла я. – Мне почти двадцать два. В Клинтоне меня ничто не держит. Отныне я сама решаю, где мне жить.

– Не горячись, Вивиан, – заметила мама. – Двадцать два тебе исполнится лишь в октябре, и ты никогда себя сама не содержала. Ты понятия не имеешь, как устроен мир.

Но все же я видела, что маме нравится мой уверенный тон. Как-никак она полжизни провела на лошади, перепрыгивая через барьеры и рвы. Возможно, ей тоже казалось, что женщина, столкнувшись с вызовами и препятствиями, обязана прыгнуть.

– Раз уж ты готова взять на себя такую ответственность, – сказал отец, – мы надеемся, что ты не передумаешь. В жизни каждого наступает момент, когда нужно дать себе слово и держать его.

Сердце у меня забилося чаще.

Вялость последней папиной нотации означала «да».

На следующее утро мы с Пег уехали в Нью-Йорк.

Путь затянулся, а все из-за патриотизма Пег: она сэкономила бензин и тащилась со скоростью тридцать пять миль в час. Но я бы не роптала, даже если дорога заняла бы весь день. Меня переполняла радость от возвращения в любимый город – город, с которым в душе распрощалась навсегда, – и это чудесное чувство я была не прочь растянуть на подольше. Мы еле тащились по шоссе, а восторгу было, как от катания на американских горках на Кони-Айленде. Я была возбуждена, как ни разу за весь прошедший год. Возбуждена, но и встревожена.

Что меня ждет в Нью-Йорке?

Кто меня ждет?

– Ты приняла серьезное решение, малышка, – сказала Пег, стоило нам выехать на дорогу. – Я тобой горжусь.

– А вам правда нужна моя помощь, Пег? – В присутствии родителей я не осмелилась задать этот вопрос.

Пег пожала плечами:

– Я найду чем тебя занять. – Но тут же улыбнулась: – Да ладно, Вивиан, ты действительно мне нужна.

Слишком много я на себя взвалила с этой Бруклинской верфью. Я бы и раньше за тобой приехала, но хотела дать тебе время оправиться. После катастрофы лучше выждать, знаешь ли. В том году тебе здорово досталось. Я решила, что тебе нужно время на восстановление душевных сил.

Когда она упомянула о прошлогодней катастрофе, мне стало худо.

– Насчет прошлого года, Пег... – заговорила я.

– Кто прошлое помянет, тому глаз вон.

– Знали бы вы, как я сожалею о том, что сделала.

– Еще бы. Я тоже о многом сожалею. Все сожалеют, детка. И это правильно, но не стоит заикливаться на чувстве вины. Мы же протестанты, забыла? Преимущество нашей религии в том, что грехи отпускаются. Нам нет нужды вечно корчиться в муках раскаяния. Есть грехи простительные, а есть смертные. Твой – простителен.

– Я не знаю, что это значит.

– Я тоже. Просто прочитала однажды где-то и запомнила. В одном я уверена: за плотские грехи после смерти не наказывают. Наказание за них мы несем еще в этой жизни. Впрочем, ты уже в курсе.

– Мне просто жаль, что я причинила всем столько проблем.

– Раньше надо было думать. Впрочем, на то и юность, чтобы ошибаться.

– А вы ошибались в юности?

– Еще как. Не так ужасно, как ты, но и мне есть что вспомнить.

Она улыбнулась, показывая, что шутит. А может, она и не шутила. Это было уже не важно. Главное, что она разрешила мне вернуться.

– Спасибо, что приехали за мной, Пег.

– Я скучала. Ты нравишься мне, малышка, а если мне кто понравился – это на всю жизнь. Такое у меня

правило.

Ничего более прекрасного мне в жизни не говорили. Минуту я грелась в лучах ее слов. Потом радость поугасла: я вспомнила, что не все настолько великодушны, как тетя Пег.

– Я боюсь встречаться с Эдной, – призналась я наконец.

Пег удивленно повернулась ко мне:

– А зачем тебе с ней встречаться?

– Как же иначе? Мы все равно увидимся в «Лили».

– Эдна больше не живет в «Лили», малышка. И не работает. Она готовится к премьере «Как вам это понравится» в театре «Мэнсфилд». Они с Артуром уехали еще весной. Поселились в «Савое». Ты не знала?

– А как же «Город женщин»?

– Ох, малышка. Ты вообще ничего не слышала, верно?

– Не слышала о чем?

– В марте Билли предложили перейти на другую сцену – в театр «Мороско». Он согласился, забрал постановку и ушел.

– Забрал постановку?

– Ну да.

– Забрал «Город женщин»? Отнял его у «Лили»?

– Не забывай, что он сам написал пьесу и сам же ее поставил, поэтому формально она принадлежит ему. Так он рассуждал, когда озвучил мне свои планы. Впрочем, я и не спорила. Сразу поняла, что смысла нет.

– Но как же?.. – Мне не удалось закончить вопрос. «Как же всё и все?» – вот что я хотела спросить.

– Именно, – отвечала Пег. – Как же? А вот так. Это Билли, детка. Что с него возьмешь. Ему предложили хорошую сделку. Ты знаешь «Мороско»? Это театр на тысячу мест. Больше зрителей – выше сборы. Само собой, Эдна последовала за Билли. Спектакль шел в «Мороско» несколько месяцев, пока Эдне не надоело.

Она вернулась к своему Шекспиру. На ее место взяли Хелен Хэйс, но это уже не то. Хелен мне нравится, не подумай чего. Играет она не хуже Эдны, но у нее нет изюминки Эдны. Ее ни у кого нет. Гертруда Лоуренс лучше бы подошла на эту роль – у нее есть собственная изюминка, – но Гертруда уехала из города. Вообще-то, Эдне действительно нет равных. Но в «Мороско» все равно аншлаги каждый вечер, и Билли гребет деньги пачками.

Я даже не знала, что ответить. Новости подкосили меня.

– Подбери челюсть, детка, – улыбнулась Пег, – тебя как будто пыльным мешком по голове огрели.

– Но как же «Лили»? И вы с Оливией?

– Да как всегда. Работаем. Снова ставим дурацкие маленькие пьески. Пытаемся привлечь окрестную публику. Но теперь война, стало сложнее. Половина Манхэттена на фронте. И ходят к нам одни бабушки с детьми. Вот почему я согласилась работать для верфи: нам нужны деньги. Оливия была права – впрочем, она всегда права. Она знала, что Билли снова пустит нас по миру. Да и я в глубине души не сомневалась в таком финале. Он еще и наших лучших артистов забрал. Глэдис ушла с ним. Дженни и Роланд.

Она говорила необыкновенно спокойно. Будто предательство и разорение – самые заурядные вещи.

– А Бенджамин?

– Увы, Бенджамин призвали на фронт. Хоть тут Билли не виноват. Можешь представить Бенджамин в армии? Руки пианиста, сжимающие винтовку? Такой талант пропадает зря. Мне больно о нем думать.

– А мистер Герберт?

– О, мистер Герберт все еще с нами. Мистер Герберт и Оливия никогда меня не бросят.

– А Селия? От нее нет вестей?

Это был даже не вопрос. Ответ я уже знала.

– Ни словечка, – подтвердила Пег. – Но я бы на твоём месте за нее не волновалась. У этой кошки еще осталось шесть жизней. Но знаешь, что самое интересное, – продолжала Пег без всякой связи с Селией Рэй, судьба которой явно ее не заботила, – Билли тоже оказался прав! Он же говорил, что мы сможем поставить хит, – и мы поставили! У нас получилось, Вивиан. Оливия не верила, что «Город женщин» ждет успех. Она думала, пьеса провалится, но как она ошибалась! Прекрасное было шоу. Не зря я рискнула и доверилась Билли. Было ужасно весело, пока все не закончилось.

Я слушала ее и выискивала хоть малейший признак печали или сожаления, но не нашла.

Пег заметила, что я уставилась на нее, и рассмеялась:

– Ну не надо так таращиться, Вивиан! Тебе не идет.

– Но Билли же обещал, что не будет претендовать на пьесу! Я сама слышала тогда, на кухне в «Лили», в первое утро после его приезда!

– Билли много что обещал. Но почему-то так и не оформил свои обещания письменно.

– Не верится, что он на такое способен.

– Послушай, малышка, я знаю Билли вдоль и поперек и все равно позвала его. И не жалею. Отличное же вышло приключение! В жизни нужно проще ко всему относиться, Вивви. Мир меняется каждую секунду. Научись не противиться переменам. Человек дает обещание, а потом нарушает его. Спектакль получает хорошие отзывы, а потом закрывается. Брак кажется прочным, а потом бац – и развод. Ненадолго воцаряется мир, а потом вдруг начинается очередная война. Если расстраиваться по каждому поводу, превратишься в несчастную дуру – что тут хорошего? Но хватит про Билли: как ты провела этот год? Где была, когда напали на Перл-Харбор?

– В кино. Смотрела «Дамбо». А вы?

- На стадионе «Поло граундз», на футболе. «Гиганты» играли последний матч сезона. А в конце второй четверти по громкоговорителю вдруг объявили, что всех военнослужащих немедленно призывают в штаб. Я сразу поняла: беда на пороге. Но тут Сонни Франк получил травму, и я отвлеклась. Сонни Франк, правда, тут ни при чем. Он отлично играл. Но что за несчастливый выдался день! А ты была в кино со своим женихом? Напомни, как его звали?

- Джим Ларсен. Откуда вы знаете, что у меня был жених?

- Твоя мама сказала вчера вечером, пока ты собирала вещи. Слава богу, что свадьба не состоялась. Кажется, даже твоя мама рада, хоть и не показывает виду. У нее сложилось впечатление, что он тебе не слишком-то нравился.

Я остолбенела. Мы с матерью никогда не откровенничали о Джиме. Мы с ней вообще никогда не откровенничали. Как она узнала?

- Он был хорошим парнем, - пробормотала я.

- Похвально. Ну так пусть получит приз за моральные качества, но «хороший» - не причина выходить замуж. И аккуратнее с помолвками, Вивви. Не вздумай завести привычку обручаться с первым встречным. Помолвка может привести к свадьбе, не успеешь оглянуться. Зачем ты вообще согласилась?

- Не знала, куда себя деть. И он был добр ко мне.

- Многие девушки именно поэтому и выскакивают замуж. Неужели так сложно найти себе другое применение? Господи, девчонки, лучше хобби себе заведите!

- А вы почему вышли замуж? - спросила я.

- Потому что Билли нравился мне, Вивви. Очень нравился. И это единственная причина для замужества - если человек тебе очень нравится. Он и сейчас мне

нравится, между прочим. Вот только на прошлой неделе мы вместе ужинали.

– Правда?!

– А почему бы и нет? Слушай, я понимаю, ты сейчас злишься на Билли – и не ты одна, – но вспомни, что я тебе раньше говорила насчет моего правила.

Я не ответила, потому что уже успела забыть, и Пег мне напомнила:

– Если мне кто понравился, это на всю жизнь.

– Ах, точно. – Но я все равно злилась на Билли.

Пег снова улыбнулась:

– Что приуныла, Вивви? Думала, правило распространяется только на тебя?

В Нью-Йорк мы приехали вечером.

Было 15 июля 1942 года.

Гордый и незыблемый, город вырастал из гранитного фундамента меж двух темных рек. Ряды небоскребов мерцали, как цепочки светлячков в бархатистом летнем воздухе. Мы миновали опустевший величественный мост, широкий и длинный, как крыло кондора, и въехали в город. Многолюдный и насыщенный. Реальный и полный глубокого значения. Величайший метрополис мира – по крайней мере, для меня он всегда был и остается таким.

Меня охватил благоговейный трепет.

И я поклялась пустить здесь корни и никогда больше не покидать Нью-Йорк.

Глава двадцать четвертая

Наутро я снова проснулась в прежней квартире Билли. Только на этот раз лежала в кровати одна. Ни Селии, ни похмелья, ни мучений.

Должна признать, было очень приятно владеть постелью безраздельно.

Я лежала и слушала звуки просыпающегося театра. Звуки, которые не надеялась услышать снова. Кто-то пустил воду в ванной, и трубы протестующе взвыли. Два телефона зазвенели одновременно: один наверху, другой – в конторе на нижнем этаже. От счастья у меня кружилась голова.

Я надела халат и пошла на кухню сварить себе кофе. Там я обнаружила мистера Герберта: тот сидел на своем обычном месте в своей обычной нижней сорочке, уставившись в блокнот, пил свою растворимую бурду и сочинял реплики для предстоящего шоу.

– Доброе утро, мистер Герберт! – выпалила я.

Он поднял голову и, к моему изумлению, улыбнулся.

– Вижу, мисс Моррис, вы вернулись, – ответил он. – Прекрасно.

К полудню мы с Пег и Оливией отправились на Бруклинскую военно-морскую верфь, где меня должны были ввести в курс моих новых обязанностей.

Мы доехали на метро до станции «Йорк-стрит», а потом пересели на трамвай. В последующие три года я буду проделывать этот путь почти каждый день в любую погоду. Вместе со мной будут ехать десятки тысяч рабочих, спешащих к началу утренней смены. Со временем дорога страшно меня утомит и превратится в самую ненавистную часть дня. Но в тот день мне все было в новинку, и я испытывала радостное волнение. Я надела шикарный сиреневый костюм (хотя впоследствии берегла приличные вещи от тамошней грязи и копоти) и взбила свежeweымытые волосы. Я подготовила все документы для официального трудоустройства в Военно-морские силы США (Бюро верфей и доков, разряд: квалифицированный работник). Мне полагалась ставка семьдесят центов в час – целое состояние для девушки моего возраста. Мне даже

выдали защитные очки, хотя глазам моим угрожал разве что пепел от сигареты Пег, летевший в мою сторону.

Не считая трудоустройства в папиной конторе (а я его не считаю), то была моя первая настоящая работа.

Перед встречей с Оливией я нервничала. Меня до сих пор терзал стыд за мои выходки и за то, что ей пришлось спасать меня из когтей Уолтера Уинчелла. Я боялась нарваться на проклятия или презрение. В то утро мы с Оливией впервые остались наедине. Вместе с Пег спускались по лестнице, собираясь ехать в Бруклин. Пег побежала на кухню за термосом, оставив нас с Оливией вдвоем. Мы стояли на лестничной клетке между вторым и третьим этажом. Вот он, мой шанс извиниться и поблагодарить Оливию за то, что пришла мне на выручку, решила я.

– Оливия, – начала я, – я в большом долгу перед вами...

– Ой, Вивиан, – перебила она, – ну хватит уже.

Больше мы на эту тему не заговаривали.

Нас ждала работа, и времени на сантименты не оставалось.

А работа состояла вот в чем.

Нам поручили давать по два спектакля в день в столовой Бруклинской верфи, стоявшей на берегу Уоллабутского залива. Прежде всего, Анджела, ты должна представить себе размеры Бруклинской верфи – самого оживленного судостроительного предприятия в мире на тот момент истории. На двухстах акрах, сплошь застроенных зданиями, в военные годы трудилось почти сто тысяч рабочих. Здесь было около сорока столовых, и в каждой давали представления – мы отвечали за «развлекательно-познавательную программу» лишь в одной из них, столовой номер 24, которую все называли

«Сэмми». (Почему, я так и не поняла. Может, потому, что в ней подавали так много разных видов сэндвичей? Или потому, что шеф-повара звали мистер Сэмюэльсон?) В «Сэмми» ежедневно обедали тысячи усталых замурзанных людей, накладывая себе огромные порции неаппетитной переваренной еды.

А нашей задачей было развлекать рабочих во время трапезы. Развлекать и культивировать в них патриотический настрой. Мы служили рупором Военно-морских сил, через который подавалась информация и пропаганда. Нам велели поддерживать ненависть к Гитлеру и Хирохито (в наших водевилях Гитлера убивали столько раз и столькими способами, что я ни секунды не сомневалась: он это чувствует и в Германии его из-за нас мучают ночные кошмары). Также надлежало внушать зрителям озабоченность судьбой американских солдат, воюющих за границей, и постоянно напоминать, что их лень и недобросовестность на рабочем месте ставят под угрозу жизни наших моряков. Мы должны были предостерегать их, что болтун – находка для шпиона, а шпионы нынче повсюду. Уроки техники безопасности, новостные бюллетени – все это тоже легло на наши плечи. Вдобавок ко всему нас проверяла военная цензура. Цензоры присутствовали на всех представлениях, сидели в первом ряду и следили за тем, чтобы мы не отклонялись от партийной линии. У меня даже появился среди них любимчик, мистер Гершон. Мы с ним так плотно общались, что стали почти как родные: я ходила на бармицву к его сыну.

Чтобы донести до рабочих весь этот огромный объем информации, нам выделяли по полчаса дважды в день.

И так три года подряд.

Материал все время приходилось обновлять, иначе нас закидали бы объедками. («Как же хорошо вернуться

на войну!» – восторженно выдохнула Пег, когда нас впервые освистали. Она действительно была счастлива.) Эта невозможная и неблагодарная работа вытягивала из нас все соки. Условий не было никаких. В столовой имелась маленькая сцена – скорее, даже платформа, сколоченная из грубых сосновых досок. Ни занавеса, ни сценического освещения; вместо оркестра пришлось довольствоваться расстроенным фортепиано и игравшей на нем миссис Левинсон, крошечной местной старушкой. Миссис Левинсон (весьма неожиданно) лупила по клавишам так, что слышно ее было аж на Сэндз-стрит. Под декорации приспособили ящики из-под овощей, под гримерку – уголок на кухне рядом с раковиной. Что до артистов, нам приходилось иметь дело отнюдь не со сливками театральной сцены. С началом войны большинство хороших нью-йоркских актеров отправились на фронт или нашли хорошо оплачиваемую работу в военной сфере. Нам доставались одни «хромые и кривые», как неласково отзывалась о них Оливия. «И чем это отличается от обычной театральной труппы?» – столь же неласково парировала Пег.

Делать нечего, приходилось импровизировать. Брать шестидесятилетних на роль юных любовников. Поручать роли инженеру – или мальчиков – степенным дамам средних лет. Поскольку наши гонорары не могли даже сравниться с зарплатами на производстве, артисты и танцоры постоянно уходили от нас – куда бы вы думали – рабочими на верфь! Сегодня хорошенькая молодая девушка пела со сцены в «Сэмми», а завтра обедала в той же столовой, повязав голову платком и надев рабочий комбинезон. В кармане комбинезона у нее лежал разводной ключ, а в конце месяца ждала приличная зарплата. Завлечь ее обратно в лучи прожекторов не представлялось возможным – у нас и прожекторов-то не было.

Мне поручили шить костюмы, хотя иногда я писала сценарии и даже пару раз сочинила слова для песен. Никогда еще я не работала в столь невыносимых условиях. Бюджет практически отсутствовал, а ввиду военной обстановки началась тотальная нехватка необходимых мне материалов. В дефиците были не только ткани, но и пуговицы, молнии, крючки и петли. Я стала чудовищно изобретательной. Самым отчаянным моим костюмерским подвигом можно считать жилет короля Италии Виктора Эммануила III, который я сшила из жаккардовой обивки полусгнившего дивана, обнаруженного на помойке на углу Десятой авеню и Сорок четвертой улицы. Я нашла его как-то утром и оторвала обивку голыми руками. Не скрою, костюм пованивал, зато король выглядел по-королевски – что удивительно, поскольку играл его старик со впалой грудью, всего за час до этого варивший фасоль на кухне «Сэмми».

Само собой, я стала постоянным гостем в «Комиссионном раю Луцкого» и теперь бывала там даже чаще, чем до войны. В лице Марджори Луцкой – теперь она училась в старших классах – я обрела партнершу в костюмерном деле. Только она могла достать мне все необходимое. Луцкие подписали с военным ведомством контракт на поставку тканей и одежды, так что их ассортимент заметно сократился, но в Нью-Йорке им по-прежнему не было равных. Я отдавала Марджори небольшой процент своей зарплаты, а та приберегала и припрятывала для меня лучшие материалы. Сказать по правде, Анджела, без нее я бы не справилась. Несмотря на разницу в возрасте, за годы войны мы очень сблизились, и вскоре я стала считать ее подругой – хоть и странноватой.

До сих пор помню, как впервые поделилась с Марджори сигаретой. Дело было зимой на складе у

Луцких; я устала рыться в баках с тряпьем и вышла покурить на погрузочную площадку.

– Дай затянуться, а? – раздался голосок.

Я посмотрела вниз и увидела кроху Марджори Луцкую – та весила не больше ста фунтов – в тяжелой енотовой шубе из тех, что студенты Лиги плюща любили надевать на футбольные матчи в 1920-х годах. Ее голову украшала форменная шляпа канадской конной полиции.

– Не дам, – ответила я, – тебе всего шестнадцать!

– Именно, – кивнула Марджори. – То есть я уже десять лет как курю.

Не в силах противиться ее обаянию, я уступила и протянула ей сигарету. Марджори умело затянулась и сказала:

– Знала бы ты, Вивиан, как мне надоела эта война. – Она смотрела в переулок с видом человека, несущего на плечах все бремя мира, и я невольно улыбнулась, настолько комично это выглядело. – Не нравится она мне.

– Не нравится, значит? – Я пыталась не засмеяться. – Так сделай что-нибудь! Напиши гневное письмо конгрессмену. Поговори с президентом. Положи войне конец.

– Я так ждала, когда же наконец стану взрослой, а теперь выходит, что и незачем было взрослеть. – Марджори пожала плечами. – Одни сражения и работа, работа и сражения. Сил уже нет.

– Скоро все закончится, – успокоила ее я, хоть сама и сомневалась в своих словах.

Марджори глубоко затянулась и произнесла совсем другим тоном:

– Наши родственники из Европы в большой беде, Вивиан. Гитлер не успокоится, пока не избавится от всех евреев до последнего. Мама даже не знает, где ее сестры и их дети. Папа целыми днями ведет переговоры

с посольствами по телефону, пытается вывезти родных из этого ада. Мне приходится ему переводить. Но вряд ли кому-то из них удастся выбраться.

– Ох, Марджори. Я очень тебе сочувствую. Какой кошмар.

Я не знала, что сказать. Где это видано, чтобы старшеклассница размышляла о таких серьезных вещах? Мне хотелось ее обнять, но Марджори была не из тех, кто любит телячьи нежности.

– Они меня очень разочаровали, Вивиан, – помолчав, сказала она наконец.

– Кто? – Я думала, она скажет «нацисты».

– Взрослые, – пояснила она. – Все взрослые. Как они допустили такое безобразие в целом мире?

– Не знаю, милая. Но многие просто не ведают, что творят.

– Что верно, то верно, – с подчеркнутым презрением бросила она и выкинула окурочку в переулок. – Поэтому мне и хочется поскорее повзрослеть, понимаешь, Вивиан? Чтобы больше не зависеть от людей, которые сами не ведают, что творят. По-моему, чем скорее я сама начну распоряжаться своей жизнью, тем лучше она станет.

– Как по мне, отличный план, Марджори, – ответила я. – Правда, из меня тот еще советчик, сама-то я никогда ничего не планировала. Но у тебя, похоже, все схвачено.

– Ты никогда ничего не планировала? – Марджори в ужасе взглянула на меня. – Как же ты живешь?

– Господи, Марджори, ты прямо как моя мать!

– Ну знаешь, Вивиан! Если ты никогда и ничего не планируешь наперед, без материнской опеки тебе не обойтись!

Я рассмеялась:

– Не учи меня жить, деточка. По возрасту я тебе в няньки гожусь.

– Ха! Да мои родители в жизни не оставили бы меня с такой безответственной нянькой.

– И были бы правы.

– Ладно, я шучу. Ты же понимаешь, что я шучу, Вивиан? Ты всегда мне нравилась.

– Да неужели? Прямо-таки всегда? С самого восьмого класса?

– А дай-ка мне еще сигаретку, а? На потом, – попросила она.

– Ни за что, – ответила я, но все равно дала, и даже несколько. – Только маме не говори.

– С каких это пор родители должны знать, чем я занимаюсь? – фыркнула эта странная девчушка и, спрятав сигареты в складках огромной шубы, подмигнула мне: – А теперь говори, какие костюмы тебе сегодня нужны, и я подберу тебе все необходимое.

За год моего отсутствия Нью-Йорк порядком изменился.

Здесь больше никто не позволял себе фриivolность – разве что полезную, патриотическую фриivolность, например танцы с военными в Солдатском клубе. Город резко посерьезнел. С минуты на минуту мы ждали вторжения или атаки с воздуха и не сомневались, что немцы начнут бомбить нас и сравняют с землей, как Лондон. Власти ввели график отключения электричества. Несколько ночей подряд свет не горел даже на Таймс-сквер, и Великий белый путь^[35] стал сгустком темноты, зияющей черной дырой посреди города, струйкой пролитой ртути. Все носили форму или готовились поступить на службу. Даже наш мистер Герберт вызвался добровольцем в противовоздушную дружину: по вечерам патрулировал квартал в белом шлеме и красной нарукавной повязке, выданной городскими властями. Пег провожала его словами:

«Дорогой мистер Гитлер! Прошу, не бомбите нас, пока мистер Герберт не предупредит всех соседей. С уважением, Пегси Бьюэлл».

Больше всего военные годы запомнились мне непреходящей корявостью жизни. Нью-йоркцам повезло намного больше, чем жителям других городов, но мы лишились всего качественного. Сливочное масло, хорошие куски мяса, качественная косметика, модная одежда из Европы – все сгинуло. Никаких изысков. Никаких деликатесов. Война, как громадный прожорливый колосс, забирала у нас всё – не только время и труд, но и наши продукты, нашу резину, наши металлы, нашу бумагу, наш уголь. Нам же оставались одни ошметки. Зубы я чистила содой. Последнюю пару нейлоновых чулок берегла, как недоношенное дитя. (Когда в середине сорок третьего и они износились в хлам, я сдалась и начала постоянно ходить в брюках.) Я носилась как угорелая, следить за прической стало совсем некогда, да и шампунь было трудно достать, и я обрезала волосы совсем коротко (почти как Эдна Паркер Уотсон), а потом привыкла и больше не отращивала.

Только в войну я наконец начала считать себя местной. Научилась ориентироваться в городе. Открыла счет в банке и записалась в библиотеку. У меня появился свой обувной мастер (а без него тогда было не обойтись – новой обуви в войну не сыщешь) и свой дантист. Я подружилась с коллегами с верфи, и после смены мы вместе ужинали в закусочной «Камберленд». Я с гордостью оплачивала свою часть счета, когда мистер Гершон говорил: «Ну что, ребята, скинемся по сколько у кого есть». В войну я научилась без стеснения сидеть в одиночестве в барах и ресторанах. Многим женщинам это казалось трудным и непривычным, а я справлялась без проблем. Брала с собой книгу или газету, просила посадить меня за лучший столик у окна и сразу заказывала напиток. Наловчившись, я

обнаружила, что ужин в одиночестве за столиком у окна в тихом ресторанчике – одна из главных тайных радостей в жизни.

За три доллара я купила у парнишки из Адской кухни велосипед и открыла для себя целый новый мир. Я поняла, что свобода передвижений меняет все. Теперь я знала, что в случае атаки смогу быстро выбраться из Нью-Йорка. На таком дешевом и эффективном транспорте я могла поехать в любой конец города, но главное – все время помнила о том, что при необходимости обгону люфтваффе. Почему-то это внушало мне чувство безопасности, пусть и несколько иллюзорное.

Я исследовала город, простиравшийся на много миль вокруг. Ездила и ходила пешком в самые неурочные часы. Особенно мне нравилось бродить ночами и заглядывать в окна незнакомцев, живущих своей жизнью. Кто-то ужинал; кто-то собирался на работу. Я видела людей разных возрастов, с разным цветом кожи. Они отдыхали, они работали, они сидели в одиночестве или веселились в шумной компании. Я могла смотреть на них бесконечно. И наслаждалась, ощущая себя маленькой капелькой в огромном океане человеческих душ.

В мой предыдущий приезд в Нью-Йорк я жаждала находиться в центре событий. Но со временем осознала, что центр не один. Таких центров много, они есть везде, где люди живут своей жизнью. Нью-Йорк – город с миллионом центров.

Почему-то это лишь добавляло ему волшебства.

Во время войны я совсем не встречалась с мужчинами.

Во-первых, они были в дефиците – почти все ушли на фронт. Во-вторых, мне не хотелось развлекаться. Весь Нью-Йорк в те годы посерьезнел и жертвовал собой ради победы, вот и я в период с сорок второго по

сорок пятый отложила на время свои сексуальные притязания, как хозяин накрывает дорожную мебель чехлами, уезжая в отпуск. (Мне, правда, отпуск не светил – я постоянно работала.) И очень скоро я привыкла передвигаться по городу одна, без мужчины-сопровождающего. Забыла о том, что по вечерам приличным девушкам пристало выходить на улицу лишь под руку со спутником. Это правило устарело, да и следовать ему стало невозможно.

Женщинам Нью-Йорка просто не хватило бы спутников, Анджела.

Не хватило бы мужских рук.

Однажды вечером в начале сорок четвертого года я ехала на велосипеде по центральному Манхэттену и вдруг увидела своего бывшего возлюбленного Энтони Рочеллу. Тот выходил из клуба. Узнав его, я вздрогнула, но не слишком удивилась: рано или поздно мы должны были столкнуться. Любой обитатель Нью-Йорка скажет, что в этом городе постоянно натыкаешься на знакомых; иначе и быть не может. Поэтому в Нью-Йорке лучше не заводить врагов.

Энтони ничуть не изменился. Те же напояженные волосы, жвачка, самодовольная улыбка. Он не носил форму, что показалось мне странным для мужчины его возраста в крепком здравии. Должно быть, нашел лазейку и уклонился от службы. (Ну еще бы.) Он был с девчонкой – хорошенькой миниатюрной блондинкой. Сердце у меня кувыркнулось: впервые за долгие годы при виде мужчины я испытала желание, но разве могло быть иначе? Я резко притормозила всего в двух шагах от Энтони и посмотрела прямо на него. Я даже хотела, чтобы он меня заметил, но он не заметил. Или же заметил, но не признал. С коротко стриженными волосами и в брюках я разительно отличалась от той

девушки, которую он когда-то знал. Впрочем, нельзя было исключать и третий вариант: он узнал меня, но решил пройти мимо.

В ту ночь меня мучило одиночество. И желание, что уж таить. О втором я позаботилась сама. К счастью, я научилась это делать. Каждой женщине следует научиться удовлетворять себя самостоятельно.

Что до Энтони, я больше ни разу его не видела и даже не слышала о нем. Уолтер Уинчелл пророчил ему карьеру кинозвезды, но, похоже, оказался неправ.

Хотя как знать? Может, Энтони и стал бы кинозвездой, если бы попытался.

Через несколько недель артист из нашей труппы пригласил меня в «Савой» на благотворительный вечер в поддержку детей-сирот. На вечере выступал оркестр Гарри Джеймса^[36], и я решила пойти, невзирая на усталость. Я пробыла на балу совсем недолго, поскольку никого там не знала и не нашла достаточно интересных партнеров для танца. Решив, что дома веселее, я направилась к выходу и столкнулась нос к носу с Эдной Паркер Уотсон.

– Прошу прощения, – выпалила я и в следующую секунду поняла, кто передо мной.

Я и забыла, что Эдна живет в «Савое». Если бы вспомнила, ни за что бы не притащилась сюда.

Она подняла голову, и наши взгляды встретились. На ней был светло-коричневый габардиновый костюм и изящная блузка мандаринового цвета; через плечо небрежно перекинута серая кроличья горжетка. Она выглядела безукоризненно, как всегда.

– Что вы, не стоит, – с вежливой улыбкой ответила она.

На сей раз не было смысла гадать, узнали меня или нет. Она сразу поняла, кто я такая. Я достаточно хорошо

изучила Эдну, чтобы уловить промелькнувшую под маской невозмутимости тревогу.

Почти четыре года я раздумывала, что́ скажу ей, случись нашим путям пересечься снова. Но сейчас сумела выговорить лишь ее имя – Эдна – и протянуть к ней руку.

– Прошу меня простить, – отвечала она, – но, кажется, мы не знакомы.

С этими словами Эдна ушла.

В юности, Анджела, мы часто заблуждаемся, думая, что время залечит раны и настанет день, когда все забудется. Но с возрастом открывается печальная правда: есть раны, которые не залечить. И есть ошибки, которые не исправить, как бы нам того ни хотелось и сколько бы времени ни прошло.

Судя по моему опыту, это самый жестокий жизненный урок, Анджела.

После определенного возраста все мы бродим по этому свету с израненными душами, неспособными исцелиться, носим в сердце стыд, печаль и старые тайны. Эта боль саднит и растравляет нам сердце, но мы как-то продолжаем жить.

Глава двадцать пятая

Сорок четвертый год близился к концу. Мне исполнилось двадцать четыре.

Я работала на верфи с утра до ночи. Кажется, за все годы я не брала выходной ни разу. Заработанные деньги откладывала, но так уставала, что и тратить их было некогда, а главное – не на что. Мне едва хватало сил по вечерам играть с Пег и Оливией в карты. Бывало, по пути домой я засыпала в метро и просыпалась уже в Гарлеме.

Война вымотала нас.

Сон стал роскошью – все мечтали выспаться, но никак не удавалось.

Мы знали, что побеждаем, – все только и говорили о том, как мы тесним немцев и японцев, но никто не знал, когда война закончится. Само собой, это лишь подстегивало сплетников и любителей строить прогнозы: у каждого имелось на сей счет свое мнение.

Одни утверждали, что все закончится ко Дню благодарения. Потом пророчили победу к Рождеству.

Но наступил 1945 год, а война все не кончалась.

В столовой Бруклинской верфи мы по-прежнему двенадцать раз в неделю убивали Гитлера в водевилях, но, кажется, ему это совсем не вредило.

Не волнуйтесь, уж к февралю-то точно наступит конец, твердили нам.

В начале марта родители получили письмо от брата (тот служил на авианосце где-то в Тихом океане): «Вскоре враг капитулирует. Я в этом не сомневаюсь».

Это было последнее письмо Уолтера.

Анджела, я знаю, что ты-то уж точно слышала об авианосце «Франклин». Но я, к стыду своему, не знала, как называется корабль моего брата, пока нам не сообщили, что 19 марта 1945 года судно атаковано пилотом-камикадзе, в результате чего Уолтер погиб в числе других восьмисот человек. Ответственность не позволяла Уолтеру упоминать название судна, на котором он служил, ведь письма могли попасть во вражеские руки. Я лишь знала, что брат служит на большом корабле где-то в Азии и уверен в скором конце войны.

Первой о смерти Уолтера узнала мама. Она выгуливала лошадь на поле около нашего дома и увидела старый черный автомобиль с одной несуразно выделяющейся белой дверцей, который на всех парах

миновал маму и понесся к нашему дому. Он ехал слишком быстро для гравийной дороги, и это показалось маме странным, поскольку жители пригородов в курсе: мчаться по гравию, да еще и вблизи пасущихся лошадей, – не дело. Но машину мама узнала. Та принадлежала Майку Ремеру, телеграфисту «Вестерн юнион». Мама остановилась, а из автомобиля тем временем вышел Майк с женой и начал стучаться в нашу дверь.

Ремеры были не из тех, с кем мама плотно общалась. Они могли барабанить в дверь нашего дома только по одной причине: пришла телеграмма, такая срочная, что оператор счел нужным самолично доставить новости и даже привез с собой супругу, которая, видимо, должна была утешить семью в великом горе.

Мама сопоставила факты и сразу всё поняла.

Меня всегда интересовало, не появился ли у нее в тот момент порыв развернуться и поскакать прочь оттуда, сбежать от ужасных новостей? Но моя мать была не из тех, кто убегает. Вместо этого она спешила и очень медленно зашагала к дому, ведя за собой лошадь. Позднее она призналась, что в тот момент ей показалось неправильным принимать такое известие сидя верхом. Я очень ясно представляю себе эту картину: мама степенно шагает по полю и ведет за собой лошадь, ничуть не спеша и не тревожа животное. Она знала, что ждет ее на пороге, и не торопилась на встречу с ним. Пока ей не вручили телеграмму, ее сын был жив.

Ремеры могли и подождать. И они ждали.

Когда мама наконец подошла к крыльцу, миссис Ремер с заплаканным лицом раскинула руки, готовая ее обнять.

Стоит ли говорить, что мама отказалась от объятий. Родители даже решили обойтись без похорон.

Во-первых, хоронить было некого. В телеграмме говорилось, что лейтенант Уолтер Моррис похоронен в море со всеми воинскими почестями. Нас также просили не разглашать название корабля и его местонахождение друзьям и родственникам, чтобы ненароком не выдать врагу важную информацию. Как будто среди наших соседей в Клинтоне были сплошь шпионы и саботажники.

Мама не хотела устраивать похорон без тела. Ей это казалось ужасным. А отца слишком подкосили гнев и печаль, чтобы предстать перед соседями и родней в статусе скорбящего. Он так противился вступлению Америки в войну, так уговаривал Уолтера не идти в армию. А теперь он отказывался устраивать церемонию в честь того, что правительство украло у него его самое драгоценное сокровище.

Я поехала домой и пробыла с родителями неделю. Делала все, что могла, но они почти со мной не разговаривали. Я даже предложила остаться с ними в Клинтоне – и осталась бы, если бы попросили, – но они смотрели на меня, как на чужую. Какой им прок от меня в Клинтоне? Напротив, они, похоже, желали моего скорейшего отъезда; их горе не нуждалось в свидетелях. Мое присутствие лишь напоминало им о гибели сына.

Если у них хоть раз возникла мысль о том, что смерть отняла у них не того ребенка – что погиб более благородный и способный сын, а никчемная дочь осталась жить, – то я их прощаю. Иногда я и сама так думала.

После моего отъезда наш дом снова погрузился в тишину. Думаю, не стоит говорить, что родители так и не оправились.

Смерть Уолтера глубоко потрясла меня.

Клянусь тебе, Анджела, мне ни на минуту не приходило в голову, что мой брат может пострадать или даже погибнуть на войне. С моей стороны это было глупо и наивно, но если бы ты знала Уолтера, ты бы поняла, почему я в нем не сомневалась. У Уолтера всегда все спорилось, все получалось. Он обладал превосходным чутьем. За годы занятий атлетикой он ни разу не упал, не потянул мышцу. Даже сверстники считали его кем-то вроде полубога. Он казался неуязвимым.

Мало того, я не волновалась и за солдат, служивших под его началом, – хотя он очень тревожился за них. Единственное опасение, которое он высказывал в своих письмах, касалось безопасности и воинского духа его людей. Но я не сомневалась: любому, кто служит с Уолтером Моррисом, ничего не грозит. Уж Уолтер-то за ними приглядит.

Однако проблема заключалась в том, что не Уолтер командовал кораблем. Его повысили до лейтенанта, но капитаном «Франклина» был не он, а Лесли Герес. Вот почему случилась беда. Из-за капитана.

Но тебе-то все это хорошо известно, не так ли, Анджела?

Или мне только кажется?

Прости, дорогая, я правда не знаю, что именно рассказал тебе отец, а о чем предпочел умолчать.

Мы с Пег решили сами провести для Уолтера скромные похороны в небольшой методистской церкви в Нью-Йорке, недалеко от здания театра. Пег со священником знали друг друга долгие годы и дружили; он согласился устроить небольшую церемонию, а отсутствие останков его не сильно волновало. Пришло не так уж много народу, но мне было очень важно попрощаться с Уолтером, и тетя это понимала.

Разумеется, на похоронах присутствовали Пег с Оливией – они подпирали меня с обеих сторон, точно две колонны. Мистер Герберт тоже пришел. Билли не было: еще годом раньше, когда закончился последний сезон «Города женщин» на Бродвее, он вернулся в Голливуд. Зато пришли мой цензор мистер Гершон и аккомпаниатор из «Сэмми» миссис Левинсон. Пожаловало все семейство Луцких. («В жизни не видела столько евреев на методистских похоронах», – заметила Марджори, оглядев собравшихся. Я рассмеялась. Спасибо тебе, Марджори.) Несколько старых друзей Пег тоже пришли. Эдна и Артур Уотсоны не соизволили появиться, хотя могли бы – хотя бы ради Пег. Впрочем, их отсутствию я не удивилась.

Хор запел гимн, и я безутешно зарыдала. Смерть Уолтера оставила в душе зияющую пустоту, но горевала я не по брату, которого потеряла, а по брату, которого у меня никогда не было. Помимо идиллических ранних воспоминаний, как мы вдвоем катаемся на пони под сенью тенистых деревьев (да и как знать, было ли это на самом деле?), у меня не осталось нежных впечатлений о величественной фигуре брата, бок о бок с которым я провела всю юность. Пожалуй, если бы родители возлагали на него чуть меньше надежд, если бы позволили ему быть просто мальчишкой, а не потомком достопочтенного семейства Моррис, все сложилось бы иначе и мы с Уолтером стали бы друзьями навек и родственными душами. Но этому не суждено было случиться. А теперь он погиб.

Я проплакала всю ночь, но наутро вышла на работу.

В те годы многим приходилось поступать так же.

Мы оплакивали погибших, Анджела, а наутро выходили на работу.

Двенадцатого апреля 1945 года умер Франклин Делано Рузвельт.

Я будто потеряла еще одного члена семьи. Мне даже не верилось, что бывают другие президенты. Что бы ни думал о нем отец, я любила Рузвельта. Многие его любили. А в Нью-Йорке его любили все.

На следующий день работники верфи пребывали в унынии. В столовой я задрапировала сцену траурным полотнищем (из черных занавесок) и велела артистам прочесть выдержки из речей Рузвельта. Под конец один из литейщиков – темнокожий, с белой бородой, по виду выходец с Карибских островов, – поднялся и запел «Боевой гимн республики». Его бархатный бас напомнил мне Поля Робсона^[37]. Мы стояли молча, а горестный плач отдавался от стен.

Пост президента быстро и без шума занял Гарри Трумэн.

Работы прибавилось.

А война все не кончалась.

Двадцать восьмого апреля 1945 года на Бруклинской верфи появился обгоревший и покореженный остов авианосца «Франклин» – того самого, на котором погиб мой брат. Судно прибыло своим ходом. Каким-то чудом пострадавший корабль под управлением остатков экипажа пересек полмира, миновал Панамский канал и добрался до нашей «больницы». Две трети экипажа погибли, значились пропавшими без вести или получили ранения.

В доках «Франклина» встречал военно-морской оркестр, исполняющий траурный гимн. И мы с Пег.

Мы стояли на пристани и приветствовали изувеченный корабль, заменивший мне гроб с телом брата. «Франклин» вернулся домой на ремонт, но даже мне хватило одного взгляда, чтобы понять: никому не

под силу вернуть к жизни эту черную выпотрошенную грудку железа.

Седьмого мая 1945 года Германия объявила о капитуляции.

Но японцы еще держались и не собирались сдаваться.

На той неделе мы с миссис Левинсон сочинили песню: «Один готов, один на очереди».

Мы по-прежнему работали.

Двадцатого июня 1945 года в Нью-Йоркскую гавань вошла «Королева Мэри», на борту которой возвращались домой из Европы четырнадцать тысяч американских солдат. Мы с Пег встречали их на причале номер девяносто в Верхнем Вест-Сайде. Пег взяла кусок старых декораций и намалевала на обороте: «Привет ТЕБЕ! Добро пожаловать ДОМОЙ!»

– И кого это вы приветствуете, тетя? – спросила я.

– Каждого из них. Всех до последнего, – отвечала она.

Сперва я не хотела с ней идти. Слишком грустно становилось при мысли, что несколько тысяч юношей возвращаются домой, а Уолтера среди них нет. Но Пег настояла.

– Тебе пойдет на пользу, – заверила она. – Но главное – солдаты порадуются. Им нужно видеть наши лица.

И я не пожалела, что пошла. Ни капли не пожалела.

Стоял чудесный ранний летний день. Я жила в Нью-Йорке уже три года с лишним, но до сих пор дивилась красоте своего города в такие дни, когда небо чистое-чистое, солнце теплое и ласковое и кажется, будто весь город любит тебя и желает тебе только счастья.

Моряки и солдаты (и санитарки!) сошли с корабля в восторженном состоянии духа. Их встретила ликующая толпа. Мы с Пег составляли лишь малую ее часть, но ликовали, пожалуй, громче всех. Мы по очереди размахивали своим плакатом и кричали до хрипоты. Оркестр на пристани громко играл популярные песни этого года. Солдаты подбрасывали воздушные шарики; впрочем, скоро я поняла, что это и не шарики вовсе, а надутые презервативы. (Причем поняла не я одна: у меня вызвали невольную улыбку попытки матерей запретить детям подбирать «шарики».)

Мимо прошел долговязый солдат с заспанными глазами. Улыбнулся и произнес с тягучим южным акцентом:

– Милая, скажи, а что это за город?

Я улыбнулась в ответ:

– Мы зовем его Нью-Йорком, морячок.

Он показал на строительные краны в другом конце гавани:

– Красивый будет город, когда его достроят.

С этими словами он обнял меня за талию и поцеловал – точь-в-точь как на знаменитой фотографии с Таймс-сквер в день победы над Японией. В тот год такое случилось сплошь и рядом. Но на прославленном снимке не видно выражения лица той девушки. Мне всегда было любопытно, как она отреагировала на поцелуй. Наверное, мы никогда этого не узнаем. Но я могу сказать тебе, как я отреагировала на поцелуй моряка – долгий, умелый и страстный.

Мне понравилось, Анджела.

Очень понравилось. И я ответила на поцелуй, но потом вдруг начала плакать и не могла остановиться. Я уткнулась лицом моряку в шею, прижалась к нему и рыдала. Я плакала о брате и обо всех юношах, что так и не вернулись. О девушках, что потеряли любимых и свою юность. Я плакала, потому что отдала столько лет

этой адской нескончаемой войне. Потому что устала как собака, черт возьми. И потому что соскучилась по поцелуям. Мне хотелось целовать этого моряка – и не только его, а и многих других, – но кому я теперь нужна, двадцатичетырехлетняя старуха? Куда мне деваться? Я плакала, потому что день выдался таким прекрасным, и солнце светило, и все это было великолепно, но совершенно несправедливо.

Уверена, морячок не ожидал такой реакции на поцелуй, но, к его чести, не растерялся.

– Милая, – шепнул он мне на ухо, – хватит слез. Мы счастливы.

Он прижал меня крепче и дал выплакаться, пока я не пришла в себя. Тогда он посмотрел на меня, улыбнулся и спросил:

– А можно еще разок?

И мы снова поцеловались.

Японцы капитулировали лишь через три месяца, но для меня война закончилась именно тогда, в тот солнечный летний день, подернутый персиковой дымкой.

Глава двадцать шестая

Теперь, Анджеला, я как можно короче расскажу тебе о следующих двадцати годах своей жизни.

Я осталась в Нью-Йорке (само собой, я осталась в Нью-Йорке – где же еще?), но город изменился. Перемен было много, и очень стремительных. Еще в сорок пятом Пег предупреждала, что это неизбежно. «После войны все вдруг становится иначе. Я это уже проходила. Нужно приспосабливаться. Так поступают умные люди», – наставляла меня она.

Она не ошиблась.

Послевоенный Нью-Йорк смахивал на богатое голодное нетерпеливое чудовище, чьи аппетиты росли ежечасно. Особенно это чувствовалось в центре Манхэттена. Чтобы освободить дорогу новым

административным зданиям и современным жилым домам, здесь сносили целые кварталы старых кирпичных особняков. Мы ступали по развалинам, как будто город и впрямь подвергся бомбежке. Всего за несколько лет шикарные клубы, в которых мы с Селией Рэй когда-то веселились, позакрывались один за другим; на их месте выросли двадцатипятиэтажные корпоративные башни. Закрылся «Прожектор». Закрылся «Даунбит». Закрылся «Аист». Закрылось бесчисленное количество театров. Кварталы, некогда сиявшие ночными огнями, теперь напоминали уродливые раззявленные рты: половина зубов выбита, хотя некоторые успели заменить новенькими блестящими коронками.

Но самая большая перемена, по крайней мере для нашего маленького круга, случилась в 1950 году. Закрылся театр «Лили».

И не просто закрылся, Анджела: здание снесли. Да-да, нашу прекрасную ветхую покосившуюся крепость уничтожили городские власти, чтобы построить на ее месте автовокзал Порт-Аторити. Был разрушен целый квартал. Чтобы освободить место для монстра, впоследствии заслужившего звание самого безобразного автовокзала в мире, снесли все до единого театры, церкви, одноэтажные особнячки, рестораны, бары, китайские прачечные, залы игровых автоматов, цветочные лавки, тату-салоны и школы. Все сравнивали с землей. Даже «Коммиссионный рай Луцкого» – и тот пал жертвой.

Превратился в пыль на наших глазах.

Но Пег внакладе не осталась. Муниципальные власти предложили ей за «Лили» пятьдесят пять тысяч долларов, а в те времена, когда средний годовой доход наших соседей по кварталу составлял примерно четыре тысячи в год, это были очень неплохие деньги. Мне-то,

конечно, хотелось, чтобы тетя боролась за театр, но она заявила:

– Не за что тут бороться.

– Не верится, что вы вот так все бросите! – возопила я.

– Ты даже не представляешь, что я способна бросить, малышка.

Пег была права: бороться смысла не было. Присвоив себе весь квартал, муниципалитет воспользовался правом на отчуждение собственности, предрешив зловещую и неизбежную судьбу старых зданий. Я разворчалась, но Пег сказала:

– Сопротивляться изменениям – дело опасное и бессмысленное. Не противься логическому концу, Вивиан. Как бы то ни было, славные времена «Лили» давно миновали.

– А вот и нет, Пег, – возразила Оливия. – У «Лили» и не было никогда славных времен.

Обе были по-своему правы. После войны мы еле сводили концы с концами. Доходов от театра едва хватало на жизнь. Зрителей стало даже меньше, чем в войну. Лучшие артисты к нам так и не вернулись. Взять хотя бы нашего пианиста Бенджамина – тот остался в Европе, обосновался в Лионе с француженкой, хозяйкой ночного клуба, и прекрасно чувствовал себя в роли импресарио и руководителя биг-бенда. Мы с восторгом читали каждое его письмо, но нам ужасно не хватало его музыки. Однако главная проблема заключалась в перемене вкусов публики. Наши простенькие пьески больше ее не устраивали. Даже обитатели Адской кухни стали более взыскательными. Война распахнула двери всего мира, и к нам хлынули новые идеи и пристрастия. Даже в мой первый приезд в Нью-Йорк репертуар «Лили» выглядел устаревшим, а теперь наши спектакли превратились в реликты каменного века. Никто не хотел смотреть дешевые водевили с песнями и танцами.

Так что Пег с Оливией не ошибались: если и случались у «Лили» славные времена, к пятидесятому году они давно миновали.

Но мне все равно было больно расставаться с театром.

Увы, новый автовокзал никогда не вызывал у меня столь теплых чувств.

В день сноса Пег пожелала наблюдать за процессом лично.

– Таких вещей нельзя бояться, Вивиан, – сказала она. – Нужно встречать их лицом к лицу.

Мы – я, Пег и Оливия – стояли на тротуаре и смотрели, как рушится старое здание «Лили». Пег с Оливией держались стоически. Я, увы, не могла похвастаться тем же. Тогда мне еще не хватало внутренней силы духа, чтобы спокойно наблюдать, как строительный шар врывается в мой дом, в мою историю – в колыбель, где я по-настоящему выросла. Не сумев сдержаться, я расплакалась.

Самая страшная минута наступила, когда пала внутренняя стена фойе и обнажился зрительный зал. Даже разрушение фасада не произвело на меня такого гнетущего впечатления. Старая сцена внезапно предстала перед нами во всей своей беззащитности – совершенно голая под безжалостным зимним солнцем. Вся ее ветхость открылась на всеобщее обозрение.

Но Пег держалась молодцом. Даже не вздрогнула. Моя тетя была настоящий кремень. Когда строительный шар закончил свою работу, она повернулась ко мне и с улыбкой заметила:

– Знаешь что, Вивиан? Я ни о чем не жалею. В юности я не сомневалась, что жизнь, проведенная в театре, сулит одно сплошное веселье. Так и вышло, малышка. Так и вышло.

На компенсацию от муниципалитета Пег с Оливией купили небольшую уютную квартиру в Саттон-Плейс. У Пег даже осталось немного денег, чтобы выплатить мистеру Герберту что-то вроде выходного пособия – тот переехал в Виргинию и поселился у дочери.

Пег с Оливией нравилась их новая жизнь. Оливия устроилась в местную школу секретарем директора – эту должность придумали как будто специально для нее. Пег работала в той же школе ведущей театральной студии. Кардинальные перемены ничуть их не расстроили. В новом (кстати, действительно совсем новехоньком) доме, где они купили квартиру, даже имелся лифт, а поскольку обе не становились моложе, это существенно облегчало жизнь. В доме также был швейцар, с которым Пег сразу сдружилась на почве бейсбола. («Раньше вместо швейцара у меня были бомжи, которые спали у дверей „Лили“!» – шутила она.)

Несгибаемые вояки, эти женщины адаптировались ко всему. И ни разу не пожаловались на судьбу. Однако мне видится символичным, что театр «Лили» снесли в 1950-м, и в том же году Пег с Оливией купили свой первый телевизор, занявший почетное место в новой квартире. Золотой век театра закончился. Что Пег тоже предвидела.

– Когда-нибудь эта штука нас всех оставит без работы, – сказала она еще давно, когда впервые увидела включенный телевизор.

– Почему вы так уверены? – спросила я.

– Потому что даже мне она нравится больше театра, – честно ответила Пег.

Что до меня, с кончиной театра «Лили» я потеряла дом, работу и семью, с которой делила повседневные

заботы и радости. Само собой, переехать к Пег с Оливией я не могла. В таком возрасте стыдно оставаться приживалкой. Я должна была самостоятельно строить свою жизнь. Но что за жизнь ждет двадцатидевятилетнюю незамужнюю женщину без высшего образования?

Насчет денег я особо не волновалась. У меня было отложено достаточно средств, и я умела зарабатывать. Покуда со мной швейная машинка, портновские ножницы и подушечка для иголок, я всегда могла обеспечить себе существование. Вопрос был в другом: куда мне теперь податься.

В конце концов меня спасла Марджори Луцкая.

К 1950-му мы с Марджори Луцкой стали лучшими подругами.

Как я уже говорила, дружба это была странная, но Марджори всегда обо мне помнила и приберегала для меня самые драгоценные сокровища из бездонных баков с тряпьем, а я, в свою очередь, с восхищением наблюдала, как она превращается в харизматичную и яркую молодую женщину. Было в ней нечто совершенно особенное. Конечно, она всегда была особенной, но после войны расцвела и превратилась в чистый ураган творческой энергии. Марджори по-прежнему одевалась экстравагантно – могла нарядиться то мексиканским бандитом, то гейшей, – но теперь уже не смахивала на девчонку в маскарадном костюме, а стала совершенно уникальной личностью. Она поступила в Художественную школу Парсонс, хотя по-прежнему жила с родителями и занималась семейным бизнесом, одновременно подрабатывая рисованием. Много лет она сотрудничала с универмагом «Бонвит Теллер»^[38] и рисовала им романтические иллюстрации для рекламы, которые публиковались во всех газетах. Рисовала она и

анатомические схемы для медицинских журналов. А однажды – мне особенно запомнился тот случай – оформила путеводитель по Балтимору для турбюро (брошюра носила неутешительное название «Итак, вы в Балтиморе!»). Марджори все было по плечу, и без дела она не сидела.

Марджори выросла девушкой не только творческой, эксцентричной и трудолюбивой, но еще и смелой и прозорливой. Когда муниципалитет сообщил, что намерен снести весь наш квартал, родители Марджори решили забрать компенсацию, уйти на пенсию и поселиться в Квинсе. Внезапно милая Марджори оказалась в такой же ситуации, что и я: без дома, без работы. Но она не стала рыдать и жаловаться, а предложила простой и логичный выход из положения: почему бы нам не объединиться? Можно поселиться вместе и открыть свое дело. Одно на двоих.

А заняться Марджори предложила не чем-нибудь, а свадебными платьями. И это был гениальный план.

Свою идею Марджори пояснила так: «Вокруг все женятся и выходят замуж, Вивиан. С этим надо что-то делать».

Она пригласила меня на обед в «Автомат»^[39] поговорить о свадебном ателье. Дело было летом 1950 года, планы строительства вокзала Порт-Аторити неизбежно маячили на горизонте, и нашему маленькому миру оставалось жить совсем недолго. Но Марджори, в тот день одетая в костюм перуанской крестьянки – пять разных вышитых жилетов и столько же юбок одна поверх другой, – горела вдохновением и целеустремленностью.

– Допустим, все женятся, а мне-то что предлагаешь делать? – удивилась я. – Помешать им?

– Да нет же. Помочь! Мы им поможем, а заодно и денег заработаем. Смотри, я всю неделю торчала в «Бонвит Теллер» и делала наброски в свадебном

отделе. Слушала и мотала на ус. Продавцы не поспевают за заказами. Клиенты жалуются, что все платья одинаковые, никакого разнообразия. Каждая хочет особенный наряд, не как у всех, а выбирать-то особенно не из чего. Одна невеста заявила, что готова сама сшить себе свадебное платье, лишь бы оно чем-то отличалось, вот только шить не умеет.

– Ты предлагаешь мне учить невест шить свадебные платья? – не поняла я. – Да большинство из них бабу на чайник не сошьет.

– Вовсе нет. Я предлагаю нам с тобой шить свадебные платья.

– Таких ателье очень много, Марджори. Это же целая индустрия.

– Да, но мы сможем предложить модели гораздо красивее. Я придумаю дизайн, а ты сошьешь. Никто лучше нас не разбирается в тканях. А главное – мы будем делать новые платья из старых! Ты не хуже моего знаешь, что старый шелк и атлас намного превосходят современные импортные ткани. С моими связями я смогу добыть в Нью-Йорке тонны старинного шелка и атласа – черт, да я могу даже заказать старые ткани и платья из Франции оптом, французы сейчас готовы продать что угодно, у них ведь голод. А ты из них пошьешь такие наряды, которые «Бонвит Теллер» и не снились. Я видела, как ты срезала старинное кружево со скатертей для костюмов. Таким же образом можно добывать кружево для фаты и оборок. Мы будем создавать уникальные платья для девушек, которым не нравится покупать готовое в универмаге и выглядеть как все. У нас, Вивиан, будет не индустрия, а штучный товар. Единственный в своем роде. Ты ведь справишься?

– Кому понравится ношеное свадебное платье? – засомневалась я.

Но стоило мне произнести эти слова, как я вспомнила Мэдлин, мою подругу из Клинтон. В начале

войны я сшила ей свадебный наряд, распоров два шелковых бабушкиных платья и создав нечто совершенно новое, уникальное. И получилось потрясающе.

Заметив, что я проникаюсь ее идеей, Марджори продолжала:

– Вот как я это себе представляю: мы откроем бутик. Ты обставишь там все по своему вкусу, чтобы у заказчиков сразу возникало ощущение, что место эксклюзивное, высший класс. Сыграем на том, что ткани и материалы возим из Парижа. Американцам понравится. Скажи им, что вещь из Парижа, и они что угодно купят. Даже врать особенно не придется, ведь я действительно буду заказывать материалы во Франции. Само собой, это будут тряпки на вес, но заказчикам об этом знать необязательно. Я отберу все лучшее, а ты из лучшего сошьешь еще лучше.

– То есть ты хочешь открыть лавку?

– Бутик, Вивиан. Господи, подруга, научись наконец называть вещи своими именами. Это у евреев лавки, а у нас будет бутик.

– Но ты же еврейка.

– Бутик, Вивиан. Давай-ка, потренируйся. Повторяй за мной: бу-тик. Покатай слово на языке.

– И где ты откроешь этот свой бутик?

– В районе Грамерси-парка, – ответила Марджори. – Район престижный и всегда таким останется. Уж будь покойна, эти особняки никто никогда не снесет! Вот что мы на самом деле будем продавать, Вивиан: престиж. Высокий класс. Я и название уже придумала: «Ле Ателье». И здание присмотрела. Родители отдадут мне половину компенсации за снос склада – еще бы не отдали, ведь я с колыбели пашу на них, как портовый грузчик! Моей доли как раз хватит, чтобы выкупить приглянувшийся мне дом.

Наблюдать за стремительной работой ее мысли было даже жутковато. Я не поспевала за Марджори.

– Дом стоит на Восемнадцатой улице, в квартале от парка, – продолжала она. – Три этажа, внизу витрина. Две отдельные квартиры наверху. Дом маленький, но с шармом. Если не знать, где находишься, можно вообразить себе милый маленький бутик на живописной улочке в Париже. Такой эффект нам и нужен. И здание в относительно хорошем состоянии; я найду рабочих, они сделают ремонт. Ты можешь жить на втором этаже. Я терпеть не могу подниматься по лестнице. Тебе понравится – в твоей квартире окно на потолке. Даже два!

– Марджори, ты хочешь, чтобы мы купили дом?

– Нет, подруга, я хочу сама купить дом. Мне известно, сколько денег у тебя в банке, – не обижайся, Вивиан, но на твои сбережения и в Нью-Джерси ничего не купишь, а уж на Манхэттене и подавно. Но ты можешь вложиться в бизнес – тут уж давай пополам. А дом я куплю сама. Потрачу все до последнего цента, но сделаю из него конфетку. А вот чего я точно не собираюсь делать, так это снимать помещение, – я ж не приезжая какая-нибудь, извините!

– Вообще-то, Марджори, ты как раз приезжая, – напомнила я.

– Без разницы. В этом городе заработать можно только одним путем: владея недвижимостью. Если просто продаешь одежду, ни черта не получится. Спроси Саксов – они-то знают. Спроси Гимбелов – они-то знают^[40]. Само собой, мы будем зарабатывать и продажей одежды, потому что благодаря нашим с тобой безусловным талантам платья у нас будут что надо. Короче, Вивиан, суть вот в чем. Я куплю дом. Ты займешься свадебными нарядами. Мы с тобой откроем бутик и поселимся над ним. Такой план. Будем вместе

жить и вместе работать. Нам же все равно сейчас заняться нечем, верно? Просто соглашайся.

Примерно три секунды я глубоко и серьезно обдумывала ее предложение, а потом ответила:

– Конечно. Так и сделаем.

Если тебе интересно, Анджеला, обернулось ли мое поспешное согласие ужасной ошибкой, то нет. Вот чем оно обернулось на самом деле: мы с Марджори несколько десятков лет шили роскошные свадебные платья на заказ, заработали себе на безбедную старость и заботились друг о друге, как родные. Более того, я до сих пор живу в том же доме. (Я уже старуха, но не волнуйся: подняться по лестнице на второй этаж мне вполне по силам.)

Объединившись с Марджори Луцкой, я приняла самое мудрое решение за всю свою жизнь.

Иногда со стороны действительно виднее, что для нас лучше.

А между тем работа нас ждала совсем непростая.

Свадебные платья, Анджеला, как и театральные костюмы, не шьют, а конструируют. Изделие это монументальное, и для его создания необходим монументальный труд. Мои же платья требовали особого обращения, ведь начинала я не с отреза чистой новой ткани. Сшить новое платье из старого или даже из нескольких старых, как в моем случае, гораздо сложнее: сначала нужно аккуратно распороть старую вещь, проверить сохранность материала и от этого уже плясать. Не говоря уже о том, что работать приходилось со старинными, деликатными тканями – антикварным шелком и атласом, паутиной древнего кружева, – а они взывали к высочайшей осторожности.

Марджори приносила мне мешки старых свадебных платьев и детских крестильных рубашечек, добытых незнамо где и незнамо как. Я внимательно перебирала всю эту груды богатств и отсортировывала вещи, которые можно пустить в ход. Многие вещи пожелтели со временем или приобрели пятна на самом видном месте – лифе (не позволяй невестам пить красное вино!). Перво-наперво я отмачивала их в ледяной воде с уксусом, чтобы вернуть первоначальный цвет и вывести пятна. Особо упрямые отметины приходилось вырезать, стараясь спасти максимум материала. Впрочем, иногда платье с пятнами можно вывернуть наизнанку или использовать для подкладки. Работа моя была сродни ремеслу ювелира или резчика алмазов: я стремилась сохранить как можно больше драгоценной ткани и срезала изъяны буквально по дюйму.

Дальше вставала другая задача: создать уникальную вещь. В некотором смысле свадебное одеяние – всего лишь платье и, как и все остальные платья, состоит из трех элементарных частей: лифа, юбки и рукавов. Но за годы я сконструировала из этих трех элементов тысячи моделей, и среди них не было двух одинаковых. По-другому никак: каждая невеста хочет быть исключительной, не такой, как все остальные.

Работа была сложная и отнимала много сил, физических и умственных. Время от времени я нанимала ассистентов, и они немного помогали, но я так и не нашла того, кто мог работать на моем уровне. И поскольку я стремилась к безупречности изделий «Ле Ателье», то сама долгими часами просиживала над каждым платьем, доводя его до совершенства. Если вечером накануне свадьбы невеста вдруг требовала добавить жемчуга на лиф или убрать кружева, именно я в глубокой ночи вносила необходимые изменения. Чтобы выполнять такую кропотливую работу,

требовалось терпение монаха. И вера, что вещь в твоих руках священна.

К счастью, я была терпелива. И обладала верой.

Само собой, самый сложный момент в пошиве свадебных платьев – общение с заказчиками.

За годы работы с невестами я научилась распознавать все тонкости семейных отношений, понимать, сколько у кого денег и сколько кто готов потратить, и определять, кто в семье главный, – но прежде всего я научилась понимать страх. Я обнаружила, что невеста накануне свадьбы всегда чего-нибудь боится. Боится, что недостаточно любит жениха или любит его слишком сильно. Боится секса, который ждет ее после замужества, или опасается, что после замужества секс уже никогда не будет прежним. Боится, что в день свадьбы все пойдет наперекосяк. Боится, что на нее нацелятся сотни глаз, – и боится, что на нее вообще не будут смотреть, если платье окажется неудачным, а подружка невесты – более симпатичной.

Эти тревоги, Анджела, возможно, покажутся тебе глупыми в сравнении с более серьезными бедами, что мир переживал тогда. Ведь только что закончилась мировая война, погибли десятки миллионов людей, а у сотен миллионов жизнь рушилась на глазах. Разве могут страхи нервных девушек сравниться с такими катаклизмами? Однако страхи – вещь субъективная; они сами собой поселяются у нас в голове и портят нам жизнь. Со временем я поняла, что моя основная задача – сделать все возможное, чтобы избавить девушек от страхов и предсвадебных переживаний. За годы работы в «Ле Ателье» я научилась помогать испуганным невестам, успокаивать их, ставить их нужды на первое место и беспрекословно исполнять их желания.

Но учиться мне пришлось долго, причем с самого первого дня.

Через неделю после открытия «Ле Ателье» в бутик вошла молодая женщина со свежим экземпляром «Нью-Йорк таймс», где мы разместили рекламу. (Рекламное объявление – рисунок Марджори – изображало двух дам на свадьбе, восхищенно взирающих на прекрасную невесту. Одна из женщин говорила: «Что за платье! Из Парижа?» А вторая отвечала: «Почти! Оно из „Ле Ателье“, там лучшие модели!»)

Гостя нервничала, это было очевидно. Я предложила ей стакан воды и показала вещи, над которыми работала в данный момент. Ее взгляд задержался на пышном платье из тюля, похожем на пушистое летнее облако. Модель очень напоминала ту, что была изображена на картинке в газете. Девушка погладила платье, и на лице у нее появилось мечтательное выражение. Сердце у меня упало. Я видела, что фасон совершенно ей не подходит. Маленькая, кругленькая, в нем она стала бы совсем пампушкой.

– Можно примерить? – спросила она.

Я никак не могла ей позволить. Стоило посетительнице разок посмотреться в зеркало и понять, как глупо она выглядит в этом платье, она сбежала бы из нашего бутика и никогда бы не вернулась. Однако меня волновало другое. Не настолько уж я опасалась упустить потенциальную покупательницу. Но я знала: если она увидит себя в этом платье, ее чувства будут задеты – глубоко задеты, – и мне хотелось уберечь девушку от душевной травмы.

– Милая моя, – как можно мягче произнесла я, – вы очень красивы. Но по-моему, это платье не сможет подчеркнуть вашу красоту.

Девушка изменилась в лице. Затем расправила плечи и храбро произнесла:

– Я знаю почему. Я слишком маленького роста, так? И слишком толстая. Знаю. В день свадьбы я буду выглядеть глупо.

Ее слова пронзили меня в самое сердце, Анджела. Глядя на эту уязвимую, неуверенную в себе девушку, пришедшую в свадебный салон в надежде, что ее сделают красивой, я вдруг ощутила всю боль и несправедливость жизни, все ее мелкие, но от этого не менее ужасные подлости. Мне захотелось позаботиться об этой девушке, уберечь ее и сделать так, чтобы больше она не страдала ни минуты.

А еще, Анджела, учти, что до сих пор мне не приходилось шить для обычных людей. Много лет я делала костюмы для профессиональных танцовщиц и актрис. Я не привыкла видеть перед собой рядовых девушек с нормальной, среднестатистической внешностью, закомплексованных и уверенных в собственном несовершенстве. Многие женщины, с которыми я работала раньше, обожали свое тело и стремились выставить его напоказ. И у них были на то все причины! Я привыкла видеть женщин, которые с готовностью сбрасывали с себя одежду и восторженно кружились у зеркала голышом, а не тех, кто смущался при виде собственного отражения!

Я и забыла, что бывают другие девушки. Не самовлюбленные.

Та девушка в нашем бутике открыла мне глаза: я поняла, что работа в свадебном салоне будет сильно отличаться от работы в шоу-бизнесе. Ведь передо мной стояла не пышногрудая артистка бурлеска, а обычная женщина, которая в день свадьбы хотела быть красивой, но не знала, как этого добиться.

Зато я знала.

Я знала, что ей нужно простое платье по фигуре, в котором она не утонет. Знала, что оно должно быть из крепового атласа, который легко драпируется, но не

липнет к телу. Ослепительно-белый не подойдет, поскольку девушка слишком румяная. Нет, ей нужен наряд из ткани более приглушенного, кремового оттенка, который смягчит цвет лица. Я также сразу поняла, что простой цветочный венок будет смотреться на ней гораздо лучше длинной фаты. А рукава длиной три четверти подчеркнут тонкие запястья и красивые руки. И никаких перчаток! Одного взгляда на ее фигуру в повседневной одежде мне хватило, чтобы определить естественную линию талии, которая совсем не совпадала с поясом того платья, что сейчас было на ней; я решила, что на свадебном платье линию талии нужно сделать выше, и тогда невеста будет казаться тоньше. Я видела, что девушка скромна, а еще безжалостно критична к себе и стеснительна – такая вряд ли захочет глубокий вырез. Зато лодыжки – вот их мы можем открыть и обязательно откроем. Я совершенно точно знала, как нужно одеть девушку.

– Не нервничайте, моя дорогая, – сказала я и приобняла ее одной рукой, словно взяв под крыло. – Мы позаботимся о вас по лучшему разряду. Вы будете самой красивой невестой, клянусь.

И я не соврала.

Вот что я скажу тебе, Анджела: я любила всех девушек, что приходили в «Ле Ателье». Всех до единой. Сама от себя такого не ожидала. К каждой невесте, которую готовила к свадьбе, я испытывала невероятную любовь и нежность, непреодолимое желание заботиться о ней и оберегать ее. Даже если они капризничали и скандалили, я их любила. Даже некрасивые казались мне самыми красивыми на свете.

Мы с Марджори открыли бутик прежде всего ради денег. Был у меня и второй мотив: совершенствование ремесла, всегда приносившего мне удовлетворение.

Третья причина, почему я взялась за эту работу, – мне нечем было больше заняться. Но я никак не ожидала величайшей награды, величайшей радости, какую принес мне наш бизнес: мощной волны теплоты и нежности, захлестывавшей меня каждый раз, когда порог ателье переступала очередная робкая невеста и доверяла мне свою драгоценную жизнь.

Другими словами, Анджела, «Ле Ателье» подарило мне любовь.

Понимаешь, без любви в такой работе никак.

Наши клиентки были очень молоды, очень напуганы и очень дороги мне.

Глава двадцать седьмая

Самое смешное, что мы с Марджори так и не вышли замуж.

Мы заведовали «Ле Ателье» много лет, провели всю жизнь по уши в свадебных кружевах и шелках, помогли тысячам девушек подготовиться к брачной церемонии, но сами так и не стали невестами. Никто не взял нас замуж, да мы и не хотели. Помнишь шутку про вечных подружек невесты, которые повидали сотни свадеб, кроме собственной? Так вот, мы с Марджори не были даже подружками невест. Мы были их няньками.

Проблема, как мы ее видели, крылась в наших странностях. Мы сами поставили себе диагноз: слишком дикие для замужества. Даже шутили, что назовем так наш следующий бутик.

Чудаковатость Марджори сразу бросалась в глаза. Таких оригиналов было еще поискать. И дело не только в ее манере одеваться (хотя одевалась она так, что у людей глаза на лоб лезли), но и в ее увлечениях. То она брала уроки восточной каллиграфии и дыхания в буддийском храме на Девяносто четвертой улице. То училась делать йогурт – и весь наш дом провонял кислым молоком. Марджори ценила авангардное искусство и слушала жуткую (во всяком случае, на мой

вкус) перуанскую музыку. Как-то раз она записалась подопытной в эксперимент по гипнозу и позволила студентам аспирантуры погрузить себя в транс и подвергнуть психоанализу. Она гадала по картам Таро, китайской Книге Перемен и рунам. Ходила к китайскому целителю, который лечил ей ноги, и рассказывала об этом каждому встречному и поперечному, хоть я сто раз ей говорила, что не стоит обсуждать с клиентами больные ноги. Она перепробовала все модные системы питания, но не ради похудения, а для оздоровления и просветления. Помнится, однажды Марджори все лето питалась консервированными персиками – прочла где-то, будто они полезны для легких. Потом пришел черед пророщенных бобов и бутербродов с зародышами пшеницы.

Кому захочется жениться на девушке, питающейся бутербродами с зародышами пшеницы?

Странности были и у меня, что уж там.

К примеру, мою манеру одеваться тоже не назовешь обычной. В войну я привыкла носить брюки и теперь из них не вылезала. В брюках я могла спокойно колесить на велосипеде по всему городу, но они нравились мне не только поэтому: я открыла в себе страсть к мужской одежде. Мне казалось (и кажется до сих пор), что лишь в мужском брючном костюме женщина выглядит по-настоящему шикарно и стильно. В послевоенное время купить качественный шерстяной костюм было непросто, как и хорошую шерстяную ткань, но я наострилась перешивать дорогие подержанные костюмы двадцатых и тридцатых годов – и не какие-нибудь, а с Сэвил-Роу^[41]. Я подгоняла костюмы под себя, подбирала подходящую блузку и, по-моему, выглядела не хуже Греты Гарбо.

После войны так не одевался никто. В 1940-е вид женщины в мужском костюме никого не удивлял; аскетизм считался патриотичным. Но с окончанием сражений в моду снова ворвалась тотальная женственность, сметая все на своем пути. После 1947 года мир захватил Кристиан Диор со своим стилем нью-лук: осиная талия, пышная юбка, грудь торчком и мягкая линия плеч. Эти пышные элегантные платья показывали миру, что период военной экономии закончился и теперь можно не скупиться на шелка и тюль, лишь бы выглядеть мило, женственно и воздушно. На одно платье фасона нью-лук уходило двадцать пять ярдов ткани. Попробуй-ка вылезти из такси в такой юбке.

Я сразу возненавидела эти платья. Во-первых, они совершенно не смотрелись на моей фигуре. Длинноногая, высокая, с отсутствующей грудью, я гораздо лучше выглядела в блузке и брюках. Практические соображения тоже сыграли свою роль. Работать в широченной юбке было невозможно. Мой день в «Ле Ателье» по большей части проходил на полу: стоя на коленях, я раскладывала выкройки, ползала вокруг клиенток во время примерок. Такая работа требует брюк и туфель на плоской подошве, которые обеспечивают свободу передвижений.

Так что я не побоялась отвергнуть сиюминутную моду и стала одеваться по-своему, как когда-то учила меня Эдна Паркер Уотсон. И в результате приобрела эксцентричный вид. Не настолько эксцентричный, как у Марджори, но все же довольно необычный. Зато я поняла, что моя униформа – брюки и пиджак – помогает в работе с женщинами. Короткая стрижка также обеспечивала психологическое преимущество. Не акцентируя собственную женственность, я давала понять своим заказчицам (и, что немаловажно, их матерям), что не представляю никакой угрозы. Это было

крайне важно, поскольку, если ты помнишь, я отличалась привлекательностью, а женщинам моей профессии привлекательность только во вред. Даже в примерочной, один на один, портниха не должна быть красивее невесты. Неуверенным в себе девушкам, выбирающим самое важное в жизни платье, меньше всего хочется видеть рядом сексапильную богиню; нет, им нужна молчаливая и вежливая портниха, одетая в черное и готовая выполнить любой их каприз. Вот я и стала молчаливой и вежливой портнихой, причем с большим удовольствием.

Другой моей странностью была любовь к одиночеству и независимости. Пятидесятые годы в США стали эпохой восхваления супружеских ценностей; никогда еще брак не возносили на такой высокий пьедестал. Но меня замужество просто не интересовало, и в глазах общественности я превратилась в отклонение от нормы – едва ли не преступницу. Однако невзгоды войны взрастили во мне уверенность в себе и в своей способности выжить, а когда мы с Марджори открыли ателье, у меня появилась цель в жизни. Мне даже не верилось, что раньше я так нуждалась в мужчинах. Впрочем, они и тогда были нужны мне только для одной цели.

Я обнаружила, что мне очень нравится жить одной над бутиком. Мне нравилась моя маленькая уютная квартира с двумя живописными окнами на потолке, крошечной спальней с видом на магнолию в переулке и кухонным уголком, который я собственноручно покрасила в вишнево-красный цвет. Обзаведясь собственным жильем, я вскоре приобрела странные привычки и уже не представляла себе жизни без них. Например, я стряхивала пепел в цветочный горшок за окном, могла подняться среди ночи и включить весь свет, чтобы почитать страшную книгу, а завтракала холодными спагетти. Мне нравилось расхаживать по

дому в тапочках – я ни разу не зашла к себе в квартиру в уличной обуви. Фрукты я не сваливала кучей в вазу, а выкладывала аккуратными рядами на сияющем кухонном столе. Появление мужчины в моей чудесной маленькой квартирке я восприняла бы как вторжение.

Мало того, я пришла к выводу, что брак – не такое уж выгодное для женщины предприятие. Я смотрела на своих подруг, проживших в браке по пять-десять лет, и не завидовала ни одной из них. Когда романтика сошла на нет, все они превратились в бесплатный обслуживающий персонал для собственных мужей. (Женщины могли обслуживать их с радостью или с раздражением, но все равно обслуживали.)

Должна сказать, что и мужья не выглядели особенно счастливыми в браке.

Я не поменялась бы местами ни с кем из подруг.

Справедливости ради скажу, что никто и не звал меня замуж, если не считать Джима Ларсена.

Правда, в 1957 году я оказалась на волосок от предложения руки и сердца от старшего финансиста «Браун бразерс Гарриман», частного банка с Уолл-стрит, чья деятельность была окутана тайной, а богатства не поддавались исчислению. Это был настоящий храм денег, и Роджер Олдермен служил в нем первосвященником. У Роджера был собственный гидроплан – можешь себе представить, Анджеला? (Для чего вообще ему понадобился гидроплан? Может, он был шпионом? Или доставлял провизию партизанам на остров? Полный абсурд.) И еще добавлю, что он носил божественные костюмы, а при виде привлекательных мужчин в свежевыглаженных, пошитых на заказ костюмах у меня всегда подкашивались коленки.

Я так влюбилась в костюмы Роджера Олдермена, что встречалась с ним почти год, хотя никакого намека на

любовь к самому Роджеру у себя в сердце так и не обнаружила. А потом он вдруг заговорил о домике в Нью-Рошелле, где мы поселимся, когда наконец решим уехать из «этого ужасного города». Вот тут-то я и очнулась. Ничего не имею против Нью-Рошелла, но абсолютно уверена: случись мне прожить там хоть день, я бы удавилась. Собственными руками.

Вскоре после этого я предпочла завершить наши отношения.

Впрочем, секс с Роджером приносил мне немало удовольствия. Это был не лучший в мире и не самый интересный в мире секс, но весьма и весьма приятный. Как любили говорить мы с Селией, Роджер умел нажимать на нужные кнопки. Меня всегда поражало, Анджела, насколько легко я расслаблялась во время секса и насколько свободным чувствовало себя мое тело даже с самым непривлекательным партнером. Роджер, впрочем, был довольно хорош собой. Даже, пожалуй, красив. Хотела бы я похвастаться равнодушием к мужской красоте, но, увы, не могу. Пусть Роджер совсем не будоражил мое сердце, тело благодарно откликалось на его прикосновения. За годы я обнаружила, что всегда способна испытать оргазм – не только с Роджером Олдерменом, но с кем угодно. Какими бы равнодушными ни оставались сердце и ум, тело неизменно реагировало с восторгом и энтузиазмом.

А когда все заканчивалось, мне сразу хотелось, чтобы мужчина поскорее ушел.

Кажется, тут стоит сделать отступление и пояснить, что после войны я возобновила свои сексуальные приключения и предавалась им с немалым энтузиазмом. Я нарисовала тебе не слишком аппетитную картинку, Анджела: старая дева в мужском костюме, с короткой стрижкой, живет одна, замуж не стремится. Но уверяю

тебя: нежелание выходить замуж вовсе не означало, что я не хотела заниматься сексом.

К тому же я по-прежнему была очень хорошенькой. С короткой стрижкой я выглядела просто потрясающе. Мне ни к чему тебе лгать, Анджела.

После войны во мне пробудился сексуальный голод невиданной доселе силы. Я устала от лишений. За три года изнурительного труда на верфи и полного celibата во мне накопилась не только усталость, но и неудовлетворенность. Я не верила, что мое тело предназначено для такой жизни. Я знала, что рождена не только для того, чтобы работать, спать, а потом снова идти на работу – без всяких радостей и удовольствий. Ведь жизнь не ограничивается одним лишь тяжким трудом.

Пришел мир, и мои аппетиты вернулись. Кроме того, я обнаружила, что в зрелости они стали более конкретными и специфическими; теперь я точно знала, что мне нравится. А еще во мне открылась страсть к исследованию. Так, меня занимали различия в сексуальном темпераменте мужчин – в постели все они вели себя по-разному. Мне нравилось выяснять, кто окажется стеснительным любовником, а кто раскрепощенным. (Подсказка: прогнозы никогда не совпадают с реальностью.) Меня трогали звуки, издаваемые мужчинами в момент экстаза. Мне было любопытно, насколько далеко они способны зайти в своих фантазиях. Меня поражало, что мужчина, только что нетерпеливый и пылающий страстью, через секунду может стать нежным и робким.

Кроме того, теперь у меня появились новые правила. Точнее, всего одно правило: я никогда не связывалась с женатыми мужчинами. Полагаю, не надо объяснять почему. Но если все-таки надо, то вот: после случая с Эдной Паркер Уотсон я поклялась, что ни одна женщина

больше не пострадает из-за моих сексуальных походов.

Я даже не соглашалась спать с мужчинами на грани развода. Многие мужчины разводятся годами, но в итоге так и остаются в браке. А однажды я ужинала с мужчиной, который за десертом признался, что женат, но это не считается, поскольку у него уже четвертая по счету жена – а разве четвертый брак можно назвать браком?

Я отчасти согласилась с ним, но все равно сказала «нет».

Если тебе интересно, где я находила мужчин, Анджела, то знай: испокон веков женщине не составляет труда найти мужчину для секса, когда она легка на подъем.

Поэтому я находила мужчин где угодно. Но если тебе нужны конкретные места, чаще всего это происходило в баре отеля «Гросвенор», что на углу Пятой авеню и Десятой улицы. Мне всегда нравился «Гросвенор». Старый, строгий, респектабельный, элегантный, но без показухи. В баре у окна стояли столики, накрытые белыми скатертями. Мне нравилось приходить туда ранним вечером после долгого рабочего дня, проведенного за швейной машинкой. Я садилась за столик у окна, читала роман и пила мартини.

В девяти случаях из десяти я просто читала, потягивала напиток и расслаблялась. Но время от времени мужчины, сидевшие за барной стойкой, угощали меня выпивкой. Затем между нами могла проскочить искра, а могла и не проскочить – каждый раз по-разному.

Обычно я довольно скоро понимала, хочется ли мне продолжить знакомство. Если мужчина мне нравился, я предпочитала действовать напрямик. Нет смысла притворяться недотрогой или играть в игры. Кроме того, меня страшно утомляли разговоры. После войны

американские мужчины очень любили прихвастнуть, что вызывало у меня только раздражение. Им казалось, что они не только победили в войне, но завоевали весь мир. Они пыжились от гордости и говорили только о себе. Но я научилась останавливать поток самодовольной болтовни, переходя к активным действиям: «Ты мне нравишься. Давай пойдем куда-нибудь, где можно побыть вдвоем?» Кроме того, я обожала видеть их удивление и радость в ответ на прямое предложение заняться сексом, исходящее от красивой женщины. Каждый раз лица их загорались, как у ребенка из сиротского приюта, получившего подарок на Рождество. Это был мой самый любимый момент.

Бармена из «Гросвенора» звали Бобби, и он относился ко мне с крайним почтением и деликатностью. Когда я в очередной раз уходила из бара с мужчиной, с которым познакомилась лишь час назад, и направлялась к лифтам, Бобби тактично опускал голову и делал вид, что читает газету и ничего не замечает. Под безупречной накрахмаленной формой Бобби и сам был богемной душой. Жил в Виллидже и летом уезжал на две недели в Катскиллские горы, где рисовал акварели и бродил голышом по закрытому санаторию для nudists. Бобби не стал бы меня осуждать. А если мужчина оказывал мне слишком настойчивое внимание, Бобби вмешивался и просил его оставить меня в покое. Я обожала Бобби и была бы не прочь закрутить с ним роман, но понимала, что он гораздо нужнее мне как друг, чем как любовник.

Что до мужчин из «Гросвенора», после небольшого совместного приключения я предпочитала больше с ними не встречаться.

И всегда старалась уйти, прежде чем они начнут рассказывать о себе вещи, которые я знать не желала.

Наверняка тебе интересно, влюблялась ли я в кого-то из этих мужчин. Нет, Анджела, ни разу. У меня были любовники, но не возлюбленные. С некоторыми я встречалась по несколько раз, а кое-кто со временем даже стал мне другом (лучшее, на что я могла надеяться). Но увлечения ни разу не переросли в истинное чувство. Возможно, потому, что любви я не искала. А может, судьба смилостивилась надо мной. Ведь нет в жизни страшнее катастрофы, чем настоящая любовь, – по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление.

Впрочем, со многими любовниками меня связывали довольно теплые чувства. У меня был потрясающий роман с молодым – совсем молодым – венгерским художником, с которым я познакомилась на выставке в Оружейной палате на Парк-авеню. Его звали Ботонд, и был он сущий младенец. В вечер нашего знакомства я пригласила его к себе, чтобы заняться сексом, и в самый ответственный момент он заявил, что не собирается надевать презерватив, потому что я «хорошая женщина» и он уверен, что я «чистая». Тогда я села в кровати, включила свет и сказала этому мальчику, который годился мне в сыновья: «Ботонд, послушай-ка меня внимательно. Я хорошая женщина, ты прав. Но вынуждена сообщить тебе нечто важное, и хочу, чтобы ты это запомнил: если женщина приглашает тебя к себе домой, чтобы заняться сексом, хотя знакома с тобой всего час, она делает это не в первый раз. Поэтому всегда – всегда, слышишь? – пользуйся презервативом».

Милый Ботонд с его круглыми щечками и дурацкой стрижкой!

А еще был Хью – тихий вдовец с добрым лицом, который пришел к нам в «Ле Ателье» с дочерью, чтобы купить ей свадебное платье. Он был так мил и хорош собой, что после окончания деловых отношений я тихонько подсунула ему записку со своим номером

телефона и словами: «Звоните в любое время, если захотите провести со мной вечер».

Он смутился, это было очевидно, но я не могла упустить такого мужчину.

Примерно два года спустя, в субботу вечером он позвонил. Представился, неловко запинаясь, а дальше даже не знал, что говорить. Я улыбнулась в трубку и поспешно пришла к нему на выручку. «Хью! – воскликнула я. – До чего же приятно вас слышать. И не надо стесняться. Я же написала – в любое время. Можете приезжать хоть сейчас».

Влюблялись ли эти мужчины в меня? Иногда да. Но мне всегда удавалось отговорить их от этого. Часто после фантастического секса у мужчины складывается ощущение, что он влюблен. А я была очень хороша в постели, хотя бы в силу опыта. (Как-то раз я сказала Марджори: «Есть две области, где я действительно хороша: секс и шитье». Та ответила: «Слава богу, подруга, ты зарабатываешь вторым, а не первым».) Когда мужчины начинали смотреть на меня щенячьим взглядом, я доходчиво объясняла, что влюблены они вовсе не в меня, а в секс. Обычно это их отрезвляло.

Рисковала ли я, оставаясь наедине с чужими мужчинами, которых почти не знала? Единственный честный ответ – да. Но это меня не останавливало. Я была осторожна, но в выборе партнеров приходилось полагаться только на инстинкт. И порой он неизбежно меня подводил. Бывало, что за закрытыми дверями все происходило грубее и рискованнее, чем мне нравилось. Случалось такое нечасто, но все же случалось. И в таких ситуациях приходилось лавировать, как опытному мореходу в сильный шторм. Не знаю, как объяснить по-другому. Хотя время от времени выдавалась неприятная ночка, я ни разу серьезно не пострадала. Да и риск меня не пугал. Свободу я ценила выше безопасности.

Испытывала ли я угрызения совести по поводу своей сексуальной активности? Нет, никогда. Я знала, что мое поведение необычно – другие женщины себя так не вели, – но вовсе не чувствовала себя испорченной.

Заметь, Анджела, долгое время я считала себя плохой. Все военные годы я очень стыдилась инцидента с Артуром и Эдной Паркер Уотсон, а слова «грязная маленькая потаскушка» звучали в голове постоянным припевом. Но после войны я с этим покончила. Думаю, немаловажную роль в моем исцелении сыграла смерть Уолтера и тяготившая меня мысль, что брат так и не успел насладиться жизнью. Война заставила меня понять, что жизнь опасна и коротка, поэтому нет никакого смысла отказывать себе в удовольствиях и приключениях, пока есть возможность.

Я могла бы провести остаток жизни, доказывая всем и каждому свою добропорядочность, но тогда я изменила бы себе. В глубине души мне было ясно: я хороший человек, а то и хорошая женщина. Но сексуальные аппетиты тут ни при чем. Так что я решила не отрицать свою истинную суть и не лишать себя того, что мне нравится. Я стала искать удовольствий. И пока я держалась подальше от женатых мужчин, вреда я никому не приносила.

К тому же, Анджела, в жизни каждой женщины наступает момент, когда ей просто надоедает постоянно стыдиться себя.

Только тогда женщина обретает свободу и может наконец стать собой.

Глава двадцать восьмая

Что касается друзей-женщин, их у меня было множество.

Само собой, Марджори я считала лучшей подругой, а Пег с Оливией навсегда остались для меня самыми близкими людьми. Но нас с Марджори постоянно

окружали и другие женщины, причем в огромном количестве.

С Марти мы познакомились на бесплатном концерте в Рутерфорд-Плейс; она защищала докторскую по литературе в Нью-Йоркском университете, знала все на свете и была самой веселой из наших подруг. Карен работала в приемной Музея современного искусства, хотела стать художницей и вместе с Марджори когда-то училась в Художественной школе Парсонс. Рован была врачом-гинекологом – впечатляющая и очень полезная профессия для подруги. Сьюзан преподавала в начальной школе и увлекалась современным танцем. Кэлли принадлежала цветочная лавка на углу нашей улицы. Анита была из богатой семьи и в жизни ни дня не работала, но снабдила нас тайным ключом к воротам Грамерси-парка, заслужив нашу вечную благодарность.

Были и другие; они появлялись и исчезали. Иногда мы с Марджори теряли подруг, потому что те выходили замуж; впрочем, после развода они возвращались к нам. Некоторые покидали Нью-Йорк, а потом снова приезжали обратно. Жизнь состояла из приливов и отливов. Наш дружеский круг то расширялся, то сужался.

Но место встреч оставалось неизменным: крыша нашего дома на Восемнадцатой улице. Мы выбирались туда по пожарной лестнице через окно моей спальни. Мы с Марджори притащили на крышу дешевые раскладные стулья и вечерами, если позволяла погода, часто сидели там с подругами. Год за годом каждое лето наша маленькая женская компания любовалась скупым светом звезд над Нью-Йорком. Мы курили, пили дешевое красное вино, слушали музыку на транзисторе и делились большими и маленькими заботами.

Однажды в августе Нью-Йорк накрыла жесточайшая жара, и Марджори каким-то образом затащила на крышу огромный вентилятор. Она подключила его к

промышленному удлинителю и воткнула в розетку на кухне в моей квартире. По части гениальных изобретений Марджори не уступала Леонардо да Винчи. Сидя на искусственном ветерке, мы задрали блузки, чтобы охладиться, и притворились загорающими на пляже экзотического курорта.

Это одно из самых моих счастливых воспоминаний за все пятидесятые.

Именно там, на крыше нашего маленького свадебного бутика, я поняла одну удивительную вещь: когда женщины собираются вместе без мужчин, им не надо быть кем-то – они могут просто быть.

В 1955 году Марджори забеременела.

Я всегда боялась, что эта участь постигнет меня – все количественные шансы были в мою пользу, – но, увы, не повезло бедняжке Марджори.

Виновником оказался старый женатый профессор художественной школы, с которым она крутила шашни много лет. (Хотя Марджори винила исключительно себя: нечего было столько лет тратить на женатого мужчину, который обещал, что уйдет от жены, как только Марджори перестанет «вести себя так по-еврейски».)

Когда она сообщила о беременности, мы как раз сидели на крыше.

– Ты уверена? – спросила Рован, врач-гинеколог. – Можешь прийти ко мне. Сдай анализ.

– Не нужен мне анализ, – отвечала Марджори. – Месячных нет. Давно уже.

– Как давно? – спросила Рован.

– Задержки у меня и раньше бывали, но чтобы три месяца? Это впервые.

Последовала напряженная тишина, какая обычно воцаряется в женской компании, стоит подругам узнать, что одна из них случайно и против воли забеременела.

Ситуация эта всегда чрезвычайно деликатная. Я видела, что никто не хочет высказываться, прежде чем Марджори сама не заговорит. Нашей задачей было поддержать любое ее решение, но сначала нужно было узнать это решение. Однако Марджори, объявив нам сенсационную новость, замолкла и больше ничего не добавила.

Наконец я не выдержала и спросила:

– А что Джордж говорит? – Джорджем, как ты понимаешь, звали женатого профессора-антисемита, которому, несмотря на нелюбовь к евреям, почему-то нравилось заниматься сексом с еврейскими девушками.

– А с чего ты решила, что это Джордж? – пошутила Марджори.

Все мы знали, что это Джордж. Больше никому. Разумеется, это Джордж. Марджори сохла по нему еще с тех пор, как сто лет назад зеленой студенткой училась у него на курсе современной европейской скульптуры.

Потом она добавила:

– Нет, я ему ничего не сказала. И вряд ли скажу. Решила больше с ним не встречаться. Хватит уже. Во всяком случае, это хороший повод перестать с ним спать.

Тут Рован задала вопрос, который всех нас интересовал:

– А ты думала об аборте?

– Нет. Аборт я делать не буду. Точнее, могла бы сделать, вот только уже поздно.

Марджори закурила очередную сигарету и глотнула вина – в 1950-е беременность выглядела именно так.

– Есть одно местечко в Канаде, – сказала она. – Что-то вроде приюта для незамужних матерей категории люкс. Там все по высшему разряду, у каждой отдельная комната. Если я правильно поняла, клиентки в основном немолодые. И обеспеченные. Могу поехать туда ближе к концу, когда скрывать беременность уже не получится.

Скажу, что еду в отпуск, – хотя кто мне поверит, я же в жизни отпуска не брала. Мне даже обещали подыскать для ребенка хорошую еврейскую приемную семью. Ума не приложу, где они найдут евреев в Канаде, но мало ли – вдруг у них свои каналы? В любом случае, мне плевать, даже если семья будет не еврейская. Главное, чтобы ребенок попал в хороший дом. Заведение это довольно уважаемое – правда, недешевое, но ничего, раскошелюсь. Возьму из отложенного на Париж.

Как обычно, Марджори решила проблему самостоятельно еще до того, как сообщила о ней подругам, и выбрала самый разумный план. И все же я очень расстроилась за нее. Эти хлопоты были ей совершенно ни к чему. Мы с ней годами копили деньги, чтобы вместе поехать в Париж. Думали закрыть бутик на целый месяц, сесть на «Королеву Елизавету» и отплыть во Францию. Это была наша общая мечта. Мы почти отложили нужную сумму. Годами работали без выходных. А теперь вот это.

Я сразу решила, что поеду с ней в Канаду. Мы закроем «Ле Ателье», на сколько потребуется. Куда бы она ни отправилась, я буду с ней. Останусь рядом во время родов. Потрачу все деньги, отложенные на Париж, чтобы купить машину. Пойду на что угодно.

Я подвинула свой стул к Марджори поближе и взяла ее за руку.

– Отличная идея, дорогая, – сказала я. – Я тебя не брошу.

– Здорово я все придумала, да? – Марджори глубоко затанулась и оглядела подруг. У всех нас на лицах было одинаковое выражение любви, сочувствия и легкой паники.

А потом случилось нечто совершенно неожиданное. Марджори вдруг посмотрела на меня, улыбнулась немного безумной, кривоватой улыбкой и заявила:

– А знаешь что, Вивиан? Пропади все пропадом. Не поеду я ни в какую Канаду. Может, я сошла с ума, но я решилась, только что. Есть у меня план получше. Нет, не получше, а просто другой. Я оставлю ребенка себе.

– Оставишь? – в ужасе спросила Карен.

– А как же Джордж? – воскликнула Анита.

Марджори вздернула подбородок, как боксер в легчайшем весе перед выходом на ринг:

– Не нужен мне никакой Джордж. Мы с Вивиан воспитаем ребенка вдвоем. Правда, Вивиан?

Мне хватило секунды на размышления. Я знала свою подругу. Раз уж она что решила, то уже не отступит. И добьется своего. А я, как всегда, буду ей помогать.

И я снова ответила Марджори Луцкой:

– Конечно. Так и сделаем.

И снова моя жизнь перевернулась.

Вот так все и вышло, Анджела.

У нас появился ребенок.

Наш прекрасный, невозможный, хрупкий маленький Натан.

Нам было очень тяжело. Тяжело во всем.

Беременность протекала без осложнений, но роды оказались чистым кошмаром. В итоге Марджори сделали кесарево, но лишь после восемнадцати часов мучений. Операция прошла неудачно. Кровотечение не прекращалось, и врачи боялись, что Марджори умрет. Во время операции лицо ребенка задела скальпелем, чуть не выколов малышу глаз. Марджори подхватила инфекцию и пролежала в больнице почти четыре недели.

Я до сих пор уверена, что с ней обращались так халатно, потому что Натан был внебрачным ребенком (в

1950-е слово «ублюдок» уже не произносили, но отношение осталось прежним). Врачи на родах не уделяли Марджори должного внимания, а сестры были грубы.

После родов лишь мы с подругами ухаживали за Марджори. Ее родители не захотели иметь ничего общего ни с ней, ни с ребенком – по той же причине, что и медсестры. Это может показаться крайней жестокостью (и так оно и было), но ты даже не представляешь, каким позором для женщины того времени считалось рождение внебрачного ребенка. Даже с учетом того, что жили мы в либеральном Нью-Йорке и Марджори была независимой зрелой женщиной, хозяйкой собственного бизнеса и собственного особняка, беременность и роды без мужа ложились на нее позорным клеймом.

Но Марджори держалась молодцом, хоть и осталась совершенно одна. Так что наш сплоченный женский круг взял на себя заботу о Марджори и Натане, и мы делали все, что в наших силах. Слава богу, нас было много. Поскольку именно мне выпало нянчить новорожденного, я не могла находиться с Марджори в больнице круглосуточно. Уход за ребенком превратился в полный кошмар, ведь я не знала, что делать. Младших братьев и сестер у меня не было, а своего ребенка я и вовсе не хотела. У меня напрочь отсутствовал материнский инстинкт. Мало того, я не потрудилась узнать побольше о младенцах, пока Марджори ходила беременная, и даже не понимала, чем их положено кормить. Мне представлялось, что Натан будет ребенком Марджори, а мне останется только работать вдвое больше, чтобы содержать нас троих. Но так вышло, что в первый месяц младенец достался мне – то есть, увы, попал в не самые умелые руки.

С Натаном было непросто. Он страдал от колик, недобирал вес и отказывался брать бутылочку. У него

начались себорейный дерматит и потничка («Не голова, так попа», – шутила Марджори), которые никак не проходили, несмотря на все мои усилия. Наши ассистентки в «Ле Ателье» старались, как могли, но был июнь, сезон свадеб, и мне приходилось уделять работе хоть пару дней в неделю, иначе бизнес просто встал бы. В отсутствие Марджори я взяла на себя ее половину обязанностей. Но стоило мне положить Натана в кроватку и заняться делами, как он начинал вопить, пока я снова не брала его на руки.

Как-то утром мать одной из наших невест заметила, как тяжело мне с ребенком, и присоветовала старую итальянку, которая помогала ее дочери, когда у той родились близнецы. Итальянку звали Пальма, и ее появление в нашем доме можно сравнить лишь с сошествием всех ангелов, вместе взятых. Она много лет проработала у нас няней и стала нашим спасением, особенно в тот адский первый год. Но Пальма обходилась недешево. Впрочем, все, что касалось ребенка, обходилось недешево. Натан часто болел в младенчестве, потом в детстве, потом в отрочестве. Не совру, если скажу, что в первые пять лет жизни в кабинете врача он проводил больше времени, чем дома. Назови любую детскую болезнь – Натан ее перенес. У него постоянно были проблемы с дыханием, он сидел на пенициллине, а тот вызывал расстройство желудка. В итоге у Натана пропадал аппетит, что приводило к целой череде новых проблем.

Чтобы оплачивать счета, мы с Марджори пахали как лошади. Теперь нас стало трое, и один всегда болел. Так что пахать приходилось.

Ты не поверишь, сколько платьев мы сшили за те первые годы. Слава богу, число свадеб только возрастало.

О Париже мы даже не вспоминали.

Время шло, и Натан становился старше, хоть и не вышел ростом. Он был таким крохой – очень ласковым, добросердечным и мягким, – но легко пугался и нервничал по любому поводу. А еще постоянно болел.

Мы его любили без памяти. Невозможно было не любить такого милого малыша. Ты в жизни не встречала настолько доброго ребенка, Анджела. Он никогда не проказничал, никогда нам не перечил. Вот только был слишком хрупким. Может, мы слишком с ним нянчились. А как иначе? Детство его прошло в свадебном бутике в окружении одних лишь женщин – наших заказчиц, сотрудниц, – и каждая готова была по первому зову броситься успокаивать его или обнимать. «Господи, Вивиан, он совсем как девчонка», – как-то раз сказала Марджори, увидев, как сын крутится перед зеркалом в фате. Грубоватое замечание, но, справедливости ради, с самого начала было ясно, что таким Натан и вырастет. Мы с Марджори шутили, что единственная мужская ролевая модель в его жизни – Оливия.

Накануне пятилетия Натана мы поняли, что его нельзя отдавать в обычную школу. Он весил от силы двадцать пять фунтов и до смерти боялся сверстников. Он не был сорванцом, не гонял мяч, не лазил по деревьям, не швырялся камнями и не обдирал коленки. Он любил головоломки. Любил разглядывать книжки, но только не страшные. («Швейцарская семья Робинзонов»: слишком страшно. «Белоснежка»: слишком страшно. «Дорогу утятам»: а вот это в самый раз.) В нью-йоркской общественной школе этого мальчика съели бы живьем. Мы с Марджори представляли, как его мутузят толстомордые городские задиры, и приходили в ужас. Тогда мы записали его в семинарию в надежде, что добрые квакеры за наши же кровные научат Натана не обижать всякую тварь (хотя этот мальчик не обидел бы

и букашки). Обучение обходилось нам в две тысячи долларов в год.

Другие дети спрашивали Натана, где его папа, и мы научили его отвечать: «Мой папа погиб на войне». Это была полная несуразица, учитывая, что Натан родился в 1956 году, но мы надеялись, что пятилетние дети не станут углубляться в сложные расчеты и на время оставят Натана в покое. Когда он подрос, мы придумали историю получше.

Однажды ясным зимним днем, когда Натану было около шести, мы втроем сидели в Грамерси-парке. Я расшивала бисером лиф свадебного платья, а Марджори пыталась читать «Нью-йоркский книжный вестник», но безуспешно – ветер вырывал страницы из рук. Марджори надела пончо в фиолетово-горчичную клетку – очень странное сочетание цветов – и совершенно безумные турецкие туфли с загнутыми кверху носами, а голову обернула авиаторским белым шарфом. Она напоминала члена средневековой гильдии ремесленников, у которого разболелись зубы.

В какой-то момент мы отвлеклись от своих дел и стали наблюдать за Натаном. Сначала тот рисовал человечков мелом на тротуаре. Потом его напугали голуби – самые обыкновенные голуби, которые спокойно клевали зернышки в нескольких шагах от него. Он бросил рисовать и застыл. Его глаза при виде безобидных птиц расширились от ужаса.

– Посмотри на него, – прошептала Марджори, – он всего боится.

– Точно, – кивнула я, поскольку так и было.

– Даже в ванной, когда я его купаю, он только и ждет, что я стану его топить, – продолжала она. – Где он такое услышал? Что матери топят детей? Откуда у него такие мысли? Ты же никогда не пыталась топить его в ванной, Вивиан?

– Не припоминаю. Но ты же знаешь, в гневе я ужасна, – попыталась я отшутиться, но неудачно.

– Не знаю, что станется с этим ребенком. – Марджори тревожно нахмурилась. – Он даже своей красной шапки боится. Из-за цвета, наверное. Сегодня пыталась заставить его надеть эту шапку, а он как разревется. Пришлось дать голубую. Знаешь что, Вивиан? Этот ребенок сломал мне жизнь.

– Ох, Марджори, не говори ерунды, – рассмеялась я.

– Да нет же, Вивиан, это правда. Он все испортил. Просто признай. Все-таки надо было тогда поехать в Канаду и отдать его в приемную семью. Тогда у нас по-прежнему были бы деньги, а у меня – свобода. Я бы спокойно спала ночами, не просыпаясь от его кашля. Никто не глазел бы на меня как на чумную, оттого что я родила вне брака. Может, даже осталось бы время рисовать! И я сохранила бы свою прекрасную фигуру. Может, даже парня завела бы! Нет уж, что греха таить: зря я оставила ребенка.

– Марджори! Прекрати. Ты это несерьезно.

Но она не сдавалась:

– Серьезно, Вивиан. Решение оставить Натана было худшим в моей жизни. Ты это понимаешь. Да и все понимают.

Я уже начала тревожиться, но тут она добавила:

– Одна только проблема: я его люблю до безумия. Ты только посмотри на него, Вивиан.

Я посмотрела. И увидела невыносимо трогательную хрупкую фигурку мальчика, который старался отойти подальше от голубей (что в нью-йоркском парке не так-то просто сделать). Нашего малыша Натана в зимнем комбинезончике, с обветрившимися губами и пунцовыми от экземы щеками. Его милое личико с заостренными чертами. Он панически озирался в поисках того, кто защитит его от миролюбивых птиц, не обращавших на него ни малейшего внимания. Он был совершенен, как

сосуд из тончайшего хрусталя. Не мальчик, а настоящая катастрофа, но я его обожала.

Я взглянула на Марджори и увидела, что она плачет. Это было непривычно, ведь Марджори никогда не плакала. (За слезы у нас отвечала я.) Никогда прежде я не видела ее такой несчастной и такой усталой. Она спросила:

– Как думаешь, отец Натана согласится забрать его к себе, если Натан наконец перестанет вести себя так по-еврейски?

Я толкнула ее в бок:

– Хватит, Марджори.

– Вивиан, я совершенно вымоталась. Но я так люблю этого малыша, что аж сердце разрывается. В том и фокус, да? Так природа принуждает матерей гробить свою жизнь ради детей? Заставляя любить их без памяти?

– Возможно. Стратегия-то, в общем, неплохая.

Мы вместе смотрели, как Натан наконец отважился зайти на территорию бедных голубей, которые, заметив его, поспешно ретировались.

– Не забудь, мой сын и тебе жизнь сломал, – после долгого молчания добавила Марджори.

Я пожала плечами:

– Разве что самую малость. Но я не расстраиваюсь. Мне все равно нечем было заняться.

Шли годы.

Город продолжал меняться. Центр Манхэттена одряхлел, заплесневел, стал зловещим и неприятным. Мы даже не приближались к Таймс-сквер – район превратился в помойку.

В шестьдесят третьем году закрыли колонку Уолтера Уинчелла.

Смерть начала прибирать к рукам моих близких.

В 1964-м от сердечного приступа внезапно умер дядя Билли. Смерть настигла его за ужином со старлеткой в голливудском отеле «Бeverли-Хиллз». Мы все согласились, что именно такую кончину он сам и выбрал бы. («Уплыл по реке шампанского», – прокомментировала тетя Пег.)

Всего десять месяцев спустя умер мой отец. Его смерть не была столь идиллической. По пути домой из загородного клуба его машину занесло на льду, и она врезалась в дерево. После экстренной операции на позвоночнике папа прожил несколько дней, но умер от осложнений.

Папа ушел озлобленным на весь мир. Его карьера успешного промышленника давно закончилась. Сразу после войны он потерял шахту по добыче бурого железняка. Он так яростно боролся с профсоюзными активистами, что чуть не разорил фирму, потратив почти все состояние на судебные процессы против своих же рабочих. В переговорах он придерживался политики выжженной земли: или я главный, или никто. Он умер, так и не простив правительство США, которое отняло у него сына, профсоюзы, которые лишили его бизнеса, и современный мир, который плевать хотел на дорогие папиному сердцу узколобые, старомодные взгляды.

Мы приехали на похороны всей компанией: Пег, Оливия, Марджори и Натан. Мать безмолвно ужасалась присутствию Марджори в странном наряде и с не менее странным ребенком. Годы сделали маму глубоко несчастной, она перестала реагировать на любые проявления доброты. Мы были ей не нужны.

Переночевав в Клинтоне, мы поспешили вернуться в Нью-Йорк как можно скорее.

Все равно мой дом теперь был там. Уже много лет подряд.

А годы все шли.

По достижении определенного возраста, Андже́ла, время начинает литься ручьями, как мартовский дождь. Остается лишь поражаться его скоротечности.

Как-то вечером в 1964 году я сидела дома и смотрела шоу Джека Паара^[42]. Смотрела одним глазом и параллельно распарывала старинное бельгийское свадебное платье, которое буквально рассыпалось в руках. Началась рекламная пауза, и вдруг я услышала знакомый голос – низкий, грубоватый, саркастичный. Прокуренный женский голос с явным нью-йоркским выговором. Меня словно пронзило током. Ум еще не успел понять, кому принадлежит голос, а сердце уже осознало.

Я взглянула на экран и увидела дородную даму с каштановыми волосами и громадным бюстом. Со смешным бронкским акцентом та жаловалась на проблемы с паркетным воском. («Мало мне детей – теперь еще и полы липкие!») Совершенно обычная брюнетка в возрасте, каких тысячи. Но этот голос я узнала бы где угодно. Это была Селия Рэй!

За минувшие годы я множество раз думала о Селии – с любопытством, тревогой и виной. И ее возможное будущее представлялось мне совсем неутешительным. Мне почему-то казалось, что после изгнания из театра «Лили» Селия покатится по наклонной. Возможно, она оказалась на улице и вскоре погибла от руки одного из прежних поклонников, которыми раньше так легкомысленно вертела. Иногда она виделась мне старой опустившейся проституткой. Встречая на улице пьяных женщин средних лет, настоящих бродяжек, я невольно представляла на их месте Селию. Может, и она перекрасилась в блондинку, вытравив волосы до ломкости? И не она ли там спотыкается на каблуках, не

ее ли это ноги с распухшими венами? Или вот она, с черными синяками под глазами? Не она ли копается в помойке? Не ее ли это морщинистые губы, густо намазанные красной помадой?

Оказалось, я зря боялась: с Селией все было в порядке. Даже более чем – она рекламировала паркетный воск на телевидении! Ох уж эта упрямая, целеустремленная, цепкая кошка. Верно Пег говорила: у Селии еще остались шесть жизней. И она нашла способ вернуться в лучи прожекторов.

Мне больше не попадалась та реклама, а искать Селию специально я не стала. Не хотелось вмешиваться в ее жизнь, да и я не питала надежд, что у нас с ней осталось что-то общее. На самом деле у нас с Селией никогда и не было ничего общего. Даже без того скандала наша дружба вряд ли продлилась бы долго. Две тщеславные молодые девчонки, которые встретились в зените своей красоты, но в надире житейской мудрости и бесстыдно использовали друг друга для укрепления собственного статуса и привлечения мужского внимания, – только и всего, и тогда это было чудесно. То, что нужно. Лишь в зрелом возрасте я поняла, что такое настоящая, крепкая женская дружба. Надеюсь, поняла это и Селия.

Так что искать ее я не стала.

Но я и передать не могу, Анджела, какой восторг и какую гордость я испытала, услышав ее голос по телевизору тем вечером.

Мне хотелось ей аплодировать.

Четверть века спустя Селия Рэй по-прежнему работала в шоу-бизнесе!

Глава двадцать девятая

В конце лета 1965 года тете Пег пришло странное письмо.

Ей писал комиссар Бруклинской военно-морской верфи. Верфь вскоре закрывалась навсегда. Город

менялся стремительно, и Военно-морские силы постановили, что в районе с такими высокими ценами на землю держать судостроительное предприятие нерентабельно. Но перед закрытием власти решили устроить торжественное чествование всех, кто героически трудился на верфи во Вторую мировую войну. Поскольку в тот год праздновали двадцатилетие окончания войны, это казалось особенно уместным.

Уполномоченный поднял старые дела рабочих и нашел среди них досье Пег, которая числилась на верфи как «независимый подрядчик, ответственный за развлекательную программу». Ее нашли через налоговую службу и предложили поставить небольшой спектакль для праздника ветеранов верфи, чтобы отдать дань уважения их труду во время войны. Тут подошла бы ностальгическая пьеса минут на двадцать с песнями и танцами военных лет.

Пег с радостью взялась бы за эту работу, но, увы, в последнее время она не могла похвастаться отменным здоровьем. Ее некогда крепкий организм начал давать сбои. Она страдала от эмфиземы – сказала многолетняя привычка курить одну сигарету за другой. Ее мучил артрит, сильно упало зрение. «Врач говорит, что ничего страшного, – объясняла она мне, – но и ничего хорошего».

Несколько лет назад она оставила работу в школе из-за слабого здоровья, и передвигаться по городу ей было не так-то просто. Пару раз в неделю мы с Марджори и Натаном ужинали с Пег и Оливией, но тете нельзя было перенапрягаться. Вечерами она почти всегда лежала на диване с закрытыми глазами, пытаясь отдышаться, а Оливия читала ей вслух спортивную хронику. Увы, Пег не могла поставить памятный спектакль для ветеранов Бруклинской верфи.

А вот я могла.

Все оказалось гораздо проще, чем я думала, – и гораздо веселее.

В свое время я поставила сотни музыкальных и танцевальных номеров, и навык никуда не делся. Я пригласила учеников из школьной театральной студии, где раньше преподавала Пег. Моя подруга Сьюзан – та самая, что занималась современным танцем, – взяла на себя хореографию, хотя особых сложностей там не предполагалось. В соседней церкви я нашла органиста, и вместе мы сочинили пару примитивных сентиментальных песенок. И, само собой, я сшила костюмы, тоже самые простые: брюки с подтяжками и комбинезоны, одинаковые для юношей и девушек. Артистки надели красные платки на голову, а парни повязали их на шею, и вуаля – вылитые рабочие 1940-х.

Восемнадцатого сентября 1965 года мы со всем скарбом притащились на старую, обветшавшую верфь и стали готовиться к представлению. Утро в доках выдалось ясным и ветреным, с залива то и дело налетал шквал, срывая шляпы с гостей. Но толпа собралась немаленькая, и люди радовались, как на карнавале. Военный оркестр играл старые песни, группа женщин угощала всех печеньем и прохладительными напитками. Несколько высокопоставленных офицеров флота выступили с речами о том, как мы победили в войне и будем побеждать во всех войнах до окончания дней. Первая женщина, которую допустили к работе сварщицей на верфи во Вторую мировую, тоже произнесла речь, короткую и неловкую, и голос у нее оказался слишком тихим для дамы с таким послужным списком. Десятилетняя девочка спела национальный гимн. На ней было коротенькое легкое платье, из которого следующим летом она наверняка вырастет, да и сейчас оно ее не слишком грело.

А потом пришло время для нашего спектакля.

Комиссар Бруклинской верфи попросил меня представиться и сказать пару слов о нашей постановке. Я не люблю выступать на публике, но кое-как справилась с задачей, не особенно опозорившись. Я назвала свое имя, объяснила, чем занималась на верфи во время войны. Пошутила, что в столовой «Сэмми» тогда кормили не ахти как, и те немногие, кто помнил нашу столовую, рассмеялись. Поблагодарила ветеранов за их труд, а семьи бруклинцев – за принесенную жертву. Сказала, что мой брат служил во флоте и погиб за считанные дни до победы. (Я боялась, что не смогу говорить о нем без слез, но сумела сдержаться.) Затем я объяснила, что мы покажем типичный пропагандистский спектакль военного времени, и выразила надежду, что он укрепит боевой дух присутствующих так же, как наши спектакли укрепляли дух рабочих во время обеденных перерывов в военные годы.

Я написала скетч о типичном дне на конвейере в Бруклинской верфи, где собирали боевые корабли. Ребята в комбинезонах играли рабочих, радостно пели и танцевали, трудясь на благо победы демократии во всем мире. Памятуя о том, что выступаем мы для ветеранов, я добавила в сценарий шутки, понятные лишь тем, кто когда-то работал на верфи.

– Дорогу генеральскому лимузину! – выкрикивала одна из юных артисток, толкая перед собой тележку.

– Лентяям не место в тылу! – кричала другая парню, жаловавшемуся на долгий рабочий день и тяжелые условия.

Управляющего фабрикой я назвала мистером Лодырсоном – догадывалась, что ветераны оценят юмор

(в военные годы не было худшего греха, чем отлынивать от работы).

До Теннесси Уильямса нам было далеко, но зрителям, кажется, пришлась по вкусу наша маленькая пьеска. Мало того, ребята из школьного драмкружка тоже повеселились на славу. Но больше всего меня умилил Натан, мой чудесный десятилетний мальчик: он сидел в первом ряду с матерью и смотрел спектакль с таким изумлением и восторгом, будто мы привели его в цирк.

В заключение мы спели веселую песенку под названием «Не до кофе, ребятки!» о том, как важно не выбиваться из графика. Одна строчка в песне получилась особенно удачной: «Даже будь у нас кофе, где взять молока? / Не до кофе, ребятки! Стой у станка!» (Не хочу хвастать, но я сама ее сочинила, так что подвинься-ка, Коул Портер.)

В финале мы убили Гитлера, спектакль закончился, и все были счастливы.

Мы с артистами и декорациями грузились в школьный автобус, который одолжили на день, и тут ко мне подошел патрульный полицейский в форме.

– Можно вас на пару слов, мэ́м? – спросил он.

– Конечно, – ответила я. – Простите, что мы здесь припарковались, но мы уже уезжаем.

– Вы не могли бы отойти от машины?

У него был страшно серьезный вид, и я встревожилась. Что я нарушила? Может, нельзя было возводить подмости? Я-то думала, у нас есть все разрешения и допуски.

Я прошла за ним к патрульной машине. Он прислонился к дверце и сурово взглянул на меня.

– Я слышал вашу речь, – сообщил он. – Правильно ли я понял – вас зовут Вивиан Моррис? – Судя по акценту,

он родился и вырос в Бруклине. Может, даже прямо на этом самом месте. Такой чистый нью-йоркский выговор нельзя подделать.

– Так точно, сэр.

– И вы сказали, что ваш брат погиб на войне?

– Верно.

Патрульный снял фуражку и провел рукой по волосам. Рука у него дрожала. Я решила, что он и сам ветеран войны, – возраст как раз подходящий. И у многих ветеранов вот так дрожали руки. Я оглядела его: высокий, лет сорока пяти, то есть примерно мой ровесник. Болезненно худой. Оливковая кожа, большие темно-карие глаза, кажущиеся еще больше из-за темных кругов под ними и глубоких морщин. Справа на шее у него были шрамы, как от ожогов: перекрученные жгуты из красных, розовых и желтоватых волокон. Теперь я уже не сомневалась, что передо мной ветеран войны. И приготовилась выслушать историю о том, как он сражался, – по всей видимости, историю нелегкую.

Но его следующие слова потрясли меня.

– Уолтер Моррис – ваш брат, верно? – спросил он.

Настала моя очередь задрожать. Колени чуть не подкосились. Имени Уолтера я в своей речи не упоминала.

Не успела я ответить, как он произнес:

– Я знал вашего брата, мэм. Мы вместе служили на «Франклине».

Я зажала ладонью рот, пытаюсь заглушить подступившие к горлу рыдания.

– Вы знали Уолтера? – Как ни пыталась я держать себя в руках, голос все же сорвался. – Вы там были?

Я не стала задавать следующие вопросы, ведь он и так знал, что меня волнует: «Вы были там девятнадцатого марта сорок пятого? Были там, когда пилот-камикадзе спикировал на палубу „Франклина“, в результате чего запасы горючего взорвались, стоявшее

на авианосце воздушное судно загорелось, а корабль превратился в плавучую бомбу? Вы были там, когда погибли восемьсот человек, включая моего брата? Были, когда брата хоронили в океане?»

Он несколько раз кивнул – нервно, порывисто дернул головой.

Да. Он там был.

Я велела себе не смотреть на ожоги у него на шее.

Но глаза меня не слушались.

Тогда я отвернулась. Я не знала, куда смотреть.

Заметив мою неловкость, патрульный еще больше занервничал. На лице у него застыл почти панический страх. Он был в полном смятении. Видимо, он боялся расстроить меня или заново переживал собственный кошмар. А может, и то, и другое. Тогда я собрала силы, сделала глубокий вдох и сосредоточилась на том, чтобы его успокоить. В конце концов, разве моя боль сравнима с кошмаром, который пришлось пережить ему?

– Спасибо, что подошли ко мне, – сказала я чуть более ровным тоном. – И простите за такую реакцию. Я просто не ожидала услышать имя брата спустя столько лет. Для меня честь с вами познакомиться.

Я слегка сжала его плечо в знак благодарности. Он дернулся, будто я на него напала. Я медленно убрала руку. Патрульный напоминал норовистых лошадей, с которыми так хорошо умела управляться мама, – нервных, возбудимых. Пугливых и непокорных, которых никто не мог оседлать, кроме нее. Инстинктивно я сделала шаг назад и опустила руки, стараясь показать, что не представляю угрозы.

Затем я попробовала другую тактику.

– Как ваше имя, моряк? – мягко и почти с улыбкой спросила я.

– Фрэнк Грекко.

Он не протянул руку для рукопожатия, и я не стала настаивать.

– Хорошо ли вы знали моего брата, Фрэнк?

Он снова кивнул, так же нервно:

– Мы оба были офицерами, служили на палубе авианосца. Уолтер командовал моей дивизией. И курс подготовки мы проходили вместе. Поначалу нас распределили в разные места, но в конце войны мы оказались на одном корабле. Он к тому времени дослужился до более высокого чина.

– Ага. Ясно.

Я не понимала и половины его слов, но боялась, что он замолчит. Передо мной стоял человек, знавший моего брата. Мне хотелось выведать у него как можно больше.

– А сами вы отсюда, Фрэнк? – спросила я, уже зная ответ по характерному акценту. Я просто пыталась облегчить ему задачу. Начать с самых простых вопросов.

Снова нервный кивок.

– Из Южного Бруклина.

– Вы с братом были близкими друзьями?

Он поморщился.

– Мисс Моррис, я должен сказать вам кое-что. – Он снова снял фуражку и запустил в волосы трясущиеся пальцы. – Вы же меня не узнаете, нет?

– А почему я должна вас узнать?

– Потому что я вас знаю, а вы меня. Только прошу, мэм, не уходите.

– Да зачем же мне уходить?

– Потому что мы с вами встречались в сорок первом, – ответил он. – Это я тогда вез вас домой к родителям.

Подобно дракону, очнувшись от глубокого сна, прошлое опалило меня огнем и оглушило ревом. От жара и силы удара у меня потемнело в глазах. Головокружительными вспышками в голове пронеслись лица Эдны, Артура, Селии, Уинчелла. Мое собственное, тогда еще юное лицо в зеркале заднего вида побитого «форда» – убитое, пристыженное.

Водитель. Вот кто сейчас стоял передо мной.

Тот самый водитель, что при брате назвал меня грязной маленькой потаскушкой.

– Мэм, – на этот раз уже он схватил меня за руку, – прошу, не уходите.

– Хватит повторять. – Голос у меня дрожал. Зачем он без конца требует, чтобы я не уходила, если я и так не уйду? Мне хотелось, чтобы он перестал повторять эти слова.

Но он снова сказал:

– Прошу, мэм, не уходите. Я должен объясниться.

Я покачала головой:

– Не могу...

– Да поймите же, мне очень жаль, – выпалил он.

– Не могли бы вы отпустить мою руку?

– Простите меня, мэм, – сказал он и наконец отпустил меня.

Что я почувствовала?

Отвращение. Сильнейшее отвращение.

Не знаю, было то отвращение к нему или к себе самой. Оно выползло на поверхность из самых глубин моего существа, где я когда-то похоронила стыд.

Я ненавидела его. Вот что я чувствовала: ненависть.

– Я был глупым мальцом, – сказал патрульный. – И не умел себя вести.

– Мне и правда пора.

– Прошу вас, Вивиан, не уходите.

Он чуть не сорвался на крик, и это меня испугало. Но хуже всего, что он назвал меня по имени. Сама

мысль о том, что он знал мое имя, была мне ненавистна. Как и то, что он слышал мою речь на верфи и все это время знал, кто я такая, – знал обо мне слишком много. Я ненавидела его за то, что он видел мои слезы. Что понимал моего брата лучше меня. Что Уолтер оскорблял меня в его присутствии. Но больше всего я ненавидела его за то, что он посмел назвать меня грязной потаскухой. Да кем он себя возомнил? Как ему хватило наглости подойти ко мне спустя столько лет? Меня охватили жгучая ярость и отвращение, они придали мне сил, и я поняла: я не могу ни минуты больше здесь оставаться.

– Меня в автобусе ждут дети, – отчеканила я и зашагала прочь.

– Нам нужно поговорить, Вивиан! – кричал он вслед. – Пожалуйста! Прошу!

Но я села в автобус, а Фрэнк остался у патрульной машины с фуражкой в руке, как нищий с протянутой для милостыни шляпой.

Вот так, Анджела, мы официально познакомились с твоим отцом.

Несмотря на пережитый шок, в тот день я переделала все запланированные дела.

Отвезла детей в школу и помогла разгрузить декорации. Проследила, чтобы автобус вернулся на стоянку. Домой мы с Марджори и Натаном шли пешком. Натан без умолку расхваливал спектакль и даже заявил, что, когда вырастет, будет работать на Бруклинской верфи.

Само собой, Марджори поняла, что я расстроена. Она все поглядывала в мою сторону поверх Натана, который шагал между нами. Но я лишь кивала, показывая, что все в порядке. Хотя все было не в порядке.

Проводив их до дома, я бросилась к тете Пег.

Я никому не рассказывала о той ночи сорок первого, когда Уолтер отвез меня к родителям.

Никто не знал, как брат окатил меня с ног до головы ледяным презрением, выпотрошил своими упреками, разнес в пух и прах. Никто не знал, что мне тогда пришлось вынести двойное унижение – ведь брат распекал меня в присутствии свидетеля, совершенно чужого человека, который, в свою очередь, не постеснялся вынести приговор и назвать меня грязной маленькой потаскушкой. Никто не знал, что на самом деле Уолтер не столько выручил меня из передраги в Нью-Йорке, сколько просто бросил, как мешок с мусором, на порог родительского дома – настолько взбешенный моим поведением, что даже в лицо мне смотреть не мог.

Но теперь я бежала в Саттон-Плейс, чтобы поскорее рассказать об этом Пег.

Тетя, как обычно, лежала на диване и то курила, то заходила кашлем. Она слушала репортаж со стадиона «Янкиз» по радио. С порога она оповестила меня, что сегодня на стадионе чествуют Микки Мэнтла и его блистательную пятнадцатилетнюю бейсбольную карьеру. Я ворвалась к ней и с ходу начала говорить, но Пег подняла руку: выступал Джо Димаджио, а прерывать его речь было никак нельзя.

– Прояви уважение, Вивви, – безапелляционно оборвала меня она.

И я закрыла рот и позволила тете дослушать репортаж. Я знала, как ей хотелось в тот день самой присутствовать на стадионе, но Пег слишком ослабла для таких напряженных вылазок. Но видела бы ты ее лицо, когда Димаджио чествовал Мэнтла! Какой восторг оно выражало, какие эмоции! К концу выступления она

даже всплакнула. Тетя Пег без единой слезинки пережила две войны, катастрофы, разорение, смерть родственников, измены мужа, снос любимого театра, но великие события в истории бейсбола с легкостью доводили ее до слез.

Иногда я думаю, как прошел бы наш разговор, не будь тетя на эмоциях после репортажа. Теперь уже не узнать. Мне показалось, что она с неохотой выключила радио, когда Димаджо закончил говорить и ей пришлось обратить внимание на меня. Впрочем, Пег, добрая душа, никогда не отказывала страждущим. Она утерла слезы, высморкалась, закашлялась и закурила. А принялась слушать мою горестную историю.

На середине моего рассказа вошла Оливия. Она ходила на рынок. Я на время замолчала, решив подождать, пока она разложит покупки и уйдет, но Пег попросила:

– Начни-ка с начала, Вивви. Расскажи Оливии все, что сейчас рассказала мне.

Я бы предпочла этого не делать. За годы нашего знакомства я научилась любить Оливию Томпсон, но рыдать у нее на плече мне не хотелось. Оливия была не из тех, кто всегда успокоит и утешит. Но в сорок первом она помогла мне, а с годами они с Пег, по сути, заменили мне родителей.

Заметив заминку, Пег подбодрила меня:

– Не бойся, Вивви. Поверь, Оливия гораздо лучше нашего разбирается в таких вещах.

И я вернулась к началу своей саги. Ночное путешествие в сорок первом; Уолтер, смешавший меня с грязью; водитель, назвавший меня потаскухой; мрачное, позорное изгнание; многолетняя пауза и неожиданное сегодняшнее появление водителя – патрульного полицейского со следами ожогов, который служил на «Франклине». Который знал моего брата. Знал всё.

Оливия и Пег слушали внимательно. И когда история закончилась, продолжали слушать, будто ожидая продолжения.

– А что было потом? – спросила Пег, когда я замолчала.

– Ничего. Я ушла.

– Ушла?

– Не хотела с ним говорить. Не хотела его видеть.

– Вивиан, он же знал твоего брата. Он был на «ФранкLINE». И, по твоему описанию, сильно пострадал во время атаки. Так почему ты не захотела с ним говорить?

– Он меня обидел, – ответила я.

– Обидел? Он обидел тебя двадцать пять лет назад, и ты просто ушла? Не стала говорить с тем, кто знал твоего брата? С ветераном войны?

– Та ночь в машине – самое ужасное событие в моей жизни, Пег, – возразила я.

– Неужели? – огрызнулась тетя. – А тебе не пришло в голову поинтересоваться самым ужасным событием в его жизни?

Она распалилась, что было совсем ей несвойственно. Не за этим я сюда пришла. Я хотела утешения, а она на меня накинулась. Мне стало стыдно и неловко.

– Не важно, – ответила я. – Это все ерунда. Зря я вас беспокоила.

– Не говори глупости. Это не ерунда. – Никогда еще Пег не говорила со мной так резко.

– Не надо было вам рассказывать, – отмахнулась я. – Только помешала вам слушать репортаж. Простите, что ворвалась.

– Да плевать мне на чертов репортаж, Вивиан.

– Простите. Я просто расстроилась и хотела с кем-нибудь поговорить.

– Расстроилась? Ты бросила ветерана, пострадавшего в бою, и прибежала ко мне, потому что хотела поговорить о своей тяжелой жизни?

– Господи, Пег, ну не надо нападать на меня. Просто забудьте все, что я говорила.

– Как я могу забыть?

Тут она зашлась ужасным приступом хриплого кашля. В легких у нее клокотало и булькало. Она села, а Оливия похлопала ее по спине. Потом Оливия прикурила для Пег сигарету, и та затянулась как можно глубже, после каждой затяжки содрогаясь от очередного приступа кашля.

Наконец Пег взглянула на меня. Я по глупости решила, что она начнет извиняться за свои слова, но она заявила:

– Послушай, малышка, я сдаюсь. Не знаю, чего ты от меня хочешь. Боюсь, я тебя сейчас совсем не понимаю. Я очень в тебе разочарована.

Прежде она никогда не говорила мне такого. Даже в тот раз, много лет назад, когда я предала ее подругу и чуть не загубила спектакль.

Затем Пег повернулась к Оливии:

– Не знаю, что и думать. А ты что скажешь, босс?

Оливия сидела молча, сложив руки на коленях и глядя в пол. Я слышала лишь затрудненное дыхание Пег и звук бьющихся об открытое окно жалюзи. Мне не хотелось знать, что думает Оливия. Но я понимала, что выслушать ее придется.

Наконец Оливия взглянула на меня. Выражение ее лица, как всегда, было строгим. Но когда она заговорила, стало ясно, что она очень осторожно выбирает слова, чтобы ненароком меня не обидеть.

– Поступать по чести нелегко, Вивиан, – сказала Оливия.

Я ждала продолжения, но она молчала.

Пег рассмеялась и снова закашлялась.

– Спасибо за помощь, Оливия, – наконец просипела она. – Теперь-то нам все ясно.

Мы долго сидели молча. Я встала и взяла сигарету из пачки Пег, хоть и бросила курить несколько недель назад. Или почти бросила.

– Поступать по чести нелегко, – повторила Оливия, будто не слышала Пег. – Так говорил мой отец, когда я была маленькой. Он учил меня, что дети не способны понять, что такое честь. Детям она незнакома, и никто не ждет, что они будут поступать по чести, – для них это слишком сложно. Слишком болезненно. Но, становясь взрослыми, мы заступаем на территорию, где действуют законы чести. Теперь от нас ждут порядочности. Мы должны быть тверды в своих принципах. Чем-то приходится жертвовать. Окружающие судят нас. За ошибки надо расплачиваться. В жизни взрослого человека часто возникают ситуации, когда нужно забыть про эмоции и подняться выше других – выше людей без чести. И это может быть больно. Вот почему поступать по чести нелегко. Понимаешь?

Я кивнула. Ее слова были мне понятны, но я не видела, каким образом они относятся к Уолтеру и Фрэнку Грекко. Однако я продолжала слушать, надеясь, что смысл дойдет позднее, когда в голове все уляжется. Раньше Оливия ни разу не произносила таких долгих речей, и я понимала, что момент серьезный, поэтому ловила каждое ее слово.

– Разумеется, жить по законам чести необязательно, – продолжала она. – Если для тебя это слишком сложно и слишком болезненно, ты всегда можешь отказаться и остаться ребенком. Но если хочешь стать личностью, другого выхода нет. Однако боли не избежать. – Оливия перевернула лежавшие на коленях руки ладонями вверх. – Вот чему научил меня отец, когда я была маленькой. Это закон, по которому я

живу. Другого я не знаю. Не всегда получается его соблюдать, но я стараюсь. Надеюсь, мои слова окажутся полезными, Вивиан, и ты поймешь, как лучше поступить.

Я связалась с ним только через неделю.

Сложнее всего оказалось не найти его – тут как раз проблем не возникло. Старший брат швейцара в доме Пег служил капитаном полиции и вмиг подтвердил, что в 76-м округе Бруклина патрульным действительно работает некий Фрэнсис Грекко. Мне дали его рабочий телефон.

Сложнее всего оказалось снять трубку и позвонить.

Так всегда и бывает.

Должна признаться, первые несколько раз, позвонив, я бросала трубку, как только на том конце отвечали. На следующий день и вовсе передумала звонить. Как и на третий, и на четвертый. Когда же наконец набралась храбрости позвонить снова и остаться на линии, патрульного Грекко не оказалось на месте. Он был на дежурстве. Оставила ли я сообщение? Нет.

Я пробовала звонить еще несколько раз, но все время получала один ответ: он на дежурстве. Патрульный Грекко в участке не сидел. Наконец я согласилась оставить сообщение. Назвала свое имя и дала номер «Ле Ателье». Коллеги небось всю голову сломали, гадая, с какой стати Грекко названивает нервная дамочка из свадебного салона.

Не прошло и часа, как телефон зазвонил. Это был Фрэнк.

Мы обменялись неловкими приветствиями. Я предложила встретиться лично, если ему не претит такая идея. Он согласился. Я спросила, как ему проще: если я приеду в Бруклин или он на Манхэттен? Он

ответил, что Манхэттен его вполне устраивает, – у него есть машина, и он не прочь прокатиться. Я спросила, когда он свободен. Оказалось, чуть позже в тот же день. Я предложила встретиться в «Таверне Пита» в пять часов. Он заколебался, а потом ответил:

– Простите, Вивиан, я не ходок по ресторанам.

Я не поняла, что он имел в виду, но допытываться не стала.

– Тогда, может быть, встретимся на площади Стайвесант, у западного входа в парк? Так лучше?

Он согласился, что так будет намного лучше.

– Тогда у фонтана, – сказала я, и он подтвердил: да, у фонтана.

Я пребывала в растерянности, Анджела, и не знала, как себя вести. Мне совершенно не хотелось еще раз с ним встречаться. Но в голове настойчиво звучали слова Оливии. «Ты всегда можешь отказаться и остаться ребенком. Но если хочешь стать личностью, другого выхода нет».

Дети убегают от проблем. Дети прячутся.

Я не хотела оставаться ребенком.

Я вспомнила, как Оливия пришла мне на выручку и спасла от Уолтера Уинчелла. Теперь я понимала, что тогда, в 1941 году, она пришла мне на выручку, потому что в ее глазах я все еще была ребенком. По ее меркам, я пока не могла отвечать за свои действия. Сказав Уинчеллу, что я невинная девушка, которую соблазнили, Оливия не лукавила. Она на самом деле так считала. Оливия отлично понимала, что я всего лишь девчонка, незрелая и несформировавшаяся, еще не заступившая на территорию чести. Меня должен был спасти мудрый и заботливый взрослый, и Оливия меня спасла. Заступила на территорию чести от моего имени.

Но тогда я была молода. А теперь-то уже нет. Теперь мне надо было разбираться самой. Но как поступил бы в данных обстоятельствах взрослый человек, сформировавшаяся личность, человек чести?

Полагаю, ответил бы за свои ошибки. Сражался бы за себя сам, как выразился тогда Уинчелл. Возможно, нашел бы силы простить.

Но как?

И тут я вспомнила, как много лет назад Пег рассказывала про британских военных инженеров во время Первой мировой. Те говорили: «Можешь или не можешь – бери и делай».

Рано или поздно в жизни каждого наступает момент, когда приходится делать невозможное.

Это больно, Анджела.

Но именно поэтому я встретила тогда с твоим отцом.

Когда я пришла на место, он уже был там. А пришла я рано: до парка всего три квартала пешком.

Он ходил взад-вперед у фонтана. Наверняка помнишь эту его привычку ходить взад-вперед. Он был в гражданском: коричневые шерстяные брюки, светло-голубая нейлоновая спортивная рубашка, легкая темно-зеленая куртка на молнии. Одежда висела на нем мешком. Он был очень худой.

Я подошла к нему:

– Ну здравствуйте.

– Здравствуйте, – ответил он.

Я не знала, стоит ли пожать ему руку. Он, кажется, тоже сомневался в приемлемости рукопожатия в данной ситуации, так что мы так и остались стоять сунув руки в карманы. Никогда не видела, чтобы мужчина так нервничал.

Я показала на скамейку и предложила:

– Может, сядем и поговорим?

Я чувствовала себя глупо, будто предлагала ему сесть на стул у себя дома, а не на скамейку в парке.

– Я не очень люблю сидеть, – ответил он. – Давайте прогуляемся, если вы не против.

– Совсем не против.

Мы зашагали по периметру парка под липами и вязами. У него был широкий шаг, но меня это не смущало: я сама так ходила.

– Фрэнк, – сказала я, – простите, что тогда сбежала.

– Нет, это я должен извиниться.

– Да нет же, надо было мне остаться и выслушать вас. Так поступают зрелые люди. Но поймите, после стольких лет встреча с вами потрясла меня.

– Я знал, что вы уйдете, как только поймете, кто я. У вас было на это полное право.

– Фрэнк, послушайте, с тех пор столько лет прошло.

– Я тогда был глупым мальчишкой, – проговорил он, остановился и повернулся ко мне: – И не имел права так с вами разговаривать. Кем я себя возомнил, чтобы судить вас?

– Теперь уже не важно.

– Я не имел права. Черт, каким же я был дураком!

– Раз на то пошло, и я тогда умом не отличалась. А в тот самый вечер, что мы с вами познакомились, и вовсе побила рекорд по глупости в Нью-Йорке. Вы ведь помните, во что я тогда вляпалась?

Я пыталась разрядить обстановку, но Фрэнк оставался совершенно серьезным.

– Поймите, Вивиан, я просто хотел произвести впечатление на вашего брата. До того дня он со мной ни разу не заговаривал – да что уж там, он меня вообще не замечал. И с какой стати такому популярному парню, как Уолтер, обращать на меня внимание? А тут вдруг растолкал меня среди ночи и говорит: «Фрэнк, мне нужна твоя машина». У меня одного в офицерской

школе была машина. Уолтер это знал. Все знали. Ребята то и дело просили одолжить им «форд», но дело в том, что он принадлежал не мне, а моему старику. Он разрешал им пользоваться, но не разрешал никому давать. И вот я, значит, говорю Уолтеру Моррису, человеку, которым восхищаюсь всем сердцем, – мол, прости, но не могу я тебе дать машину своего старика. Пытаюсь объяснить сквозь сон, хоть и не понимаю, в чем дело.

Чем дальше, тем больше Фрэнк сбивался на чистый бруклинский выговор. Как будто, вспоминая о прошлом, вспоминал и о своих корнях, и его бруклинское происхождение отчетливо давало о себе знать.

– Не казните, Фрэнк, – сказала я. – Все давно позади.

– Вивиан, дайте мне высказаться. Дайте объяснить, как мне стыдно за те слова. Я уже давно хотел вас найти и извиниться. Но смелости не хватало. Прошу вас, я должен рассказать, как все было. Я говорю Уолтеру: «Ничем не могу помочь, приятель». А тот, значит, выкладывает мне всю историю. Мол, сестра попала в беду и нужно срочно вывезти ее из города. И просит помочь спасти вас. Вот что мне оставалось делать, Вивиан? Отказать? Сам Уолтер Моррис ко мне обратился. Вы же помните, какой он был.

Я помнила. Я знала, какой он был.

Никто не смог бы отказать моему брату.

– И вот я, значит, говорю: «Я дам тебе машину, но только если сам сяду за руль». А про себя думаю: «А что я скажу старику, когда тот увидит пробег?» И еще думаю: «Может, в итоге мы с Уолтером подружимся?» И еще: «А как мы уйдем из офицерской школы среди ночи?» Но Уолтер все устроил. Раздобыл разрешение у командира и оформил увольнительные на день для нас обоих. Но только на двадцать четыре часа. Посреди ночи такое сошло бы с рук только Уолтеру. Уж не знаю,

что он сказал или пообещал, чтобы получить увольнительные, но нас отпустили. И вот мы уже едем по Манхэттену, я грузю в багажник ваши чемоданы и готовлюсь к шестичасовому пути в городок, о котором раньше слыхом не слыхивал, да еще и незнамо зачем. Я даже не знаю, как вас зовут, только знаю, что такой хорошенькой девчонки в жизни не видал.

Он совсем не пытался флиртовать со мной. Просто излагал факты, как полицейский на допросе.

– И вот мы сели в машину, я, значит, веду, а Уолтер устраивает вам допрос пятой степени. Ни разу не слыхал, чтобы кого-то так разносили. Мне-то что прикажете делать, пока он вас чихвостил? Мне даже деться было некуда. Но и слушать не вмоготу. У нас такого не случалось. Я из Южного Бруклина, Вивиан, район не из спокойных, но знаете, я всегда был тихим мальчишкой. Книжки любил. В драки не ввязывался. Знай себе сидел тихо и не высывался. Как скандал, драка или крики – меня и след простыл. Но тут бежать было некуда, ведь я сидел за рулем. А Уолтер даже не кричал, хотя, наверное, уж лучше бы кричал. А он просто поливал вас грязью, спокойно и холодно. Помните?

Еще бы я не помнила.

– Вдобавок я ничего не знал про женщин. Слова Уолтера, те ваши поступки – для меня это был темный лес, Вивиан. Уолтер говорил, вашу фотографию напечатали в газетах и на ней вы обнимаетесь сразу с двумя людьми? С киноактером и девицей из бурлеска? Я в жизни не слыхивал о таком. Но он все ругался и ругался, а вы сидели на заднем сиденье, курили и выслушивали его обвинения. Смотрю в зеркало заднего вида – а вы даже не мигаете. Что бы он ни говорил – вам как с гуся вода. И вижу я, значит, что Уолтер бесится, что вы такая спокойная, никак не реагируете. А он еще

больше заводится. Богом клянусь, в жизни не видел, чтобы человек так хладнокровно выслушивал ругань.

– Какое уж там хладнокровие, Фрэнк, – возразила я. – Меня просто оглушило.

– Как бы то ни было, вы молчали. Как будто вам наплевать. А с меня уже пот градом, и я думаю: «Неужели они всегда так между собой разговаривают? Может, у богатых так принято?»

У богатых? Как Фрэнк определил, что мы с Уолтером богатые? А потом поняла: так же, как мы определили, что у него ни гроша за душой. Что его можно не принимать в расчет.

А Фрэнк продолжал:

– И вот я думаю: а ведь они даже не замечают, что я здесь. Я для этих людей – ничто. И Уолтер Моррис мне не друг. Он просто меня использует. А вы – вы даже ни разу на меня не взглянули. Только там, у театра, сказали: «Эти два чемодана, пожалуйста». Как будто я слуга или носильщик. Уолтер даже нас не представил. Не назвал моего имени. Ясно, что в ту ночь все были на нервах, но он вел себя так, будто в его глазах я вообще ничто, понимаете? Только средство достижения цели – тот, кто крутит баранку. Тогда-то я и стал думать, как о себе заявить. Как перестать быть невидимым. И решил: дай-ка тоже вставлю свое слово. Скажу что-нибудь. Даже лучше: буду вести себя, как он, наравне с ним вас распекать, значит. Вот и ляпнул. Обозвал вас теми словами. А потом понял, что натворил. Посмотрел в зеркало заднего вида и увидел ваше лицо. Увидел, как на вас подействовали мои слова. Я будто убил вас. А потом взглянул на Уолтера – ему словно бейсбольной битой заехали. Я-то думал, ничего страшного, если я скажу. Думал, Уолтер сочтет меня крутым, – ан нет, вышло просто ужасно. Ведь как бы он вас ни ругал, таких слов он себе не позволил. Я видел, он соображает,

как реагировать. А потом он решил никак не реагировать. И это было хуже всего.

– Это было хуже всего, – согласилась я.

– Скажу честно, Вивиан, хоть на Библии поклянусь, – раньше я ни разу никого не обзывал таким словом. Никогда в жизни. Ни до, ни после. Я не такой, Вивиан. Не знаю, как в тот день у меня вырвалось. За годы я миллион раз прокручивал в голове ту сцену. Наблюдал за собой со стороны и думал – господи, Фрэнк, да кто тебя за язык тянул? Но те слова, Богом клянусь, они просто вырвались у меня изо рта. А потом Уолтер замолчал. Помните?

– Да.

– Он не стал защищать вас, не приказал мне заткнуться. И несколько часов мы проехали в тишине. А я даже не мог извиниться, потому что подумал, что лучше мне рта больше при вас не раскрывать. Меня наняли не для того, чтобы я раскрывал рот, – хотя меня даже никто не нанимал, но вы ведь понимаете. Мы подъехали к вашему особняку – я в жизни таких не видывал, – и Уолтер даже не представил меня вашим родителям. Как будто меня там не было. Как будто я не существую. И на обратном пути в машине он не сказал мне ни слова. И дальше, сколько мы вместе учились, – ни слова. Вел себя так, будто ничего не случилось. Смотрел на меня, будто впервые видит. Потом курс кончился, и я даже обрадовался, что больше не надо встречаться с Уолтером. Но та ночь – она преследовала меня, я все время думал о ней, хотя ничего уже было не исправить. А два года спустя меня вдруг переводят на его корабль. Вот повезло-то, думаю. Уолтер становится моим начальником, что и неудивительно. И снова ведет себя так, будто меня не знает. А я, значит, подстраиваюсь, подыгрываю ему. Делаю вид, что так и нужно. А сам каждый день вспоминаю ту ночь, и нет мне покоя.

Тут у Фрэнка закончились слова.

А я поняла, что он мне кое-кого напоминает своим путаным рассказом, мучительной потребностью объясниться. Он напоминал меня саму в тот вечер, когда я пошла в примерку к Эдне Паркер Уотсон и отчаянно пыталась извиниться за то, что никогда не получится исправить. Он сейчас делал то же самое. Старался вымолить у меня отпущение грехов.

В тот момент я ощутила сильнейшее желание простить не только Фрэнка, но и себя в юности. Я сострадала даже Уолтеру, несмотря на всю его гордыню и бесчеловечность. Ведь как, должно быть, его унижил тогда мой поступок, как невыносимо ему было раскрывать позор своей семьи подчиненному – а Уолтер всех считал подчиненными. Наверняка его страшно злило, что приходится расхлебывать кашу, которую я заварила. Сердце мое захлестнула волна милосердия ко всем, кто оказывался в такой трудной, запутанной ситуации. К тем, кто столкнулся с невыносимыми обстоятельствами, которые нельзя предвидеть и нельзя исправить.

– Вы правда вспоминали о той ночи все это время, Фрэнк? – спросила я.

– Каждый день.

– Мне очень жаль, – произнесла я и не соврала. – Простите меня, Фрэнк.

– Не вам передо мной извиняться, Вивин.

– Не скажите. В той ситуации я поступила не лучшим образом. И ваша история на многое открыла мне глаза.

– А вы тоже вспоминали о той ночи? – спросил он.

– О том, как мы ехали в машине? О да, много лет, – призналась я. – И ваши слова меня особенно задели тогда. Не стану притворяться, мне и правда было тяжело. Но спустя некоторое время я решила больше не думать о том случае и действительно не вспоминала о нем до встречи с вами. Так что не волнуйтесь, Фрэнк

Греко, своими словами вы не разрушили мне жизнь. Как считаете, не пора ли вычеркнуть из памяти это неприятное событие?

Он остановился как вкопанный, развернулся и удивленно взглянул на меня.

– Не знаю, смогу ли.

– Конечно, сможете, – ответила я. – Спишем все на нашу юность и неопытность.

Я положила руку ему на плечо, желая показать, что теперь все будет в порядке, что о прошлом можно забыть.

Но, как и в предыдущий раз, он резко, почти грубо отдернул руку.

Пришел мой черед занервничать. «Я до сих пор ему противна, – пронеслось в голове. – До сих пор, как и тогда, я грязная маленькая потаскушка».

Увидев, как я изменилась в лице, Фрэнк страдальчески сморщился:

– Ох, Вивиан, простите. Я должен был сразу сказать. Не принимайте на свой счет. Я просто не могу... – Он беспомощно озираясь по сторонам, словно ища того, кто спасет его от неловкости, объяснится со мной вместо него. Затем собрался с духом и продолжал: – Уж не знаю, как сказать. Терпеть не могу говорить на эту тему, но... Я не выношу, когда ко мне прикасаются. Психологическая проблема.

– Вот как. – Я сразу отступила на шаг назад.

– Вы тут ни при чем, – заверил меня он. – У меня так со всеми. Я не выношу любых прикосновений. Это началось... с тех пор. – Он показал на правую сторону тела, на шею, изувеченную шрамами.

– Вы пострадали, – по-идиотски ляпнула я. Само собой, он пострадал. – Простите. Я не знала.

– Ничего страшного. Откуда вам было знать?

– Да нет же, Фрэнк, простите.

– Знаете, не вы же это со мной сделали.

– И тем не менее.

– Другие в тот день тоже пострадали. Я очнулся на госпитальном судне, нас там набралось несколько сотен, и у некоторых ожоги были похуже моего. Нас вытаскивали из горячей воды. Но многие из тех ребят – у них сейчас все хорошо. Не понимаю, почему у меня не так. Ни у кого больше такого нет.

– Такого, – тихо повторила я.

– Ну, что я не выношу прикосновений. И не могу сидеть на одном месте. И находиться в замкнутом пространстве. Просто не могу. В машине, когда я за рулем, все отлично, но на пассажирском сиденье или если нужно долго сидеть – нет. Я постоянно должен быть на ногах.

Так вот почему он не захотел встречаться в ресторане и сидеть на скамейке! Он не терпит замкнутых помещений и не может спокойно усидеть на месте. И не выносит прикосновений. Вот почему он такой худой – еще бы, все время ходить туда-сюда.

Господи, вот бедолага.

Я заметила, что он разволновался, и спросила:

– Хотите еще немного пройтись? Такой прекрасный вечер, а я люблю гулять.

– С удовольствием, – ответил он.

И мы пошли дальше, Анджеला.

Просто шли и шли куда глаза глядят.

Глава тридцатая

И конечно, Анджела, я влюбилась в твоего отца.

Влюбилась, хотя это и противоречило всякой логике. Трудно было представить двух столь непохожих людей. А может, там любовь и вспыхивает ярче всего – в пропасти меж двух противоположных полюсов.

Я всегда жила в комфорте и пользовалась привилегиями своего происхождения; я скользила по жизни легко, как по гладкому льду. В самый жестокий век человеческой истории я практически не испытывала

страданий – не считая мелких бед, которые сама же на себя навлекла. (Счастлив тот, чьи беды обусловлены лишь его собственной глупостью.) Да, мне приходилось много работать, но не мне одной, да и профессию выбрала не самую героическую – шила красивые платья для красивых девушек. Вдобавок ко всему огромное место в моей жизни занимали чувственные наслаждения; я мыслила свободно, презирала условности и посвятила всю себя поиску удовольствия.

Что до Фрэнка...

Он был чужд всякого легкомыслия – весомая личность, даже суровая. С самого детства жизнь не баловала его. Он ничего не делал походя, бездумно, просто так. Будучи родом из бедной семьи эмигрантов, он не позволял себе ошибаться. Рьяный католик, полицейский, ветеран, прошедший ад во имя своей страны. В нем не было даже намека на чувственность. Во-первых, он не терпел прикосновений, но дело не только в этом. У него напрочь отсутствовала тяга к гедонизму. Он одевался сугубо практично, еду воспринимал как топливо. У него не было друзей; он не ходил в кино и ни разу в жизни не посещал театр. Не пил спиртное. Не танцевал. Не курил. Не дрался. Был ответственным и бережливым. Не шутил, не дурачился, не паясничал. Он всегда говорил правду.

А еще Фрэнк был примерным семьянином и отцом красивой девочки, названной в честь ангелов Господних.

В разумном и логичном мире наши пути никогда не пересеклись бы. Что общего у Фрэнка Грекко, человека крайне серьезного, и легкомысленной персоны вроде меня? Что нас свело? Не считая моего брата Уолтера – человека, рядом с которым мы оба чувствовали себя жалкими ничтожествами, – нас ничего не связывало. А общая история у нас была такой, что о ней хотелось поскорее забыть. В 1941 году мы провели вместе

несколько ужасных часов, стоивших нам многих лет стыда и душевной боли.

Так почему же спустя двадцать лет мы полюбили друг друга?

Не знаю.

Я знаю лишь одно, Анджела: наш мир безумен и лишен всякой логики.

Вот как все было.

Через несколько дней после нашей встречи в парке патрульный Фрэнк Грекко позвонил мне и предложил прогуляться еще раз.

Звонок раздался в «Ле Ателье» довольно поздно, ближе к десяти вечера. Я вздрогнула, когда затрезвонил рабочий телефон. Я оказалась внизу по чистой случайности: перешивала платье. Руки затекли, глаза устали. Я собиралась подняться наверх, посмотреть телевизор с Марджори и Натаном и завалиться спать. Сначала решила даже не брать трубку, но потом все-таки подошла и услышала голос Фрэнка: он спрашивал, не соглашусь ли я с ним прогуляться.

– Сейчас? – растерялась я. – Вы хотите погулять прямо сейчас?

– Если вы не против, конечно. Не могу сидеть дома. Все равно выйду на улицу, вот и подумал: вдруг вы составите мне компанию.

Его предложение удивило меня и тронуло. Мужчины часто звонили мне в такой час, но никто не приглашал прогуляться.

– Конечно, – отвечала я. – Почему бы и нет?

– Буду через двадцать минут. Поеду по городу, а не по скоростному шоссе.

В тот вечер мы дошли до самой Ист-ривер. Наш путь пролегал по кварталам, где в те времена бродить по

ночам было небезопасно. Потом мы вышли на старую набережную, достигли Бруклинского моста и перебрались на другой берег. Было холодно, но безветренно, и нас согревала неустанная ходьба. На небе светил тонкий месяц, и даже звезды были видны.

В тот вечер мы узнали друг о друге все.

Фрэнк рассказал, что стал патрульным именно из-за неспособности сидеть на одном месте. На кабинетной работе он полез бы на стенку. Патрулирование улиц по восемь часов в день подходило ему идеально. По той же причине он брался за лишние смены, с готовностью соглашаясь заменить коллег, когда им требовался выходной. Если везло и выпадала двойная смена, он проводил на ногах по шестнадцать часов подряд. И только тогда уставал достаточно, чтобы крепко проспать ночь. Ему не раз предлагали повышение, но он отказывался. Повышение означало кабинетную работу, чего он не вынес бы.

– Патрульный или дворник – другая работа мне не подходит, – признался он.

Но должность патрульного не позволяла ему применить свой блестящий ум. Твой отец был очень умен, Анджела. Не знаю, догадывалась ли ты об этом при его-то скромности. Но Фрэнк обладал почти гениальными способностями. Он родился в семье неграмотных родителей, в толпе братьев и сестер его не замечали, но он с детства был вундеркиндом в математике. Пусть внешне он ничем не отличался от тысяч других ребят в приходе Пресвятого Сердца – детей портовых рабочих и каменщиков, кому суждено стать портовыми рабочими и каменщиками, – но Фрэнк был совсем другим. Исключительно умным.

Монахини в приходской школе сразу заметили его дар. Родители Фрэнка считали образование пустой

тратой времени – зачем учиться, если можно работать? Отправляя ребенка в приходскую школу, они предусмотрительно повесили ему на шею тряпицу с долькой чеснока внутри – отпугивать злых духов. Но в школе Фрэнк буквально расцвел. Обучавшие его ирландские монахины – достаточно равнодушные и суровые, а часто и настроенные против детей из итальянских семей – не могли не заметить выдающихся способностей мальчика. Они позволили ему перескочить через несколько классов, давали дополнительные задания и поражались его виртуозному умению управляться с цифрами. Он превосходил соучеников по всем статьям.

Фрэнк без труда поступил в Высшую техническую школу Бруклина и окончил ее лучшим в своем выпуске. Затем два года проучился в колледже Купер-Юнион на факультете авиационно-космической техники, а после записался в офицерскую школу и поступил во флот. Почему именно во флот? Он бредил самолетами, два года изучал их, и логичнее было бы выбрать карьеру пилота. Но нет: он пошел во флот, потому что мечтал увидеть океан.

Только представь, Анджела. Представь, что парнишка из Бруклина – а Бруклин почти со всех сторон окружен океаном – мечтал увидеть океан. Но Фрэнк и правда его никогда не видел. Во всяком случае, по-настоящему. В Бруклине его окружали замызганные улицы, многоквартирные дома и грязные доки Ред-Хука, где его отец работал портовым грузчиком. А Фрэнк мечтал совсем о другом океане, с кораблями и морскими волками. Поэтому он бросил колледж и записался во флот еще до официального вступления Америки в войну – совсем как мой брат.

– Пустой номер, – признался он в тот вечер. – Океан есть и на Кони-Айленде. Жаль, я тогда не знал, как он близко.

После войны Фрэнк планировал вернуться в колледж, получить диплом и найти хорошую работу. Но «Франклин» подвергся атаке, и Фрэнк чуть не сгорел живьем. Однако физическая боль оказалась не самым страшным последствием. Когда он лежал в военно-морском госпитале Перл-Харбора с ожогами третьей степени на половине тела, пришло постановление военного суда. Капитан Герес отправил под трибунал всех членов экипажа, оказавшихся в тот день в воде. Он считал, что они дезертировали, вопреки прямому приказу оставаться на судне. Многие из них, как и Фрэнка, объятых пламенем, выбросило в океан взрывной волной, – а теперь их обвиняли в трусости^[43].

Для Фрэнка не было ничего хуже. Клеймо труса обожгло его сильнее огня. И хотя в конце концов Военно-морские силы сняли обвинения, разобравшись в ситуации (обвиняя экипаж, некомпетентный капитан пытался отвлечь внимание от собственных многочисленных ошибок в тот трагический день), психологический урон был непоправим. Фрэнк знал, что многие солдаты, оставшиеся в тот день на борту, продолжали считать дезертирами очутившихся в воде. Выжившим после атаки вручили медали за храбрость. Погибших чтили как героев. Но тех, кого выбросило за борт взрывом, – кто оказался в воде, сгорая заживо, – тех считали трусами. Фрэнк так и не избавился от чувства стыда.

После войны он вернулся в Бруклин. Но из-за ранений и психологической травмы (тогда это называли «нервно-психопатическим расстройством» и никак не лечили) он стал другим. О возвращении в колледж и речь не шла: он не мог сидеть на занятиях. Он пытался, но ему постоянно приходилось выбегать из здания на улицу, поскольку не хватало воздуха. («Я не могу находиться в замкнутом помещении, где много людей» – так он мне объяснил.) Но даже получив

диплом, Фрэнк не смог бы устроиться по специальности. Что это за инженер, если он не способен сидеть за столом в конторе? Не способен выдержать совещание? Он и по телефону не мог говорить без нарастающей паники и ужаса.

Разве могла я понять его боль? Я, чья жизнь была лишена тягот и полна комфорта?

Не могла.

Но я могла слушать.

Я рассказываю тебе все это, Анджела, потому что пообещала себе, что расскажу. А еще – поскольку почти уверена: Фрэнк никогда не говорил с тобой об этом.

Отец гордился тобой и любил тебя. Но не собирался посвящать тебя в подробности своей жизни. Он стыдился, что так и не сумел найти применение своему уму, что подавал такие надежды в учебе, но так и не реализовал их. Стыдился своей работы, слишком для него примитивной. Страдал, что не смог закончить образование. А какое унижение приносило ему собственное психологическое состояние! Он ненавидел себя за то, что не может сидеть, не может спокойно спать, не выносит прикосновений, не способен найти нормальную работу.

Он тщательно скрывал все это от тебя, потому что желал для тебя спокойной жизни, неомраченной его безрадостным прошлым. Для него ты была светлым, неиспорченным созданием. Как ему казалось, если держаться от тебя на расстоянии, его мрачная тень не упадет на тебя и не повлияет на твое будущее. Так Фрэнк мне объяснил, и у меня нет причин ему не верить. Он не хотел сблизиться с тобой, Анджела, потому что стремился уберечь тебя.

Я часто думала, каково тебе было расти с таким отцом – который любил тебя больше всего на свете, но

намеренно отдалился от твоего повседневного существования. И когда я говорила, что тебе наверняка не хватает его внимания, Фрэнк соглашался. Но опасался приближаться к тебе из страха погубить тебя. Он считал, что разрушает все, к чему прикасается.

По крайней мере, так он сказал мне.

Вот почему он предпочел оставить тебя на попечении матери.

Я ни разу не упоминала о твоей маме, Анджела.

И дело тут не в отсутствии уважения – нет-нет, как раз наоборот. Я просто не знаю, как говорить с тобой о матери и о браке твоих родителей. Постараюсь быть деликатной, чтобы ненароком не обидеть и не уязвить тебя. В то же время мне хочется быть честной. В конце концов, ты имеешь право знать все, что знаю я.

Начну с того, что мы с твоей мамой никогда не встречались. Я даже не видела ее на фотографиях и знаю только со слов Фрэнка. Думаю, он рассказывал мне правду о ней, потому что Фрэнк никогда не лгал. Но правдивое описание – не значит точное. Могу лишь предположить, что твоя мама, как и все мы, – натура сложная, и не укладывается в мнение о ней одного человека.

Возможно, ты знала ее совсем другой, вот что я хочу сказать. И мне жаль, если моя история не совпадет с твоими впечатлениями.

Но я все равно должна рассказать.

Фрэнк говорил, что его жену зовут Розелла и они выросли по соседству. Ее родители, тоже эмигранты с Сицилии, держали бакалейную лавку на улице, где жил Фрэнк. То есть семья Розеллы по статусу превосходила семью Фрэнка, простых рабочих.

В восьмом классе Фрэнк устроился в лавку курьером. Твои дедушка с бабушкой всегда ему нравились, более того – он ими восхищался. Они были интеллигентнее и тоньше родни Фрэнка. В лавке он познакомился с твоей матерью, трудолюбивой, серьезной девушкой моложе его на три года. Они поженились, когда ему было двадцать, а ей – семнадцать.

Когда я спросила, поженились ли они по любви, он ответил:

– У нас в квартале женились на тех, кто жил рядом, кто родился и вырос по соседству. Так поступали все мои знакомые. Розелла была хорошим человеком, и ее родители мне нравились.

– Но ты любил ее? – настаивала я.

– Она была подходящей женой. Я доверял ей. Знал, что она станет хорошей женой и матерью. О любви тогда никто не думал.

Они поженились в свадебной лихорадке, последовавшей за Перл-Харбором, как и тысячи других пар.

Ты родилась в 1942 году.

Я знала, что в последние годы войны Фрэнк редко получал увольнительные, то есть подолгу не видел вас с Розеллой. (Не так-то просто переправить моряков с Тихого океана в Бруклин; большинство сослуживцев Фрэнка годами не виделись с родными.) Три года он праздновал Рождество на авианосце. Писал письма, но Розелла редко отвечала. Школу она так и не окончила, писала плохо, стеснялась детского почерка и орфографических ошибок. А поскольку и родители Фрэнка почти не знали грамоты, на «ФранкLINE» он был одним из немногих, кто не получал писем.

– Тебя тяготило отсутствие вестей из дома? – спросила я.

– Винить тут некого, – отвечал он. – Родители мои были не мастера писать письма. А в Розелле я никогда не сомневался: знал, что она верна мне и хорошо заботится об Анджеле, хоть и не пишет. Розелла не из тех, кто станет гулять с другими. Не многие ребята могли сказать такое о своих женах.

Потом произошла атака камикадзе, и Фрэнк получил ожоги шестидесяти процентов тела. Он утверждал, что остальные пострадали не меньше, но на деле никто из получивших такие же обширные ожоги не выжил. В то время повреждение шестидесяти процентов тела почти гарантировало смерть, Анджела, – однако твой отец выжил.

Последовали месяцы болезненного восстановления в госпитале. Домой Фрэнк вернулся уже в 1946-м. И вернулся совсем другим. Сломленным. Тебе исполнилось четыре года, ты его совсем не знала и видела только на фотографии. За эти годы ты очень выросла и стала красивой, веселой и доброй девочкой. Как признавался Фрэнк, ему даже не верилось, что ты его дочь. Что он умудрился дать жизнь такому чистому и светлому существу. Но ты его немного боялась. Впрочем, он боялся тебя еще сильнее.

Розелла стала ему чужой. Из миловидной девушки она превратилась в матрону – дородную, хмурую, всегда одетую в черное. По утрам она ходила к мессе, а весь день молилась святым. Мечтала завести ораву детей. Но ничего не вышло: Фрэнк не терпел прикосновений.

В тот вечер, когда мы дошли до самого Бруклина, Фрэнк признался:

– После войны я перебрался на раскладушку в сарайчике за домом. Устроил себе логово с дровяной печкой, где и ночевал много лет. Так было лучше для всех. Я никому не мешал, если поднимался в неурочный час. Или просыпался с воплями. Зачем жене и дочке

такое слышать. Сон превратился в сплошное мучение. Вот я и предпочел страдать в одиночку.

Фрэнк очень уважал твою маму, Анджела, я точно знаю.

Он ни разу не сказал о ней плохого слова. Напротив, полностью поддерживал в вопросах воспитания и восхищался ее стойкостью пред лицом жизненных невзгод. Твои родители никогда не ссорились. Не пилили друг друга. Но после войны почти перестали разговаривать на другие темы, кроме бытовых. Фрэнк во всем уступал жене и беспрекословно отдавал ей всю зарплату. Розелла тем временем взяла на себя управление родительской бакалейной лавкой и унаследовала здание. Она отлично управлялась с делами. Фрэнк был счастлив, что твое детство прошло в этой лавке, что ты знала всех и вся, болтала с покупателями. «Солнышко нашего квартала» – так он тебя называл. Он все высматривал в тебе признаки замкнутости, нелюдимости, чуждаковатости (таким он видел себя самого), но ты была совершенно нормальным, живым и общительным ребенком. Он полностью доверял твоей матери и не сомневался, что та хорошо о тебе заботится. Но сам вечно пропадал на работе – патрулировал улицы или просто гулял вечерами по городу. Розелла же с утра до ночи трудилась в лавке или присматривала за тобой. Их брак превратился в формальность.

Фрэнк предлагал ей развестись, чтобы она нашла себе более подходящего мужа. Он не мог выполнять супружеские обязанности, с женой почти не виделся – с оформлением документов не возникло бы проблем. Розелла была еще молода. С другим мужчиной она могла завести большую семью, о которой всегда мечтала. Но Розелла никогда не согласилась бы на развод, даже одобренный католической церковью.

– Она набожнее самого папы, – говорил Фрэнк, – и никогда не нарушит обет. Там, откуда я родом, разводов не бывает, Вивиан, даже если дела совсем плохи. А нашу с Розеллой совместную жизнь не назовешь плохой. У нас просто ее нет. Мы давно живем каждый сам по себе. Но пойми, Вивиан, сам по себе Южный Бруклин – это семья. И ее нельзя разрушить. На самом деле Розелла замужем за Южным Бруклином. Наш квартал заботился о ней, пока я воевал. Наш квартал заботится о ней сейчас. О ней и об Анджеле.

– Но самому-то тебе нравится в Бруклине?

Он горько улыбнулся:

– У меня нет выбора, Вивиан. Я часть этого района и всегда буду принадлежать ему. Но война все изменила. Теперь я повсюду чувствую себя потерянным. Когда возвращаешься с войны, тебя хотят видеть таким же, как ты уходил. Раньше у меня были типичные для всех радости – бейсбол, кино. Церковные торжества на Четвертой улице, большие праздники. Но теперь я больше не радуюсь. Я везде лишний. Но район не виноват. Мои соседи – хорошие люди. Они всегда поддерживали ребят, вернувшихся с войны. Только скажи, что у тебя Пурпурное сердце^[44], – и всякий угостит тебя пивом, отдаст честь, подарит билеты на спектакль. Но мне все это было ни к чему. И в конце концов меня оставили в покое. Теперь я брожу по этим улицам, как призрак. Но все-таки мой дом по-прежнему здесь. Не местным не понять.

– А ты не думал переехать? – спросила я.

– Думал. Каждый божий день вот уже двадцать лет. Но это нечестно по отношению к Розелле и Анджеле. Да и сомневаюсь я, что в другом месте мне станет лучше.

На обратном пути, когда мы шагали по Бруклинскому мосту, он спросил:

– А ты, Вивиан? Была замужем?

– Почти. К счастью, меня спасла война.

– Как это?

– После Перл-Харбора мой жених ушел на фронт, и мы разорвали помолвку.

– Жалко.

– Не о чем тут жалеть. Он мне совершенно не подходил, и я наверняка испортила бы ему жизнь. Он был хорошим человеком и заслуживал лучшего.

– И ты так и не встретила другого мужчину?

Я помолчала, подыскивая правильный ответ. А потом решила сказать правду.

– Я встретила много мужчин, Фрэнк. Всех и не сосчитать.

– О, – только и смог ответить он.

Он замолчал, и я не знала, как он воспринял мои слова. Другая на моем месте не стала бы откровенничать, но природное упрямство вынуждало меня прояснить ситуацию до конца.

– Я спала со многими мужчинами, Фрэнк, вот что я хочу сказать.

– Да я догадался, – ответил он.

– И намерена продолжать в том же духе. Я сплю с мужчинами, разными и часто. Можно сказать, это мой образ жизни.

– Ясно, – ответил он. – Понимаю.

Мое признание его совсем не взбудоражило. Но заставило призадуматься. Поведав свой главный секрет, я занервничала. И почему-то никак не могла остановиться.

– Просто не хотела ничего скрывать от тебя, – пояснила я, – чтобы ты понимал, с кем имеешь дело. Если мы станем друзьями, я не потерплю осуждения. Но если эта сторона моей жизни тебя смущает...

Он остановился как вкопанный.

– С чего мне тебя осуждать?

– А ты подумай, Фрэнк. Вспомни, как мы встретились.

– Теперь понимаю, – кивнул он. – Но на этот счет можешь не волноваться.

– Хорошо.

– Я не такой, Вивиан. И никогда таким не был.

– Спасибо. Мне просто захотелось честно тебе обо всем рассказать.

– Спасибо, что удостоила меня честности, – произнес он, и его слова я сочла – и считаю до сих пор – самыми благородными на свете.

– Я уже слишком стара, чтобы притворяться, Фрэнк. И слишком стара, чтобы стыдиться себя, – ты понимаешь, о чем я?

– Понимаю.

– И что ты теперь обо мне думаешь? – спросила я. Мне не верилось, что я сама задала такой вопрос, но и не спросить я не могла. Меня озадачивала его спокойная реакция на мое шокирующее признание.

– Насчет того, что ты спишь со многими мужчинами?

– Да.

Он задумался на секунду, а потом сказал:

– Знаешь, Вивиан, с возрастом я кое-что понял, чего не понимал в молодости.

– И что же ты понял?

– Мир не черно-белый. Нас всех воспитывают определенным образом. Внушают, что есть правила, которые нужно соблюдать; что жить нужно только так, а не иначе. Что жить нужно правильно. Но миру плевать на правила, плевать на наши убеждения. Нет правил, которые распространяются на всех, Вивиан. И никогда не будет. Наши убеждения – они ничего не значат. Мир с нами попросту случается, вот что я думаю. И мы можем только принять это и жить дальше.

– Мне мир никогда не казался черно-белым, – заметила я.

– А мне казался. И я ошибся.

Мы шли по мосту. Темная холодная река под нами медленно текла к морю, унося с собой все нью-йоркские нечистоты.

– Вивиан, можно вопрос?

– Конечно.

– А это приносит тебе счастье?

– Секс, ты имеешь в виду?

– Да.

Я всерьез задумалась. Он не порицал меня, он искренне пытался понять. Но я раньше даже не задавалась таким вопросом. Мне не хотелось отвечать с ходу.

– Он насыщает меня, Фрэнк, – наконец ответила я. – Знаешь, на что это похоже? Внутри меня живет тьма, которую никто не видит. Она всегда там, в самой глубине. И когда я занимаюсь сексом с разными мужчинами, эта тьма на время насыщается.

– Вот, значит, как, – кивнул он. – Кажется, я понимаю.

Прежде я никогда так не открывалась. Никогда не пыталась описать свой опыт словами. Но все же мне стало ясно, что слов недостаточно. Как объяснить, что под «тьмой» я подразумеваю не «грех» или «зло», а лишь воображаемое место в невыразимой глубине души, куда не проникает свет реального мира? Туда способен проникнуть только секс. Это место первобытное, существовавшее задолго до появления цивилизации и языка. Место, которое не опишешь словами. Ни дружба, ни творчество не могли насытить эту часть меня. Ее не могли насытить ни радость, ни восторг. В эту скрытую от всех область можно было добраться лишь во время соития. Когда мужчина отправлялся со мной в эту неведомую тьму, я словно погружалась на дно моей души, к самым истокам своего существа – туда, где все началось.

Как ни странно, только там, в крошечной тьме, где не существовало ни стыда, ни лжи, я обрела полную свободу.

– Но если говорить о счастье, – продолжала я, – то, пожалуй, нет. Счастливой меня делают другие вещи. Работа. Подруги и моя настоящая – не биологическая – семья. Нью-Йорк. И наша с тобой прогулка по этому мосту. Но секс со всеми этими мужчинами приносит мне удовлетворение, Фрэнк. И я пришла к выводу, что без него становлюсь несчастной. Я не говорю, что нашла единственно правильный способ жить. Я лишь хочу сказать, что для меня он правильный и это уже не изменится. Я приняла себя. Мир не черно-белый, верно ты сказал.

Фрэнк слушал меня и кивал. Он хотел меня понять. Он один мог меня понять.

После долгой паузы он наконец произнес:

– Знаешь, тогда тебе повезло.
– Почему же? – удивилась я.
– Потому что далеко не каждый способен найти удовлетворение.

Глава тридцать первая

Я никогда не любила тех, кого мне полагалось любить, Анджела.

Моя жизнь шла вопреки любым планам. Родители подталкивали меня к определенной судьбе: престижная школа, элитный колледж. По их разумению, я должна была влиться в среду, к которой принадлежала по рождению. Но, как оказалось, я вовсе к ней не принадлежала. До сих пор у меня нет ни одного друга из этого мира. И мужа на школьном балу я так и не встретила.

Я никогда не ощущала близости с родителями и не тосковала по жизни в маленьком городке, где выросла. Со временем я оборвала все контакты с прежними знакомыми и соседями. Мы с матерью до самой ее

смерти поддерживали отношения лишь формально. А отец оставался для меня не более чем ворчливым политическим комментатором, сидевшим за противоположным концом обеденного стола.

Но когда я переехала в Нью-Йорк и познакомилась с тетей Пег – презирающей условности лесбиянкой, легкомысленной и безответственной, которая слишком много пила, сорила деньгами и порхала по жизни в ритме танца, – я сразу в нее влюбилась. Она подарила мне целый мир. Мир, который стал моим.

А еще я познакомилась с Оливией, которая с виду вроде бы не внушала симпатии, но я полюбила ее всей душой. Гораздо сильнее, чем любила собственных родителей. Оливия презирала телячьи нежности, но была доброй и преданной. Она служила нам опорой, а для меня стала своего рода ангелом-хранителем. Все понятия о чести я получила от нее.

Потом я встретила Марджори Луцкую, эксцентричную девчонку из Адской кухни, чьи родители, еврейские эмигранты из Польши, торговали тряпьем. Вот уж не думала, что мы подружимся. Но Марджори стала мне не просто другом и деловым партнером – она стала мне сестрой, которой у меня никогда не было. Я любила ее всем сердцем, Анджела. Готова была пойти ради нее на все, как и она ради меня.

Потом появился Натан, сын Марджори, слабый, болезненный мальчик, который, казалось, страдал аллергией на саму жизнь. Он был ребенком Марджори, но и моим ребенком тоже. Если бы планы родителей на мою жизнь осуществились, я бы и сама стала матерью и нарожала бы им рослых и крепких будущих промышленников, превосходных наездников. Но вместо них мне достался Натан, чему я только рада. Я выбрала его, а он выбрал меня. И его я любила.

Эти люди, вроде бы такие непохожие и появившиеся в моей жизни почти случайно, и стали мне семьей.

Настоящей семьей, Анджела. Я говорю о них, потому что хочу объяснить тебе: в последующие несколько лет я любила твоего отца так же сильно, как и каждого из них.

Поверь, в моем сердце нет более высокой похвалы для человека. Фрэнк стал мне близок, как и вся моя странная, прекрасная, неповторимая, случайная и самая настоящая семья.

Такая любовь, какая была у нас с Фрэнком, подобна бездонному колодцу с отвесными стенами.

Упадешь туда – и уже не выберешься.

В последующие годы твой отец несколько раз в неделю звонил мне поздним вечером и спрашивал:

– Хочешь погулять? У меня бессонница.

– У тебя всегда бессонница, Фрэнк, – отвечала я.

– Да, но сегодня особенно плохой день, – говорил он.

Мы гуляли в любое время года и в любое время ночи. Я никогда не отказывалась от его приглашений. Мне и самой нравилось бродить по Нью-Йорку, особенно по ночам. К тому же я не из тех, кто любит поспать. Но главным образом мне нравилось просто находиться рядом с Фрэнком. Он звонил, я соглашалась пройтись, он заезжал за мной из Бруклина на машине, мы высаживались где-нибудь в городе и дальше просто гуляли.

Вскоре мы обошли весь Манхэттен по нескольку раз и начали осваивать районы подальше от центра. Никто не знал Нью-Йорк лучше Фрэнка. Он показал мне кварталы, о существовании которых я даже не подозревала; в предутренние часы мы исследовали их вдоль и поперек, и все время разговаривали. Мы гуляли по кладбищам и промзонам. По набережным. По тихим улочкам с одноэтажной застройкой и в бетонных

джунглях небоскребов. Мы прошли все мосты Нью-Йорка, а в городе их много.

Никто нам ни разу не помешал. Даже странно: Нью-Йорк тогда считался местом небезопасным, но мы словно были неприкасаемыми. Обычно мы так погружались в разговор, что даже не замечали происходящего вокруг. Каким-то чудом улицы хранили нас от беды, и люди нас не трогали. Мне кажется, они нас даже не видели. Правда, иногда полицейские останавливали нас с вопросом, чем мы занимаемся, и тогда Фрэнк показывал им значок, поясняя: «Я провожаю даму домой», даже если мы в тот момент находились в ямайском гетто района Краун-Хайтс. Почти каждую ночь он провожал меня домой. Такая у нас была легенда.

Поздним вечером он иногда вез меня на Лонг-Айленд, и мы покупали жареные мидии в закусочной, куда он частенько заглядывал, – круглосуточном заведении с окошком для автомобилистов, через которое можно было получить заказ не выходя из машины. И мы отправлялись к заливу Шипсхед-Бэй поесть ракушек. Парковались прямо на пристани и смотрели, как рыбацкие суда выходят в океан. Весной Фрэнк возил меня за город, в Нью-Джерси, и мы ночью, при свете луны, собирали горьковатые листья одуванчиков для салата. Любимый сицилийский рецепт, говорил Фрэнк.

Крутить баранку и гулять – это он мог делать спокойно, без напряжения.

Фрэнк слушал меня с неизменным вниманием. И стал мне самым близким другом. В нем была особая чистота – глубокая и непоколебимая цельность. Он никогда не хвастался (редкость для мужчин его поколения!), не претендовал на особое положение. Обо всех своих ошибках и промахах он сообщал еще до того, как я успевала их заметить. И что бы я ему про себя ни

рассказывала, он никогда не осуждал и не критиковал меня. Моя тьма его не пугала; в нем самом таился такой мрак, что Фрэнка не страшили чужие тени.

Но главное – он умел слушать.

Я рассказывала ему абсолютно все. Когда у меня появлялся новый любовник, я делилась с Фрэнком. Я делилась с ним своими страхами. Делилась триумфами. Я не привыкла к мужчинам, которые умеют слушать, Анджела.

Что до твоего отца, он не привык к женщинам, готовым посреди ночи прошагать рядом с ним пять миль под дождем в Квинсе, просто чтобы составить ему компанию во время бессонницы.

Он не собирался уходить от жены и ребенка. Я знала это, Анджела. Таким уж он был, Фрэнк. А я не собиралась заманивать его в постель. Даже если забыть про его телесные и душевные травмы, навсегда отменившие для него секс, я бы никогда не завела роман с женатым мужчиной. Больше никогда.

Более того, я даже не мечтала выйти замуж за Фрэнка. Брак устойчиво вызывал у меня ассоциации с ловушкой, и я ни с кем не стремилась туда угодить. И с Фрэнком особенно. Я не представляла, как мы сидим за завтраком, читая утренние газеты. Планируем отпуск. Нет, то были картинки не из нашей жизни.

Наконец, я не уверена, что мы с Фрэнком сохранили бы столь глубокую любовь и нежность, будь секс частью нашей истории. Во многих случаях секс становится уловкой, сублимацией близости. Узнав тело партнера, мы позволяем себе не углубляться в изучение его души.

Так что, хоть нас с твоим отцом и связывали очень прочные отношения, существовали мы порознь. Единственный район Нью-Йорка, где мы ни разу не гуляли, – его родной Южный Бруклин. (Или Кэрролл-

Гарденз, как его впоследствии прозвали риелторы, хотя твой отец никогда так не говорил.) Южный Бруклин принадлежал его семье в широком смысле слова – его племени. Из уважения мы не заступали на его территорию.

Мне так и не довелось узнать его племя, как и мое.

Я коротко познакомила Фрэнка с Марджори, и мои подруги, само собой, были о нем наслышаны, но он не умел сходитья с людьми. (Что тут поделать – устроить званый прием, чтобы похвастаться новым другом? Заставить человека с неврозом толкаться среди людей, вести светскую беседу, держа коктейль в руке? Ну уж нет.) Для моих друзей Фрэнк так и остался ходячим призраком. Они признали его важное место в моей жизни, потому что я об этом сказала. Но они его так и не поняли. У них просто не было возможности.

Какое-то время я питала надежду, что они с Натаном когда-нибудь встретятся и Фрэнк заменит моему малышу отца. Но и тут ничего не вышло. Он еле-еле справлялся с ролью отца для тебя, Анджела, родной дочери, которую он любил всем сердцем. Я не имела права подбросить ему еще одного ребенка, еще один повод для угрызений совести.

Я ничего от него не требовала, Анджела. А он ничего не требовал от меня. Только спрашивал, хочу ли я прогуляться.

Так кем же мы были друг для друга? Как это назвать? Нас определенно связывали отношения более чем дружеские. Был ли он моим возлюбленным? Или я – его любовницей?

Никакое определение не подходит.

Все они описывают лишь то, кем мы не были.

Одно могу сказать, Анджела: у меня в сердце был пустой вымерший уголок, о котором я и не догадывалась, – и Фрэнк его занял. И когда Фрэнк

поселился у меня в сердце, я обрела любовь. Мы никогда не жили вместе, не спали вместе, но он стал частью меня. Всю неделю я копила впечатления, чтобы при встрече поделиться интересными историями. Я советовалась с ним, потому что уважала его мнение. Я любила лицо Фрэнка, потому что это было его лицо. Даже его шрамы казались мне красивыми. Его кожа напоминала мне потрепанный переплет древней священной книги. Меня очаровывали те часы, что мы проводили вместе, и те загадочные места, в которые мы забредали – как в ходе прогулок, так и в ходе разговоров.

Наше общение развивалось словно в другом измерении – вот как я это ощущала.

У нас все было не как у людей.

Мы даже ели только в машине.

Кем же мы были друг для друга?

Мы были Фрэнком и Вивиан, бродившими по Нью-Йорку бок о бок, пока все остальные спят.

Обычно Фрэнк звонил по вечерам, но однажды, летом 1966 года, когда стояла невыносимая жара, он вдруг позвонил в середине дня и сказал, что нам нужно встретиться немедленно. Он был в панике и, примчавшись в «Ле Ателье», выскочил из машины и принялся ходить взад-вперед у витрины. Таким беспокойным я его еще не видела. Я передала недошитое платье помощнице, выбежала на улицу и села в машину.

– Поехали, Фрэнк, – сказала я, – давай же. Поехали.

Он повез меня на аэродром Флойда Беннетта в Бруклин и всю дорогу вел машину молча, на пределе допустимой скорости. На летном поле остановился на незаасфальтированной площадке в конце взлетной полосы, откуда можно было видеть заходящие на

посадку военные самолеты. Тут я поняла, что дело серьезное: он приезжал на аэродром, только когда все остальное не помогало. Его успокаивал рев самолетных двигателей.

Я прекрасно понимала, что не стоит расспрашивать: он сам расскажет, когда справится с приступом паники.

Мы сидели в убийственной июльской духоте в машине с выключенным двигателем и слушали, как тикает, остывая, мотор. Тишину нарушал лишь грохот приземляющихся самолетов. Я опустила окно, чтобы хоть немного проветрить салон, но Фрэнк даже не заметил. Он все еще сидел, вцепившись в руль так, что побелели костяшки пальцев. В полицейской форме наверняка было страшно жарко, но он опять-таки, похоже, ничего не замечал. Очередной самолет коснулся земли, и та задрожала.

– Сегодня я был в суде, – наконец сказал он.

– Ясно, – ответила я, просто подтверждая, что слушаю.

– Давал показания в деле о краже со взломом. Какие-то наркоманы вломились в скобяную лавку в том году, избили хозяина, так что их обвинили еще и в нападении. Я первым прибыл на место преступления.

Твоему отцу, Анджела, часто приходилось выступать в суде свидетелем по полицейским делам. Ему это не нравилось (ну еще бы – сидеть в битком набитом зале суда), но такую панику на лице я видела у него впервые. Значит, случилось что-то еще.

Но торопить Фрэнка не стала.

– И я встретил одного старого знакомого, – наконец проговорил он. Он по-прежнему не отпускал руль и смотрел прямо перед собой. – Мы вместе служили во флоте. Родом он с Юга. Тоже был на «Франклине». Том Денно его зовут. Много лет я не вспоминал это имя. Сам-то он из Теннесси. Я и не знал, что теперь он живет здесь. Те ребята с Юга, они ведь после войны всегда

возвращались в родные места, правда? Но нет. Он перебрался в Нью-Йорк. Живет, правда, черт знает где, на Вест-Энд-авеню. Короче, он стал адвокатом. И сегодня был в суде – защищал паренька, который вломился в скобяную лавку. У родителей мальчика небось деньги водятся, раз наняли ему адвоката. Том Денно. Ну надо же.

– Ты, наверное, удивился. – И снова я просто дала ему понять, что я здесь, я слушаю.

– Помню Тома, когда тот только прибыл на корабль новобранцем, – продолжал Фрэнк. – Точную дату не скажу, но приехал он в начале сорок четвертого. Явился прямо с фермы. Деревенский паренек. Если считаешь нас, городских, суровыми ребятами, погляди лучше на деревенских. По большинству они росли в такой нищете, что тебе и не снилось. Я-то думал, мы бедные, но по сравнению с ними мы просто богатеи. Эти мальцы и еды-то столько в жизни не видели, сколько нам давали на корабле. Помню, ели они, как в последний раз, аж за ушами трещало. Впервые в жизни им не приходилось делиться с десятком братьев. Некоторые и ботинок в жизни не носили. А их выговор – я ни разу такого не слышал и половину слов не понимал. Но сражались они как черти. Даже когда нас не обстреливали, они находили повод для битв. Между собой дрались постоянно, задирались к морским пехотинцам, охранявшим адмирала, когда тот был на борту. Они ничего не умели, кроме как расчищать себе дорогу кулаками. И Том Денно из них был самый задиристый.

Я кивнула. Фрэнк редко рассказывал о службе на корабле и о тех, с кем вместе воевал. Я не понимала, к чему он клонит, но знала, что это важно.

– А я, Вивиан, никогда не был ни задирой, ни драчуном. – Он цеплялся за баранку, как за спасательный круг, удерживающий его на плаву. – И вот

как-то раз на палубе один из моих ребят, парнишка из Мэриленда, на минутку отвлекся. Оступился, и его голову затянуло в пропеллер. Оторвало напрочь прямо у меня на глазах. Нас даже не обстреливали тогда – так, обычный день, обычная служба. И вот, значит, лежит передо мной безголовое тело, и я понимаю, что нужно срочно убрать его, ведь самолеты приземляются каждые две минуты и скоро прибудет следующий. Не должно быть на палубе авианосца посторонних предметов. Но я как окаменел. И тут, значит, подбегает Том Денно, хватает труп за ноги и оттаскивает прочь – наверное, на ферме они так свиные туши таскали. И даже бровью не повел. Сразу понял, что делать надо. А я так и стою столбом. И Том хватает меня и тоже оттаскивает, чтобы я не стал следующим, значит. Меня, офицера, представляешь! Волочит прочь новобранец! Он даже у дантиста ни разу не был, этот Том. Как вышло, что он стал адвокатом на Манхэттене?

– А это точно был он? – спросила я.

– Да, точно. Он меня узнал. Подошел и заговорил со мной. Знаешь, Вивиан, он из «Клуба семьсот четыре». Господи боже. – Он с горечью взглянул на меня.

– Я не знаю такого клуба, – мягко заметила я.

– После атаки камикадзе на «ФранкLINE» остались семьсот четыре члена экипажа. Капитан Герес назвал их «Клубом семьсот четыре». Сделал из них героев. А может, они и правда герои. Геройски выжившие, как говорил Герес. Те, кто не покинул корабль. Не дезертировал. Они каждый год собираются. Вспоминают былые подвиги.

– Ты не дезертировал, Фрэнк. Даже ВМС это признали. Тебя выбросило за борт взрывной волной.

– Не важно, Вивиан, – ответил он. – Я был трусом задолго до атаки.

Паника в голосе пропала. Теперь он был зловеще спокоен.

– Неправда, – возразила я.

– Не спорь, Вивиан. Я был трусом. До той атаки нас месяцами обстреливали. И я еле держался. С самого начала не выносил бомбежек. Помню Гуам в июле сорок четвертого – мы разнесли его до основания. Мне казалось, на острове ни былинки не осталось, такой ад мы там устроили. Но когда в июле на Гуам высадились наши войска, отовсюду полезли японские солдаты и танки. Как они пережили бомбардировку? Ума не приложу. Наши пехотинцы сражались храбро, японцы сражались храбро, но я – нет, Вивиан. Меня пугали сами выстрелы, а ведь стреляли даже не в меня. Тогда-то у меня и началось. Панические приступы, тики. Ребята прозвали меня Трясучкой.

– Какая низость, – сказала я.

– Но они были правы. Нервы у меня стали совсем никуда. Однажды нашему самолету не удалось сбросить бомбу: снаряд весом в сотню фунтов застрял в открытом люке. И вот пилот сообщает по радио, что бомбу в люке заклинило и он заходит на посадку. Представляешь? Во время посадки самолет растрясло, и снаряд попросту выпал на палубу. И вот, значит, мы стоим, а по палубе катается бомба в сто фунтов. И тогда твой брат и другие ребята подскочили и столкнули ее за борт, как нечего делать. А я опять застыл столбом. Не мог ни помочь, ни даже шевельнуться – вообще ничего.

– Теперь уже не важно, Фрэнк. – И опять он словно меня не услышал.

– А в августе сорок четвертого нас накрыл тайфун, но мы по-прежнему совершали вылазки и принимали на борт самолеты, хотя палубу захлестывали волны высотой с дом. И ты бы видела этих пилотов, Вивиан. Приземляются на посадочную полосу размером с почтовую марку посреди Тихого океана в самый разгар бури и даже глазом не моргнут. А у меня руки трясутся. Хотя проклятый самолет веду совсем не я, Вивиан. Наш

конвой называли «убойной шеренгой»^[45] и считали самыми крутыми ребятами во всем флоте. Но я-то крутым не был.

– Фрэнк, – попыталась я успокоить его, – не мучай себя, дело прошлое.

– А потом, в октябре, японцы стали посылать к нам смертников. Поняли, что победа за нами, и решили уйти красиво. По дороге прихватив как можно больше наших. Они валились с неба, как град, Вивиан. Как-то в октябре их прилетело пятьдесят за один день. Пятьдесят камикадзе, ты представляешь?

– Нет, – честно призналась я, – не представляю.

– Наши ребята отстреливали их одного за другим, а на следующий день прилетали новые. Я знал, что рано или поздно один из них в нас врежется. Мы же стояли всего милях в пятидесяти от японского берега, лучше мишени не придумаешь, а нашим ребятам хоть бы что. Расхаживали себе по палубе, будто никакой угрозы и нет. Каждый вечер мы слушали токийскую радиостанцию, и японцы уверяли, что, мол, «Франклин» уже потоплен. Тогда-то у меня и началась бессонница. Не мог ни есть, ни спать. Каждую минуту трясся от ужаса. С тех пор ни разу нормально не заснул. Некоторых пилотов-камикадзе, самолеты которых удавалось сбить, мы вылавливали из воды и брали в плен. И вот ведут как-то такого пилота в камеру для арестантов, а он вырвался, подбежал к краю палубы и сиганул за борт. Утопился, лишь бы не попасть в плен. Умер с честью прямо у меня на глазах. Когда он бежал по палубе, я успел взглянуть ему в лицо, Вивиан, – Богом клянусь, мне было куда страшнее, чем ему.

Я видела, что Фрэнка затягивает в воронку воспоминаний, что не сулило ничего хорошего. Надо было вернуть его к реальности. К «здесь и сейчас».

– А что случилось сегодня, Фрэнк? – спросила я. – Когда вы с Томом Денно узнали друг друга в зале суда?

Фрэнк шумно выдохнул и еще крепче вцепился в руль.

– Перед дачей показаний он подошел ко мне. Даже по имени меня помнил. Спросил, чем я занимаюсь. И рассказал, что сам держит адвокатскую практику, живет в Верхнем Вест-Сайде, учился там-то, а детей отдал в такую-то школу. Короче, бахвалился, как у него все хорошо. После атаки он с остатками экипажа привел «Франклин» на Бруклинскую верфь и решил осесть в Нью-Йорке. Но акцент у него до сих пор прежний, как у парнишки с фермы. Хотя костюм его стоит, наверное, как весь мой дом. А потом оглядел меня так презрительно и спрашивает: «А ты, значит, обычный коп? Вот где нынче служат офицеры флота?» Господи, что тут ответишь, Вивиан? Я просто кивнул. А он такой: «У тебя хоть табельное оружие есть?» Я в ответ сморозил какую-то глупость, типа: «Да, но стрелять еще ни разу не приходилось». А он мне: «Да где уж тебе, Трясучка. Ты всегда был тряпкой». И ушел.

– Пусть катится ко всем чертям! – выпалила я и сжала кулаки.

Меня захлестнула такая мощная волна ярости, что шум в ушах – пульсация прилившей к вискам крови – на минуту заглушил рев двигателя самолета, заходившего на посадку прямо перед нами. Мне захотелось выследить Тома Денно и вцепиться ему в глотку. Да как он посмел?! А еще хотелось обхватить Фрэнка обеими руками, обнять, утешить – но я не могла, поскольку война так его искалечила, что отняла даже шанс найти утешение в объятиях любящей женщины.

Так жестоко и так несправедливо.

Я вспомнила, как Фрэнк рассказывал мне о дне атаки. Когда взрывной волной его выбросило за борт, он всплыл на поверхность и очутился в мире, объятom пламенем. Горела даже морская вода – по ней тянулась пленка пылающего топлива. Пропеллеры упавшего

самолета раздували огонь, как кузнечные мехи, с новой силой опаливая тонущих людей. Фрэнк сообразил: если сильно барахтаться, то вокруг образуется небольшое водное пространство, куда пламя не распространится. Так он и делал почти два часа, наполовину уже обгорев, – отталкивал от себя огонь, пытаясь оградить от пылающего ада свой маленький кусочек мира. В тот момент я поняла, что все эти годы Фрэнк занимался тем же самым. Пытался найти безопасное место в мире. Место, где он перестанет гореть.

– Том Денно прав, Вивин, – сказал он. – Я всегда был тряпкой.

Мне жутко хотелось утешить его, Анджела, но как? Что я могла ему дать, кроме своего присутствия и готовности выслушать его ужасный рассказ? Мне хотелось сказать, что он герой, что он сильный и храбрый, а Том Денно и остальные из «Клуба семьсот четыре» ошибаются. Но я знала, что это не поможет. Он не услышит меня. Не поверит моим словам. Но я должна была хоть что-то сказать, ведь Фрэнк невыносимо страдал. Я зажмурилась и попыталась придумать правильные слова. Но потом просто открыла рот и заговорила, слепо надеясь, что судьба и любовь подскажут мне нужные фразы.

– Ну и что? – сказала я. – Даже если он и прав, какая разница?

Я говорила громче и резче, чем собиралась, и Фрэнк удивленно повернулся ко мне.

– Даже если это правда, Фрэнк, и ты тряпка? Если ты вообще не создан для войн и сражений?

– Это и есть правда.

– Ладно, допустим. Давай предположим, что так и есть. И что это означает?

Он молчал.

– Что это означает, Фрэнк? – настаивала я. – Отвечай. И ради бога, убери ты руки с проклятого руля.

Мы никуда не едем.

Он наконец отпустил баранку, сложил ладони на коленях и уставился на них.

– Допустим, ты тряпка, Фрэнк. Что это значит? Скажи мне.

– Значит, что я неудачник. Не мужчина. – Он говорил так тихо, что я еле разобрала его ответ.

– А вот и нет, Фрэнк, ты ошибаешься, – заявила я, как никогда в жизни уверенная в собственных словах. – Ты ошибаешься, Фрэнк. Это вовсе не значит, что ты не мужчина. А знаешь, что это на самом деле значит? Ровным счетом ничего.

Он растерянно заморгал. Прежде я ни разу не говорила с ним таким тоном.

– Послушай-ка меня, Фрэнк Грекко, – сказала я. – Если ты трус – предположим чисто теоретически, что так и есть, – это ничего не значит. Возьмем, например, мою тетю Пег. Она алкоголичка, не умеет себя контролировать. Выпивка портит ей жизнь и приносит кучу бед. И знаешь, что это значит? Ничего. Ты считаешь ее плохим человеком? Неудачницей? Вовсе нет, просто она вот такая. С ней случился алкоголизм, Фрэнк, только и всего. С нами случаются разные вещи. И мы такие, какие есть, тут уж ничего не поделаешь. Или вот мой дядя Билли – тот попросту не умел держать слово или хранить верность. Но это ничего не значит. Он был прекрасным человеком, Фрэнк, и при этом совершенно ненадежным. Но это ничего не значило. Мы все равно его любили.

– Но мужчина должен быть храбрым, – возразил Фрэнк.

– Кому должен?! – почти заорала я. – Женщины тоже должны быть скромными, а ты посмотри на меня! У меня было столько мужчин, что и не сосчитать, – и знаешь, что это говорит обо мне как о человеке? Да ничего, Фрэнк. Я просто так живу. Ты же сам сказал, Фрэнк: мир

не черно-белый. Так и сказал в первый же вечер. Так приложи свои же слова к собственной жизни. Не бывает универсальных правил, которые подходят всем. У каждого своя природа. И с каждым случается нечто такое, что мы не можем контролировать. С тобой случилась война. Ты не создан для войны, ну и что? Да абсолютно ничего, черт подери. Прекрати себя терзать.

– Но крутые ребята вроде Тома Денно...

– Ты ничего не знаешь о Томе Денно. С ним тоже что-то случилось, я тебе гарантирую. Чтобы взрослый человек так накинулся на бывшего сослуживца? С такой жестокостью? О, даже не сомневайся: жизнь его тоже не пощадила. Как следует изломала. Мне и дела нет до этого засранца, но в жизни всякое случается, Фрэнк. Мир не черно-белый. Прими его и живи дальше.

Тут Фрэнк заплакал. Я и сама чуть не разрыдалась. Но постаралась держать себя в руках, потому что его слезы были гораздо важнее моих, да и позволял он их себе неизмеримо реже. В тот момент я отдала бы несколько лет жизни, лишь бы обнять его, Анджеला, – именно там и тогда. Но это было невозможно.

– Так не честно, – всхлипывая, повторял он.

– Да, милый. Не честно. Но так уж случилось. Просто так вышло, Фрэнк, и это ничего не значит. Поверь, ты чудесный человек. И никакой не неудачник. Ты лучший мужчина из всех, кого я знаю. Только это и важно.

Он продолжал плакать, сидя от меня на безопасном расстоянии, как обычно. Но все-таки сумел убрать руки с руля. Все-таки сумел рассказать мне о том, что произошло. Здесь, в раскаленной от жары машине, в данный момент находился его безопасный кусочек мира – тот, куда не доставали языки пламени. Здесь он сумел говорить честно.

Я сидела с ним, пока он не успокоился. И готова была оставаться рядом, сколько потребуется. Больше я сделать ничего не могла. В тот день у меня была одна

задача: оставаться рядом с этим хорошим человеком. Присматривать за ним со стороны, пока он не успокоится.

Когда к Фрэнку наконец вернулось самообладание, он устался в окно и с тоской спросил:

– И что же нам теперь делать, Вивиан?

– Не знаю, Фрэнк. Может, и ничего. Но я рядом.

Тогда он повернулся и посмотрел на меня.

– Я не могу жить без тебя, Вивиан, – сказал он.

– Ну и хорошо. Тебе и не придется.

Вот так, Анджела, мы с твоим папой по-своему признались друг другу в любви.

Глава тридцать вторая

А годы шли, как всегда.

В 1969 году тетя Пег умерла от эмфиземы. Она курила до самой смерти. И умирала тяжело. Эмфизема – жестокая болезнь. Переживая такую боль, такие страдания, невозможно не измениться, но Пег изо всех сил старалась оставаться собой – оптимистичной, безропотной, бодрой. Однако дышать ей становилось все труднее. Ужасно смотреть, как человеку не хватает воздуха. Словно наблюдаешь, как он медленно тонет. В конце, хоть он и был печальным, мы даже радовались, что она ушла мирно. Мы бы не вынесли ее дальнейших страданий.

Есть ли смысл горевать по человеку, который прожил долгую и насыщенную жизнь и умер, окруженный любимыми и близкими людьми? Многим и в жизни, и в смерти повезло куда меньше, чем Пег, – вот по ним и надо горевать, но никак не по ней. Пег родилась в рубашке и до самой смерти ее не снимала. Она была счастливницей и знала об этом даже лучше других. (Помню ее присказку: «Мы везунчики!») Но все же, Анджела, Пег была самой значительной и важной фигурой в моей жизни, и мне было больно ее потерять.

Даже сейчас, спустя столько лет, мне кажется, что мир сильно обеднел без Пег Бьюэлл.

Нашлась в ее смерти и светлая сторона: я бросила курить. Вероятно, поэтому я до сих пор еще жива.

Добрейшая тетя Пег и тут мне помогла.

После смерти Пег я очень волновалась за Оливию. Она столько лет ухаживала за тетей – найдет ли она, чем себя занять? Но оказалось, что волновалась я зря. В пресвитерианской церкви недалеко от Саттон-Плейс вечно не хватало волонтеров, и Оливия нашла себе применение. Она вела уроки в воскресной школе, собирала средства на благотворительность и раздавала поручения всем остальным. Она уж точно была на своем месте.

Натан вырос, но по-прежнему не в длину. Он так и ходил в квакерскую школу. Любая другая не подошла бы ему категорически. Мы с Марджори пытались чем-то его заинтересовать, привить любовь к музыке, искусству, литературе, театру, но Натан не из увлекающихся натур. Больше всего на свете ему нравилось чувствовать себя в уюте и безопасности. И мы отгораживали его от мира, окутывали коконом нашей спокойной маленькой вселенной. Не требовали от него невозможного. Для нас он и так был достаточно хорош, и мы любили его таким. Гордились каждым, пусть самым маленьким его достижением – иногда даже тем, что он сумел прожить еще один день.

– Не всем суждено скакать по жизни с копьём наперевес, – как-то сказала про него Марджори.

– Верно, Марджори, – ответила я, – копьё – это по твоей части.

Наш свадебный бутик остался на плаву, даже когда в 1960-е общественные настроения изменились и люди стали реже сочетаться браком. Нам повезло: мы никогда не были «традиционным» свадебным салоном, и когда традиции вышли из моды, «Ле Ателье» по-

прежнему сохранил позиции. Мы продавали винтаж задолго до того, как появилось само понятие. С приходом контркультуры хиппи полюбили безумные наряды с барахолки, а мы были тут как тут. Число клиентов даже выросло – появилась целая новая прослойка. Я начала обшивать «детей цветов» – само собой, тех, у кого водились деньги. Я создавала свадебные наряды для хиппующих банкирских дочурок, которые мечтали выглядеть так, будто росли на цветущем лугу, а не в элитной школе для девочек в Верхнем Ист-Сайде.

Я обожала шестидесятые, Анджела.

По правде говоря, немногим женщинам моего поколения они пришлись по нутру. И мне, в моем-то возрасте, следовало бы ворчать и сокрушаться по поводу падения основ общества. Но я никогда не признавала общественных норм и только радовалась, что им наконец бросили вызов. Честно говоря, меня приводили в восторг молодежные бунты, неповиновение и взрыв творческой активности. А как шикарно одевались хиппи! Их стараниями улицы нашего города превратились в настоящий разноцветный балаган! Повсюду царили свобода и радость.

А еще в шестидесятые я могла гордиться собой, ведь мое окружение опередило изменения, только теперь всколыхнувшие всю Америку.

Сексуальная революция? Да я давным-давно существовала по ее законам.

Однополые пары, живущие вместе как супруги? Пег и Оливия, можно сказать, изобрели однополый брак.

Феминизм и право вырастить ребенка в одиночку? Марджори преодолела этот барьер много лет назад.

Ненасилие, отказ от конфронтации? Здесь хиппи могли поучиться у милого малыша Натана Луцкого.

Я наблюдала за общественными веяниями шестидесятых с великой гордостью, ибо понимала: мы были первыми.

В 1971 году Фрэнк попросил меня об одолжении.

Он хотел, Анджеला, чтобы я сшила тебе свадебное платье. Просьба застала меня врасплох, и вот почему.

Во-первых, я искренне удивилась, что ты решила выйти замуж. Судя по рассказам твоего отца, брак никогда тебя не интересовал. Фрэнк очень гордился, что ты окончила магистратуру Бруклинского колледжа и получила докторскую степень Колумбийского университета. Из всех предметов ты выбрала психологию. (Неудивительно, с такой-то семейной историей.) Гордился отец и тем, что ты решила не открывать частную практику, а пошла работать в лечебницу Белвью^[46], где каждый день сталкивалась с самыми тяжелыми психическими заболеваниями.

Он говорил, что ты живешь работой, и полностью поддерживал тебя в этом. Радовался, что ты не обвенчалась в юном возрасте, как он сам когда-то. Он понимал, что традиционная женская роль не для тебя, что ты интеллектуалка, и очень гордился твоим умом. А когда после получения научной степени ты начала исследование подавленных травмирующих воспоминаний, он пришел в восторг. Говорил, что вам наконец-то есть о чем поговорить и что иногда он даже помогает тебе сортировать данные.

Он уверял меня: «Анджеला слишком умна и хороша для любого мужчины, они ей и в подметки не годятся».

Но потом у тебя появился парень.

Фрэнк такого не ожидал. Тебе тогда исполнилось уже двадцать девять, и он думал, что ты, возможно, так и останешься одна. Не смейся, но твой отец, по-моему, считал тебя лесбиянкой. Но потом ты встретила парня,

который тебе понравился, и собралась пригласить его домой на воскресный ужин. Парень, как выяснилось, работал главой отдела безопасности в Белвью. Он недавно вернулся из Вьетнама и собирался изучать юриспруденцию в Сити-колледже. Выходец из Браунсвилла^[47], то есть тоже бруклинец. Чернокожий парень по имени Уинстон.

Фрэнк ничуть не смущало, что ты встречаешься с чернокожим, Анджела. Ни капельки. Надеюсь, ты это знаешь. Более того, он гордился, что тебе хватило мужества и уверенности в себе, чтобы привести Уинстона в Южный Бруклин. Он видел замешательство в глазах соседей и радовался, что тебе нет дела до осуждения окружающих, хотя тогда в Южном Бруклине при виде межрасовой пары буквально разевали рты. Уинстон же вызвал у него большую симпатию и уважение.

«Она у меня молодец, – говорил мне Фрэнк. – Анджела всегда знает, чего хочет, и не боится идти своим путем. Она сделала хороший выбор».

Но твоя мама, судя по всему, придерживалась другого мнения и не одобряла твой выбор.

Фрэнк с Розеллой никогда не ссорились, но из-за Уинстона у них произошла единственная в жизни стычка. Во всем, что касалось тебя, Фрэнк всегда слушался твоей матери. Но тут их мнения впервые разошлись. Подробностей я не знаю, Анджела, да они и не имеют значения, потому что в конце концов Розелла согласилась с твоим отцом. По крайней мере, он мне так сказал.

И снова прошу прощения, Анджела, если я где-то ошибусь. Сейчас, когда речь о твоей личной истории, я чувствую себя особенно неуверенно. Ведь ты знаешь ее лучше всех – хотя как сказать. Родители могли и вовсе не посвящать тебя в подробности своего спора. А мне не хотелось бы ничего оставлять за кадром.

Итак, ранней весной 1971 года Фрэнк сказал, что вы с Уинстоном решили пожениться и устроить скромную церемонию. И попросил сшить тебе платье.

– А сама Анджела хочет, чтобы я шила ей платье? – уточнила я.

– Она пока не знает, – ответил он, – но я с ней поговорю. И попрошу, чтобы она с тобой встретилась.

– Ты хочешь познакомить нас с Анджелой?

– Анджела – моя единственная дочь. И, зная ее, могу предположить, что это будет ее единственный брак. Я прошу тебя сшить для нее платье. Это много для меня значит. Поэтому – да, я хочу вас познакомить.

Ты появилась в бутике утром во вторник, очень рано – ведь к девяти тебе нужно было на работу. Отец привез тебя на машине, и вы вошли вдвоем.

– Анджела, – сказал Фрэнк, – это Вивиян, моя старая подруга, о которой я тебе рассказывал. Вивиян, это моя дочь. Что ж, оставляю вас.

И он вышел.

Еще никогда я так не нервничала при встрече с клиенткой.

Хуже того, я сразу поняла, что ты приехала ко мне не по своей воле. И не просто с неохотой, а с глубоким раздражением. Ты не понимала, зачем отец, который прежде никогда не вмешивался в твои дела, заставил тебя сюда приехать. А еще я видела, что не нужно тебе никакое платье (я инстинктивно чувствую такие вещи). Готова поспорить, ты считала свадебное облачение старомодным, дурацким и унижительным для женщин и собиралась надеть на торжество тот же наряд, что был на тебе день нашей первой встречи: просторную крестьянскую блузку, джинсовую юбку с запахом и сабо.

– Доктор Грекко, – произнесла я, – рада знакомству.

Я надеялась, тебе понравится, что я назову тебя по ученой степени. Прости, но за годы я столько слышала о тебе, что сама гордилась твоим докторским званием!

Ты ответила безупречно вежливо:

– Я тоже рада, Вивиан, – и постаралась улыбнуться как можно приветливее, хотя тебе вовсе не хотелось приезжать сюда.

Ты показалась мне совершенно поразительной, Анджела. В отличие от отца, ты была невысокого роста, но в остальном очень на него похожа. Те же темные внимательные глаза, смотревшие на мир не только с любопытством, но и с подозрительностью. Те же густые, хмурые брови – видимо, ты их не выщипывала, и мне это понравилось. Ты буквально светила интеллектом, и в тебе, как и в отце, чувствовалась та же пульсирующая, беспокойная энергия. (Слава богу, не настолько беспокойная, как у Фрэнка, но явная.)

– Значит, ты выходишь замуж? Поздравляю, – сказала я.

Ты решила не тратить время на любезности:

– Знаете, я не люблю все эти свадебные финтифлюшки...

– Прекрасно тебя понимаю, – кивнула я. – Хочешь верь, хочешь нет, я тоже не люблю свадебные финтифлюшки.

– Тогда странную вы выбрали профессию, – заметила ты, и мы обе рассмеялись.

– Послушай, Анджела, если хочешь, можешь уйти, – предложила я. – Я ни капли не обижусь, если ты не станешь заказывать у меня свадебное платье.

Кажется, ты испугалась, что оскорбила меня, и пошла на попятную:

– Да нет же, я рада, что приехала. Это важно для папы.

– Да, – согласилась я. – Мы с твоим отцом друзья, и человек он очень хороший. Но в моей профессии не

имеет значения мнение отца. Или матери, раз на то пошло. Прежде всего меня интересует, что думает невеста.

При слове «невеста» ты слегка поморщилась. За годы работы я встречала два типа невест: первым нравится эта роль, вторым она глубоко противна, хотя замуж они все равно выходят. Ты явно относилась ко второму типу.

– Анджела, позволь сказать тебе кое-что. Кстати, ничего, что я обращаюсь к тебе по имени?

Так странно было называть твое имя – такое родное и близкое, которое я столько раз слышала!

– Конечно, – ответила ты.

– Осмелюсь предположить, что одна мысль о традиционной свадебной церемонии тебе противна.

– Вы не ошиблись.

– И ты предпочла бы просто заглянуть в муниципалитет в обеденный перерыв и расписаться, а то и вовсе не связывать себя узами брака, а просто продолжать жить со своим партнером, не приплетая государство?

Ты улыбнулась. И снова я заметила блеск интеллекта в глазах.

– Вы явно читаете мою почту, Вивиан.

– Значит, настоящая свадьба нужна кому-то из твоих близких, а не тебе. Кому? Твоей матери?

– Уинстону.

– Ага. Жениху. – И снова ты поморщилась: я неправильно выбрала слово. – Или лучше сказать – партнеру?

– Спасибо, так лучше, – согласилась ты. – Да, дело в Уинстоне. Он хочет настоящую свадьбу. Хочет, чтобы мы встали перед всем светом и заявили о своей любви.

– Как мило.

– Ну да, наверное. Я и правда его люблю. Но была бы не прочь послать на свадьбу дублершу, которая постоит

у алтаря вместо меня.

– Не любишь быть в центре внимания, – кивнула я. – Твой отец говорил.

– Терпеть не могу. И не хочу надевать белое. В моем возрасте это смешно. Но Уинстон вбил себе в голову, что хочет видеть меня в белом платье.

– Женихи все такие. Белое платье – помимо пресловутой непорочности – почему-то символизирует для мужчин исключительность дня свадьбы, его судьбоносное значение. Рядом с невестой в белом платье они чувствуют себя избранными. Я много лет работаю с новобрачными, Анджела, и за это время поняла, что мужчине очень важно видеть, как невеста идет к нему навстречу в белом. Это успокаивает все мужские страхи. А страхов у мужчин на удивление много.

– Как интересно, – заметила ты. – Страхов я как раз повидала достаточно.

Кажется, ты расслабилась и начала потихоньку оглядываться по сторонам. Потом подошла к вешалке с готовыми моделями и стала с мученическим выражением лица перебирать пышные кринолины, атлас и кружево.

– Анджела, поверь, ни одно из тех платьев тебе не понравится. Скажу прямо: они покажутся тебе ужасными.

Ты опустила руки, признавая поражение:

– Правда?

– Послушай, сейчас у меня нет готовых моделей, которые тебе подошли бы. Я не позволю тебе даже примерять их – они не для той, кто в десять лет самостоятельно чинит велосипед. Знаешь, Анджела, из классических правил портновского искусства я признаю только одно: платье должно подчеркивать достоинства не только фигуры, но и ума. Сейчас здесь не найдется ни одного платья тебе по уму. Хотя у меня возникла

идея. Давай присядем у меня в мастерской, выпьем чаю и поговорим.

Раньше я никогда не приглашала невест к себе в мастерскую, находившуюся в глубине дома. Здесь всегда царили беспорядок и хаос. Я предпочитала показывать клиентам только фасад: прелестный, волшебный зал, который мы с Марджори обставили французской мебелью. Стены здесь были кремовые, а с улицы сквозь витрину струились солнечные лучи. Мне хотелось создать иллюзию женственности, так как большинство невест мечтает пребывать в неведении и жить в мире грез. Но тебя, Анджела, мир грез не интересовал. И мне подумалось, что мастерская – место, где кипит настоящая работа, – придется тебе по вкусу гораздо больше. И еще я хотела показать тебе одну книгу, а она лежала там, в мастерской.

И вот мы прошли в подсобные помещения, и я заварила тебе чай. А потом принесла книгу. Это был альбом со старинными свадебными фотографиями: Марджори подарила мне его на Рождество. Я показала тебе снимок невесты из Франции 1916 года. На ней было простое прямое платье длиной чуть выше щиколоток, без всяких кружев и украшений.

– Мне кажется, тебе подошло бы что-нибудь вроде этого. Никаких традиционных свадебных нарядов. Никаких оборок и кружев. А в таком платье ты будешь чувствовать себя комфортно и сможешь свободно двигаться. Смотри, верх очень напоминает кимоно. Лиф состоит из двух простых отрезков ткани, перекрещивающихся на груди. В начале века платья в японском стиле одно время пользовались большой популярностью, особенно во Франции. Мне очень нравится такой силуэт: простой, как халат, но очень элегантный. Некоторые сочтут его даже слишком

простым, но я нахожу это платье восхитительным. Помоему, оно тебе пойдет. Видишь, какая высокая линия талии? А вот тут широкий атласный пояс с крупным бантом сбоку. Напоминает оби.

– Оби? – Кажется, я сумела тебя заинтересовать.

– Японский церемониальный кушак. Знаешь, что мы сделаем? Я сошью тебе такое платье из сливочно-белой ткани, чтобы порадовать поборников традиций, но вместо пояса мы возьмем настоящий японский оби. Я бы предложила красный с золотом, дерзкий и яркий, чтобы обозначить твою незаурядность. Отойдем как можно дальше от нудных традиций и пуританских клише, согласна? Я научу тебя завязывать оби двумя разными способами. В Японии замужние и незамужние женщины носят оби по-разному. Ты можешь прийти на церемонию с узлом для незамужних. Затем Уинстон распустит пояс, а ты завяжешь его другим узлом. Получится своего рода свадебный ритуал. Конечно, если тебе нравится такая идея.

– Невероятно интересно! – воскликнула ты. – Мне нравится. Очень-очень нравится. Спасибо, Вивиан.

– Вот только одно сомнение: как бы твой отец не расстроился, увидев платье в японском стиле. Он же воевал с японцами. Что скажешь?

– Нет, думаю, он совсем не расстроится. Даже наоборот: мне кажется, ему будет приятно. Как будто я отдаю дань его опыту.

– Пожалуй, – кивнула я. – Так или иначе я обязательно предупрежу его, чтобы обошлось без неприятных сюрпризов.

Но ты меня уже не слушала, задумавшись о своем. Потом нахмурилась с тревожной подозрительностью:

– Вивиан, можно вопрос?

– Конечно.

– Откуда вы знаете моего отца?

Не представляю, Анджела, какое выражение в тот момент появилось у меня на лице. Пожалуй, некая смесь вины, страха, печали и паники.

– Поймите мое любопытство, – продолжала ты, заметив мое замешательство, – ведь папа ни с кем не поддерживает отношения. Даже не разговаривает ни с кем. И тут он представляет вас как своего хорошего друга, но я-то знаю, что друзей у него нет. Он перестал общаться даже со своими старыми знакомыми из нашего квартала. А вы даже не из Южного Бруклина. И при этом столько всего про меня знаете. Знаете, что я чинила велосипед, когда мне было десять. Откуда вам это известно?

Ты ждала моего ответа. Я же чувствовала, как почва уходит из-под ног. Передо мной сидел профессиональный психолог. Ты умела анализировать души, Анджела. И повидала немало лжи и безумия. У меня возникло ощущение, что ты готова ждать хоть до скончания века, но если я солгу, ты сразу поймешь.

– Можете сказать мне правду, Вивиан, – сказала ты. Взгляд был не враждебным, но пугающе пристальным. Но разве могла я сказать тебе правду? Во-первых, я не имела права откровенничать: иначе я нарушила бы тайну твоего отца. Во-вторых, не хотелось огорчать тебя накануне свадьбы. Но главное, суть наших с Фрэнком отношений не поддавалась объяснению. Разве ты поверила бы, что мы с твоим отцом уже шесть лет гуляем по ночам несколько раз в неделю, но ничего больше не делаем, только разговариваем?

– Фрэнк был другом моего брата, – наконец ответила я. – Они с Уолтером вместе служили в войну. Учились в офицерской школе, затем попали на «Франклин». Во время атаки на «Франклин» мой брат погиб, а твой отец получил страшные ожоги.

Все это было правдой, Анджела, вот только Фрэнк с Уолтером никогда не были друзьями. Они знали друг

друга – это да. Но не дружили. Я говорила и чувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Слезы не из-за Уолтера. И даже не из-за Фрэнка. Меня расстраивала сама ситуация: я говорила один на один с дочерью любимого человека, и она мне очень нравилась, но я ничего не могла ей объяснить. Как часто бывало у меня в жизни, я плакала из-за неразрешимости положения, в котором оказалась.

Твое лицо смягчилось.

– О, Вивиан, мне очень жаль.

Ты могла бы задать мне еще много вопросов, но не задала. Ты видела, что мне трудно говорить о брате. Сочувствие чужому горю не позволило тебе припереть меня к стенке. Ответ ты получила, причем довольно правдоподобный. Ты явно подозревала, что я рассказала тебе не все, но по доброте душевной решила поверить мне и не допытываться.

К счастью, ты сменила тему, и мы вернулись к обсуждению свадебного платья.

Платье получилось прекрасное.

Я трудилась над ним две недели. Сама прошерстила весь город в поисках самого красивого старинного оби – широкого, красного, длинного, расшитого золотыми фениксами. Стоило оно невозможных денег, но другого такого в Нью-Йорке было не найти. Не волнуйся, я не стала включать его в счет и не взяла за него с твоего отца ни цента.

Платье я сшила из струящегося шармеза^[48] сливочного цвета. К нему прилагалась облегающая комбинация с бюстгалтером точно по твоим меркам. Ни моим помощницам, ни даже Марджори не разрешалось прикасаться к этому платью. Каждый стежок, каждый шовчик – все в нем было сделано моими руками, и шила я в почти молитвенном молчании.

Мне было известно, что ты не любишь украшения, но я все-таки не удержалась. В том самом месте, где два полотнища ткани перекрещивались на груди, я пришила одну-единственную маленькую жемчужинку из ожерелья, когда-то принадлежавшего моей бабушке Моррис.

Маленький подарок, Анджела, – от моей семьи твоей.

Глава тридцать третья

Письмо с сообщением о смерти твоего отца пришло в декабре 1977-го.

Но я заранее поняла, что случилось нечто ужасное. Фрэнк не звонил две недели, что было очень необычно. За двенадцать лет нашей с ним дружбы такого ни разу не случалось. Я волновалась, просто места себе не находила, но не знала, как поступить. Домой Фрэнку я никогда не звонила, а в участок обратиться не могла, так как Фрэнк вышел на пенсию. Общих знакомых у нас не было, и я даже не могла ни у кого о нем справиться. Хоть езжай в Бруклин и стучись к нему в дверь.

А потом мне пришло письмо от тебя – на адрес салона, но с указанием моего имени.

Я хранила его все эти годы.

Дорогая Вивиан!

С тяжелым сердцем сообщаю, что десять дней назад скончался мой отец. Он умер внезапно. Гулял ночью по нашему кварталу и упал на улице. Видимо, у него случился инфаркт, хотя от вскрытия мы отказались. Для нас с мамой это было большим потрясением, как Вы, наверное, можете себе представить. Отца терзал недуг, как Вы знаете, но не физического свойства. Папа был полон сил, и я не сомневалась, что впереди его ждут долгие годы жизни. Мы провели скромную церемонию в той же церкви, где его крестили, а похоронен он на кладбище Гринвуд рядом со своими родителями. Вивиан, я прошу Вас меня простить. Лишь после

похорон я сообразила, что нужно было связаться с Вами немедленно. Я знаю, что Вы и мой отец были очень близки. Наверняка он хотел бы, чтобы Вас оповестили в первую очередь. Простите за задержку и за столь печальную новость. Если я или моя семья чем-то можем Вам помочь, пожалуйста, обращайтесь.

*Искренне Ваша,
Анджела Грекко*

Ты оставила девичью фамилию.

Почему-то я сразу это заметила – еще до того, как известие о смерти Фрэнка отложилось в голове.

«Молодец, Анджела! – подумала я. – Надо гордиться собственным именем».

Потом до меня внезапно дошло, что Фрэнка больше нет, и я сделала то, чего и стоило ждать: бессильно опустилась на пол и разрыдалась.

Никого не интересует чужое горе, ведь история у всех одна и та же. Поэтому не стану подробно описывать свою скорбь. Скажу лишь, что следующие несколько лет дались мне нелегко и стали самым тяжелым и одиноким периодом моей жизни.

Твой отец, Анджела, был исключительным человеком при жизни – и остался исключительным после смерти. Для меня Фрэнк как будто не умирал. Он возвращался ко мне во снах, в запахах, звуках и ощущениях самого Нью-Йорка. В испарине летнего дождя на горячей щебенке, в сладком аромате засахаренного миндаля, что зимой продавали уличные разносчики, в кисловатом молочном благоухании цветущего гинкго на Манхэттене весной я чувствовала присутствие Фрэнка. В курлыканье гнездящихся голубей, вое полицейских сирен – в этом городе он был повсюду. И все же мысль о том, что его нет, легла на душу тяжелой печатью глубокого молчания.

А жизнь продолжалась.

Я придерживалась привычного распорядка, не сильно изменившегося после его смерти. Жила в том же доме, работала, как и раньше. По-прежнему встречалась с подругами и близкими. Фрэнк никогда и не был частью этого распорядка, так к чему перемены? Мои подруги знали, что я потеряла близкого человека, но они не знали Фрэнка. Никто не догадывался, как я его любила (да я бы и не сумела объяснить), так что у меня не было права на публичную скорбь вдовы. Эта роль отводилась твоей матери, не мне. Какая из меня вдова, если я и женой не была? У меня так и не нашлось точного определения для наших с Фрэнком отношений, поэтому и свою потерю я не могла обозначить словами, переживая ее в самой глубине души.

Вот как это было для меня, Анджела: я просыпалась среди ночи, лежала в кровати и ждала звонка. Ждала, когда он позвонит и скажет: «Ты спишь? Не хочешь прогуляться?»

После смерти Фрэнка Нью-Йорк как будто сжался, усох. Дальние районы, где мы гуляли, стали для меня запретной территорией. Даже такой независимой женщине, как я, по ночам лучше туда не забредать. То же произошло с моей внутренней географией: многие области моей души, куда я допускала лишь Фрэнка, закрылись навсегда. Темы, которые я могла обсуждать только с ним. Внутренние двери, которые открывались исключительно его внимательному слуху. Даже у меня не было доступа к этим дверям.

И все-таки хочу сказать тебе: я нашла в себе силы жить без Фрэнка. Постепенно печаль утихла, как всегда бывает. Ко мне вернулась способность радоваться жизни. Мне повезло, Анджела: по натуре я не склонна отчаиваться и грустить. В этом отношении я немного похожа на тетю Пег – депрессией мы обе, слава богу, не страдали. Со смерти Фрэнка прошло уже несколько

десятков лет, и все это время меня окружали чудесные люди. Любовники, друзья, моя семья – настоящая семья, которую я сама себе выбрала. Я не мучилась от одиночества. Но продолжала тосковать по твоему отцу.

Другие люди, даже самые добрые и милые, не могли заменить мне его. Никто не мог сравниться с этим бездонным колодцем, моей личной исповедальней, без страха и осуждения принимавшей все, чем я делилась.

Не было другой столь же прекрасной темной души, вечно балансирующей между живым и мертвым мирами.

Не было другого Фрэнка.

Тебе пришлось долго ждать ответа на свой вопрос, Анджела, – кем я была для твоего отца и кем он был для меня.

Я попыталась ответить как можно честнее и подробнее. Поначалу я даже хотела извиниться за слишком длинный рассказ. Но если ты дочь своего отца (в чем я ни капли не сомневаюсь), то умеешь слушать. Я знаю, ты хотела бы знать всю историю от начала до конца. И мне очень важно было рассказать тебе все о себе – плохое и хорошее, благонамеренное и дикое, – чтобы ты сама решила, как ко мне относиться и кем меня считать.

Только хочу еще раз подчеркнуть, Анджела: мы с твоим отцом никогда не касались друг друга – не обнимались, не целовались, не занимались сексом. Он был единственным мужчиной, кого я любила по-настоящему, всем сердцем. И он меня любил. Мы никогда об этом не говорили, потому что слова тут были не нужны. Мы оба и так всё знали.

Тем не менее я должна сказать: с годами мы так сблизились, что Фрэнк мог положить мне на ладонь руку тыльной стороной, и это не причиняло ему боли. И

мы сидели вот так в его машине – молча, наслаждаясь уютом этого легкого прикосновения.

Если бы не Фрэнк, я никогда бы не встретила столько рассветов.

И если я, держа его за руку в момент восхода солнца, что-то отняла у твоей матери или у тебя, я искренне прошу тебя о прощении.

Хотя мне совсем не кажется, что я вас обделила.

Вот и все, Анджела.

Мне очень жаль, что твоя мама умерла. Прими мои соболезнования. Но я рада, что она прожила такую долгую жизнь. Надеюсь, жизнь ее была счастливой, а смерть – мирной. Надеюсь, тебе хватит душевных сил пережить утрату.

А еще я рада, что ты меня отыскала. Слава богу, я до сих пор живу в здании «Ле Ателье»! Вот почему менять фамилию или адрес нежелательно: вдруг в случае необходимости тебя не смогут найти?

Впрочем, «Ле Ателье» уже не торгует свадебными платьями. Теперь это кофейня и фреш-бар, и управляет им – кто бы ты думала – Натан Луцкий. Но зданием владею я. Марджори завещала его мне, зная, что из меня управляющий выйдет получше, чем из Натана. Она умерла тринадцать лет назад, вручив мне бразды правления, и я все эти годы заботилась о нашем доме. Я же помогла Натану с его маленьким бизнесом. Уж поверь, без помощи он бы и не справился. Милый мой Натан всем хорош, но подвигов от него ждать не стоит. И все равно я его обожаю. Он зовет меня второй мамой. И я рада, что мы близки, что он заботится обо мне. Лишь благодаря его стараниям я до сих пор здорова как бык, что в моем возрасте почти что неприлично. Он присматривает за мной, а я за ним. И нам хорошо вместе.

Вот как вышло, что я до сих пор живу в том же доме, что и в 1950 году.

Спасибо, что нашла меня, Анджела.

Спасибо, что попросила рассказать правду.

И я ее рассказала без утайки.

Пора заканчивать; добавлю лишь еще одно.

Давным-давно Эдна Паркер Уотсон сказала, что мне никогда не стать интересным человеком. Не знаю, сбылось ли ее пророчество. Не мне судить, интересный я человек или нет. Но еще Эдна сказала, что я принадлежу к худшему типу женщин и у меня не будет подруг, потому что меня всегда «тянет поиграть с чужими игрушками». Что ж, тут она ошиблась. Я была хорошей подругой многим женщинам на протяжении многих лет.

Я уже говорила, что есть две вещи, которые я делаю прекрасно: шитье и секс. Но я себя недооценила: есть и третья. Я прекрасная подруга.

И вот почему я об этом упомянула, Анджела: я предлагаю тебе свою дружбу, если ты, конечно, захочешь со мной дружить.

Не знаю, интересуется ли тебя такая дружба. Возможно, ты и слышать обо мне не захочешь, прочитав мою исповедь. Возможно, я покажусь тебе презренной женщиной. Я тебя пойму. И хотя сама я не считаю, что заслуживаю презрения (по-моему, его никто заслуживает), решать только тебе.

Но я прошу – не настаиваю, а лишь прошу со всем уважением – хотя бы подумать о моем предложении.

Видишь ли, пока я писала эти строки, я представляла тебя молодой женщиной. Для меня ты всегда останешься той умной, прямолинейной, серьезной двадцатидевятилетней феминисткой, что пришла ко мне за свадебным платьем в 1971 году. Но

ближе к концу своего рассказа я сообразила, что ты уже не так молода. По моим подсчетам, тебе почти семьдесят. А мне, как ты понимаешь, и того больше.

И вот что я выяснила с возрастом, Анджела: наступает момент, когда начинаешь терять людей. Речь не о том, что людей вокруг не хватает, – нет-нет, их предостаточно. Я имею в виду жуткую нехватку своих людей. Тех, кого ты любила. Тех, кто знал твоих близких и тоже их любил. Тех, кому известна вся твоя история.

Смерть прибирает их к рукам одного за другим, а замену им найти очень трудно. После определенного возраста заводить новых друзей уже не так-то просто. Мир становится пустым и разреженным, даже если он густо населен молодыми душами.

Не знаю, посещало ли тебя такое чувство, Анджела. Но я живу с ним уже давно. Возможно, скоро оно появится и у тебя.

И потому я хочу закончить свой рассказ признанием, что ты очень дорога моему сердцу, Анджела. Это ни к чему тебя не обязывает, и я ничего от тебя не жду. Но если твой мир вдруг станет пустым и разреженным, если тебе понадобится новый друг, прошу тебя, вспомни обо мне.

Конечно, неизвестно, сколько мне еще отпущено, но куда я здесь, моя дорогая Анджела, я буду ждать тебя.

Спасибо, что выслушала.

Вивиан Моррис

Благодарности

В создании этой книги мне помогали замечательные жители Нью-Йорка, нынешние и прежние.

Уроженка Бруклина Маргарет Корди, моя чудесная обожаемая подруга, с которой мы вместе уже тридцать лет, помогала на подготовительном этапе, сопровождала меня во всех поездках «на натуру», разыскивала источники информации и вычитала

рукопись вдоль и поперек за невозможно короткое время. А еще она не позволяла мне упасть духом и возненавидеть этот проект, когда все сроки миновали и я сбивалась с ног. Маргарет, я ни за что не написала бы эту книгу без тебя. Давай всегда работать над романами вместе, согласна?

Вечная моя благодарность Норме Амиго, самой восхитительной, самой харизматичной девяностолетней даме, которую мне выпала честь знать. Норма поделилась воспоминаниями о тех днях (и ночах), когда она была артисткой бурлеска на Манхэттене. Неуемная чувственность Нормы, ее независимость (и непечатный ответ на мой вопрос: «А почему вы никогда не стремились замуж?») вдохнули жизнь в мою Вивиан.

Большое спасибо Пегги Уинслоу Баум (актрисе), покойной Филлис Уэстерманн (автору песен, продюсеру), Полетт Харвуд (танцовщице) и неподражаемой Лори Сандерсон (продолжательнице дела великого импресарио Фло Зигфельда) за воспоминания о нью-йоркской индустрии развлечений 1940–50-х годов.

Увлекательные экскурсии Дэвида Фриланда помогли мне понять и увидеть Таймс-сквер прошлых лет – такой площадь уже никогда не будет.

Шарин Митчелл поделилась своими знаниями о моде, свадебных платьях и тонкостях общения с беспокойными невестами – ее рассказы помогли мне описать профессиональную деятельность Вивиан. Леа Кэхилл дала мне пару уроков кройки и шитья, а Джесси Торн оказался бесценным советчиком во всех вопросах, связанных с мужской модой.

Эндрю Густафсон открыл для меня чудесный мир Бруклинской верфи. Бернارد Уэйлен, Рики Конте, Джо и Люси де Карло помогли понять, как живут бруклинские патрульные полицейские. А вместе с завсегдатаями «Д'Амиго кофе» в Кэрролл-Гарденз я совершила самое

красочное путешествие во времени, о каком и не мечтала. Джоани Д'Амико, Роуз Кузумано, Дэнни Калькатерра, Пол и Нэнси Джентл поделились своими историями. Я даже пожалела, что не росла в Южном Бруклине в одно время с этими ребятами.

Спасибо моему отцу Джону Гилберту, младшему лейтенанту, во время Второй мировой войны служившему на эсминце «Джонстон», – он помог в описании всех сцен, связанных с войной и Военно-морскими силами. Спасибо маме, Кэрол Гилберт, за то, что научила меня трудолюбию и стойкости пред лицом жизненных трудностей. (В этом году, мама, твои урокигодились мне как никогда.) Спасибо Кэтрин и Джеймсу Мердок за правку текста. Благодаря вам в нем на пять тысяч меньше запятых.

Если бы не сотрудники театрального отдела имени Билли Роуза из Нью-Йоркской публичной библиотеки, я не смогла бы прочесть бумаги из архива Кэтрин Корнелл, а без Кэтрин Корнелл не было бы Эдны Паркер Уотсон.

Я бесконечно благодарна своей двоюродной бабушке Лолли за старые книги Александра Вулкотта – они-то и послужили вдохновением для этой истории. И конечно, спасибо Лолли за то, что она всегда была для меня примером невероятного оптимизма, силы и жизнелюбности.

Спасибо моей потрясающей команде из издательства Riverhead: Джоффу Клоске, Саре Макграт, Джинн Мартин, Хелен Йентус, Кейт Старк, Лидии Херт, Шейлин Тавелле, Элисон Фэйрбразер, покойной и горячо любимой Лиз Хоэнадел. Благодарю, что так мужественно и профессионально издаете мои книги. Спасибо Маркусу Доле и Мэдлин Макинтош за поддержку и веру в мои силы. Спасибо друзьям и коллегам из Bloomsbury – Александре Прингл, Трам-Ан

Дон, Кэтлин Фаррар и Роз Эллис – за отличную работу по ту сторону Атлантического океана.

Дейв Кэхилл и Энтони Квази Аджей: без вас я бы не справилась. Надеюсь, и не придется!

Спасибо Марте Бек, Карен Гердес и Рован Мэнган, которые за последние несколько лет прочли тысячи написанных мной страниц и неизменно дарили мне свою любовь. Спасибо Гленнон Дойл, которая столько раз приходила на выручку по первому зову. Мне это было необходимо, и я благодарна.

Спасибо Джиджи Мэдл и Стейси Вайнберг, близким подругам моей жены, за любовь и самопожертвование в тяжелый период, полный боли и утрат. Без вас я бы не пережила 2017 год.

Спасибо Шерил Моллер, Дженни Уиллинк, Джонни Майлзу и Аните Шварц, которые с радостью взяли прочесть черновой вариант рукописи. Спасибо Билли Бьюэллу, что разрешил мне использовать его потрясающее имя!

Сара Чалфант: ты ветер в моих крыльях.

Мириам Фойерле: что бы я без тебя делала.

И наконец, послание для Райи Элиас. Я знаю, как ты мечтала быть рядом, когда я писала этот роман. И ты была, дорогая. Была со мной каждую минуту. Ты мое сердце. Я всегда буду любить тебя.

Примечания

1

Песня, написанная Джозефом Истберном Виннером в 1869 году и получившая второе рождение благодаря исполнению оркестром Гленна Миллера. – *Здесь и далее примеч. пер.*

Вернуться

2

В начале XX века в Ньюпорте находились летние особняки богатейших семей Америки, в том числе Вандербильтов и Асторов.

Вернуться

3

Пьеса Говарда Линдси и Рассела Круза по юмористической книге Кларенса Дэя, с успехом шедшая на сцене более десяти лет.

Вернуться

4

Главарь итальянской мафии в Нью-Йорке в 1930-е годы.

Вернуться

5

Знаменитая американская художница по костюмам «золотого века» Голливуда; 35 раз номинировалась на премию «Оскар», 8 раз становилась ее лауреатом.

Вернуться

6

«Радио-сити мюзик-холл» – театрально-концертный зал, изначально созданный для варьете The Rockettes в 1932 году; «Алмазная подкова» – ночной клуб на первом этаже отеля «Парамаунт» в Нью-Йорке, работавший с 1938 по 1951 год и прославившийся своим варьете с участием лучших артистов того времени.

Вернуться

7

Именно ирландские иммигранты с середины XIX века образовывали самые отчаянные бандитские группировки.

Вернуться

8

Джин Крупа (1909–1973) – американский барабанщик-виртуоз, звезда свинга.

Вернуться

9

Морис Шевалье (1888–1972) – французский шансонье и актер, с 1930-х годов начал сниматься в Голливуде.

Вернуться

10

Лобстер «Термидор» – изысканное блюдо из лобстера в сливочно-горчичном соусе; запеченная «Аляска» – десерт из мороженого на бисквите под шапочкой из меренги, запеченной в духовке.

Вернуться

11

Район Манхэттена, с середины XIX века славившийся высоким уровнем преступности и воспетый в фильме Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка».

Вернуться

12

Бернард «Тутс» Шор (1903–1977) – владелец легендарного салона-ресторана на Манхэттене.

Вернуться

13

Каунт Бейси (наст. имя Уильям Джеймс Бейси; 1904–1984) – один из самых знаменитых американских музыкантов эпохи свинга, джазовый пианист.

Вернуться

14

Джо Луис (наст. имя Джозеф Луис Бэрроу; 1914–1981) – великий американский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе.

Вернуться

15

Билли Холидей (наст. имя Элеанора Фейган; 1915–1959) – легендарная джазовая и блюзовая вокалистка.

Вернуться

16

Закон, подписанный Рузвельтом 19 июля 1940 года и предусматривающий расширение ВМС США почти на 70 процентов.

Вернуться

17

Американский пилот Чарльз Линдберг в 1939-1941 годах стал лидером изоляционистского движения в США, выступая против вмешательства страны в военные действия в Европе.

Вернуться

18

Альфред Лант (1892-1977) - американский театральный актер и режиссер, трехкратный лауреат премии «Тони».

Вернуться

19

Друри-Лейн - улица в лондонском районе Ковент-Гарден и обиходное название Королевского театра, который там находится.

Вернуться

20

Имеется в виду театр «Хэрни-Эмпайр» в лондонском районе Хэрни.

Вернуться

21

Семилетний герой романа Фрэнсис Бёрнетт, классический костюм которого оказал значительное влияние на моду.

Вернуться

22

Популярный ресторан в ирландском стиле, названный по имени героя знаменитого комикса Джорджа Макмануса «Воспитание отца».

Вернуться

23

Стильное платье (*фр.*) - стиль платьев 1920-х годов с пышной юбкой, обычно на кринолине.

Вернуться

24

Розалинд Расселл (1907-1976) - знаменитая американская актриса театра и кино.

Вернуться

25

Джоан Фонтейн (наст. имя Джоан де Бовуар де Хэвилленд; 1917-2013) – англо-американская актриса, обладательница «Оскара» за роль в фильме Альфреда Хичкока «Подозрение»; была замужем за британским актером Брайаном Ахерном с 1939 по 1945 год.

Вернуться

26

Один из первых в мире сетевых магазинов женской одежды, основанный в 1865 году.

Вернуться

27

Популярный джазовый стандарт композитора Хоги Кармайкла на слова Митчелла Пэриша (1927).

Вернуться

28

Знаменитый итальянский ресторан, открытый в 1927 году.

Вернуться

29

Знаменитые джазовые клубы Нью-Йорка 1930-50-х годов.

Вернуться

30

Луи Прима (1910-1978) – известный итало-американский певец, музыкант и актер.

Вернуться

31

Дэррил Занук (1902-1979) – кинопродюсер, одна из самых влиятельных фигур в американской киноиндустрии начиная с эпохи немого кино и вплоть до 1970-х годов.

Вернуться

32

Таблоид «Нью-Йорк график» существовал до 1932 года.

Вернуться

33

Обыгрывается название города Рино (штат Невада), «столицы разводов», где процедура расторжения брака была упрощена по максимуму.

Вернуться

34

Мягкое мороженое из автомата с сиропом, различными посыпками и коктейльной вишенкой.

Вернуться

35

Так Бродвей прозвали в 1880-е годы, после того как там появилось электрическое освещение.

Вернуться

36

Гарри Джеймс (1916-1983) – известный американский трубач и дирижер, руководитель биг-бенда, популярного в 1940-е годы.

Вернуться

37

Поль Лерой Бестилл Робсон (1898-1976) – американский певец (бас), актер, правозащитник.

Вернуться

38

Один из самых дорогих универмагов женской одежды, специализирующийся на авторской моде.

Вернуться

39

Знаменитая сеть столовых с едой из автоматов и столиками, просуществовавшая почти сто лет и ставшая символом Нью-Йорка.

Вернуться

40

Саксы и Гимбелы – семьи-владельцы двух крупнейших в Нью-Йорке сетей универмагов в XX веке.

[Вернуться](#)

41

Улица в Лондоне, знаменитая эксклюзивными мужскими ателье, многим из которых несколько столетий; считается, что там родилось само понятие традиционного мужского костюма.

[Вернуться](#)

42

Ведущий программы «Сегодня вечером» на американском телевидении с 1957 по 1962 год и авторских программ в 1960-е и 1970-е.

[Вернуться](#)

43

Описан реальный эпизод Второй мировой, когда командир корабля «Франклин» капитан Лесли Эдвардс Герес (1898–1975) обвинил в дезертирстве выживших после взрыва членов экипажа.

[Вернуться](#)

44

Медаль для военнослужащих США, получивших ранения или погибших в бою.

[Вернуться](#)

45

Изначально так называли состав бейсбольной команды «Нью-Йорк янкиз» в 1920-х.

[Вернуться](#)

46

Старейшая больница Америки, ведущая свою историю с 1736 года.

[Вернуться](#)

47

Один из самых опасных районов Нью-Йорка, расположенный в Восточном Бруклине.

[Вернуться](#)

48

Тонкий шелк атласного плетения.

Вернуться